

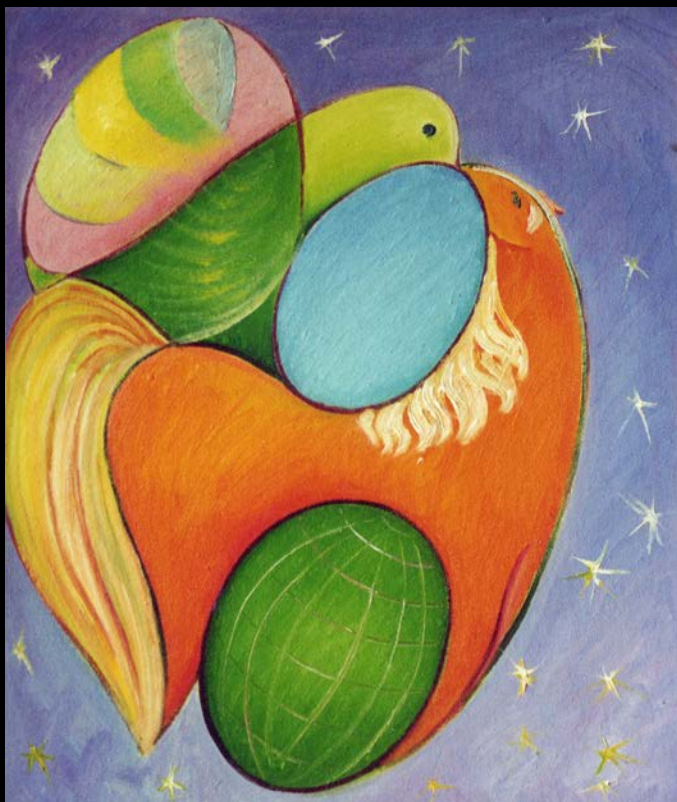
ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2014





Ангел с лошастью



Поцелуй

Ростислав Иванов

Множество граней живописного мастерства Ростислава Иванова — отражение открытой души художника, его опыта желаний и грёз. Пластический язык его живописи разнообразен в плавном гармоническом ритме круглящихся линий и в щедром фактурном мазке. Но постоянна идея материализации духа, которой художник следует на протяжении всего творчества. Со временем эта тенденция становится доминирующей; художник отказывается от реальности в пользу абстрактного воплощения. Так, в картинах настоящего периода внутреннее символическое пространство формируется в окружении ирреального наложении овальных форм. Среди достоинств творчества художника одно, на мой взгляд, является основополагающим: бесконечный оптимизм каждого полотна в простоте привычных вещей, спокойной красоте, внимании, любви к окружающему миру и, наконец, в ощущении времени.

Екатерина Барашева,
искусствовед

Журнал «Business
International», № 27, 2000 г.

Фото Анатолия Симкина

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2014

В номере

.....

ДиН ПАМЯТЬ

- Валентин Курбатов
3 Без него
Александр Матвейчев
8 Чаепитие в Овсянке
Александр Щербаков
12 Простите, милые «чикисты»...

ДиН РЕВЮ

- Надежда Кондакова
7 Житейское море
Михаил Кильдяшов
30 Пассион
Пётр Краснов
141 Свет ниоткуда
Наталья Кожевникова
154 Посреди реки и света
Дмитрий Мурзин
176 Бенгальская вода
Александр Москвин
183 Притяжение тайны
Александр Кердан
187 Наречия
Сергей Кузнечихин
191 Бич-рыба
Нина Ягодинцева
193 Поэтика:
принципы безопасности
творческого развития

ДиН ПАРОДИЯ

- Евгений Минин
11 Сплошное наказание
70 Грёзы и угрозы
88 Неловкости
104 Никого не укушу!
164 Отнимите «мышку»!

ДиН ГАЛЕРЕЯ

- Сергей Кардаш
18 Вестник грядущего лада

ДиН РОМАН

- Михаил Тарковский
31 Распилыш

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

- Вероника Шелленберг
71 Белая гора
Александр Рыбин
84 Архитектура

ДиН СТИХИ

- Владимир Алейников
89 Союз нерасторжимый
Анатолий Вершинский
92 Вид на жительство
Александр Хабаров
95 Могли бы жить
как лилии и птицы

- Анна Павловская
 97 Вывернутый зонт
 Галина Золотаина
 130 Непогода
 Геннадий Кацов
 180 Спасение
 Наталия Елизарова
 182 Скоро восход
 Олег Бабинов
 184 Арлекин в военное время
 Юрий Татаренко
 186 Грусть винограда
 Николай Вдовин
 188 Прошедшее в настоящем
- КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ**
 Ольга Корзова
 99 Тоска по родине
 Александр Свирилин
 105 Одна осень Артёма Горяинова
- ДиН ЛИТ**
*Дни и ночи Литературного
 института им. А. М. Горького*
 Владимир Костров
 107 Пред жизненным пределом
 Игорь Болычев
 109 Русской музыки вечные ноты
 Александр Логунов
 110 Сердцебиенье тишины
 Дарья Верясова
 111 Похмелье
 Михаил Тяжев
 131 Море шумит
- БИБЛИОТЕКА
 СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА**
 Лана Райберг
 133 Яблоневоый сад
 Владимир Чикильдик
 142 ЛЭП-500
 Светлана Корнюхина
 155 Другое дерево
 Юлия Лалуа
 165 Долго длится день
 Геннадий Донцов
 168 Кнут—слаще пряника!
- ДиН РЕСПЕКТ**
*Международный поэтический
 конкурс «45-й калибр»*
 Михаил Дынкин
 170 доктор айболид
 Никита Брагин
 172 Утолённой боли родники
 Наталья Даминова
 174 Башмачок беглянки
 Лера Мурашова
 175 Купола и колокола
 Павел Шаров
 177 А родина—вот!
 Григорий Якобсон
 179 Бегущих дней чечёточная дробь
- ДиН ЮМОР**
 Елена Тимченко
 192 Что меня вдохновляет
- 194 **ДиН АВТОРЫ**

Валентин Курбатов

Без него

К 85-летию со дня рождения В. М. Шукшина

Давно гляжу: лежит в магазине пятый том шукшинского собрания сочинений, выпущенного ещё в 1992 году в Екатеринбурге, кирзово-фуфаячный, бедноватый в оголтелом (голотелом) окружении зазывных, броско-наглых обложек, и даже на взгляд там ему неудобно. Догадываюсь, что когда ночами повторяется история его горькой сказки «До третьих петухов», в которой Иван-дурак, оставляя на библиотечных полках своих серьёзных «коллег», идёт по их просьбе добывать справку, что он умный, этот невзрачный том «наводит шороху» среди публичной обложечной шушеры, так что перед открытием магазина эти «лакомые кусочки» и «рабыни секса», «дьявольские уловки» и «поцелуи на краю смерти» долго не могут найти своих мест. Но днём они своё возьмут. Новый читатель, уже успевший втянуться в этот глянцевоый, хищно рвущий внимание мир, обойдёт бедную обложку, как придорожный камень. А между тем и том-то ведь не публицистика, на которую не всяк охотник, а самых лучших расказов. Для памятливого человека одно оглавление — чистая музыка: «Жена мужа в Париж провожала», «Миль пардон, мадам», «Страдания молодого Ваганова!» В доброе старое время — удержи-ка такой том на полке долее дня!

Так что же? Всему своё время под солнцем? И забвение, подкравшееся к Шукшину, естественно: другие времена — другие песни? Нет, тут эстетическим вздохом не отделаешься: за ним не то что не вся правда, а, кажется, и вообще правды нет. В этом забвении есть кое-что посущественнее и поболеезнее для каждой души. И речь не о старении творчества хотя бы некогда и очень близкого художника, а о состоянии нашей души, нашего народного сердца, нашего национального ума. За трескотнёй о возрождении России мы успели подзабыть живого русского человека, который эту самую Россию и составлял. Да и не позабыли даже, а как-то исподтишка подменили пустой оболочкой, лубочной картинкой — и вот дивимся, что ничего у нас не выходит. Чтобы скрыть внешне обнаружившуюся пустоту, стали русского мужика где поглубже искать: одни — во временах Калиты и Ивана Васильевича, а другие — в днях Александра Освободителя или Петра Столыпина.

Свой, недавний, показался негоден для реформаторской переработки, слился в какого-то плакатно-безликого «колхозника», который гирями повис на ногах преобразователей и не давал шагу ступить. А поскольку именно этого неудобного для социальных экспериментов мужика писала «деревенская литература» и именно в нём мы, наконец, после всех идеологических обмороков стали различать свои настоящие корни и во всех передрыгах уберёгшийся голос живой традиции, то, значит, пришлось заодно и «деревенскую литературу» освистать, нарочито опорочить её как «казённую» и «поощряемую государством».

Для такой постыдной работы ума много не надо и охотники нашлись скоро, но расплачиваться за эту открытую ложь придётся всем, в том числе и самим иронистам, если они не успеют переменить отечества (у них это быстро). С бумажным мужиком много не наработаешь — всё равно придётся к реальному на поклон идти, а для этого его надо видеть и знать со всем его непредсказуемым размахом, с его никуда не девавшейся волей, с его ленью и его неутолнённой работоспособностью, с его хвастовством и его скромностью, пьянством и злом, бескорыстием и жадностью — со всем тем, что лучше, вернее, ярче, полнее всего написал Василий Макарович Шукшин.

Да и не написал он (не то это слово). Не будет ни обиды, ни неправды, если сказать, что он не был только писателем, хотя деревенская проза и числила его своим, и сам он себя по этому «ведомству» проводил. В том-то и секрет, и сила, и тайна, и чудо его жизни, что он писал, играл, ставил свои фильмы, ни на минуту не выводя себя на позицию только «автора», властителя текста или киноматериала. Он всем этим *жил*. Кажется, он автором-то только и был в то краткое мгновение, когда замысел только брезжил и горячил воображение, а как доходило до дела, то с первой строки и первого кадра он уже варился в середине действия, плача, смеясь, страдая, ненавидя, мучаясь от тоски и любви, непонимания и восторга.

Нам всем полегче, и мы подольше живём, потому что «свидетелями» умеем быть, не везде

в участники суёмся, кое-что и мимо пропускаем. Посетuem про себя: вот сволочи, что делают!—но обойдём за версту. А он так и не научился этому житейскому искусству и, кажется, даже попытки не сделал выучиться, а сразу летел в самый клубок ситуации и уже махал кулаками, кричал, срывал голос и изнашивал сердце, так что в сорок пять лет, когда он ушёл, оно, по свидетельству врачей, было как у восьмидесятилетнего. Он пустил жизнь «в себя», и она взялась в нём за жаркое самоосмысление, пока не разорвала его.

Это был очень народный способ существования—почему профессионалы и подозревали его в «дилетантизме», да и сам он, по примечанию дружившего с ним Г. Буркова, был затаённо неуверен и от неуверенности делался только резче и откровеннее. Мы-то вот тоже рядом с целым человечеством живём, а нет этого зрения, этой сорастворённости, при которой другой становится тобой и мучается в тебе невысказанный, жжёт тебя своей правдой, пока ты её не выговоришь. Да и свою правду в себе не удержишь. Не оттого ли у него так часто спорят, хватают друг друга за грудки, доискиваются истины? Никаких пейзажей, никаких обстоятельных вступлений, словно и самому автору не терпится узнать, до чего договорятся герои, что им откроется. Встретились—и вперёд!

Может быть, от этого и мерещился дилетантизм. Ждали «прозы», а оказывались в уличной свалке или наедине со сбившимся человеком, который без стыда выкладывает всё, как на исповеди. И никак не хотели увидеть, что тут страсть сродни страстям Достоевского. Оказалось, что не в одном выморочном Петербурге мается человек, а тень этого безумного города уже и на всю Россию легла, и до сибирской деревни дотянулась. Боюсь, что тут и умозрения никакого нет, а подлинно, как Пётр вывихнул Россию, сселив её в европейское болото, так выпарившаяся из этого петербургского неживого нерусского болота революция сорвала с места, казалось, навек устойчивого деревенского человека и понесла его по земле—то в город, то в тюрьму, а то и в родном вроде остался селе, а всё равно будто в поле без крыши над головой. И он заводится, защищаясь, отбиваясь налево и направо, изо всех сил отстаивая себя, волю свою и право. У Достоевского-то русский человек с этой волей уже как бы лишнего требует, Бога допрашивает, «тварь дрожащую» в себе гонит, чтобы «право иметь», насилует жизнь. А у Шукшина он обороняется, от смерти себя бережёт, не лишнего ищет, а глядит, как бы хоть своё отстоять, душу живую в унылом общем равнодушии не погубить.

А не узнали мы тень Достоевского, потому что уж больно «простовато» глядит шукшинский герой, и слишком ещё в нём много крепкой природной жизни, и, в отличие от достоевских сумерек, всё будто в полдень происходит—летит

и переливается, сверкает и поёт, всё через край и вперебор, с бесконечной чрезмерностью. Да и, по традиции, у нас за мужиками иные, некрасовско-толстовские да тургеневские добродетели числились, а не доискивание жизненных смыслов.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли—и поминай как звали... А потом скулим: плохо жить!»—это Ефим Валиков из рассказа «Суд».

«Ду ю спик инглиш, сэр? А как насчёт картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Ещё Лескова не прочитали, а уж... слюни насчёт неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку... Потом Толстого, Льва Николаевича»,—а это «психопат» Сергей Иванович Кудряшов.

«Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота... как это... как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам... И вот сижу я на суде и не могу понять: я-то зачем здесь?...» Это Иван из рассказа «В профиль и анфас».

«Вот у тебя есть всё—руки, ноги... и другие органы. Какого размера—это другой вопрос, но всё, так сказать, на месте... Но у человека есть также—душа! Вот она здесь—болит!—Максим показывал на грудь.—Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую—болит». Это Максим Яриков («Верую»).

Я нарочно выписываю эти косноязычные невнятности, это, на интеллигентный взгляд, растительное страдание, которое вроде и страданием-то не назовёшь. Но мужики, слава Богу, критики не читают. Гонит их тоска, гнетёт «незаполненная», хлябающая душа. Всё время какой-то «зazor» остаётся, злая пуста покоя не даёт. Тонкости тут мало, но боль-то, может, и поострее интеллектуальной, потому что причины не знает и в слова не облачается (чеховскому-то, да и достоевскому страдальцу иногда довольно того, что он возьмёт да и хорошо сформулирует свою боль и уже этим и развеет или хоть поослабит её—красота-магушка по внутреннему своему милосердию спасёт). А этим куда податься? Попали в какое-то межзумье, в «промежутok»—и пошло-поехало. Мачехи-история, о которой они и думать не думают, отняла их из здорового порядка жизни, осмеяла, отняла их старую наследованную жизнь, а вместо новой подсунула какую-то мякину, которая им поперёк души. И вот они маются по тюрьмам, как Стёпка из одноимённого рассказа или Егор Прокудин из «Калины красной», и дерутся, и плачут, и никому вокруг не дают покоя. На месте не постоят. У Егора это виднее всего: почти не властен в себе, душа всё время обгоняет рассудок и несёт его как на огонь. Он бы всё равно сгорел, сорвал жизнь, потому что ему надо всё, и чтобы в этом всё сила и воля была во весь размах, в полный русский простор.

Мы, к сожалению, как следует этой тоски шукшинских героев не поняли. Сами ещё обманывали себя затхлой стабильностью и хоть предчувствовали, что долго так не протянется, но отсиживались, тянули, надеялись на спасительное «авось». А он уже знал, что в таком «межеумье» человеку не жить. Нас обманывала форма, «одежда» героев, чудачество и дурачество их. Мы вроде и знали, что дурак на Руси одну правду говорит, но как-то, как всегда, только к историческим дуракам и блаженным это относили, а на своих глядели с обычной снисходительностью «умных и знающих». А дело-то тоньше. Один умный европеец отлично заметил, что Дон Кихот—это великий человек, становящийся дураком из-за отсутствия цели. Есть тут что-то сродное. И все шукшинские «дураки»—мающиеся «без причины» мужики, у которых душа болит, и несчётные его ввали, начиная с Пашки Колокольниковца («Живёт такой парень») и до Броньки Пупкова («Миль пардон, мадам»), вовсе не по вывиху душевному так выпадают из реальности. Они и врут-то потому, что старые связи навек порвались, а новых они не чувствуют, и вот им скучно жить, мало вялой нищенской правды повседневности.

Они что—не знают истинного-то своего положения? Со стороны себя не видят? Да нет, знают и видят, а вот подойдёт час, и опять поднимет их счастливая волна, и они вознесутся над родной деревней и проживут чужую, неслыханную, ослепительную жизнь—и хоть на этот краткий миг утолят рвущуюся на простор душу. А не представится случай соврать—споют с такой силой и звоном, что вся душа в песне изойдёт.

Тихие и занозистые, злые и беспечные—все они как-то неуловимо ходят друг на друга, будто братья. Все заводные и талантливые, все болеют его шукшинской мыслью, живут его даром, его волей и нетерпением. По существу, он писал непрерывную автобиографию страждущей своей души и мысли, допрашивал мир о его правилах и не хотел согласиться с социальным загоном, с узкой «нишей», куда общество для своего удобства заталкивает человека и потом гонит его к смерти тесным коридором, приглядывая, чтобы он не особенно вываливался из границ. Кажется, он эти пути чувствовал непрерывно и рвал их враньём, чудачеством, прямым выяснением, дракой.

«...Стеньку застали врасплох... Он любил людей, но он знал их... он делил с ними радость и горе... Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его... Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень. „Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора“,—сказал он».

Он понимал Стеньку и понимал Васеку, который этого «Стеньку» делал ночами: «У Васеки перехватило горло от любви и горя... Он любил свои родные края, горы свои, мать... всех людей.

И любовь эта жгла и мучила—просилась из груди. И не понимал Васека, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться».

И Василий Макарович любил горы свои, родные края, мать и всех людей и, как Васека, не знал, что сделать для них, «чтобы успокоиться». И делал того же Стеньку. По сути, во всех рассказах и во всех ролях и сценариях он писал его. Его и себя, которые были одно. Сколько раз писали о том, что Шукшину не дали снять «Разина», что начальство разными способами сопротивлялось запуску картины и тем, конечно, подталкивало Шукшина к смерти. Но вместе с тем есть и какая-то мистическая предопределённость в том, что он не снял «Разина». Не в одном начальстве дело. Тут будто судьба удерживала его от какого-то главного разочарования. Не историческая картина нужна была Шукшину, не канонический народный заступник. Он воскрешал во всей силе и первоначальности неуправляемую, не подчиняющуюся закону, мятущуюся и измученную, вольную и грозную народную душу, раздувал её из-под почти уж затянувшего её пепла, опять готов был устыдить ослабленного человека и искусить его могучей тоской по силе и призванности. Беспокойный свой автопортрет ставил, и это уже пугало как социальная опасность—вот и навалились кучей те, кого он «любил и знал», и повязали по рукам и ногам, и даже казнить не стали, поняли, что самая-то страшная казнь—это как раз связанные руки.

Не знаю, может, мне это только мерещится, но не по одному «Степану», а и по большинству его вещей видно, что Шукшин оттого и страдает и не знает покоя, что вольная его душа отовсюду уходит с так и не разрешённым внутренним вопросом. Ведь этот его усталый не то крик, не то страшный шёпот: «Что с нами происходит?»—вырвавшийся в «Кляузе», а до этого точивший его все сознательные годы, он и в «Разине» на глубине слышен. Что гнало эту пылкую, могучую натуру? Не наши же школьные исторические обоснования! Почему его воля, такая естественная, такая сродная милому домашнему простору, такая русская, вызревает такими дикими и часто страшными плодами, что его в русских соборах в адских котлах пишут (Шукшин окаменел, впервые столкнувшись с этим). Не оттого ли он никак не мог найти фильму удовлетворяющего финала?

Кажется, Шукшин начинал отрезвляюще сознавать, что *волю-то*, как Степан, можно дать, но с одной волей человек не живёт, потому что она воспаляет и опьяняет душу и в конце концов дожигает её, если на каком-то пределе не переходит в *свободу*, которая вовсе не родня воле, потому что строится на дисциплине и вере, любви и правде, ответственности и духовной трезвости. Похоже, «Разин» вывел Шукшина как раз к осмыслению

свободы и дал особенно остро почувствовать, что от неё человек ещё дальше, чем от воли, и, самое тревожное, не видит этого разрыва. Незадолго до смерти он говорил в интервью «Сибирским огням»: «Теперь, я думаю, надо обострять, обострять как можно активнее, безжалостнее. Доводить разговоры до предела...» — и дальше настаивал, что особенно высоко надо ставить «вопрос совести». Можно только предполагать, до какой степени «безжалостности» и «обострения» он мог возвысить своё творчество. Сердце указало этот предел: разорвалось ночью так стремительно, что не успела рассосаться таблетка валидола под языком. Как всегда, до предела он дошёл прежде всего себя.

Несколько лет назад В. Г. Распутин горько и верно написал: «Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное, в чём-то, за что он бился, мы его не поддержали». Теперь по всему строю выпотрошенной, лишённой содержания жизни видно, что не только не поддержали, а вообще устремились в совершенно иную сторону, от которой он бежал и с которой боролся — бился, как сильнее и вернее сказал Распутин. Пошлость и духовное истощение жизни, стремительно расходящаяся трещина между человеком и человеком, которые так мучили и злили его, стали вдруг не только не стыдны и не опасны, а законны и поощряемы. Он верил, что все неустройства и сбои человеческой природы есть только измена настоящему существу жизни, и простодушно надеялся на опаматование человека, на выздоровление общества. Этой святой наивной верой проникнуто каждое его слово.

Он приходил напоследок показать, что такое русский человек в его замысле, в его Богом данной святой полноте, и мы ещё успели почувствовать это и в час его смерти на мгновение вздрогнули, увидев, чем мы могли быть и что предали в себе, какая даль ещё была возможна в нас, какой ещё полный, во весь огляд Родины, простор и какая воля! И, как будто в отместку себе, потом с удвоенной стремительностью покатались в равнодушие, в предательство истории, в наживу и уничтожение остатков нравственных институтов, в небывалое по размаху разрушение, в теперь уже истинно «религиозное» исповедание принципа «кто был ничем, тот станет всем».

Теперь он не мог бы выжить и дня. Такой мы стали страной для своих лучших детей. И теперь нам уже не дожидаться рождения другого такого нашего сына и брата, потому что уничтожена почва для появления искреннего человека. Он до смертного часа оглядывался на Алтай, на милые Сrostки, заговаривал себя возможностью возвращения: «Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот: есть ещё куда отступать, есть где отдышаться, собраться

с духом», — и грел, грел себя мыслью об этом отступлении: «Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда».

Мы и сами следом за ним, следом за врачевшими нас «деревенщиками» надеялись, что ничего не потеряно, что где-то ждут нас родные корни, крепкие и живые, чистые и невредимые, пока не очнулись посреди чужой страны, чужого языка, чужих нравственных законов, как в изгнании, и теперь перечитываем его со странным чувством: неужели это было с нами, в нашей России, и это мы были таким талантливым народом с такой становящейся летящей душой?

Шукшин был наиболее личным из русских художников. Никак не литератором только, не актёром, не режиссёром. Мы даже как будто были «умнее» его и относились именно как к младшему брату — непутёвому, заводному, всякую минуту готовому загнать нас в сомнительную ситуацию, из которой неизвестно как выпутываться, но чистому душой и оттого чуть снисходительно любимому. Наше бедное интеллектуальное знание какой-то своей частью стыдилось его, как стыдятся хороших, но не умеющих вернуться деревенских родственников, а в душе мы тосковали и про себя верили, что и сами ещё можем вернуться к этой здоровой наивной чистоте. Мы благодарили его за то, что он «легализовал» наше загнанное в подполье лучшее, позволил не стыдиться того, что мы торопились загородить «воспитанием» и комплексующей оглядкой на чужое суждение, на скверно понятую нами городскую культуру, за которой уже маячила «культура рыночная». Увы, всем последующим своим поведением мы доказали, что хватило нас ненадолго, что не устояли мы на шукшинской ноте, не помогли ему, не поддержали и в конце концов оказались все-таки раздавлены своей вечной унижительной оглядкой на «цивилизованные страны», предали свою волю и правду за чечевичную похлебку цветистой пошлости, с которой воюет ночами на книжных прилавках бедный рабочий том Шукшина.

Есть в воспоминаниях Юрия Скопа пронзительный и на глубине символический эпизод.

«На „Странных людях“... снималась массовка — проводы гармониста в армию. В фильм он не попал, но дело не в этом...»

День выдался самое то... Человек сто, а может, и поболее вышло на расставанье. С песней... Живёт в народе такая: «Последний нонешний денёчек...» Мотор! Пошли... Головная актёрская группа вроде бы ладно взяла песню, а хвост массовочный не тоё... Позабыли, оказалось, песнь-то... Дубль, другой... Макарыч яриться начал... Плёнка горит, а в результате — чепуха сплошная. Вот тогда и взлетел Макарыч на пригорок, чтобы все его видели, остановил яростным взмахом движение и как рявкнет:

— Вы что?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали?! Детей! Да как же это можно забыть? Вы что?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы...

И начал:

— Последний нонешний денёчек...— зычно, разливно, с грустцой и азартом бесшабашным за всю массовку вложился в голос. Откуда что берётся?..

И вздохнула деревня, прониклась песней...

Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины тосковали: вот уж спели так спели! Ах...»

Мы все спели с ним последний раз. Теперь песня кончилась. И уже некому устыдить нас: «Да как же это можно забыть?!»

И некому отозваться...



ДиН РЕВЮ

Надежда Кондакова Житейское море

Поэтическое приложение к журналу «Сибирские огни»
Новосибирск, 2014.—160 с.



Зеленоваты без претензий,
Намокли гортензии в нашем саду,
пригнулись к земле виноградные лозы.
За слёзы любимых мы будем в Аду,
за эти горючие, честные слёзы.

Давайте любить и любимых прощать,
оплошности мелкие ставить в кавычки.
Давайте навеки любовь обещать,
навеки!—вы слышите?!—не по привычке.

И если над нами черны небеса,
и если опять тяжелит несвобода,
давайте другу другу посмотрим в глаза
и руку протянем—у Горнего входа.



В разорённой снегами Тавриде,
в оголённой осенним огнём,
ты по мне тосковал, как Овидий,
никогда не слышавши о нём.

Буду помнить до самого гроба,
как почти опереточно я
всё ждала тебя, впрямь Пенелопа,
только, правда, жена не твоя.

Ах, зачем же ты полночью летней,
искупавшись в холодной реке,
прикоснулся к тринадцатилетней,
в детских цыпках, дрожащей руке...



Ты говоришь: не плачь, ещё не время,
ещё не время,— говоришь,— не плачь...
Но жёлтый лист тебя целует в темя,
целует, как Иуда, как палач.

Раскрыла осень подлые объятия,
и мы одни—среди летящих стрел.
...Я крашу рот и поправляю платье,
чтоб на меня и ты без слёз смотрел.

Последнее море

Ни слова о том, что будет потом,
ни слова об этом, мой друг,—
в последнем огне, в огне золотом
последнее море вокруг.

Мы завтра покинем сии берега,
о, дольше, огонь, погори,
о том, что ни друга вокруг, ни врага,
ты нам говори, говори...

И слепо-, и глухо-, и просто немой—
ответчик и он же истец.
Но завтра и мы соберёмся домой,
отсрочь это завтра, Отец!

О, дай наглядеться, наплакаться, на-
смеяться в пейзаже грудном!
Есть сто пунктуаций во все времена,
а паузы нет ни в одном.

Но именно в паузах жизнь и горчит,
но именно в паузах встреч,
как море, последнее море, звучит
нечленораздельная речь.

Александр Матвейчев

Чаепитие в Овсянке

К 90-летию В. П. Астафьева

В мае восемьдесят четвёртого года прошлого века—по пути из Москвы в Красноярск—я на пару дней приземлился в родной Казани, чтобы отпраздновать с друзьями-однокашниками по суворовскому училищу День Победы. Заглянул и в дом своего друга Диаса Назиховича Валеева, писавшего на русском, члена Союза писателей СССР, автора повестей, рассказов, эссе, но в те годы более известного как драматург. Его пьесы шли на сценах многих театров Союза, а в Москве обжились в театре имени Ермоловой.

С Диасом меня связывала дружба со студенческих лет, когда он учился на геофаке университета, а я—на радиофаке авиационного института. Познакомились осенью пятьдесят седьмого года на семинарах республиканского литературного объединения при доме-музее М. Горького. Тогда оба писали рассказы. А известный красноярцам как Роман Солнцев, тогда девятнадцатилетний деревенский паренёк, на шесть лет моложе меня, студент физмата университета Ренат Суфеев представлял на наш суд свои юношеские стихи. Много лет спустя за скромную зарплату эти литературные семинары с десятком лет возглавлял заматеревший газетчик и писатель, геолог Диас Валеев, прошедший шлифовку на Высших литературных курсах при московском Литинституте. Многие его ученики стали известными в республике и за её пределами служителями пера.

В беседах за кирпичным чаем о днях минувших—спиртное мой друг из-за аллергии на любой алкоголь никогда не употреблял—Диас, подогретый, по-видимому, собственными воспоминаниями о трёхлетней отработке после университета в геологических поисковых партиях в Кемеровской области, в Горной Шории, а может, и моими рассказами о красотах Саян, «Столбов» и Енисея, вдруг встрепенулся:

— А ты, Саша, не можешь достать мне две турпутёвки на пароход от Красноярска до Диксона?.. Хотелось бы с младшей дочкой, Диной, по Енисею прокатиться. Лучше на июль, после сессии в университете—она первый курс на истфаке заканчивает.

В то время в Союзе экономикой правил заклятый враг социализма—дефицит. Дефицит на

всё—от мяса-рыбы-колбасы-сахара и до туалетной бумаги, женских плавок и колготок. В том числе—и на дороге для рядовых граждан путёвки для отдыха за свой счёт. Доступ к ним решали грошовые взятки и магический блат в профкомах и парткомах. Но я уже год как утвердился на номенклатурной должности первого заместителя гендиректора—главного инженера крупного научно-производственного объединения «Сибцветметавтоматика» и—не без усилий, с привлечением полезных связей, конечно,—путёвки обеспечил. Турдность, помню, состояла ещё и в том, что для этого плаванья требовалось разрешение от вездесущего КГБ, поскольку остров Диксон и ныне находится в пограничной зоне. Тогда чекисты, вероятно, опасались, что писатель с дочерью могли, преодолев торосы и полыньи, использовать счастливый шанс раствориться в капиталистическом мире близлежащих—за тысячи километров от Диксона—стран. А теперь наличествует тревога обратного свойства: вероятность набега шпионских полчищ кратчайшим путём из Америки—через Северный полюс—прямоком в Россию...

Детали забылись, но какими-то ухищрениями и это бюрократическое препятствие бдительных спецслужб гражданам автономного Татарстана посчастливилось преодолеть. Впоследствии в красноярском журнале «День и ночь» появился рассказ Диаса Валеева «Полуостров Диксон» об этом занимательном путешествии. А реальным итогом вояжа явилось то, что прелестную Диночку Валееву очаровал красноярец Виктор—красавец-диджей и бард-гитарист из obsługi туристов: молодые поженились и увеличили население крайцентра, народив сына и дочку.

Дней за пять до отплытия от енисейского причала четырёхпалубного теплохода «Чехов» я встретил Диаса Назиховича и его дочку Дину на перроне красноярского ж.-д. вокзала и доставил в свою трёхкомнатную хрущёвку на собственных «Жигулях». Купил эту «копейку» в спецмагазине «Берёзка» Новосибирска в октябре семьдесят восьмого года, не маясь годами в очереди, поскольку на Кубе скопил советскую эрзац-валюту—чеки с жёлтой полосой. Плата всего-то за полтора года

инженерного труда проектировщиком автоматики и электроснабжения в сероводородной атмосфере никелевого комбината в городке Моа.

«Копейка» позволила мне спокойно перемещаться — пробки тогда были редкостью — с гостями по городу и его окрестностям. Погода выдалась совсем не сибирская — в меру жаркая, солнечная. Показал Диасу и машинописный сборник своих рассказов и повестей. Они ему понравились, и он удивился, что я много лет пишу «в стол», не беспокоя редакции журналов рассмотрением своих шедевров, поскольку, мол, они далеки от соблюдения жёстких канонов соцреализма.

— А ты думаешь, я укладываюсь в это прокрустово ложе? Давай лучше познакомлю тебя с Астафьевым — и дело сдвинется с мёртвой точки...

Поведал, что приятельские отношения между моим другом и признанным классиком возникли года два-три назад, в Доме творчества в Подмосковье — в Рузе или Малеевке. Виктор Петрович оставил казанскому коллеге свой адрес с приглашением заглянуть к нему, если судьба занесёт Диаса в Красноярск.

Однако Астафьева на его квартире в Академгородке мы не застали. Благо соседи подсказали, что писатель с семьёй всё лето проводит в Овсянке. Порулили туда по извилистой, узкой — с подъёмами и спусками — таёжной дороге на Дивногорск. Отец и дочь восхищались красотами Енисея и его живописных берегов, так не похожих на привычные для них, обитателей средних широт России, более спокойные, величавые волжские и камские просторы. По пути Диас, сидевший справа от меня, водителя, рассказал несколько забавных эпизодов, связанных с его и Астафьева пребыванием в Доме творчества. Там наряду с пишущей братией, в соседних корпусах, по профсоюзным путёвкам расслаблялись всеми чакрами не озабоченные муками творчества простые советские труженики. А Валева, по его словам, с Астафьевым тогда сблизило, в частности, одно обстоятельство: в Московском драмтеатре имени Ермоловой одновременно шли спектакли по их пьесам.

Теперь, когда меня навещают гости с российского запада — а случилось, из США, Испании и Германии, — моя жена Нина везёт нас на иномарке в Дивногорск, чтобы показать Красноярскую ГЭС и образованное её плотиной море. Обязательно делаем остановку на торговой площади, предвещающей подъём по широкой лестнице на смотровую площадку с изваянной на ней в металле — уже после смерти писателя — кокетливой, будто русалка, царь-рыбой. И мне всякий раз вспоминается, как и в той поездке с Диасом и его дочкой мы взобрались по тропинке на скалистую смотровую площадку, чтобы полюбоваться енисейскими далями. Вершина этой скалы и при жизни Виктора Петровича

была забетонирована, что он сурово осудил в одном из своих произведений как надругательство над истинной красотой природы. Да только во все времена разве кто-то прислушивался к мнению пророков в своём отечестве?..

Я затормозил «Жигули» у ворот родовой избы Астафьевых: мне её несколькими годами ранее показал приятель, гендиректор крупного предприятия, построивший себе в Овсянке загородную домину с баней и бассейном. По доносу завистника Гена попал под колпак советского ОБХСС, где его подвергли моральным пыткам. Слава Богу, что злоупотреблений, потянувших на тюремный срок, не выявили. Однако строгача по партийной линии и снятия с должности посягатель на социалистическую собственность не избежал...

Дина осталась в машине, а Диас и я постучались в калитку — её открыла маленькая женщина со строгим взглядом. Назвалась Марией Семёновной, женой писателя. Сказала, что Виктор Петрович с утра ушёл на рыбалку. Скоро должен вернуться на обед. Услышав о том, что нас привело сюда, приветливо позвала в избу, но мы смиренно предпочли подождать хозяина на улице — на скамейке у калитки, рядом с палисадником.

Отсюда открывался вид на Енисей и его левый высокий берег. Река отливала золотом под лучами щедрого солнца, а высокий противоположный берег, покрытый лесом, манил в душистую прохладу. Какое-то время спустя увидели, как от уреза сверкающей на послеполуденном солнце реки, припадая на одну ногу, к нам устало приближается человек в рыбацких ботфортах, с удочками в правой руке и кошёлкой — в левой. Весьма похожий на персонажей из своих рассказов и повестей, знакомый по фотографиям и телевидению человек.

При виде моего казанского друга морщинистое, обожжённое солнцем лицо «весёлого солдата» мгновенно помолодело, светлые глаза засияли радостью. Так что у меня пропали всякие сомнения, помнит ли он Диаса.

Пока Мария Семёновна накрывала стол для чая, Виктор Петрович переоделся и пригласил показать нечаянным гостям свою скромную усадьбу. Больше всего радовался недавно выстроенному для него летнему кабинету — времянке, обитой свежим тёсом, с плоской крышей и большим окном, обращённым в крохотный яблоневоый сад с зарослями малины и смородины. Внутреннее убранство кабинета было предельно скромным: перед окном просторный стол с пишущей машинкой на нём и незастеклённый шкаф с книгами. Сказал, что по распоряженью крайкома партии или крайисполкома над ним, как Героем Социалистического Труда, шефствует Дивногорский завод низковольтной аппаратуры — нва, директор которого, Виктор Прокопьевич Шаповалов,

отнёсся к этому партийному поручению весьма ответственно, и по его хотению кабинет и гараж построили работяги столярного цеха завода.

Виктор Петрович провёл нас и к воротам гаража, приоткрыл их и показал свою серую «Волгу». Легковушка, по его словам, тоже являлась предметом постоянных забот Шаповалова. Сам Астафьев водительских прав не имел, потому возил его шофёр, состоявший в штате заводского гаража. Но водители, с горькой усмешкой сетовал Виктор Петрович, из-за низкой зарплаты часто менялись. Автомашина то и дело мирно дремала в ремонте якобы из-за отсутствия запчастей частей. А шофёры, пользуясь снисходительностью и технической некомпетентностью писателя, пьянствовали и нагло его обманывали, требуя денег на покупку запчастей. Использовали его «Волгу» для частного извоза, украденные детали продавали налево — владельцам аналогичных престижных седанов. Так что обладателю лимузина частенько приходилось, как, например, вчера, ездить в крайцентр на рейсовом автобусе. Жаловаться же начальству на обворованных водил-земляков писателю, скорее всего, и в голову не приходило...

Директор нва Виктор Прокопьевич Шаповалов мне был хорошо знаком. Объединение «Сибцветметавтоматика», где я работал главным инженером, и его завод оказывали друг для друга по договорам разного рода услуги. Мне приходилось выезжать в Дивногорск, как правило, для ускорения получения продукции завода — контактов и автоматов — для установки их на силовых панелях, используемых нашим объединением на предприятиях цветной металлургии. Да и Шаповалов нередко навещался к нам — как правило, к концу рабочего дня. После деловой части встречи мы, как правило, втроём удалялись в комнату отдыха гендиректора объединения для праздного трёпа, подогреваемого содержимым из коньячной бутылки.

А сегодня за столом, кроме Виктора Петровича, сидели его жена и внук. Ну и мы, гости, — Диас Назихович с дочерью и я. Признаюсь честно: внука я вообще не помню — о нём мне напомнила Дина Диасовна, ныне кандидат искусствоведческих наук, когда я попросил её, позвонив в Казань, восполнить пробелы в подпорченной моим восьмидесятилетием памяти.

За чаепитием больше других говорил хозяин. Вспомнил какие-то весёлые эпизоды из их с Диасом пребывания в Доме творчества. А потом рассказывал о вчерашней вылазке на рейсовом автобусе в Красноярск. И очень красочно, в лицах, копировал неволью подслушанных им деревенских баб и мужиков, ездивших на колхозный рынок продать овощи и обзавестись дефицитами вроде сахара, крупы, макарон, синюшных бройлеров, докторской и ливерной колбасы.

Мне подумалось тогда, что его живую речь следовало бы записывать на диктофон и — без промедления и правок — трансформировать в прозу. Только вряд ли бы бдительная цензура допустила эти путевые «затеси» в печать, непременно уловив в их подоплёке злостную критику убогой советской действительности. К завершению чаепития к нашей компании примкнул и вышеупомянутый директор нва Виктор Шаповалов, приехавший из Дивногорска на своей, не служебной, машине. Я шепнул в ухо Диасу — он сидел справа от меня — воздержаться от разговора о рукописи моих рассказов, уложенной в скоросшиватель. Эти машинописные «нетленки» покоились на его коленях, стыдливо прикрытые свисающим подолом накрахмаленной скатерти. Не хотелось мне выдавать своё претенциозное хобби собутыльнику моего шефа, запасного майора госбезопасности, хвастающегося своей дружбой с лицами из местной гэбэшной охраны. А Шаповалов мог без злого умысла выдать меня на нашем очередном междусобойчике с участием моего гендиректора. В рассказах он представлял не в самом лучшем свете, пусть и под вымышленным именем. При случае он и так за застольями с приближёнными любил принизить мою компетенцию как технаря и производственника, называя меня, своего первого зама, то поэтом, то переводчиком. И не ценил самовлюблённый фанфарон того, что все его статейки в газеты, включая стенные, по его же просьбе взяв у него интервью, приходилось писать мне как бессменному редактору формально незарегистрированной многотиражки нашего научно-производственного объединения.

На предупредении о неразглашении моих опусов при Шаповалове Диас вроде бы кивнул головой в знак согласия. Однако, выждав минуту-другую и видя, что чаепитие подходит к завершающей стадии, прервал общий разговор, снял с колен и подал Астафьеву злосчастный скоросшиватель примерно со следующим комментарием:

— Вот Александр Васильевич книгу своих рассказов собрал. Может быть, вы посмотрите? Так, по-моему, ещё никто до него не писал.

Виктор Петрович взглянул на меня с интересом... или с досадой: много, мол, вас таких, неповторимых, ко мне навещается!.. И, вместо застольной читки и обсуждения вслух творений «тайнописца», с улыбкой отфутболил через стол белую пухлую папку в мои руки:

— Передайте это в редакцию альманаха «Енисей». Скажите, что я уже просмотрел. Пусть они составят собственное мнение, а там редколлегия решит...

В «Енисей» я рукопись не понёс — сдрейфил, по правде говоря. Публикация грозила тем, что с тогдашней престижной и денежной работой мне бы пришлось расстаться за девять лет до пенсии.

Ибо в ряде рассказов, кроме шефа, фигурировало много других легко узнаваемых персонажей из моей фирмы, порой замешанных в неблагоприятных делах. Глядишь, и самого незадачливого автора затаскали бы по партийным и прокурорским инстанциям за клевету и очернение советской действительности и подонков, пребывавших в белых одеждах обладателей «хлебных карточек» — партбилетов... Короче говоря, не исключено, что предоставленный мне шанс более раннего вхождения в литературу с подачи Диаса Валеева и благословения Виктора Астафьева мной не был использован.

К тому же предупреждённый мной Виктор Шаповалов, к его чести, данный им обет молчания не нарушил, тем более что сам вскоре уехал переводом на работу директором подобного дивногогорского завода — поближе к Москве. А некоторые рассказы из той папки в конце девяностых мной были всё же опубликованы отдельной книгой. По рекомендации Диаса Валеева и ещё двух казанских писателей — председателя Казанской городской организации Союза российских писателей (СРП)

Вилия Мустафина и Александра Воронина, впоследствии преемника Мустафина на председательском посту, — меня приняли в этот Союз. К глубокому прискорбью, с двумя поручителями, Вилем Мустафиным и Диасом Валеевым, мне и многим их почитателям пришлось навсегда проститься уже после кончины Виктора Астафьева — в 2008 и 2009 годах соответственно... Тем не менее, считаю, что и Виктор Петрович косвенно поспособствовал тому, что написанное мной «в стол» я привёл в порядок, сохранил и издал.

После знакомства в Овсянке мне доводилось ещё раза три видиться с Виктором Петровичем в официальной обстановке. Он, правда, меня не узнал, а напоминать ему о давнем чаепитии в его доме было бы смешно...

А в конце ноября 2001 года вместе с другими почитателями великого таланта и мне пришлось пережить глубокую скорбь прощания с Виктором Петровичем после долгого стояния под мокрым снегом в процессии, чтобы задержаться на бесконечные мгновения у его гроба в зале краевого краеведческого музея.

ДиН пародия¹

Евгений Минин

Сплошное наказание

Алмаз

*Вот-вот зацепится сознание за алмаз,
Уже подёмный ток властительно пространен...
Марина Саввиных*

Бывая в нашем ювелирном каждый раз,
Испытываю там сплошное наказание,
Когда цепляется сознание за алмаз,
То на него смотрю почти что без сознания.
А не купить алмаз — мне будет не до сна,
Властительно спешу я в кассу для заказа.
Когда же до сознания дойдёт его цена,
Отцепится оно от этого алмаза.

Глазносное

*Я глаза выношу на балкон...
Лев Роднов*

Получилось так, что испокон,
Осторожно и на весу,
Спотыкаясь, глаза на балкон,
Как хрустальную вазу, несу.
Образ жизни моей стал таков,
Я храню глаз прозрачную плоть,
А не то, начитавшись стихов,
Все глаза начинают колоть.

1. Пародии Евгения Минина, размещённые в этом номере, посвящены доблестной редколлегии журнала «День и ночь».

Александр Щербаков

Простите, милые «ЧИКИСТЫ»...

Из рассказов-воспоминаний

1.

Что-то потянуло душу на покаяние...

«Будьте как дети», — завещал нам Господь, по свидетельству апостолов-евангелистов. И, наверное, у самого последнего безбожника не повернётся язык оспорить красоту и мудрость этого завета. Ибо и впрямь: что может быть прекраснее детской души, открытой и доверчивой, чистой и полной любви ко всему окружающему — к родной природе, к людям, ко всякой Божьей твари? Однако логика мира сего, «лежащего во зле», и всей жизни нашей таковы, что за светом следует тень, продолжением человеческих достоинств выступают обидные недостатки, даже пороки, а милая детская непосредственность и любопытство порой оборачиваются сущими злодеяниями. Как ни трудно принять обронённую Пушкиным фразу о том, что «злыми бывают только дураки и дети», в ней, увы, содержится доля печальной правды. По крайней мере, я, оглядываясь на наше далёкое деревенское детство, невольно соглашаюсь с поэтом. Хотя бы и отчасти...

Допустим, по нашим ребячьим понятиям, среди несметной живности, населявшей окрестные доли, леса и озёра, водились не одни только «братья меньшие», но и явные вражины, заведомо обрекаемые нами на изгойство, если не на уничтожение. И в первую очередь к таковым относили мы змей, воробьёв и сусликов. Почему? За что? Ну, со змеями вроде всё понятно: одно слово, гады ползучие с жалами ядовитыми... К тому же предок их, Змий коварный, в эдемских кущах склонил прародителей наших Адама и Еву, в нарушение запрета Отца, отведать плодов со древа познания добра и зла, за что не только сами ослушники были навсегда изгнаны из рая и лишены бессмертия, но и всё их потомство до нынешних колен. А посему уничтожение змей представлялось, без сомнения, делом богоугодным, и те из нас, кто, рискуя быть ужаленным, осмеливался на него, считался героем.

Гонения на воробьёв тоже частично объяснялись их, так сказать, исторической виной. Любому шпингалету было доподлинно известно, что они предали когда-то самого Иисуса Христа. Не знаю уж, откуда, из какого апокрифа прилетела к нам

эта легенда, но она была весьма распространена среди нашего брата, и мы верили в неё как в очевидную истину. В то, что именно воробьи, эти пронзительные серенькие пичуги, когда распятый Сын Божий, умирая от крестных мук, уже поник головой, стали виться вокруг Него с криками «жив-жив! жив-жив!». Их поддержали голоса из толпы зевак, собравшихся на Голгофе. И тогда римский стражник для контроля пронзил копьём правое межреберье «Царю иудейскому», так что из раны хлынула кровь. И с тех пор воробьи, первыми настоявшие на подлome «контрольном выстреле», тупо долдонят, выбиваясь из стройного птичьего хора, всё ту же стукаческую песню «жив-жив!», иной им не дано. Возможно, по некоторому созвучию с нею и прозвали в народе «жив-живчиков» этих «жидами».

Но, кроме иудина греха, за ними водится и другой из разряда тяжких. Они отличаются особой вороватостью среди пернатых собратьев. Тут порою даже печально знаменитые сороки-воровки бледнеют перед ними. В чём каждый из нас убеждался не однажды, видя, как воробьи налетают на пшеничное зерно, рассыпанное на холстине в домашнем дворе для просушки, или на зреющие подсолнечные шляпы в огороде, до срока выклевывая семечки, а то и нахально таскают червей из банки зазевавшегося рыбака...

2.

Впрочем, в нарушениях заповеди «не укради», по нашему разумению, первенствовали всё-таки не они, а столь же вездесущие... суслики. Да-да, нам и в школе объясняли, что эти шустрые грызуны, питаясь семенами диких трав и культурных злаков, перед уходом в зимнюю спячку натаскивают про запас в норы, в специальные камеры, чуть ли не по ведру зерна, чаще всего — пшеницы. А поскольку сусликов на наших полях и косогорах обитало видимо-невидимо, то ущерб, наносимый ими колхозу, по грубым прикидкам, измерялся тоннами хлеба и многими тысячами рублей недовырученных денег. Если же учесть ещё и вред, который причиняли суслики хлебным посевам,

когда в начале июня выводили на нежные всходы своё новое потомство, чтобы подзаправить его витаминами, то условные потери можно смело удваивать. А кроме прочего, грызуны, как известно, могут выступать опасными разносчиками всяческой заразы, вплоть до чумы и холеры...

Словом, непримиримая борьба с подобными злостными вредителями казалась вполне справедливой и необходимой. И она всеми поощрялась. Сельсоветом, колхозным правлением — главным образом морально, а приёмными пунктами «Утильсырья», «Заготпушнины» — и материально: за сданные шкурки сусликов там платили пусть скромные, но живые деньги.

Среди селян были даже особые охотники, которые специально занимались ловлей сусликов. Мне памятно, к примеру, такие признанные «суслодавы», как Тимофей Потухин и Малах Маслобоев. Первый, правда, сочетал этот промысел с иными работами в колхозе, чаще всего сторожил избушку пятой бригады у Спирина озера, которая в страдную пору сенокоса и жатвы превращалась в шумный полевой стан. Тимофей, старый бобыль с рыжеватой сивой бородой, всё лето и осень жил там, считай, безвыездно, охраняя разную технику, подручный инвентарь, бочки с горючим, поварихин котёл на тагане и прочее, что оставляли работники в избушке и вокруг неё, уезжая ночевать домой. Дед ревниво исполнял свою сторожевую службу, не зря его в шутку называли ночным бригадиром.

Ну а с наступлением утра, с прибытием на стан косарей и жнецов он, чтобы не путаться у них под ногами, отправлялся на охоту за сусликами. Попросту сказать, шёл проверять капканы, которые были загода расставлены по сусличьим норам на близлежащих полях и косогорах. Капканов этих у него насчитывались десятки и, соответственно, трофеи исчислялись целыми дюжинами. К слову заметим, что тушки сусликов, освобождённые от шкурок, он обычно раздавал собакам, крутившимся у полевого стана, но иногда включал сусличатину и в собственный, так сказать, рацион питания. Да-да. Притом не от нужды (те послевоенные годы, при всей их скудости, уже нельзя было назвать голодными), а просто из природной склонности к чудачеству и куражу. Насчёт очевидной, на его взгляд, съедобности мяса сусликов у него даже была своя философия, не лишённая логики:

— А ты поразмысли-ка, земляк, собственным чердаком, — говорил он в ответ на смущение иного брезгливого собеседника, — над такой штукой. Все мы за милую душу трескаем, допустим, свинину, хотя сами не раз наблюдали, что хавронья, помимо пошла в корыте, лопают походя во дворе такое, что... А ведь сусличек питается исключительно травкой, семенами, зёрнышком пшеничным да ржаным... То есть хлебушком чистым. Смекаешь? Ну да, он не из парнокопытных. Так и зайцу, и самому

топтыгину Бог копыт не дал, но их почему-то едят и не даются. Кроликов вон даже разводят на подворьях и фермах ради мяса диетического.

И, выдав подобную тираду, неизменно добавлял как бы между прочим:

— Оно, конечно, всякое мясо, особо дичинку, надо уметь приготовить так, чтоб у едоков за ушами пицало...

И тут он, похоже, действительно знал, о чём говорил. Тимофей в молодости служил на Тихоокеанском флоте, даже участвовал в сражениях за Порт-Артур. Но при этом, как гласила деревенская молва, боевой матрос ходил в помощниках у... судового кока и потому был посвящён в секреты не только нашей, отечественной, но и восточной кухни, известной своей экзотичностью. И вот теперь, на старости лет, та поварская наука проявилась в нём, бобыль-горемыке, таким неожиданным образом.

Мы, сельская ребятня, прибегая искупаться и порыбачить на Спирино озеро, замечали, что в холодном его носке, где били невидимые донные родники, Тимофей держал в воде на низках из ивовых прутьев, словно карасей, сусличатинные тушки, ободренные и очищенные от внутренностей. Сначала нам думалось, что он просто хранит их в природном холодильнике, чтобы потом скормить собакам или сдать на колхозную звероферму, где разводили енотов. Но однажды моим приятелям Федьке Савватееву и Володьке Варварину открылось иное их предназначение. Заглянув в избушку, чтобы напиться из бригадной бочки-водянки, они застали там Тимофея за обедом. Он таскал из чашки беловатые кусочки мяса, нажёвывал их с хлебом, смачно обсасывая косточки и запивая чаем с пахучей душицей.

— Не хотите ль, бойцы, отведать курятинки? — гостеприимно предложил Тимофей ребятишкам.

Те не отказались. Присели к столу, взяли по кусочку-другому. На вид мясо впрямь напоминало куриные бёдрышки и окорочка, только были они размером помельче, вроде цыплячьих, и это несколько настораживало проголодавшихся гостей, однако отменный вкус блюда, приправленного лучком да перчиком, был вне подозрений. И лишь когда Тимофей, подмигнув заговорщиком, пустился в привычные рассуждения о том, что, мол, не важно, как мясо кричало при жизни, «куд-куда!» или «чик-чик!», а важно, в каком виде появилось на столе, ребятишкам всё стало ясно. Володька бросился к двери, и ему вывернуло нутро за углом избушки, а Федька, оказавшийся менее разборчивым в национальных «кухнях», лишь посмеялся над ним вместе с бывшим морским волком, подручным судового кока Тимофеем.

3.

В селе поговаривали, что изредка баловались сусличатинкой и другие любители экзотики, но

делали это скрытно, потому я не берусь судить, насколько подобные слухи были достоверными. Скажу только, что чаще всего они преследовали упомянутого Малаха Маслобоева, этого уже, можно сказать, профессионального зверолова, или суслодава, как выражались у нас. Малах, насколько мне известно, тоже в прежние времена не стоял в стороне от колхозных дел, работал, к примеру, сторожем и кормачом на звероферме, когда там разводили чёрно-бурых лисиц. Но потом ушёл на новые хлеба — подражался старьёвщиком в контору «Утильсырьё». И я более запомнил его именно в этом качестве. Он ездил на своей коровёнке, поджарой и шустрой, запрягая её в небольшую телегу с железными колёсами. Собирал по нашему селу и по соседним деревням всякое бросовое тряпье и бумагу, кости и рога. Сдатчиков одаривал разнообразной дефицитной мелочёвкой — от иголок, ниток, гребней до звучных рожков, надувных шаров и прочих детских игрушек. Каждый проезд Малаха по улице сопровождался отчаянным лаем собак. Одни сердито брехали из подворотен, другие облаивали целой стаей, поспешая за Малаховой тележкой, так что кучеру приходилось отбиваться от них хворостинной или бичом. Эту по-особому яркую псиную ненависть к Малаху догадливые люди объясняли тем, что он тайком отлавливал и душил одиноких собак, забредавших слишком далеко от своих дворов, а пушнину продавал любителям на тёплые дохи либо отоваривал «по месту работы» в «Утильсырьё». Кстати, зимой он и сам носил пятнистую собачью дошку из шкурок разного окраса, которые иным селянам напоминали о пропавших четвероногих любимцах.

Но всё же эти занятия были для Малаха побочными либо временными, а главным его промыслом многие годы оставалась ловля сусликов на окрестных полях, лугах и косогорах. Тут ему не было равных по размаху и знанию дела. Он имел несметное число капканов, которые возил в своей телеге целыми связками. Расставлял их обычно разом вокруг очередного хлебного массива и по всем примыкавшим к нему долинам и взгорьям, стремясь вывести селившихся там сусликов, по его слову, «под корень». И хотя правление колхоза не приплачивало ему, охотнику-сусличатнику, как, допустим, волчатникам за каждого истреблённого хищника, ни хлебом, ни деньгами, но, по крайней мере, смотрело сквозь пальцы на то, что он, увлечённый мелким звероловством, не вырабатывал положенного в колхозе минимума трудодней. Человек занимался общественно полезным делом.

Малах сдавал в «Утильсырьё» сусличьи шкурки буквально сотнями, выручая за них ощутимые по меркам тех времён деньги. Особенно когда в его капканы попадали, наряду с сусликами да бурундуками, зверьки с более ценным мехом — хорьки,

хомяки, колонки и горностаи. Хотя, по чести сказать, в основном жил-кормился Малах с женой и дочкой Стюркой, моей одноклассницей, не доходами с этого пушного промысла, а «с огорода» и с крестьянского подворья. Ловля сусликов, думается, всё же была для него скорее охотничьей страстью, нежели работой. Но, как говорится, охота пуще неволи. И славой первого сусличатника в округе он дорожил не менее, чем теми рублями, которые выручал за «мягкое золото».

Кстати сказать, мех сусликов, действительно отливающий золотом, был довольно популярен в тогдашние времена и пользовался покупательским спросом. В раймаге продавались добротные детские шубки и шапочки из рябовато-золотистых шкурок. Да и в нашем селе на головах ребятишек нередко желтели сусличьи шапки, спроворенные местными портными. Помнится, в газете, которую выписывал отец, я вычитал, что первенство в краевом соревновании по отлову сусликов держала соседняя с нами Хакасия, где за год было заготовлено более четырёхсот тысяч шкурок этих зверьков. Считаю — по штуке на каждого жителя бывшей автономии. По всему же краю счёт тем шкуркам наверняка шёл на миллионы.

Словом, охота на сусликов считалась вполне уважаемым делом, а не баловством. И крестьянские ребятишки тоже негласно соревновались между собою в истреблении злостных грызунов, воровавших зерно с колхозных полей. Не лишены были мы, дети природы, и той самой охотничьей страсти, да и рубли, выдаваемые за пушнину, живо интересовали нас. Тем более что они редко водились в семьях колхозников, работавших за трудодни.

4.

Ловить сусликов мы начинали ранней весной, едва они, бедолаги, просыпались от зимней спячки. Где-то в апреле, когда в логах ещё синевато белели лоскутья таявших сугробов, но на косогорах, на солнечных закраинах лесов уже по-весеннему шумели берёзы, под ветерком шевеля ветвями, и сухо шуршала прошлогодняя трава, мы ребячьей ватагой совершали первые походы по окрестностям села. Можно сказать, разведывательные вылазки «на природу». Определённых целей и заданий у нас не было. Однако на всякий случай мы брали с собою некоторый «шанцевый» инструмент: кто — лопату, чтобы попутно на оттаявших пригорках покопать солодковых корней и с удовольствием пожевать их, особенно лакомых об эту пору; кто — топор, чтобы сделать зарубы на оживающих под щедрым солнышком берёзах и отведать их мятно-прохладного душистого соку, а кто прихватывал и подручную посуду — бидончик, туюсок, чайник, надеясь набрать берёзовки впрок, принести домой в качестве лесного гостинца, «посланного зайцем».

Но нередко эта посуда использовалась и по другому назначению. А именно — для выливания сусликов из нор. Да, тот сомнительный вид охоты так и назывался между нами: выливать сусликов. И если на пути встречалась сусличья нора, по внешним признакам обитаемая, а неподалёку от неё находилось озерцо или просто лужа от тающего сугроба, то для владельцев ёмкостей тотчас раздавалась команда:

— Дуйте за водой!

И они «дули» наперегонки. Остальные спешно исследовали нору, ища вокруг неё возможные отнорки, через которые ушлые суслики обычно спасаются бегством от нависающей беды. От нападения своих вечных врагов — хорька, горноста или забредшей собаки, решившей разрыть заманчивую пещерку и слопать хозяина. Ну а ещё — от внезапного потопа, природного либо рукотворного, хлынувшего в подземное жильё. Отнорки эти мы старались перекрыть наглухо, заткнуть палками, пучками травы или закопать землёй.

И вот гонцы, возвращаясь один за другим с наполненными посудинами, начинали заливать основной ход. Вода с бульканьем и фырканием уходила в глубь норы. Однако суслики не торопились появляться из неё. Им ещё было где прятаться от наводнения. Длина жилого лабиринта с отнорками и камерами измерялась многими метрами. Так что водоносам приходилось бегать всё за новыми и новыми порциями. Бывало, если суслик выказывал себя, мелькнув на миг в глубине норы, но не спешил выскочить наружу, то кто-нибудь из нашего брата, пребывая в охотничьем азарте, стягивал с себя сапоги и с ними в руках летел босиком до ближайшей лужи, чтоб зачерпнуть в них воды и таким образом помочь главным выливальщикам.

В конце концов, несчастный суслик всё ж, как правило, сдавался. Мокрый, грязный, дрожащий от холода и страха, он выныривал из норки и, мечась по сторонам, пытался пуститься наутёк. Но возбуждённые охотники были бдительны и проворны. Они бросались за сусликом вдогон, топтали его ногами, плашмя падали на него, брали за горло и беспощадно душили в цепких пальцах. Участь зверька была ещё печальней и безысходней, когда ребячью орду сопровождали собаки. Они в драку хватили суслика у самой норы и прямо на наших глазах буквально разрывали его на куски. В большинстве обыкновенные дворняги, они не были приучены возвращать трофеи хозяевам. Да хозяева и не ждали, не требовали этого, ибо весенний зверёк не представлял для них никакой ценности, бледно-жёлтая шкурка его ещё не была «выходной», и за неё в «Утильсырье» не дали бы даже тех грошей, что выплачивали за летнюю пушнину.

Картины этих выливаний сусликов и жестоких расправ с ними по сию пору нет-нет да всплывают

перед моими глазами, отзываясь тягостным чувством вины и запоздалого раскаянья. Тогда же, надо признаться, особых сожалений о содеянном никто из нас не испытывал. Некоторым это даже нравилось, и они явно ликовали. Вылитые суслики обычно попадали в руки наших заводил-вожаков, благодаря их отменной ловкости, да и «атаманскому чину». Помнится, один из них сопровождал расправу над жертвой целым концертом, с приплясом и восклицаниями:

— Глянь, ребя, на польку «Маляш»! Во даёт чикист! Отоспался за зиму!

А при этом горемычный «чикист» (так называли мы сусликов за их резкие крики «чик-чик!»), душимый в пальцах атамана, хрипел, отчаянно бил по воздуху всеми четырьмя лапками, в предсмертной агонии извиваясь и дёргаясь мокрым тельцем...

Впрочем, и обыкновенная ловля сусликов капканами не отличалась особой гуманностью. Мы старались заниматься ею ранним летом, в пору междупарья, пока не подошли другие, более важные заботы: не поспели для сбора клубника и смородина, боярка и черёмуха, не зашумела жаркая сенокосная страда, а за нею и главная — хлебоборочная, где взрослые тоже не обходились без нашего участия.

И если на выливание сусликов, как сказано, отправлялись ватагой, то при ловле капканами чаще действовали поодиночке. И даже в некоторой тайне друг от друга. У каждого были свои излюбленные, заповедные места. Да и прочими секретами промысла мы делились неохотно, ибо «конкурировали» и негласно соревновались между собой, кто больше заготовит и сдаст шкурок.

Но, признаться, слишком удачливых добытчиков золотистой пушнины в нашем кругу не припомню. Тут мы явно уступали соседям с окраины села, обращённой к поскотине, где жило несколько выдающихся охотников на грызунов. Особо выделялся среди них Кузя Ильин, долговязый парень, чуть постарше нас возрастом, который в добычливости уступал разве лишь самому Малаху.

В нашем же околотке даже братья Филимоновы, Гришка и Колька, в разы обгонявшие других по числу капканов, вели счёт пойманных «чикистов» лишь на бунты (связки из двадцати пяти шкурок), но никак не на сотни, которыми оперировал голенастый Кузька. Ну а скромным дилетантам-любителям вроде меня и дюжина шкурок казалась солидной добычей, даром что половину из них приёмщик отбраковывал за порезы и прочие изъяны либо засчитывал по разряду сусличат-сеголеток, мех которых стоил вдвое меньше, чем «взрослый», где-то около семи жалких копеек за штуку. Хотя и такие доходы мне представлялись немалыми. На подобную сумму можно было купить пару-другую конфет, «черёмуховых подушек», или даже сходить в кино.

Свой десяток капканов я обычно расставлял по солнцепёчным склонам косогоров над Арсиным и Гуриным логами. И хотя не был в этих местах единственным ловцом, но без трофеев не оставался. Тут всегда встречалось на удивление много свежих нор, и, казалось, суслики в них не переводились. Это, наверное, объяснялось тем, что к здешним логам и угорам примыкали самые разные зерновые поля — от пшеничных и овсяных до ячменных и ржаных. И грызунам было истинное раздолье. Как правило, я настораживал капканы с вечера, а на следующий день старался проверить их до обеда, до наступления большой жары, чтобы не «протушить» попавшихся зверьков.

Правду сказать, их попадало немного. И в большинстве случаев они торчали в схлопнувшихся дужках капканов уже мёртвыми. Но бывало и так, что зверьки угадывали в эти клещи одной лапкой или задней частью туловища и долго мучались живыми. Тогда их приходилось добывать, что давалось мне с немалыми трудностями и сопровождалось отнюдь не светлыми чувствами и душевными переживаниями. А после одного случая, поразившего меня в самое сердце, я вообще забросил этот сомнительный промысел и подарил капканы своим двоюродным братьям Сафоновым — Петьке с Витькой, которые, впрочем, тоже не стали увлечёнными суслодавами.

А случай был такой. Июньским деньком встретился мне на улице Яшка Артамонов, один из моих приятелей. Поприветствовали мы друг друга, обменялись новостями, коснулись и ловли сусликов, бывшей в разгаре. Яшка хитровато заметил, что, мол, знает «примерно», где я ставлю свои капканы, но что это далеко не самые добычливые места, к тому же обловленные. А вот он «надыбал» один косогорчик — там нора на норе, и в каждой по семейству рыжих «шмуздигов», притом совершенно непуганых, сами «в петли лезут».

— В капканы то есть, — поправил я, решив, что приятель оговорился.

Но Яшка отмёл мою поправку:

— Да зачем таскаться мне с твоими капканами, греметь железяками? — брезгливо поморщился он. — То ли дело: навязал петелек из проволоочки либо из обловленного волоса, сунул в карман и потёпал на охоту. Сёдни поставил — завтра собрал. И никакой возни с попавшими живьём, никаких утащенных капканов... Пошли — сам увидишь, я как раз собрался проверить улов.

Яшка был постарше большинства пацанов нашей команды на пару лет, и ростом повыше на вершок, и в школе шёл классом впереди, но почему-то больше тянулся не к ровесникам, а к нам. Думается, потому, что любил верховодить, поучать других, водить за нос и разыгрывать особо доверчивых, «разводить лохов», сказали бы теперь. А таких лохов среди малолеток ему найти было

проще, чем между одногодками. Я знал об этом коварном свойстве Яшкиной натуры, не исключал и теперь возможного подвоха в его предложении, однако всё же согласился составить ему компанию. Любопытство взяло верх. Шибко уж хотелось увидеть воочию ловлю «рыжих шмуздигов» новаторским методом, как пренебрежительно выражался его изобретатель. Да и хваленые Яшкины места оказались совсем неподалёку — почти что сразу за поскотиной. Притом — аккуратно за нашим её участком. По заведённому порядку, каждому хозяину подворья отмерялась часть околичной изгороди, той самой поскотины, чтобы он следил за нею. И мне доводилось не однажды помогать отцу — поправлять её, наверное, ещё с осторожных времён освоения Сибири представлявшую собой канаву с земляным валом над нею и торчащими, как ружейные дула, концами прикопанных хворостин. Именно за этой нашей поскотиной, взбегавшей на косогор от Каратузского тракта, и ставил хитромудрый Яшка свои орудия лова.

Урочище, облюбованное им, в шутку называли Штаны, ибо отсюда, с гребня косогора, тянулись в стороны две размежёванные березником полоски пашни, похожие на штанины. Здешние перелески славились обилием грибов, особенно — белянок. И я сам из этих мест таскал их корзинами даже в сентябре, наведываясь после уроков. Но, выходит, не только белянками были отменно богаты Штаны.

Едва миновали мы ворота поскотины и стали подниматься по склону в сторону знаменитых Штанов, как действительно там и сям засвистели, зачикали суслики, вскакивая столбиками у своих нор или мелькая в жидкой нагорной траве. А когда мы подтянулись к основанию, к «ошкуру» Штанов, Яшка вдруг остановил меня предостерегающим жестом и каким-то хрипло-сдавленным шёпотом, не лишённым, однако, горделивой нотки, просипел:

— Смотри, смотри, как они приветствуют меня! Навытяжку и руки по швам!

Я глянул направо, куда указывал приятель, и увидел нечто совершенно необыкновенное. Там, заметно возвышаясь над травой, на расстоянии какого-нибудь десятка шагов друг от друга, словно бы парили в воздухе три сусличьи тушки с пушистыми хвостами. Притом и вправду вытанувшись, будто по команде «смирно!», и держа лапки «по швам». В эту минуту набежал ветерок, и трупки зашевелились, мерно закачались влево и вправо.

— Они на чём-то висят? — непроизвольно воскликнул я, путаясь в собственных догадках.

— Как «на чём»? На виселицах, известно. Я ж говорил про петли, а где петли, там и виселицы, — менторски заметил Яшка. — Пошли, убедисься.

Мы приблизились к первой норе с колебавшимся над ней трупиком, и Яшка было пустился

в разъяснение сути рационализаторского предложения, но я уж и без него всё понял. Идея зворолова-вешателя оказалась довольно незамысловатой. Он попросту взял да привязал петлю не к колышку, воткнутому у норы, как делали все мы, закрепляя капканы, а к изогнутому дугой талиновому пруту. Прут этот, толщиной в палец, комлевым концом был основательно всажен в землю, а другим лишь приткнут к глине перед норкой «на живульку». К нему-то и была привязана петля. Когда зверёк попался в неё и заматался, пытаясь освободиться, он вырвал эту вершинку; тогда гибкая трость мгновенно разогнулась и вздёрнула беднягу на аршинную высоту. Побился он в удавке с минуту-другую, бессильно похватал ртом воздух и присмирел, замер— «руки по швам»... Очень живо представил я всю эту картину, глядя на висевшего грызуна с недоумённо раскрытыми глазами, с торчавшим белоснежным двузубцем из пасти, разинутой, будто в безмолвном крике, и мне стало как-то не по себе.

— Дак ты сам придумал эту... казнь?— спросил зачем-то я.

— Сам,— ответил Яшка горделиво, но тут же, словно бы спохватившись, добавил:— И не казнь вовсе, а новый способ. Удобный, между прочим: и суслик долго не мается, и мне сразу видно, где кто попал на притужвальник. Да и вся шкурка целёхонькая, идёт по высшей цене. Не зря мой почин уже подхватили сусличатники с Задней улицы— Чуча, Кыт, Лялька...

Он перечислил по уничижительным кличкам пацанов из враждовавшей с нами компании.
— А наши?

— Из наших ты увидел первый. Можешь сам попробовать...

Однако я попробовать так и не собрался. Не смог. Яшкин способ мне явно не пришёлся по душе. Помню, даже и тогда, у Штанов, я не стал дожидаться, покуда Яшка обойдёт свои виселицы и соберёт в котомку всех повешенных. Сославшись на то, что отец, мол, велел проверить наш участок поскотины, я махнул Яшке рукой и стал спускаться с косогора вниз, от невольного чувства вины втягивая голову в плечи и всё убыстряя шаг, пока не побегал бегом, с прискоком, словно желая поскорее отдалиться и отделиться от увиденного «новаторства», более похожего на ночной кошмар.

Возможно, Яшка был прав, утверждая, что смертные муки сусликов в его петлях менее жестоки и длительны, чем в наших капканах, но всё же вид жалких тушек, вздёрнутых на виселицы вдоль косогора, отдавал, мне казалось, уже каким-то изуверством и палаческой изощрённостью.

Хотя, конечно, все мы были хороши. Потому-то и пришла мне на старости лет мысль написать эти покаянные заметки. Если можете, простите нас, неразумных «мстителей», и славные пернатые «жив-живчики», и милые пушистые «чикисты», невинно убиенные нами твари Божьи, в сущности, такие же, как и мы, грешные.

А насчёт пушкинской фразы... Думается, всё ж она излишне категорична. Дети скорее не злы, а наивны и внушаемы. Даже взрослые дети. Вот недавно мне приснилось, будто бы хлопец, похожий на Яшку Артамонова, радостно прыгает между своих ловушек-виселиц и приговаривает: «Сусличаку—на гиляку! Сусличаку—на гиляку!» Ну причём здесь злоба его, верно?

Сергей Кардаш

Вестник грядущего лада

Гений хэппинесса

Опыт современной мифологии

*Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
Создав, навсегда уступил меня року Создатель.
Я продан! Я больше не Божий! Ушёл продавец,
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.*

Н. Гумилёв

*Жить стоит только так, чтобы предъявлять
безмерные требования к жизни: всё или ничего;
ждать неожиданного; верить не «в то, чего нет на
свете», а в то, что должно быть на свете...*

А. Блок

Застольное песнопение

Ой да запируем
На раздольюшке мы,
Ой да сердцем запоём —
Разом обнялись мы все!
Ооо-ия-ийя-и-и-ийя...
Да поднимем мы бокалы
Да за новое дитя,
Чтобы светлая Рассеюшка
Прославлялась на века!
Ооо-ия-ийя-и-и-ийя...
Доброй светлюю росою
Угостим своих друзей,
Обогреем душу ласковой-
Преласковой любовью!
Ооо-ия-ийя-и-и-ийя...
Гости наши, лучезарные друзья,
Наливайте дополна,
Счастьем нашим и любовью
До краёв свои сердца!
Ооо-ия-ийя-и-и-ийя...

Непредсказуемый странник

(Пара фраз о заборе)

*...и все люди имеют глаза и уши...
но только мудрый внимает всему, как дитя.*

Лао-Цзы

Вряд ли вы помните тот колючий декабрь, декабрь
девяносто третьего, с такой же отчётливостью.

Из Ачинска увозили самую необычную из ког-
да-либо бывавших в нём выставок.

Мела пурга, свирепел мороз, расплозились суг-
робы. Раздобыть грузовик для переброски выстав-
ки назад в Красноярск не удавалось. Заведующая
городским выставочным залом В. Т. Ермолина
звонила с утра до вечера. И не по одному кругу.
Звонила день, другой, третий.

Снятые со стен полотна стояли в ящиках и
стопках почти неделю. Я узнал про это в случай-
ном разговоре по телефону. Тут же набрал номер
Валентины Тимофеевны и, на всю катушку ис-
пользуя «служебное положение» почти штатного
хроникёра выставочной жизни, попросил её об
одном исключении...

Назавтра я бережно, с часто стучащим сердцем
выносил картины из кладовой. К огромным окнам,
на бледный зимний свет, одну за другой. И подо-
лгу их рассматривал, вернее, впитывал, стараясь
оставить в себе навсегда.

Какая-то светлая окрыляющая сила влекла меня
к ним. Я буквально поглощал картины глазами,
всем своим существом. И — ликовал. Ликовал
оттого, что есть другой, чистый и радостный,
как сон, мир. Оттого, что этот мир прямо передо
мною. Он открыт, он доступен мне. Я становлюсь
его частицей.

Я уже знал, что буду писать, рассказывать лю-
дям об этих картинах. Но не думал, что буду жить
ими.

Это была первая по-настоящему самостоятель-
ная, независимая выставка, за которой не маячили
партийные силуэты, не стояла ни одна идеология,
кроме человеколюбия. Она пронеслась пьянящим
ветерком свободы, о которой мы тайно тосковали,
которой бредили в достопамятные времена стро-
горезимной жизни. Её не «сколачивали» в мини-
стерстве или каком-либо ещё центрально-столич-
ном ведомстве. Её не спустили, как директиву, по
наезженной вертикали «Москва — глухомань». Её
жизнь зарождалась иначе. Абсолютно иначе: не
по приказу, не по расчёту — по любви.

Всё началось с того, что один помешанный
на духовных исканиях петербуржец по имени

Анатолий Симкин явился в Красноярский культурно-исторический центр и заявил директору Михаилу Шубскому, что...

Здесь требуется пояснение. Симкин из тех редких людей, без которых жизнь превращается в тихую заводь, а потом и вовсе покрывается ярко-зелёной ряской. Он может одними словами вернуть вас к прозрачным истокам растерянных истин, разбудить к действию. Анатолий — человек-плотина. Он способен резко повернуть неодолимо-суетное течение вашей жизни в неожиданное русло или вообще вспять. Как в своё время, лет десять назад, вдруг взял да и перекрыл-перенаправил поток собственной жизни. Из благополучной оседлости в Питере — в бессрочное кочевье по России.

Вы, конечно, понимаете, что «вдруг» такие крутые перемены не происходят. Тем более если человек пребывает в состоянии постоянного поиска самого себя. Анатолий шёл по жизни, как по лестнице, — вверх. И на крупнейшем ленинградском предприятии трудился, силы пробовал. И в фотографии, несмотря на поздний старт, преуспел: от разрозненных снимков спортсменов, артистов и всего-всего, что удивляет молодой глаз, поднялся до тематических выставок. Он с радостью шёл навстречу каждой неординарной личности. Он был открыт настежь всем ветрам духовности, которые пёстрой толпой гуляли по российским просторам... И всё же в глубине души испытывал какую-то неполноту жизни — когда кажется, что самое заветное ещё где-то там, впереди... Слово услышав эти затаённые устремления, судьба уготовила ему встречу с Ростиславом Ивановым. Картины его потрясли Анатолия. Быть рядом с ним, разговаривать, смотреть, как он работает, Анатолий считал за счастье.

Он точно прозрел. Он как бы увидел, где, в каких недоступных обыденному зрению сферах сияет искомый смысл, смысл жизни. С тех пор Анатолий стал одержим одной идеей, одним устремлением — поделиться своим открытием со всеми. Он так и говорил: «Ростислава должна видеть вся Россия. Люди тогда станут друзьями». Как словом, так и делом. Оставив высокомерный Питер, он заколесил по стране, по городам её и весям. С новой фотовыставкой «Лик целителя» в коробках и с Ростиславом в сердце. Не знаю всех его путей-дорог, но однажды... Сибирь поворотом не объедешь. И однажды наш непредсказуемый странник объявился в Красноярье, в южных его районах, где проповедовал Виссарион. На своём вернисаже в Минусинске Анатолий пропел Ростиславу такой вдохновенный дифирамб, что в книге отзывов родилась требовательная запись: «Даёшь выставку Ростислава!»

И Анатолий дал (для него мечта — высшая реальность). Правда, не в Минусинске. Как истинный стратег, он сразу двинул на Красноярск. А что

было дальше, вы уже поняли: он «проник» в киц и заявил директору Михаилу Шубскому, что знает такого художника, от которого ахнет вся Сибирь. Он настроил здесь воздушных замков, он завоужил его сотрудников (не всех, конечно). Он заработал репутацию отъявленного прожектёра и нажил кучу неприятелей, но... Кто хоть раз слышал его поэтизированные прожекты, тот на себе испытал их гипнотическое очарование. Культурно-исторический центр переживал как раз мучительное перерождение, сбрасывая с себя «кожу» одного из многих филиалов музея имени Ленина, и без разговоров выделил шестьдесят тысяч.

Шестьдесят тысяч — на «одежду» и транспортировку картин. Даже по тем временам (начинался девяносто третий) это были невеликие деньги. Симкин ухватился за них, точно утопающий за соломинку.

Как снег на голову, свалился он в Невскую Дубровку на ошарашенного Ростислава, с ходу выдернув его из привычного ритма жизни. Основательно опустошив мастерскую и «запасники» художника (чердак с сараем), вдоволь намаевшись с негабаритным грузом, они отбыли поездом в Красноярск. И когда все сто сорок девять картин, от первой и до последней, расставили вдоль стен выставочного зала кица, Ростислав вдруг остановился в тихой задумчивости. В таком числе-количестве своё живописное «семейство» — вместе, под одной крышей! — он ещё не лицезрел.

А немного погодя... Получив от Михаила Шубского финансовую поддержку своих идей, Анатолий собрал в Красноярск близких по духу людей — кинорежиссёра Армена Зурабова, педагога-новатора Андрея Валявского, актрису Анну Смирнову. И устроили они разорительно-грандиозный праздник духовного единения, центром которого стали картины Ростислава Иванова. А когда праздник в Красноярске отшумел, Анатолий прибыл в Ачинск. С той же миссией: «Ростислава должна видеть вся Россия!»

И вот всё в прошлом, как ни странно. Со дня на день, как только найдётся машина, выставку увезут. Но впечатления, воспоминания о ней остаются с нами. Они отсеиваются, обособляются, живут своей достаточно сложной жизнью. Поутихнувший восторг подвижничества настойчиво вытесняют горьковатые наблюдения, которые прежде казались мелкими, случайными.

Ведь у нас (как, кстати, и в Красноярске) выставка Ростислава Иванова наткнулась на невидимый забор неприятия. Его «воздвигла» официально правящая культура. Забор этот страшнее древнего частокола. Его невозможно «перемахнуть», разломать. Он как призрачная крепость, которая рассылет во все стороны своих «лазутчиков», своих глашатаев с дурными слухами. Стоит знатному (и не очень) культпросветчиновнику будто

бы невзначай бросить кривое, как сабля, чёрное слово—и они поползли, эти слухи. И какой-то подозрительный недуг вдруг охватывает здоровое, крепкое дело...

Тяжёлая болезнь—местечковость. Свобода как таковая, как безграничность возможностей ей не нужна. Свобода нужна ей лишь как запретный плод.

Долго, полтора месяца, гостила-работала у нас выставка Ростислава Иванова. Но ведь не отда- ла людям всего, что могла, что в ней заложено. Мешал, препятствовал этот самый невидимый забор—забор неприятия. Холод шёл от него, только безжизненный холод... Одно спасение от этой напасти—чувствовать и говорить, говорить и чувствовать. Открыто, не таясь, всеми фибрами души.

Но больше всего меня обнадёживает, воодушевляет другое. Многие всё же посмотрели и соприкоснулись с выставкой не безучастным взором, а всей душой. И самое главное—картины отбыли не за тридевять земель, а в Красноярск, в наш Культурно-исторический центр, который стал для них родным домом. По настоянию Михаила Шубского музейный комплекс решил приобрести картины в собственность. Не под замком держать, выжидая, когда на Иванова возникнет обвальный спрос. Уже двадцать лет музей вывозит их в такие позабыто-позаброшенные места, в такие клубы, где художников, а тем более «разговаривающих» с Богом, отродясь не выдввали.

И дальше вывозить будет.

И не один десяток лет.

На пользу нам и потомству нашему.

XXI: предчувствие всеобщей любви

(*Анти-Дали*)

Если, Господи, это так,

Если праведно я пою,

Дай мне, Господи, дай мне знак,

Что я волю понял Твою.

Н. Гумилёв

У меня сто начал. Но начну, пожалуй, с того, что...

Ростислав Иванов не умеет рисовать как все. Как, к примеру, наше подавляющее реалистическое большинство, к которому мы привыкли, будто к неотъемлемой—только красочной, возвышенной—части нашего быта. Или как наше авангардистское меньшинство, так и не завоевавшее после выхода из подполья стабильную аудиторию даже среди интеллектуалов. Вы не встретите на его выставке пейзажей «Ну прямо как у меня из окошка!» или портрета, как две капли воды схожего с героем. Не найдёте и абстрактного ребуса, недоступного ни уму, ни сердцу.

Но если вы видели его «Незнакомку», «Ангела с лошадкой», «Виолончелиста», «Очищение» или «Закат», то ни в коем случае не усомнитесь, что

рисовать он умеет. И как все, и—как не все. То есть по-разному, в самых неподходящих, даже отталкивающих друг друга стилях.

Именно поэтому он представляется мне художником, который всё время учится рисовать. Который всегда рисует в первый раз. Который неудержимо постигает и, кажется, вот-вот постигнет себя—точнее, своё чувство-мысль. И обнажит его, как живое сердце на ладони. И озарит окрест вспышкой ослепительного самовыражения. И это чувство-мысль засияет всеми гранями и войдёт в каждого, кто остановился у его картины...

И дело вовсе не в том, в какой манере он пишет, какой традиции следует. Он покрывает свои работы такими непрерывными завитушками. Загадочно и озорно. Зачем? Для чего? Но походишь, покумекаешь... И осенит тебя, что все эти завитушки выходят из самой русской природы. Это же вылитое русское «О», которое лежит в основе всей нашей речи, всей нашей жизни! И которое художник видит повсюду и во всём.

Так вот, дело не в том, в какой манере он пишет. Дело в том, о чём он пишет. Насколько его герои похожи на реальных людей, на нас с вами (или, наоборот, не похожи). И в какой момент художник останавливает их жизнь навсегда. Их и свою: любовью художник автобиографичен. Воспевая других, он поёт о себе. Он пишет о том, отчего, как признавался Александр Вампилов, не спится по ночам.

Диапазон его творческого бытия невозможно ограничить конкретными точками. Он находится где-то на восходящей прямой Земля—Космос. А сам художник, подобно мятежному Икару, взлетает, мечется, парит на этом изначальном, ещё не свободном от земного притяжения отрезке Бесконечности. Парит, пытаясь открыть смысл жизни и вывести универсальную формулу Мира.

Ногами он на Земле. Но разумом, крыльями, всей бестелесной частью своего существа—в Беспредельности. И здесь, и там он ищет... Что же ищет он?

Вчера, в 1982 году, он повстречал Незнакомку. Она явилась ему из нежского тумана. И, не задерживаясь, исчезла в нём. Он даже не успел рассмотреть её прекрасные черты. А вернее, не захотел. Чтобы сохранить небесное обаяние этой реальной грёзы. Чтобы не разрушить его чёткостью графики.

И вот через него «Незнакомка» является к нам.

В посеребрённой у краёв полотна коричневатости морозного вечера её сокрытое наполовину лицо и высокий, почти фантастический головной убор проступают исчезающим облачком...

Но его славянскую душу явно не устраивает этот больше художественный, чем духовный опыт нежно-воздушного экспрессионизма. Несмотря на очарование таинственности, сильную зрелищную притягательность, он больше не повторяет этот

опыт ни в одном варианте. Хотя—все мы люди—на нём можно было построить целую шеренгу оригинальных опусов, стать модным, сколотить капиталец. Но он...

Он не находит удовлетворения в очаровательной недосказанности «Незнакомки». Ему нужна определённость. Не формы. Определённость идеала. И он ищет, он идёт дальше. А если учитывать предложенную мной траекторию его движения (Земля—Космос)—он летит выше. Он пишет серию женских портретов.

Они невелики, одноформатны: всего-то продолговатый прямоугольник сорок на шестьдесят. Дамы его сердца сидят в смиренности. Слегка наклонив голову. Опустив глаза. Несказанно прекрасные. Как не встать на колени, любуясь этой короной пышных волос, этим потоком тёмно-золотых струй, обрамляющих кроткое лицо на лебединой шее из прозрачного воска!

Не знаю, насколько они отражают реальных женщин, которые так неотвратимо вдохновили художника. Но все они как бы смотрятся друг в друга, «перекликаются» между собой.

Есть в них какое-то неуловимое на первый взгляд сходство, какая-то общность, какое-то единение... Нет, скорее—неизменность. Неизменность, которая не зависит от особенностей натуры. Которая не зависит от художника. Которая проявляется сама собой. Которая дана свыше.

Овал лица, изогнутые, взлетающие, словно крылья на взмахе, разводы бровей. Они сужаются и переходят в продолговатый мостик носа, длящийся до самых символических губ—двух крохотных лепестков...

Вот эта открываемая художником в каждом конкретном лице неизменность—неизменность Божественного—и превращает земные портреты в нечто возвышенное, вплотную приближенное к иконописным образам. Художник прямодушно говорит в названиях, во что именно они превращаются: «Лик в шляпке», «Женский лик». И, ликуя всей душой, искрясь счастьем, возводит женщину на одну ступень со святыми.

И они действительно, словно святые, наполнены светом неизмеримой любви. Кажется, эта любовь так велика, так сильна, так животворна, что способна очеловечить камень.

Глядя на женские лики, любуясь ими, вдруг не то что осознаёшь—всем своим существом ощущаешь, что такая Красота спасёт Мир. Но почему—«спасёт»? Такая Красота спасала, спасает и будет спасать.

В женщине он находит воплощение высшей любви—любви Создателя. Даже своего юного «Ангела с лошадкой» в ветвях радужной сирени—Ангела, принёсшего весну,—он наделяет женским лицом. Женщина у него связующее звено между Богом и земным миром.

И всё же художник ещё не произносит здесь ключевую «фразу» своего мироощущения. Хотя волна высоких переживаний нарастает, толкая его на самые рискованные поступки. В нём нарождается, его заполняет, его переполняет образ Мадонны.

Дерзкий замысел (во все времена, для всех художников) захватывает его в 1986 году. Когда мы ещё не обладали такой свободой суждений и высказываний, как сейчас. Когда многие темы были просто закрыты. А уж эта тема—религиозно-нравственная, философская—вовсе была за семью печатями. Но!

Он всё равно говорит.

Он говорит запретное.

Он хочет быть предельно понятным. Для всех.

Он занимает всё полотно, снизу доверху, двумя фигурами—матери и дитя. Двое—и больше ничего. Двое на небесно-голубом. Но они не сидят рядом—как на десятках, сотнях прославленных картин прошлого. Они словно застигнуты «фотоглазом» художника в самый волнующий миг судьбы.

Ростислав Иванов уходит от вековых традиций—от классической композиции, от строгого назначения и местоположения каждой фигуры, от канонического подтекста. Уходит, разумеется, невольно—под натиском сегодняшних впечатлений, жизненных обстоятельств, творческих воззрений.

Мадонну он увидел в обыкновенной женщине. Она объята тревогой, она в смятении. Случилось что-то страшное. Может быть, репродуктор «взорвался» известием об афганской войне. Или на город обрушился жуткий слух: на атомной станции ночью вспыхнул реактор... Замерло сердце матери. И как раз в этот миг перепуганная дочурка в слезах залетела в дом, с разбегу ткнулась в грудь.

И прижала она её к себе. И слились они в одно целое, как когда-то. И так стало ей невыносимо от страшной мысли. Закрывает глаза: «Что ждёт тебя?! Кто спасёт тебя в этом кошмаре?... Только я, только сама...» И приняв её, и сокрыв её, она возвышается над ней символом спасения.

Овальная пластика художника становится здесь ещё мягче, ещё плавнее, чем в ликах. Она расширяется до круга, словно стремясь вобрать в себя всю бездну распирающих художника чувств и мыслей.

Посмотрите, как бесхитростно, как естественно низводит он свою Мадонну на землю, в современность. Он облачает её в этакую пышную самовязаную шапку, распространённую в то время среди простых женщин. Но рисует её такой неправдоподобно огромной—буквально поднимающей, возвышающей её обладательницу куда-то вверх, что... Контур шапки превращается в подобие нимба. А если увидеть, что этот странный головной убор белого цвета отликает прозрачной изумрудностью... А небесная лазурь, в которую он упирается, светится изнутри... Если вы всё это увидели, остаётся обнажить голову, встать

на колени. Перед Мадонной наших дней. Перед художником, её творцом. Который, по-моему, достигает невозможного. Который с помощью самого прозаического предмета приземляет свою Мадонну-современницу в конкретное историческое и даже бытовое время. И тут же, этим же способом, этим же предметом ставит её вне времени, возвышает до Богоматери. О великая сила и взаимосвязь запрета и иносказания!

Зачем решился он на этот шаг — зачем прикоснулся к величайшему сюжету мирового искусства? После великих художников всех времён и народов?

Ну что ещё может он сказать?! Он, сын двадцатого века, заблудшего в пустых и высокопарных самоопределениях, века, растоптавшего не только остатки гармонии, но и даже надежду на неё?.. Какое слово он может вставить, какую мысль произнести — какую краской дополнить сиятельную палитру двух тысячелетий?..

Слово это вне законов обыденной логики.

Не картины он пишет. Он иконы творит. На мирском материале, который для него святым является. А затем выносит их на улицу, к людям. В храм вечный, поднебесный. Доступный всем — и верующим, и неверующим. Выносит с одной страстью. Он говорит духовно бездомным, он говорит необретшим и потерявшим смысл жизни об изначальном назначении каждого: в Женщине — величайшая тайна Мира — новая жизнь. В Матери — средоточие высшей любви, любви Бога. Каждая Мать — Богоматерь. Каждый ребёнок — дитя Божье, Богочеловек. Он вестник, вестник грядущего лада...

Я перечитал последние строчки и замер. Какие сложные материи! Какие высокие слова! Какие рискованные выводы!.. Может, я вижу то, чего нет? Может, художник так не думает? Но сомнения покидают, а высоких мыслей не стесняешься, не боишься, когда приближаешься к «Бутону».

...Посреди ковра Земли, который начинается лужайкой на лёгкой возвышенности и уходит через эскизно набросанные озёрно-лесные дали к потемневшим небесам... Посреди этого всецветного ковра Земли вырвался из недр её пышно-зелёный цветок причудливой формы. А на нём, как на троне, восседает женщина. Даже не восседает — вырастает из него, вырастает ещё одним — воздушным — цветком. Она в ниспадающих фиолетовых одеждах. Плодородный живот её подобен земному шару. Голые руки воздеты... Это — «Бутон».

Художник безотчётно экспрессивен в этом почти электрическом разряде искренности. Он будто бросается в порыве выражения из бесчувственно-сонливой действительности в безусловно свободную от предрассудков реальность чуткого утреннего сновидения, где всё невозможное в жизни — более чем возможно.

Он будто навсегда забывает вьёвшиеся в кровь формы, масштабы, соотношения. Он соединяет, он

роднит земнологически несовместимое. Плотское и эфемерное (человек и цветок). Пространство земное и запредельное, недоступное. Сознание утилитарно-низкое и ассоциативно-безграничное... Беременная женщина превращается в раскрывшийся бутон — символически-единственный на его Земле — и вырастает в Мирозданье. Небо над ней синее, чернеет и уже через сантиметр холста «дозревает» до космической глубины. Зелёная трава может быть с равным успехом белой, розовой, голубой... И в таком композиционно-живописном контексте цветковые алогизмы не выглядят «нелепым придумом для пушного эффекта». Это естественное условие, «правило» игры, без которого игра просто бы не возникла.

А в поразительной (во всех отношениях), по-детски безыскусной фантазии «Вокруг солнца» голые люди птицами парят и кружат в небесном океане, поднимаясь по спирали всё выше и выше.

В этом творении, в этой исповеди Ростислав Иванов не оставляет разделительного «зазора» между замыслом и воплощением, между идеей и образом. Строгая, выстраданная простота. И в построении, и в цвете. Никаких усложнений, спец-эффектов. Никакого декора.

Солнце — светло-зелёное. Пространство — лазурное. Люди — розовато-золотистые.

Засмотревшись, каждый подумает: мужчины это или женщины? Художник рисует их бесполоми. С какой стати? Для чего? Может быть, для того, чтобы «выключить» наше зацикленное сознание из системы вульгарно-бытового восприятия. Перед нами не мужчины и не женщины. Перед нами — просто Человеки. Художник обобщает, возвышает форму человеческого тела до внеземного идеала. До абсолютной естественности, до полной раскованности, свободной даже от земного притяжения. До полёта вокруг Солнца.

Нет, правда: к чему больше всего тянется с самого рождения росток человека? К свету, к Солнцу! А засыхает этот росток от самомнения, зависти, лени... Так и не дотянувшись до Солнца, не воплотив мечту.

Так для чего мы есть? Для чего мы приходим в жизнь? В это голубое безграничное пространство?

Даже Юрий Левитанский, гений «перевода» извечных философских проблем бытия на язык поэзии и жизни, в своём фантазмагорическом стихе «Сон о дороге» оставляет открытым этот первостепенно «проклятый» вопрос человеческого сознания:

...А потом дорога опустела,
лишь трава
тревожно шелестела,
и звезда полночная блестела,
грустно вопрошая:
— Для чего?

А вот Ростислав Иванов находит ответ — не только находит, но и преподносит его в самой доступной форме.

Я не противопоставляю двух художников. Каждый мне дорог и незаменим. Я говорю о миропонимании и мировоззрении, о направленности и дальности взгляда. О дальности зоркости.

Вы посмотрите без высокомерия, без предвзятости на это кружение, на этот бесконечный танец Человека в бережном согревании светила. Это радость. Это ликование. Это — счастье!

Ведь как просто... Человек приходит, чтобы жить. Приходит вот такой же голый, как на картинах Ростислава, и чистый, как сама Природа. А потом начинает отгораживаться от неё. Напяливает на себя одежды, привычки, машины, надменность, власть — а с ними тревоги и болезни... Зачехляется, бронируется, возвышается... И не желает уже знать, откуда он, из какого Чрева.

Ростислав Иванов чужд какой бы то ни было назидательности. Но в этой показательно-понятной картине он открытым текстом передаёт лично вам, мне, всем сигнал к спасению. Он призывает нас опомниться. Опомниться и обнажиться. Как всегда обнажена Природа. Призывает вернуться к ней. Только в обнажении — духовном и телесном — можно ощутить Её траву и листья. Только кожей, только каждой клеточкой. Иначе не почувствовать Её боль — боль, приносимую человеком, забронированным в многослойные «доспехи» цивилизации. Иначе никогда не достичь единства с Ней. Иначе не быть Ладу. Иначе конец.

Не знаю, насколько сам художник воспримет мою расшифровку его изобразительной «азбуки Морзе». Но сейчас я, кажется, понимаю, почему он не умеет рисовать как все.

Вся его живопись — это фантастика. Совершенно ненаучная. Это фантастика чувств. А сам он — по складу души, по эволюции на сегодняшний день — философ-мечтатель. Я даже позволю себе не совсем подходящее для столь торжественного момента улыбочное (но очень русское) сочетание: он — философ-гармонист. Ладоискатель. Гармония — его высшая религия. В неё верует он. Не смотря на все препятствия — на «провокации» повседневности, на унылых прагматиков, на колючих скептиков (которые разуберяют стойка и размячат гранит), он находит гармонию в конкретике жизни. И показывает, и доказывает своими трудами её неуловимое, незримое присутствие среди нас, в нас самих. «Смотрите, родные мои, как всё просто: вот она!» — как бы восклицает Ростислав.

Он находит, открывает гармонию в абсолютно противоположном — в хаосе, столкновении, разломе. Я никогда не забуду оптимистическую безысходность его «Противостояния».

Да и как забыть эту грудку яростно схлестнувшихся в фиолетовом сумраке «стенка на стенку»

мужей сверхбогатырского телосложения, которые занимают почти весь объём симметрично раскроенной картины? Эти, с одной стороны, белые, седовласые, мудрые головы, с другой — чёрные, горячие, безрассудные. Эти — даже не греческих бегунов и не атлантов — чудовищно-мощные, столбовые ноги, действительно могущие держать сам небесный свод...

Углавной изобразительной пары первого плана они вырастают из-за полотна и ближе к центру образуют что-то вроде арки. Арки, под которой безмятежно играет на разноцветной траве, растопырив ножки, склонив набок голову, хрупкий прозрачный мальчик в белом.

Не хочется ничего объяснять. Всё сказано. Всё.

И точно так же не хочется растолковывать, «наполнять» смыслом изображение «Лику России».

Они стоят перед нами в полный рост, мы с ними лицом к лицу. Ближе всех, в правом углу, у самого края, — вперёдсмотрящий Порфирий Иванов, подаривший нам (и всему миру) гениальную по своей простоте и эффективности науку о здоровье — систему жизни в природе, в которой отразилась этика главных религий человечества. За ним — в раздумье уронивший голову на грудь великий изгнанник Александр Солженицын...

Заглавные персонажи святоподобны. Они олицетворяют целомудрие и великотерпение непонятых и отвергнутых. Непонятых, отвергнутых и всё же достойно ждущих перед народом и вместе с народом своего часа.

Тернист путь пророка к своему народу. Хотя вернее было бы сказать: путь народа к своему пророку. Но теперь мы знаем: есть пророки в своём Отечестве! Надо только открыть глаза и души им навстречу. Как это сделал Ростислав. Когда написаны «Лику России»? Уж и не вспомнить. Но как провидчески написаны... Час пробил. И для Порфирия Иванова, и для Александра Солженицына. Оба они с народом, в самой гуще его. Их светлыми мыслями живут тысячи, десятки тысяч.

Седовласый Порфирий с телом юноши предстаёт перед нами ещё раз: крупным, почти портретным планом, на огромной черепахе, панцирь которой напоминает глобус, среди широкой, как море, несущейся реки с дальним бурно-зелёным берегом... Что это за аллегория? Какой заряд она несёт? Может быть, это и есть Истина? Обнажённая Истина на корабле Мудрости (черепаха) в потоке Времени на пути к исчезнувшему и возникающему из небытия материку по имени Русь.

Как человек Ростислав Иванов во власти православия, как художник — во власти иконописи. Его мужские портреты «Поэт», «Праздник духа», «Осенний лик» изображают вполне обычных людей. Но они на пути к Богу. Путь суров. И мужественны лики. В них страданье, скорбь и — Вера.

Тёмно-коричневые, смоляные пряди с высокого чела («Поэт»). Полулуговой разлёт бровей. Огромные опущенные веки. Полукругом, почти в пол-лица. Под ними исстрадавшиеся глаза. На всём — тень высочайшей печали. Во всём — напряжение духа. Напряжение духа — через напряжение графики. Любимые овальные формы художник доводит до предельной крутизны.

Сколько раз, опустошённый, я точно так же обращал своё лицо к небу, к Господу в тяжкую минуту духовного смутнения. Сколько раз просил помощи, жаждал очищения... И очищение наступало. Такое же пронзительное, всеобъемлющее, как в «Осеннем лике», где глаза героя — бездонные озёра просветления.

Лики — целая страница в творчестве Ростислава. Но лики — лишь подступы, ступени на пути, на восхождении к центральному образу иконописи. И он рождается. Как неминуемое. Как взлёт окрылённой души. «Спас». Рождается и становится центром поиска, судьбы. И, конечно же, центром споров. Так — или не так? Получилось — или нет? Имел право — или не имел?..

«Спас» Ростислава Иванова отличается от канонов старого и нового времени. Он выношен и сотворён русским человеком двадцатого века. Человеком, переживающим христианство и личность его основателя как собственную жизнь.

Его «Спас» — не очередная вариация общепринятого абсолюта любви, смирения, жертвенности. Это отражённое в лике Христа воински-суровое Добро. Добро, омрачённое изнурительной борьбой со Злом на протяжении двух тысячелетий.

И это не умозрительный пассаж — это обособное впечатление. В общем колорите образа напряжённые, сумеречные краски имеют почти такую же долю, как и светлые.

«Спас» Иванова — это «Спас» конца двадцатого века. «Спас» трагического времени. Времени последнего выбора. Или — или. Или с Богом — или с Дьяволом.

В прямом, в неизбежном взгляде ивановского Христа в ваши глаза всего один вопрос: с кем ты?

Ой да запируем на раздольюшке мы!

(Россия без мглы)

Пусть Ростислав Николаевич со своими картинами никогда не умирает!..

Мальчик шести лет

«С кем ты?» — спрашивает Христос.

И каждый из нас рано или поздно должен ответить. Не на Страшном суде, а здесь, сейчас, на земле. «С кем ты?» — вопрос смерти и жизни. Или мы выбираем Зло — и гибнем во вражде и войнах. Или навсегда отречаемся от силы, зависти, мести. И делаем наш двадцать первый век веком Добра,

веком Всеобщей Любви. Делаем его таковым своими руками — как Ростислав.

«С кем ты?» — этот вопрос художник прежде всего задаёт самому себе. И отвечает на него всеми своими картинами. Вернее, всеми своими творениями. Он ведь не только художник, но и стихотворец, скульптор, сочинитель песнопений на древний лад, танцовщик — словом, возродитель древнерусской музыки и танца.

Я не готов пока полностью охватить уникальную совокупность его талантов и занятий. Но рассказать о самой сути считаю кровным долгом. Не перед Ростиславом, который, как истинный христианин, безмерно отдаёт себя всего ближним и дальним, не требуя и даже не ожидая отдачи (как это делаем сплошь и рядом мы с вами). Считаю это своим долгом перед нашими людьми, в которых, я уверен, тоже в избытке живут зачатые русской землёй-матушкой многие неперечисляемые дарования. Но неразвиты, затравлены, забиты они десятилетиями низкой жизни под страхом голода, уничтожения, выживания.

Ростислав Иванов живёт... как бы это вернее выразиться?... Ростислав живёт не телом, а душой. Не сразу так случилось. «Душа обязана трудиться и день, и ночь», — сказал поэт. Но до такого идеального состояния, до такой работоспособности она должна дойти, вызреть, вырасти. Душу свою Ростислав не жалел. И она прошла с ним тяжкий путь самоискания. Что значит — «прошла»? Она до сих пор в этом пути.

Он вовсе не потомственный художник, рождённый в радужном сиянии палитры. Он поднялся к свету не в какой-то личности чистойшей творческой семьи, в которой и думать-то о хлебе насущном не принято.

Наоборот. Он точно самооткрытый самородок.

Хлебнувший горького до слёз, но и познавший добро полусирота, он прикоснулся к краскам в суровости детских домов под Томском. Рисовал, вспоминает, до рези в глазах. До устрашающего запрета врачей.

А вообще... Включу-ка я запись. Пусть Ростислав скажет сам. Своими словами.

— В детстве я любил свободу... К учёбе, честно говоря, относился с прохладцей. Полюбил стихи Лермонтова. Писать — не писал, но сочинял, играя словами, устно... Мечтал быть поваром, матросом, врачом, музыкантом, танцовщиком ансамбля Игоря Моисеева... Всего и не упомянешь. Был мечтателем-одиночкой. Компании не любил, но дружил со всеми. Помаленьку искал, нащупывал себя.

Юность без нянек, без ласки не ждёт подсказки. Едва осмотрелся после детдома на новом месте, в Колпашевском сельхозтехническом училище, — и с головой ушёл в самодеятельность. В танцы ударился. «Рисовал» собственным телом

в воздухе-пространстве. Да так самозабвенно, что Колпашевский дж стал для Ростислава трамплином в хореографию.

Только обжился после училища на Украине, в Жданове, только привык к рычагам заводского трактора, как... Ушам своим не верил: его приглашали в Ивано-Франковск, в гуцульский ансамбль. На профессиональную сцену.

Он протанцевал восемь лет. Он взлетел в своём па-де-де до театра оперы и балета в Донецке.

И вдруг очнулся.

Увидел однажды в самом деле народный ансамбль. Из Америки. И точно прозрел. Понял, что уже треть своей жизни танцует по-французски. А не по-народному, не по-славянски.

Что было, что он чувствовал в этот решающий момент судьбы—я в точности не знаю, могу лишь догадываться. Но он круто развернул судьбу на полном скаку.

Мы даже в сторону боимся свернуть с наезженной колеи. А он ринулся назад, в юность. По всем правилам, гнать лошадей в обратный путь без остановки, когда тебе под тридцать, глупо. Но Ростислав внимал не правилам, а исключениям. И ещё сердцу своему.

Великовозрастным, как Ломоносов, подался он за знаниями в Донецкий университет. Преодолев полных три курса, переметнулся... в Ростовское художественное училище имени Грекова. Это было что-то среднее между «поступил» и «устроился». Учиться «перезрелый» мог при одном условии: если будет работать. Здесь же, в училище. Натурщиком.

В таком ритме, работа—учёба, пронеслось два года. И опять ощущение утраченного времени. Опять разочарование: что искал—не нашёл. И опять рывок в неизведанное.

В Пензе, в художественном училище имени Савицкого, он задержался на три года. Ростислав за точкой зрения в карман не лез, спорил без оглядки (это не значит—во всё горло). Он не зарабатывал перед юнцами авторитет коридорного ниспровергателя, не митинговал, не объединялся в общества. Хотя мог. Опыт возраста. Дерзость взглядов. И вот однажды...

В сотый раз наткнувшись сомнениями-догадками («А ведь можно иначе!») на полную глухоту корифеев рисования, он развернулся от академий на сто восемьдесят градусов. Чтобы не бросить живопись. Чтобы не похоронить себя под разглаживающим прессом великих учений. Чтобы писать по-своему.

Он решил идти за истиной без поводья, в одиночку.

Что вело его? Вела его—по выражению, по терминологии Н. К. Рериха—мысль творящая. Всеобщая—вечная, эфиром разлитая по всему Миру и—благодатным вызревающим зерном занесённая

в него самой Жизнью. Та самая, из которой в учении Николая Рериха рождается наиглавнейшая сила человека—«великое понятие Прекрасного»: «...где явлена мысль творящая, там нет страха за будущее. Эта творящая мысль, украшенная всеми основами, всеми красотами созидательных законов, ведёт человечество ввысь, готовится к принятию эволюции...»

В то благословенное время третьей молодости он не работал лишь во сне (и то вряд ли). Рисовал, можно сказать, всё подряд. Если сосчитать наброски, он должен быть десятируким.

Он ходил по Питеру и хватал, впитывая через себя в бумагу всё, что, как он говорит, «якорило» душу.

Милиция тогда надёжно «охраняла» все эти бродячие художества. А он мозолил глаза, как какой-нибудь... Люди слетались к нему, будто железные опилки на магнит. Его прогоняли. Он не уходил. Его повязывали. Он—объяснял. Что искусство должно жить не в музеях, а среди людей. Что оно должно быть средством общения, понимания...

Прибавьте к этому: он писал взахлёб. Одним напором от начала до конца. Когда финны делали про него фильм, он расписывал огромное панно—десять на десять. В субботу, к трём часам, закончил рисунок. Нанёс первые мазки. Гости сняли—как начальный момент. Режиссёр спросил у Ростислава, через сколько дней приехать. На готовое, законченное, чтобы продолжить съёмку. «Завтра, так же»,—не моргнув глазом, ответил Ростислав. Конечно, не поверили. Назавтра ехали не торопясь, с опозданием. Но в воскресенье, в три часа, Ростислав наносил последние мазки под прицелом объектива, а финские друзья готовились к откату камеры на общий план.

И сейчас он пишет, творит, живёт на одном дыхании. Поэтому картин у него столько, что... сам не знает сколько. Было время—он их складывал в сарае. Как дрова. Представляете?!

После одной выставки у него «увели» целый грузовик. Считай, всю экспозицию. Портреты артистов, балетные сцены. Он как раз «болел» театром.

А если собрать всё подаренное друзьям, близким... Нет, теперь это невозможно. Гиблое дело. Столько не собрать.

Я лишь пунктиром обозначаю зигзаги его не сразу понятных исканий. Превратить же штрихи в чёткую непрерывную линию нам поможет взгляд в прошлое самого Ростислава Иванова.

— Уже тогда, в ученичестве, я понял: наше искусство перерождается на итальянский манер через чистяковскую систему обучения,—рассказывал он в первый день нашей встречи.—Взять русский примитивизм. Где он? Его нет сейчас. А это была как раз та творческая школа, что давала нам

наш, российский дух. От неё... от неё расцвела душа человека. Но где и когда учили русскому примитивизму?! Нигде... Вот я и занялся самостоятельно практическим изучением формы и цвета. Я искал вокруг и переваривал в себе всё изначально, природно русское. Мне открыли глаза изображения Иисуса Христа. Изучая иконопись, её символы, я пришёл к таким образам, которые позволяют тебе развернуться полностью. Развернуться не на логической, а на подсознательной основе. Только подсознание даёт глубокое раскрытие индивидуального таланта. А школы наши отесняют и огрубляют тот настоящий дух, с которым рождается человек. Знаю по себе. Я пришёл к полному самовыражению, помыкавшись, не сразу...

Ростислав говорит без позы, без эффекта из желания понравиться. Он сбивается, замолкает на мгновение—как бы ищет верные слова. Ищет не для того, чтобы похлеще да помудрёнее выразиться, как чаще всего бывает при растянутом речевом строе. Наоборот, чтобы сказать понятнее.

Взгляд у Ростислава пронизательный, цепкий—но это сверху, а в глубине доверчивый, по-детски открытый, даже наивный. Он его не отводит в сторону, не прячет лишь бы куда—нет в нём недоброжелания нисколько. И говорит он словно бы в такт глазам—тихо, без нажима, без навязчивости.

И так его слова впитываются, так доходят... Таких бы учителей нашим ребятишкам. Таких бы отцов.

—...Я пришёл к полному самовыражению не сразу, пришёл через поэзию, через музыку, через танец. Не удивляйся... Вот, допустим, я много лет уже занимаюсь звуком. Звуком как исцелением, терапией, как способом раскрытия и развития таланта. У меня было много встреч с самыми разными людьми. Они приходили в мою студию. У нас появились поэты, голоса, певцы. Я построил звуковую систему, в которой человек открывает себя, свои способности через непосредственные резонаторы энергетических знаков тела... Отслаивается всё наносное, он начинает слушать свою природу. Пройдя все уроки, все ступени самораспознавания, он может начать петь от любого звука. Может сочинять вокальные произведения—как бы прокатываясь по своей изначальной, заложенной в нём звуковой структуре...

Прерву монолог на самом интересном, чтобы подметить его чрезвычайно практическое значение. Это не теория, не рассуждения. В этих словах спрессован конкретный, почти десятилетний опыт.

В 1983 году Ростислав организовал при клубе городской песни свою первую студию. Его педагогическая силища оказалась такой плодотворной, что вскоре из студии возник ансамбль «Белун». Он вырос и созрел именно на звуковой системе Ростислава, на его знаменитых песнопениях. Их

непохожесть, их древнерусский дух и колорит принесли ансамблю признание не только в Ленинграде. «Белун» показывал своё искусство на фольклорном фестивале в Шотландии и просуществовал до 1992 года... Но продолжим слушать Ростислава.

—...Звук, он, ты знаешь, всесильный. Звук ведь явление нераспознанное. Я, наверное, один у нас в России занимаюсь звуком как духовной практикой. Поле деятельности тут... необозримое, поверь. Мы собираемся в круг. Здесь вот, допустим, посередке, большой. Мы поём, посылаем ему звук. А он принимает. И звук лечит, исцеляет. Самые разные, самые сложные недуги...

Ничего сверхъестественного тут нет. Звук всё может! Вот я недавно читал статью «Поющее море»—в копилку моего опыта. Учёные выяснили, что это поют киты! Они всё время, оказывается, поют! Когда с китом начали общаться, он уже через две минуты показал себя таким одарённым музыкантом...

А человек—тем более! На звуке столько всего основано, столько держится. Человек для себя через звук очень многое может сделать. Но неразвиты, замурованы у нас эти резонаторы. Вот я и показываю в нашей студии, как разбудить их и вернуть к полнокровной жизни.

И точно так же обстоит дело в любом другом искусстве—поэзии, допустим, или скульптуре...

Всё очень, очень просто, если найти, если открыть корень. У нас в школах, в училищах, институтах всё так усложняют, что голову свернёшь. А вся причина в том, что идут от внешнего, от формы. Но если изучать суть, а не вокруг да около, то полтора-два года хватит вот так, до маковки!

Взять живопись. Мы смотрим картину. Смотрим и думаем: а что художник хотел сказать? А у нас не голова должна работать!!! Сердце должно раскрываться... Стих мы должны прочитать, спектакль просмотреть. А живопись—Леонардо не зря называл её королевой искусств—живопись действует сразу, мгновенно: хоп!—и ты в плену! Поэтому в своём восприятии надо стремиться не к логическому мышлению, а к чувственному, сердечному. Если бы будем идти через эту лабораторию, через чувственную, мы достигнем невероятных успехов.

Когда творишь на подсознательном уровне, сердце и мозг соединяются, вступают в гармонию. Замысел, цель, форма, всё прочее выходят из тебя, из души твоей сами собой. Их нельзя разделять, объяснять поодиночке—это самая чудовищная ошибка, которая сбивает с толку молодых. Они—одно целое, это твоё состояние... Пишется свободно. Даже не пишется—ты живёшь, струишься этим. Ты не думаешь, лучше это или хуже,—ты выливаешься. Выливаешься и заполняешь собой вот, допустим, эту желанную форму...

Человек ведь страшно одарён. В нём есть всё, что есть в мире. Его только не замыкать... Я по себе знаю: для настоящего самораскрытия чего-то одного мало. Если художник, допустим, не танцует, не занимается гармонией тела—это провал. Если не занимается поэзией—тоже провал. Если художник не владеет музыкой—это большая недостача.

Надо заниматься всем, одно русло никак не даёт раскрыться чувствам во всей полноте. Я вот чем только не занимаюсь—ты знаешь. Ничто мне не мешает. Напротив, одно другому помогает, с неожиданной стороны показывает...

— Хочу спросить: как всё совместить?... И картины, и звук, и танец, и песнопения... Честно сказать, не верится.

— Да очень просто. Если человек настроен на творчество—он творит. Надо настроиться. Я стараюсь не брать в голову бытовые передраги, хотя они иногда так цепляют, так выводят из равновесия. Но не с бытом же воевать мы родились! Какой есть, такой есть... А самое главное—не держать в душе зла ни на кого. Вообще не допускать его в себя. Добро должно быть на этом месте, только добро. Веровать надо, в Господа Бога веровать. Тогда на тебя нисходит такая благодать... Ни с чем не сравнимая. Душа как бы изливается... Только вера помогает мне всё время быть в творчестве. Мне не надо особых условий, я всё делаю на ходу...

Это не декларация, не манифест. И не для красного словца: дескать, глядите, какой я неповторимый... Это принцип жизни, обретенный в праведных трудах. Он действительно живёт с Богом в душе.

Они везли картины в Красноярск. Соседями по купе им выпали два мужичка-коммерсанта, которые что-то выгодно сбыли в Москве и жили примерно так: сходят в ресторан—покурят—поспят. Проснутся—и опять по этой же цепочке.

Ростислав улучил момент, набросал портрет одного из них.

— Неужто я?

— Ты.

— Как святой.

— Так и есть. В каждом из нас Бог.

— Продай, я заплачу.

— Зачем? Всё это в тебе. Я только показал.

После разговора мужичок долго смотрел в оконную даль.

На побывке в Англии (по приглашению одного религиозного общества) тамошний туман связал Ростислава по рукам и ногам. Ждать у моря погоды ему всегда невмоготу. А здесь... Каждый час на счету.

Он вышел на простор и, опустившись на колени, обратил лицо к небу.

Когда очнулся, одежда потяжелела от сырости. Вернулся в дом. Минут через тридцать морось исчезла, туман заподнимался и—растаял.

Солнце заливало землю три дня подряд. Весьма владеющие собой хозяева не скрывали восхищения. А он писал и писал, купаясь в чистом свете...

Я видел сам: Ростислав делает всё на ходу, одновременно.

За два месяца красноярских скитаний он зарос, как отшельник.

— Ростислав Николаевич, давайте я вас подстригу,—вызвалась моя жена-парикмахер.

— Я прямо помолодел,—расцвёл он через полчаса в радостной улыбке, рассматривая себя в зеркале. И попросил Тамару присесть на стул перед ним.

Рисовал он недолго. Посмотрели, поулыбались и пошли спать. Было поздно, около часу ночи. Утром ранний подъём на автобус. Вдруг—скрип половиц. Свет загорелся на кухне. Захожу, а он сидит, положил свою папку прямо на колени—хотя стол рядом—и что-то на ней строчит.

Оторвался, поднял голову и, просяив, попросил: — Дай, пожалуйста, Тамарин портрет. Я допишу. Вот послушай...

На обороте почти каждой его картины—строчки стихов. Иногда четыре, иногда шесть или больше... И если заглянуть за раму, на тыльную сторону полотна, то можно увидеть преобладающую редкость. Даже не редкость—волшебство. Можно увидеть, как художник из одной ипостаси переходит в другую: как живописец превращается в поэта. И как долго, как причудливо живут в нём его герои: как продолжают, изменяются и возрождаются они на свет Божий, но в ином уже материале—словесном:

— А там, в голубизне, знакомый голос в лаврах,
В вратах, где ангелы-хранители чудес,
Сегодня я в божественных удачах
Блаженно славлю серебрястый свет.

Это четверостишие сопровождает один из женских ликов Ростислава, название которому дают первые четыре слова.

Нет, стихи не объясняют, не расшифровывают изображение—они проливают на него, на состояние творца особый, неожиданный свет. И показывают, как сложен, как непостижим со стороны полёт созидательной души. Вот, допустим, какое превращение переживает, переходя в стихи, уже знакомая вам по моему описанию «Мадонна»:

— Дыханье зимних грёз.
Уткнувши детский трепет
С сомнением беспомощной души,
Защиты ждёт не та, в которой лепет,
А мать сама в тревоге и любви.

Так и видится, так и встаёт всякий раз, когда читаю, за строчками его лицо. Так и звучит его напевный голос. Потому и ставлю перед каждым его стихом тире—знак прямой речи.

Как формировался, шлифовался поэтический кристалл в уже зрелом художнике, поведал мне недавно неожиданно-негаданный отзыв широко известного педагога, академика А. Валявского. Год назад, курсируя между Курагино и Петербургом, Анатолий Симкин совершенно случайно «подбросил» Андрею Степановичу эту рукопись. Почитать... И так же случайно, возвращаясь назад через много-много месяцев, завёз отзыв в Ачинск.

Если быть точным, это не отзыв, а профессиональное мнение. Из первых рук. Оно имеет двойную ценность. Проливает свет на феномен Ростислава и — говорит о безграничных возможностях каждого человека. Если, конечно, этот человек настроен на творчество, если не замкнут от других людей, от мира глухой стеной неприступного «эго». — До красноярской выставки у картин Ростислава в основном не было названий, — рассказывает А. Валявский. — К чему названия? И так видно: говорил художник. Мне удалось убедить Иванова, что стихотворение — вот лучшее имя каждой его картине. И когда он это принял — не успокоился до тех пор, пока ко всем его ликам не появились строчки стихов. Строчки песен его души. Да, так он слышал свои картины. Ему казалось, что мы их тоже слышим... А на семинаре по этической педагогике — он проходил на фоне его выставки — мне удалось сподвигнуть Ростислава не только на озвучивание картин стихами и песнями, но и на иллюстрацию танцами. Это был тройной — живописный, песенный и хореографический — подарок слушателям-зрителям нашего праздника духовного единения. И лучшее подтверждение единства всех таинств чувственной религии под названием Искусство. «Ростислав, станцуйте, пожалуйста, эту картину. Покажите движениями, как её можно прочувствовать, понять...» И он танцевал, показывал пластический вариант своего полотна, поражая восхищённых красноярцев выразительностью, сочетанием в одном человеке столь различных дарований. Различных лишь на первый взгляд, а на самом деле глубоко единых... По-моему, — заканчивает Андрей Степанович, — Ростислав Иванов видит, слышит, чувствует людей такими, как их воспринимают дети: светлее, добрее, святее, чем в обыденной реальности. Такими, как их задумал Бог.

Ростислав относится к тем, наверное, немногим людям, которых как бы знаешь всю жизнь — даже если увидел минуту назад. И расставаться с ними... Расставанье наступает, но не происходит.

Я не мистик, я хочу всё понять и объяснить. Такой человек уезжает, уходит, но остаётся в сердце, в душе или где-то там, в самой сокровенной твоей глубине. И образ его, и воспоминание о нём помогают жить.

Для меня Ростислав — воплощённый идеал того доброго и всепонимающего человека, настоящего

друга, о встрече с которым каждый из нас мечтал в юности и мечтает до тех пор, пока не разочаруется в людях, пока не потеряет надежду.

Я впервые увидел его не в чистоте храмового единения. Напротив, в самом средоточии суеты, в приёмной главы городской администрации, где люди надевают маски, становятся непроницаемы. Увидел — и мне почему-то сразу захотелось, да нет — меня повлекло его обнять, хотя я знать не знал, как он среагирует. И на этом чистосердечном моём порыве не возникло барьера с его стороны. Глаза его в тонких морщинах вспыхнули ответно правдивее самых распахнутых объятий и показных вскриков почти дикарского восторга...

Ну ладно, допустим, я попал под гипноз великолепных рассказов о Ростиславе его почитателя и пропагандиста Анатолия Симкина. Но ребятню ведь не обманешь, она ясно видит.

Мы разговаривали в отдельной комнате, я вёл запись. Мой шестилетний вертун будто прилип к нему. Как ни выпроваживаю, его всё равно заносит к нам, и он, точно полноправный собеседник, всё время порывается что-то спросить:

— Ростислав Николаевич, а...

Или, не отрывая распахнутых глаз, просто стоит рядом и, едва не заглядывая в рот, ловит каждое слово. Мне, полному предрассудков, всё это мешает, и я взрываюсь:

— Ну сколько раз говорить?!

На что Ростислав в ту же секунду отвечает спокойным твёрдым заступничеством и, привлекая мальчика к себе, выглаживает вслед за Создателем профиль упрямой головки:

— Как тебя зовут-то?.. Ты, Саша, подожди, пока мы с папкой договорим, а потом мы с тобой поиграем. Хорошо? — и уже обращаясь ко мне: — Кричать не надо... Нехороший осадок остаётся на всю жизнь. — Ты на своих никогда не кричишь?

— Ты знаешь, лучше сдержусь, перетерплю. Дети ведь... Зато потом на душе не скребёт.

— Сколько их у тебя?

— Четверо.

Он прибыл в Ачинск ровно на двадцать часов в сложный момент жизни. Когда в Культурно-историческом центре Красноярска затихал исчерпавший себя праздник духовного единения, ядром которого стала его выставка «Лики России», оторвавшая Ростислава от семьи на целых два месяца. Когда зависло в воздухе предложение влюблённых в него австрийских бизнесменов писать в Вене тысячу икон (предложение наивыгодное, в валюте, но неприемлемое и отринутое — из-за пожелания заказчика механическим способом стилизовать образы под старину, попросту говоря — исцарапать). Когда душой он уже был дома, в Невской Дубровке под Питером, а в потемневшем среди походов, когда-то светлом рабочем пиджаке ждал своего часа билет на самолёт...

И вот представьте: в этот самый момент измотанного душой и телом художника срочно затребовал по телефону в Ачинск его добровольный «им-пресарио» Анатолий Симкин, одержимый идеей устройства выставок Ростислава по всей России.

Не просто затребовал—приехал за ним. Приехал среди ночи. Порывисто говорил о каких-то решающих встречах, от которых зависела судьба выставки, уже завтра утром.

Поспав три часа, они выехали первым автобусом.

Встречи получились по-летнему скоропалительны, до обидного малочисленны. В выставочном зале—человек десять вместе с гостями (правда, все главные фигуры, в том числе мэры города, который, послушав Ростислава, сразу пожелал видеть его картины). В профилактории Ачинского глинозёмного комбината—одни медсёстры (на которых показательное звуколожение произвело потрясающее впечатление). Во Дворце культуры—лишь избалованное приезжими знаменитостями прошлого окружение директрисы, принявшее Ростислава за очередного экстрасенса и потихонечку сбегавшее с его сеанса.

И везде, независимо от числа слушателей, он выкладывался, что называется, на полную катушку. Не маскируясь и не шарахаясь из стороны в сторону под давлением недовольных глаз, выдавал он свои непохожие взгляды. Вызывая у одних ещё большее насупление, у других—брови в дугу от удивления: «Как можно отрицать школу?!» Он работал от всей души. Как всегда. Оставив под душем усталость бессонной ночи, он одевался в холщовый «древнерусский» костюм и, пройдя босиком по коридорам, увлекал очарованных слушательниц целительным хороводом. Или начинал «западать» в песнопении...

Меня убивало это «раз-два, и обчёлся»—эта неорганизованность, это малолюдие. Эта вялость интереса, эта атрофия чутья на настоящее событие у культработников, которые запросто могли привести за собой целый зал... Меня окончательно расстроило, что звукотерапию видели, воспринимали только медики, а не все двести пациентов профилактория...

Я безжалостно отчитывал бедного Анатолия за пленительные прожекты и никчёмную подготовку. Я закипал в праведном возмущении, ища взглядом безусловной поддержки Ростислава, в которой был уверен на все сто. Но я не услышал не только шуточного осуждения, но даже и поддакивания из вежливости (которым мы иногда грешим перед своими настоящими чувствами, неразборчиво угождая собеседнику).

—Серёжа, стоит ли из-за этого?.. Сколько есть, столько есть. Я не расстраиваюсь, я человек смиренный. Всё равно лучше, чем ничего. Они другим расскажут, а те опять другим. Так и наверхтаем, а?..

...Из кухни плывёт, всё сильнее заполняя комнату, какой-то невообразимый аромат. Кажется, воздух пропитался, набухает пряностями.

Это счастливый от внезапно достигнутого на всех уровнях соглашения о выставке Анатолий Симкин взял власть на кухне в свои руки. Облечившись в фартук (примерно с той же важностью, что хирург в халат), он вдохновенно пластает «моркошку», петрушку и всё что ни попадя. Уже преет на плите, будя зверя в желудке, овощное рагу, обещанное как кулинарное чудо и гвоздь застойной программы.

А мы с Ростиславом продолжаем наш много-часовой разговор, который с перерывами-перебежками длится между нами весь день. Теперь, вернее, уже заканчиваем—через несколько секунд предупредительно щёлкнет и замрёт разгорячённый диктофон. Больше всего я жалею, что взял с собой всего лишь две кассеты.

Слышен посудный перезвон, потом зычный призыв:

—Ростислав! Сергей! Всё готово, к столу!

В тарелках дымится, а гордый повар—как полководец после победного сражения. Мы смачно вытягиваем в себя аппетитный воздух и усаживаемся, отпуская разные «м-м-мых», «м-м-мох», «м-м-мах».

Я не открываю холодильник и не предлагаю—как радушный хозяин—по стопарю за встречу, за успехи и так далее. Я знаю: мой гость ненавидит алкоголь, считая его воплощением зла, причиной всех человеческих бедствий вплоть до самого страшного—убийства собственной души.

—Ростиславушка, давай-ка по такому случаю твоё застольное песнопение,—подсказывает пылающий радостью Анатолий.—В оригинале, так сказать, в авторском исполнении. Мы тут без тебя его уже всю поём...

Ростислав легко, точно перед полётом, расправляет плечи, прогибаясь грудью глубоко вперёд, кладёт руки на стол ладонями вверх и, сияя глазами, негромко, как бы между прочим, произносит: —Дома у меня поют все, кто за столом.

—И дети?

—Они главные. Без детей пеньё не складывается.

И, по очереди обращаясь искривившимися глазами к каждому из нас—словно за поддержкой-подмогой, Ростислав подъёмно запекает:

— Ой да запируем
На раздольюшке мы,
Ой да сердцем запоём—
Разом обнялись мы все!
Ооо-ия-ийя-и-и-ийя...
Да поднимем мы бокалы
Да за новое дитя,
Чтобы светлая Рассеюшка
Прославлялась на века!

Ооо-ия-ийя-и-и-ийя...
 Доброй светлою росой
 Угостим своих друзей,
 Обогреем душу ласковой-
 Преласковой любовью!
 Ооо-ия-ийя-и-и-ийя...
 Гости наши, лучезарные друзья,
 Наливайте дополна,
 Счастьем нашим и любовью
 До краёв свои сердца!
 Ооо-ия-ийя-и-и-ийя...

Двадцать лет пролетело с той встречи... Но до сих пор слышу. До сих пор пою. И буду петь—с ребятей своей и любой другой. Буду петь как гимн нарождающейся, завтрашней России—ясный, задушевный и понятный всем. Гимн, в котором ещё рано, очень рано ставить точку, который мы «допишем» все вместе.

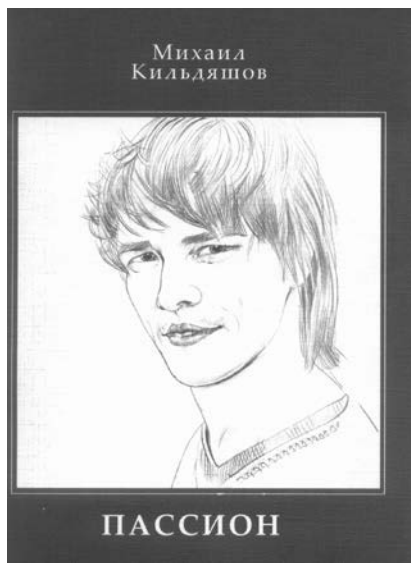
Присоединяйтесь, не откладывая, без стеснения. Приобщайтесь вместе с детворой к простым истинам Ростислава, к доступному всем счастью поющей, творящей добро души. Все сильные духом народы мира, не стыдясь, поют сами, своим голосом, поют вместе от мала до велика, хором—и под крышей отчего дома, и под небесным сводом. Таковую многоголосую песню действительно «не задушишь, не убьёшь»—ни экспансией американской идеологии, ни нашествием всепожирающей масс-культуры.

Представьте, что будет, если лет через пять молодёжь России сама—но с нашей отеческой помощью!—запоёт гимн Ростислава?! Тогда вековая мгла над Россией расступится навсегда.

Мгла не выносит счастья.

*Ачинск—Красноярск—Санкт-Петербург—Ачинск
 1994–2014*

ДиН РЕВИУ



Вторая книга стихотворений Михаила Кильдяшова стала своеобразной диалогией вместе с предыдущим сборником стихов «Ковчег». В новой книге автор продолжает поиск смысла жизни, философски осмысливает прошлое, настоящее и будущее, и главное, предчувствуя грядущие испытания, стремится обрести истинный путь, начертанный Богом.

Рукопись книги удостоена бронзовой награды на IV Международном славянском литературном форуме «Золотой витязь».

Михаил Кильдяшов Пассион

Книга стихотворений

Оренбург: ипк «Южный Урал», 2014.—48 с.

Чистый четверг

Архив приведи в порядок
 И книги раздай друзьям.
 Не выпали мы в осадок,
 Не знали помойных ям.

Я начал с утра молиться,
 Ты воду и хлеб отверг.
 Запомните наши лица,
 Последний грядёт четверг.

Спас

Яблоко, мёд и хлеб,
 Господи, дай в дорогу.
 Всякий скиталец слеп,
 Если не верит Богу.

Что ожидает нас,
 Если утратим корень?
 Боже, Твой кроткий Спас
 Дивен, нерукотворен.

В райском вздохнём Саду—
 Трапеза ждёт на небе:
 Миров в Его меду,
 Тело Христово в хлебе.

Михаил Тарковский

Распилыш

Главы из романа «Тойота Креста»

(Окончание. Начало в № 4 / 2014)

Глава седьмая

Звёздная заезжка

*Бог придумал Сочи,
А чёрт Могочу.*

Поговорка

Самолёты облетали Сибирь по огромному прозрачно-дымному радиусу, отхватывая зараз по пять тысяч вёрст, а Женя ощупывал каждый острогранный осколок, летел, сея из-под колёс лопающийся звук вылетающей щебёнки. И ещё один бесконечный тысячевёрстный день начинался... Это был самый потрясающий отрезок трассы—её северный горб между Сквородином и Амазаром. Здесь же пролегла граница между Читинской и Амурской областями, и сюда же приходилась середина двухтысячевёрстного пути между Хабаровском и Читой. Удивительно, что, проходя самым диким и зачаровывающим куском, дорога и лучшими именами говорила именно в этом немислимом месте.

Транссиб будто и не было, только от безлюдных перекрёстков с указателями уходили налево своротки к редким невидимым станциям. К железнодорожному жилью с сараюшками, заборишками, невнятно-несибирскими в смысле основательности, и с будничными, почти сиротскими переездами. Вся городьба эта казалась побочной, мелкой по сравнению с огромным незримым Амуром, собирающим десятки рек, по которым и назывались станции, с горными хребтами, тянувшимися сквозь целые регионы.

Ещё в первый перегон Женя поразился, как померк Транссиб по сравнению с трассой—настолько одноглазо виделась из окна поезда местность, которую он ещё и просыпал наполовину. Зато какая полнота была, когда нёсся он в лоб простору, просечённому прямым пробором дороги, летящей с горы на гору в широком коридоре чахлого лиственничника. То тянулась гребёнка, скалка, дроблёнка или кто её как называл, то после колючего и пыльного отрезка вдруг шёл новый синий асфальт со свежайшей разметкой меловыми полосами и стрелками, нелепыми среди безлюдия. В некоторых местах покрытие уже бутрилось или

бралось частыми морщинами—об этом предупредительно сообщали знаки. А «мазды-левантэ» всё не было, и не верилось, что она с такой скоростью уходила вперёд. Как не верилось, что Ирина Викторовна только что проехала здесь и едва улеглась за ней пыль и что её видели те же горы, перевалы и лиственницы, что сейчас вели и его.

По Жениным подсчётам, Ирина Викторовна опережала его километров на шестьдесят. Женя допускал, что она заехала на какую-нибудь станцию заплатить за телефон или ещё зачем-нибудь, и, даже свернув на пустынном перекрёстке, домчался до посёлка и проехал по улице вдоль сонных домишек, мимо мужиков, которые куда-то собирались и грузили машину канистрами, верёвками. Единственный магазин не работал, и телефонные карточки не продавались. Женя медленно развернулся, вскачивая тяжёлую машину на снежно-ухабистом пятачке, и вернулся на трассу.

Обычно в дороге существуют окрестные машины, попутное окружение, с которыми движешься одним пластом, если не считать особо неистовых перегонов, которые несутся и под сто шестьдесят, словно, собравшись вместе, складывают свои скорости. Женя постоянно встречал вишнёвого «сурфа» в старом сто тридцатом кузове с приморскими номерами и белого транзитного «одиссея», того самого, который с лыбящимся Коржом внутри подъезжал к посту на въезде в Хабаровск. Женя то обгонял его, то видел у кафешки. Ещё проехал он стоящих у обочины двух пареньков из Читы на маленьком белом «паджерике», ночевавших вместе с ним и Ириной Викторовной в районе Белогорска. Один из них ещё сказал про его «марка»: «Вот это пароход!» Кроме них, одно время болталась неподалёку пропылённая «сороконожка» «нина» с каким-то запакованным грузом...

Под капот утекали всевозможные сорта гречки с молоком: то старая щебёнка со снегом, в колеях и продольных ребрах, с камнями, отшлифованными до бутылочного блеска, то совсем снежная, на которой так отдыхает резина.

Женя проехал мостик с табличкой «р. Магдагачи». Дорога в серых берегах берёзок и листвяшек

поднималась на бугор. Потом был кусок чёрной новой трассы с белоснежной разметкой и металлическим ограждением, потом ручей с табличкой «Горбатый»; удивительно, как наши мужички ещё не позубоскалили над ним — обычно на таких щитках всегда стоят приписки краской: «ручей Анто́на», «ручей Лидки». За ручьём снова шёл подъём и чахлые листвяшки с разными выражениями разлапистых тонко-рукастых сетчатых крон. И вот, наконец, такое важное для Жени место — щит с надписью: «Талдан — 2, Хабаровск — 1106, Чита — 1059».

Здесь была половина участка Хабаровск — Чита и стояло кафе «Восход» — длинное, крашенное зелёным сооружение с грубыми надписями от руки: «Восход круглосут. кухня шашлык. Автомагазин Транзит. Электросварка мелкий ремонт». Жене нравилась эта городьба, он считал, что именно такой простой и вольно-неказистой и должна быть жизнь.

Перед кафе белела огромная площадка в пятнах и следах.

Ирины Викторовны не было и здесь.

Маша соседствовала незримо. С ней после того отчаянного звонка с Танфирки он связывался пару раз из Владивостока, говорил какую-то ерунду, что, мол, занимается тем-то, здоровье нормально и так далее. Их привычное словечко «скучаю» прозвучало фальшиво. С перегона он отправил ей никчёмное телефонное письмо: «Я в порядке. Прошёл Хабару. Как ты?» Каждый такой разговор только отдалял их друг от друга, и правильнее было молчать и смотреть на дорогу.

Вишнёвый «сурф» ушёл у Сковородино в Якутию, «нина» осталась где-то позади, белый «одиссей» унёсся вперёд, и плыла под капот молочная гречка, да замерше расступался по сторонам чахлый лиственничник в резном разнобое ветвей.

Начались куски строящейся дороги с летящими навстречу самосвалами, вздымающими густую пыль от свежайшей щебёнки. На перевале лежала огромными серо-жёлтыми кубами взорванная порода. Её размельчали здесь же, на камнедробилке, и развозили самосвалами по трассе. Всё было в свежей скалке и густой жёлтой пыли. Бровка из ребристого ноздреватого снега тоже имела этот цвет посеревшей ряженки. В такой же пыли были снег за бровкой и край мари с редкими листвяшками горельника. За ней горным хребтом синел север. С южной стороны стоял такой же пропылённый карандашник из необыкновенно худых и прогонистых даурских лиственниц, состоящих, казалось, из одних стволов.

Середина строящейся дороги была отбита вешками, воткнутыми в льдышкообразные куски прессованного снега.

Разделительной полосой из тычек они так и уходили за поворот, вдали от которого Женя издала заметил яркий огонь. У горящего ската

стояло человек пять в чёрной одежде. Огромный язык пламени был наклонён ветром, и в такт ему с таким же наклоном стояли строители — таджикские мальчишки.

Женю поразил стремительный и живописно-трагический наклон этих оборванцев. Он притормозил и спросил про «мазду-эскудика», но в ответ ему ребята прокосноязычили что-то такое, что Женя махнул рукой и рванул дальше.

Наконец, он прошёл границу между Амурской и Читинской областями, пролежавшую между Ерофеем и Амазаром.

С востока её отбивала белёная кирпичная стена-тумба, а с запада — новый цветастый щит с картой. И снова плыли сопки, и справа за марями вставал невозможной красоты и суровости хребет — отрог Олёкминского Становика с далёкой вершиной, сизо-синей и полого-гранёной. Слева снова появился Трансиб с длиннющим игрушечным составом, проходящим мостик через речку. За ним лежали, как на колья наброшенные, сопки с пятнистым соснячком. Потом трасса пересекла речку с листвяжно-берёзовой сеточкой над рыжей скальной стеной. По речке шли три машины, и на дороге были навалены ветки — видно, кто-то сидел в наледи.

Ещё передвинулся Евгений по синей и выпуклой спине земли, не устая дивиться её меняющемуся лику и меняясь сам незримо и непоправимо. И всё доливало в душу хребтов, марей и сетчатых листвяшек, докладывало плитами просторов, и всё слабее просвечивала сквозь дымные глыбы Ирина Викторовна. И он вспомнил её маленькое резное ушко, когда она вдруг медленно отвела рукой и закинула за него волосы, пропустив через тонкие пальцы.

Ближе к вечеру он ещё сильнее почувствовал даже не утихание её образа, а то, как ещё более изглубоко глядит она сквозь наслоившиеся пласты дороги. И в этом почти спасительном слабении, в этом сохранительном схватывании её образа было столько же непостижимой и мощной загадки жизни, сколько и во внезапном её появлении.

Навалились, вздыбили дорогу горы, а в посёлке, не доезжая Могочи, упала почтовым конвертиком на экран телефона Машина телеграммка из Канн. Женя остановился на заправке и вышел из жары салона, из горячих иссушающих ветров на тридцатиградусный мороз, и его нажаренное сквозь стекло лицо обжёг ветер, почему-то всегда гуляющий на заправках и норовящий ухватить бумажку из деревянного лоточка. И Женя в стотысячный раз обходил машину и возился с пистолетом — весь обожжённый, опалённый, хрустя подмётками в мазутном, солярном, снего-ледяном зимнем крошеве. А потом отъехал и, остановившись поодаль, наткнулся в телефоне: «Иду по Читинке. Подхожу к Могоче. Мороз 30 градусов».

После Могочи он всё шёл и шёл дальше, и было совсем темно, и почти не встречалось фар, и места чернели горные, безлюдно-ночные, и попалась лишь спящая колонна Кразов и КАМАЗов с техникой на платформах. А Женя всё ехал, выматривая «мазду-левантэ». Было поздно, он устал и от огромного дня, и от своих собственных изменений, и пора было вставать на ночлег.

Была здесь одна совсем простенькая заезжка, и он всё ждал её, несясь по чёрной сопчатой дороге, пока наконец-то не засветилась она далёкими фонарями сквозь нависающий лес. На площадке под тёмью склона стояли тягачи с бульдозерами и экскаваторами на платформах. Всё это огромное, доисторическое, перекликающееся с какими-то мощными временами морозно парило, молотило дизелями, свистело турбинами и давало чувство нечеловеческой силы и надёги. И снова не встретилась «мазда-левантэ», и было понятно, что уже и не встретится, если не произойдёт одному Богу ведомого чуда, которого Евгений вряд ли и заслужил...

Двухэтажный домишко с пристройками светил столовскими оконцами. Пахло особым зимним запахом заезжек: смесью чего-то грубо-жизненно-го — дыма, дровяного и угольного, чего-то банного, парного, скотного.

Ждали и ужин, и койки в былинной этой заезжке, и счастье было в долгожданном жилье после долгой бессонной дороги, сравнимое разве только с вваливанием в таёжную избушку после неподъёмного промыслового дня. Был даже тёплый гараж. — Шас, только ребята машину доделают, — сказала работница, — от ворот отгонят, и можете ставить. Ваня покажет.

Женя зашёл в кургузый и высокий брусовой гараж. Круглая, похожая на колонну железная печка свежо синела швами и поддымливала — Ваня что-то недокумекал, когда варил. Ваня открыл ворота, и Женя загнал «марка», оперённого драконьими гребнями и покрытого сизо-жёлтой пылью. — Всё. Пускай стоит, — покладисто сказал Ваня. — Разбудите, если рано поедете, я здесь на койке, если ч-чо.

Обязательно есть в заезжках такой пахорукий парень, про которого тёртые тётки говорят: «Ну, вот Ваня сейчас пойдёт и отопрёт», — с оттенком лёгкой грусти, с ноткой сочувствия, скидки и извинения и одновременно надежды, что вот чуть-чуть — и станет, наконец, Ваня могучим и ответственным Иваном.

Свет на заезжке давал двухцилиндровый дизелёк «ЧА-2», в народе «чапик», который Ваня выключал в двенадцать часов. Из гаража Женя прошёл в гостиницу через задний двор, освещённый фонарями. Там лаяли с привязок собаки, лепились сараюшки и начинался огороженный забором снежный подъём.

Женя забрался по крутой деревянной лесенке и открыл ключом свою комнату с четырьмя койками. Он выбрал крайнюю и, устроившись, прилёг на грубое шершавое одеяло и протяжно выдохнул. Покойно было оттого, что «марк» оттаивает в стойле, что Маша при деле в своих Каннах и что Ирина Викторовна не позвонила, а значит, и у неё всё в порядке. А завтра новый день, и если всё пойдёт хорошо, то он доберётся до Читы и Улана, а там дальше уже и вовсе населёнка пойдёт — Байкал и Иркутск, а это считай что и дома.

Как бывает в дороге, несмотря на усталость, сна не было, только стучало сердце, шумела кровь в висках, и впадала в глаза молочная гречка, жёлтое и колючее скальное крошево, и встречные фары стояли под веками солнечно-зелёным пятном. И покачивалась под ним железная койка.

Он поднялся и, накинув куртку, пошёл вниз. Пока спускался по лестнице, Ваня заглушил «чапик», вышел из дизельной, прикрикнул на лохматую собаку:

— Но, Дружок! — и ушёл спать.

Погас свет в гостинице и во дворе. Стало совсем тихо, только успокоенный Дружок бурлил-доходил сонным рыком, всё реже взрывая его лаем, а потом и вовсе оборвав, захлебнув в брылья.

Женя вышел за порог, поднял глаза и, шагнув взглядом, оступился. Звёзды огромной россыпью сияли над самой крышей. Млечный Путь туманной громадой пролегал сквозь всё небо, накрывая заезжку светящимся мостом.

Взор только что ошупывал из-под фонарика порог, а теперь так головокружительно провалился в звёздное небо, что Женя едва не пошатнулся от этой встряски, от неопределённости бесконечности, от явственности ещё одного Божия свидетельства. Всё — и пыль за самосвалами, и шершавая желтизна гребёнки, все дневные цвета и краски вытекли из ближайших слоёв земного воздуха, оставив только дальнее. И оно сияло рядом, и хорошо, вечно было на душе от близости этой тайны небесной.

Женя и сам днём был полон жизни, грубой, грешной и любимой, а ночью как-то странно и бессильно пустел, и это ощущение повторялось всё чаще. Он подумал, как ослаб он за последнее время духом и что давно не молился в этих бесконечных дорожных и железных заботах. Что разучился молиться в одиночку по-настоящему и его всё больше тянет в храм в Енисейске, где он всегда с чувством молился и пел со всеми, да так, что к его сильному голосу прислушивались и подстраивались приходские женщины. Он казался им сильным, а они не подозревали, как ему бывает слабо и зудко изнутри и как неловко от обмана. Сейчас, глядя на это небо, из которого вытекло всё земное, он вдруг понял, что если и есть что-то главное в его жизни, то это ощущение

его духовной немощи. И захотелось, чтобы принял его Господь именно таким вот не мудрствующим, слабым и оголённым, потому что чем раздетее и оборваннее душа его, тем плотнее прильнёт она к щедрости Божьей... И захотелось, чтобы навсегда сложилось расстояние между ним и небом до ощущения великой и острейшей близости, как этой ночью, когда вылилось из воздушной оболочки всё земное и подступило небесное к самому сердцу.

Женю всегда поражала страшная людская безразличность в существование, и он никак не мог примирить это чувство привычки к жизни и ошеломляющее ощущение её чужда при встряхивании головы, при сбрасывании этого наваждения.

«При одной, так сказать, попытке осознать бесконечность пространства и фантастическое величие Земли... Ну вот... начинается... Великолепие... Бесконечность... Наваждение... Сбросить... Говорю, а слова тут же тупятся! Тут же! Да нет, слова не могут тупиться—они только набирают смысла. Это во мне резак какой-то тупится... А как неумовимо это моё собственное ощущение жизни!

Почти невозможно сосредоточиться, чтоб осознать, что такое мой внутренний мир. Мысли, которые тут же разбегаются, как соболя, такие же гибкие, прогонистые, едва захочешь поймать, ощупать. Не говоря, чтоб уж, х-хе, снять, да обезжирить, да на правилку натянуть. А потом ещё и вывернуть да расчесать... да чтоб висели в избушке, поблёскивая ворсом... Да, брат... И как огромна эта зимовьюшка изнутри... с бесчисленными полочками, отнорками, подпольями, и как ничтожно мала снаружи! И что она такое—этот кусок мира, будто керосиновой лампой, освещённый моим сознанием? И почему я здесь хозяин? Да и хозяин ли я? Да нет, конечно же... Что горожу, прости Господи! Хотя днём это ощущение как-то теряется, особенно когда на улицу выходишь шарабориться. Но вот ранним утром и вечером... И особенно совсем поздно, когда сдаёшь помещение... Прямо в Руце... Как в ружпарк... На всякий случай... А перед тем как сдать, выйдешь на порог, а там... наверху звёзды такие... Такие звёзды... хорошие.

И что это за великая загадка—ощущение мной меня? Моя память? И как сосуществует во мне, на таком ничтожном пятячке, такое огромное пространство—и чудо жизни, и боль за близких, и тайна смерти, и Вера наша Православная, и Сибирь, и Россия, и окружающие безобразия—и всё на одну бедную голову?! И главное, главное: с чем помирать-то буду?»

Раньше Жене казалось, что мощная машина, сильная тревожная музыка и прекрасная даль—всё, что так наливалось силой,—это части его самого, но они кончались, едва наступала остановка. А ведь надо, как фура, уходящая в предрассветную

синь перевала, обязательно быть гружённым каким-то богатым содержанием, небывалым бесстрашием, способным в случае чего безболезненно перенести в вечность! А оно, это бесстрашие, само по себе не рождалось, а только временно поступало в душу вместе с хорошим настроением и перспективой чего-то приятного или опасного. Он читал, размышлял и силился возвести в себе некое духовное нагромождение, готовое рухнуть при первой серьёзной встряске. И вот оказалось: единственное спасительное—признать свою полную духовную немощь, пустоту и нищету. И даже не просто пустоту, а вывернутость наизнанку, выдутость, вымороженность и открытость всему сущему. И лишённость способности иметь что-то своё, личное и внутреннее, кроме этого спасительного покаянного опустения.

Великий уют койки. Тишь и темень, когда спят и горы, и собаки, и Ирина Викторовна спит где-то неподалёку, в какой-то сотне вёрст—и совсем рядом. Так близко, что он чувствует её дыхание через сжавшийся мир, который так приник, прижался к нему, поразив совсем новой проводимостью—живой, близкий и пропитанный любовью, как электролитом. И который она лучше Жени понимает своим женским звериным чутьём, обострённым нутром чужа и усталость, и сон, и людскую близость.

В шестом часу Женя встал. За прозрачной и жёсткой, как корочка, занавеской сизо чернело зимнее небо, и снова казалось: перелистнула огромная, под стать расстояниям и чувствам, страница жизни. Ваня уже завёл дизель и дремал на койке. Когда его окликнул Женя, он быстро вскочил:

—Обождите, я Дружка привяжу.

В высоком гараже было тепло. «Марк» за ночь обтаял и сбросил драконьи гребни в коричневую лужу на бетонный пол. Женя попросил было метлу и лопату, а Ваня проворно сказал:

—Да я уберу,—и было чувство, что парнишка не обслуга, а он не гость, а просто два мужика ранним утром посреди тайги и жизни занимаются каждый своим делом.

Женя открыл дверь «марка», сел в ставшую родной обстановку салона и запустил двигатель. Ваня отпер огромный засов, будто взведя затвор, и отворил ворота. Женя включил заднюю, и запиликала пищалка, стоящая на всех праворуких японских автомобилях. От этого родного звука Женю который раз прострелило знакомым, жизненным, и представился зимний автовокзал или рынок с пятящимся грузовичком, с этой морозной морзянкой, так неповторимо прошившей их короткое время.

Женя медленно выехал, хрустко лопая колёсами снежно-ледяную крошку. Развернувшись, он встал капотом к дороге и вышел из машины.

На площадке прекрасной стайкой народились, будто из звёзд, перегоны на серебристых машинах, особенно остро, спиртово шелестящих на морозе и парящих белым выхлопом. Маленькие глыбки, необыкновенно оковалистые, лобастые и одновременно стремительные в наклоне морд и стёкол — не то куски льда, не то северные рыбки — чирьи или пелядки. Милые, они казались особенно трогательными теперь, когда только такие маленькие и проходили сквозь ячею выставленного им заслона.

Перегоны спали в них крепким трудовым сном. И грохотали дизелями КАМАЗЫ с экскаваторами и бульдозерами на платформах.

В столовой были чай с лимоном, и блинчики со сметаной, и обострённо утренний вид полной трудовой женщины с неизвестным именем и влагой недосыпа на красных веках. Тужайшая правота была в каждом её движении, в неразбавленности всего, что окружало, с которой будто на ощупь нарождался день и светилась первозданная вязкость Божьего замысла, и всё происходило с особой задержкой, будто говорил кто-то огромный и невидимый: запоминай это утро, эту земную жизнь, святую, грешную и единственную... вот-вот понесётся она дальше.

Словно сбросив наваждение, Женя поднялся из-за стола и отнёс стакан с тарелкой на посудный столик. Попрошавшись с работницей и с Ваней, он вышел к шелестящей выхлопом машине. И так же естественно, как и всё, что происходило с ним этим утром, вспомнилось вчерашнее Машино письмо: «Я в Каннах. Отель пять звёзд. Яхты. Собняки за миллионы долларов. Потрясающие, интересные люди».

Женя поднял глаза. Тысячи звёзд глядели с морозного сибирского неба нежными любимыми глазами... И это было его небо.

Глава восьмая

Майор Саша

*И в небесах я вижу Бога,
Который должен быть в душе.*

Николай Зиновьев

1.

И он выехал на шероховатую столовину трассы, во тьму, достигшую последней, предутренней густоты. Вскоре едва заметно засинело, и была глубочайшая выразительность в этом неотвратимом брезжении света. Словно нарождающаяся синь, дьясь сквозь годы и набирая силы, готовила многожильную душу к соединению с чем-то единственно главным, и все её прожилки, жилы и поджилки были обнажены и зачищены до звона.

Женя всегда и выезжал на трассу как на испытание, на спасение, на болезнь. Сами по себе

тяжесть и усталость были изначально заложены в этом сереющем полотне с парафинными наплывами льда, со снегом, как по линейке насечённым поперёк хода. И в недосыпе, жгущем глаза, — в привычном песке, который вот промоет и утянет на себя трасса, присыпав им льдистый подъём. И эта зовущая тяга нового дня, посыл всего сущего к жизни, пока бежит кровь и невзирая на всё происходящее на Земле... И состояние недвижимого и стойкого полёта, когда прохождение вдоль тебя земной плоти становится главным делом, а всё нерешённое откладывается и догоняет только к середине дня или по приезде домой.

Настолько осторожным и ответственным было это утро, что Женя даже не включал музыку и слушал лишь далёкий и слитный гул колёсьев. Но, несмотря на душевный трепет, на жарчайшую жизнь сердца, он абсолютно чувствовал и машину, и трассу, по которой за всё утро только и пронёсся на скорости, обойдя его, литой «крузак-восьмидесятка».

Знавал он в пути разное. Раз он гнал праворукий «мерседес», и у того отказал генератор. Он ещё не изучил значков, вспыхивающих на обычно пустом поле приборной панели в случае неполадки, и, когда начала мигать картинка аккумулятора в паре с ещё какой-то, почему-то решил, что это «в мозгах от тряски контакт отошёл», и не придал значения, ещё и поворчав на «бургеров» за лишнюю электронику.

Мигало изредка, как-то судорожно и вроде бы на кочках. Так проехал он тысячи полторы километров, пока значки не загорелись окончательно и Женя не встал посмотреть ремень генератора. Машину завести он больше не смог, поскольку давно ехал на аккумуляторе... Стоял морозец градусов тридцать пять, и его тащил на буксире пожилой сухой мужичок на японском грузовике. Он первый ехал по дороге следом и тут же включил поворот, увидев Женину фигуру с поднятой рукой.

Женя переглядывался с ним через зеркала, тот останавливался, и Женя переходил к нему в кабину греться, снимал ботинки, растирал бесчувственные и будто посторонние пальцы и пытался ими шевелить, а они касались друг друга твёрдо и чуждо. А водитель говорил:

— Да не спеши, грейся добром.

На тянигусах гружёный грузовичок еле коптил изношенным дизелем, и с пешеходной скоростью ползли берёзки и лиственницы. Мужичок дотащил его до сервиса на въезде в городок, дал телефон и велел отзвониться.

Мастерская располагалась в ангаре с разлапистой ребристой крышей. Перед воротами уже стояло несколько машин.

Видя Женины перегонные обстоятельства, ребята решили помочь ему без очереди и прямо на улице, благо к этой поре ободняло и пригрело.

Машину подкатали вручную. Чинили вместе с горячим и восторженным почти мальчишкой по имени Лёша, которого бросили на подмогу, видимо, для набора опыта. Его тоже коснулся-охватил перегон, и съёмка генератора сопровождалась жаркими рассказами.

Потом пошли в ангар, где Лёшка приладил генератор на самодельный стендик с ремнём и электромоторчиком и, повозившись, радостно сообщил, что дело всего лишь в щётках. Порывшись в ящиках, он нашёл чудом как оказавшийся здесь нужный старый генератор и снял с него щётки.

Внутри ангара стоял чёрный «демон»¹ с открытым капотом и плитой трёхлитрового двигателя. Рядом парень корейского вида ходил вокруг «аккорда», в салоне которого копался молодой электрик. Орудя пальцами и отвёрткой, он, где нажав, где подцепив, удивительно легко отлепил и снял приборную панель. Зазияла грубая дыра, лишив салон всякого рода надёжности и того литого совершенства, что так наливает седока пилотной силой. Болтаясь на цветном жгуте проводов, пластиковая панель казалась разочаровывающе хрупкой. Изнанка её отливала дешёвым изумрудом и блестяла мельчайшей испариной паек, в которые парень сосредоточенно тыкал тестером, как вилкой.

Наконец Лёша собрал и проверил генератор, и они с Женей пошли его ставить. Лёша порывисто орудовал ключом и рассказывал, задыхаясь:

— Кроче, с перегонами гоню я свою «скотинку», хе-хе,— «хе-хе» было потому, что он гнал «хонду-аскот-иннова»,— а они, черти, прут, как бешеные, сто шейсят, а фуры эти достали, слепят по шарам, им-то дальний-ближний пофиг... водилы-то сверху сидят. А у нас передом «делика» шла, а у ней на крыше люстра на шесть лупней² на ксеньке³! А навстречу колонна прёт, не переключаясь: впереди «фрэд»⁴, зда-аро-овый дурак, за ним «нина», за ней «скамейка»⁵. И тут наш на «дэлике» ксенон свой ка-а-ак врубит— дак те махом загасились... Ё-о-о-оп-п-перный театр!...— вдруг сказал паренёк, сорвав болт.

Обломыш остался в корпусе генератора, и пришлось идти ещё в одну мастерскую. Там абсолютно невозмутимый и всезнающий Василич зажал генератор в тиски, засверлил и трёхгранной заточкой вытащил заломыш. Не глядя, он швырнул его в коробочку с железным мусором, покрытым ворсом намагниченной сизой стружки. Ворс был острым и стоял напряжённым ёжиком. Всё это время Василич не переставал лепить что-то

обобщающе-веское—сам крепкий, невысокий, с морской округлой бородкой, плотной и золотистой. Был он как две капли похожий на одного Михалычева товарища, и Женя даже подумал, что, окажись Михалыч вместе с ним, тоже подивился бы сходству и брякнул что-нибудь вроде: «Во дают... Как с одного питомника».

Наконец всё было закончено, и машина стояла, сияя фарами и завивая белый парок выхлопа.

На рыжем закате, в морозных стеклянных сумерках принимала Женю родная и привычная чернота трассы. Ехал он, не веря, что всё разрешилось, и с благодарностью вспоминал отзывчивость трудового молодняка из мастерской и своё поучительное приключение. Он почему-то находил в таких дальнобойных передрыгах что-то очень условное: больно уж не вязалась огромность пути с масштабом поломки, и не укладывалось в голове, что гладкое и планетарное скольжение по закатным сопкам зависит от графитового кубика с пружинкой.

...Он будто не ехал по шершавой наждачке асфальта в буграх и трещинах, а летел в обманчивой невесомости, едва расходясь с такими же летящими навстречу фарами, от которых отделяло лишь короткое движение руля—вся эта безлюдная, сложная и бесконечно длинная дорога имела всего по одной полосе в каждую сторону...

2.

Ещё посветлело, и всё не отпускал Женю прошедший ночлег, словно пережитое на Звёздной заезжке было не просто событием, но чертой, после которой он понял, что всё, нажитое душой,—на-всегда его и ничего другого уже не будет. И вызывало это не обычные в таких случаях уныние и обречённость, а, наоборот, великое облегчение, освобождающую какую-то ясность.

Машин не было. Справа уже различался разлом Урюма в скалах с прижимами и с тем зимним застывшим видом реки, подлёдную стремительность которой только подчёркивают предельно недвижные стрелы торосных складок.

«До чего же пороги торосит всегда»,—думал Женя, в который раз объятый чувством единой Сибири, узнаваемой сквозь тысячи вёрст по обобщающему навеки образу: зима, река в скалах, горы, штриховочка тайги.

Рассвет всё набавлял свою прозрачно-синюю заливку по-над сопками. По их чёрному краю занималось рыжее зарево, и меж сизыми пластинами облаков плыла, перестраиваясь, дымная завязь тучки. И всё прошивали-закрашивали воздух, проявляли знакомыми чертами солнечные лучи. И проходило первозданное утреннее чувство, и Женю самого наполняло мыслями о мире, и было это недомольство окружающим, а главное—самим собой.

1. «Демон»—флагманский седан «мицубиси-диамант».
2. «Лупни»—фары.
3. «Ксенька»—ксенон.
4. «Фрэд»—седельный тягач «фрейтлайнер», американец.
5. «Скамейка»—седельный тягач «скания».

У себя дома, в Енисейске, получив от бабушки послушание помогать на клиросе, он пел в хоре, помогал читать акафисты и сам читал некоторые молитвы. Это было совсем новое и другое ощущение—своего и уже не своего голоса, гулкого, мужественного, басово кладущего широкую полосу на фоне чистых женских голосов, тянущих нежными стеблями и словно свитых из сухого пламени струисто горящих свечей. В некоторых особо понятных и близких местах он испытывал такое слияние со смыслом выпеваемых слов, с голосами отца Валерия и клироса, с нестройной и трепетной подмогой прихожан, что всеми мурашками хребта ощущал великую соборную силу духовного единения.

Особенно трогало его чтение молитв на церковнославянском, уже казавшемся главным, основным языком по сравнению с варварски выправленным, спрямлённым современным. Необыкновенной красоты графика, буквы, с такой любовью и нежностью восставшие вдруг в сердце и будто там и пребывавшие. Поражало, что четыреста лет назад кто-то так же произносил эти слова, и они звучали с той же негибимой неизменностью, и его кровинушка уже тогда существовала, участвовала в жизни—там, в шестидесятиградусных зимах, в многовековом морозном мороке. И как зимним утром в кедровом переплёте, желто освещённом свечой, наливался нежной синью слюдяной набор окна, а какие-то полтора века назад—уже обычное стекло с молодыми и острогранными морозными рисунками.

Читая даже незнакомый текст на старославянском, он ловил и угадывал течения и уже предчувствовал смысл—как проходишь на моторе по незнакомым порогам, не зная фарватера, но умея понимать реку. И, как по родной дороге, двигался он то в унынии и невнимании, то в благодати, и добирал смысла слова, испытывая, привыкая, подпуская ближе и ближе.

И всё, что не понимала душа, например, какое отношение к окружающему суровому и сизому простору имеют южные места, описываемые в Евангелии,—всё перебарывалось восхищением от того, как русская душа приняла и допроявила учение Христа, и сам Женя, выходя из ворот монастыря вьюжным утром, допроявлял его своим кедром со сломанной вершиной и дивился, как уже и на улице, доверчиво осваюсь, длятся в душе напевные икосы акафиста: «Радуйся, яко тобою безумнии глумителие над тайнами веры посрамляются: радуйся, яко тобою посмеятелie чудесных твоих деяний подобающее вразумление приемлют».

А потом жил обычной мужицкой жизнью. С матерком, зубоскальством, словечками, с тем самостоятельным и необыкновенно приятным гонорком, сквозящим неприятием официоза и способностью в случае чего разобратся по собственным

правилам. И медленно вылезать из «марка» или «крузака» в широких спортивных портках и кожаном куртеце, вразвалочку подходить, здороваться, топтаться на хрустящем снегу вокруг новопригнанной машины, базарить на отработанных голадах, крепком и взвешенном наречии: «И чо он по топливу?», «Да нюхает», «Да ты ч-чо?».

И время от времени—драки, ползанье по площадке в кровавом снежном месиве в потасовке с Дыней, начальником портовского гаража, и его двухметровыми корешами... У которых брали лестницу с пожарного КАМАЗа обшивать фронтон и, возвращая, заехали в неподходящий момент и «попали под замес». А потом как ни в чём не бывало здороваться с этим же Дыней на зимнике и помогать цеплять засевавшего «Урала».

А потом дороги, встречи с застольями, и возвращение в Енисейск, и службы в храме, и снова порой почти облегчённое притекание к простому и грешному, и привычное уже двоение. В какой-то момент запрезирал он себя как никогда и на исповеди выложил всё отцу Валерию. Бабушка сказал:— Это называется духовное лицемерие. Но ты же понимаешь, что придётся сделать выбор,—и добавил с тихой улыбкой:—А вообще это хорошее состояние. Когда сознаёшь своё ничтожество. Береги его.

Рассвет уже разгорелся. Дорога шла верхом плоских сопков, и на одной из них стоял изумрудный «крузак» и двое людей возле него. Дальше дорога спустилась в логовину, и по впадине за обочиной пробежала лиса—с палкообразным хвостом и сама будто надетая на палку-спину, всем телом, худыми лапами к ней подвешенная. Женя проехал дальше и снова выбрался наверх. Было так красиво вокруг, что он остановился, вылез и долго смотрел на даль в рыжих разводах, пока морозный воздух, сочась сквозь свитер, не облепил поясницу ледяным пластырем.

Дорога постепенно спускалась вниз из лесных сопков, и начиналось степное причитинское Забайкалье с тощим снежком и вымерзшей жёлтой травкой по белому. Приблизился словно отлитый из белого гипса складчатый увал.

Под ним плоско лежал Чернышевск с морозными дымками, косо сложенными ветром. На заправке огромный, как локомотив, дальнობой терпеливо заливал гигантский бак.

Ключья выхлопа уносил в степь ветерок. Женя заправился ледяным бензином, витым водоворотом скрывшимся в горловине, закрутил крышку до последнего, особого сухого и морозного щелчка трещотки и двинул дальше.

Вскоре он завернул к кафешке под скалой, где уже стоял изумрудный «лэнд» с читинскими номерами, обогнавший его, пока он заправлялся. В зальчике сидели за столиком двое: женщина и пожилой, крупный и крепкий мужик с прямым

выражением широкого бывалого лица. Говоря с женой, он по-хозяйски оглядывал пустое кафе, ища поддержки и компании и будто требуя, чтоб окружающее делило с ним это его хозяйское чувство. Звали его дядя Саша.

Повернувшись вполоборота, он тут же заговорил с Женей, спросил, как звать... Заговорил, будто давно знает даже не Женю, а нечто большее и общее, что за всеми ними стоит и что даёт право понимать и расспрашивать каждого. Разговор завёл сразу на «ты» и с доверием не столько к собеседнику, сколько к месту, предполагающему лишь достойных.

— Да ты видел нас. Я стоял там... Но. Остановились. На восход посмотреть.

Разговор, как обычно, пошёл вокруг дороги и перегона.

Дяди-Сашина жена молчала, а сам он, сидя вполоборота и широко расставив ноги, рассказывал про свои пространные пробы в Комсомольск и Находку.

— Да ты чо, я там всё избороздил. Сам знаешь, что такое дорога. Поперву и город-то проехать проблема была—она, трасса, хорошо если скользом его хватает, а если через город—пока выберешься, семь потов сойдёт. Ну знаешь же... особенно Хабаровск... Давай надейся. Тебе вон ещё куда ехать...

Потом разговор неминуемо перешёл на машины, Женя оценил дяди-Сашин уже не молодой агрегат, и тот ответил:

— У меня их два штуки. Да ну н-на... Мне больше и не надо ничего. Тут даже говорить нечего. Я знаю: это моё.

И, садясь в «крузака», сказал:

— Ну, давай, Женя. Не гони только. Тише едешь—дальше будешь.

Куда он ехал и зачем, Женя и гадать не пытался, но в путь пустился взбодрённым—очень уж подкрепил его дядя Саша своим «моё», относившимся, как казалось, уже ко всему окружающему, а не только к машине.

Это были великие степные места, ничуть не менее мощные и выразительные, чем таёжные. Трасса тёмной полосой забиралась на меловой увал. Степь была то сплошь жёлтой, то присыпанной снегом, но щеточка травки торчала из-под снега почти везде. Волны, складки, стрелки с жёлтыми травяными гранями—всё было очень рельефным, плотным, литым.

Но едва дорога снова забиралась в сопки—вернулась сосново-листвяжная таёжка, прозрачно белеющая на просвет. Началась снова гребёнка, очень старая, неровная, в продольных рёбрах, грядах-колеях. Ближе к обочине тянулась прессованная полоса снега, а в середине—окатанные и убитые тысячами колёс впрессованные камешки. Целыми судьбами говорил их тусклый блеск. По

мостику через Зургузун проходил последний стык гребёнки и асфальта.

Ближе подступили скалистые сопки. Прозрачный соснячок чахло лепился по скальным кирпичикам. Тянулись вдоль дороги голые берёзки и лиственницы. Наконец, в разломе сосновых сопки открылась Чита. Вскоре Женя уже ехал по её степной плоскотине. Читу трасса «хватала скользом», основной город оставляя справа: пятиэтажки, трубы, антенны, за ними горбик сопки. Заправка, мастерская у дороги. Перекрёсток с магазинчиком. Всё плоское, степное. Свежие деревянные столбы какой-то будущей ограды вдоль дороги.

От Читы трасса шла по долине Ингоды. По левую руку тянулась река, по правую вдаль к северу темнел Яблонный хребет. Кругом плоско и не по-зимнему ярко желтела степь.

Изредка по жёлтому круглились мелкие сосенки.

Трасса крючком уходила южнее Транссиба и воссоединялась с ним только в Хилке. От Петровска-Забайкальского она снова отклонялась к югу, проходя между Заганским хребтом и хребтом Цаган-Хуртэй.

Снова ночь, скалы, подъёмы, перевалы, повороты. Чёрные горы. Редкие встречные фары. Ночёвка, не доезжая Улан-Удэ в Тарбагатае. Молодая полу-сонная женщина. Стоянка за железными воротами. Холодно поблёскивающая машина. Звёздная ночь. Собака. Запах угольного дыма.

Умывальник с пахучим мылом. Котлета с пюре, капустой и подливой. Чай с беляшом. Чистая прохладная постель.

Телефон, сыто набирающий заряд из розетки.

Раннее утро, морозно резанувшее ноздри. Блинчики со сгущёнкой и чай с лимоном. Великолепный, уже добравший полного совершенства «блит» на белом снегу в льдистом блеске синего фонарного света. Хруст колёс и выезд за ворота. Улица, особенно пустая и ярко освещённая...

И ещё могучая страница перелистнулась, непоправимо изменив человека, рывком вдвинув стрелку навигации в новый излом пути... И вот мелькнули последние дома с ещё тёмными окошками... Сжался в золотую горстку уличный свет в зеркалах и погас... Скала Спящий Лев темно проплыла за окном... Ирина Викторовна взглянула задумчиво и нежно откуда-то из глубины памяти, сквозь толстое стекло, ещё глубже зарастающее прозрачной синевой утра, игольчатыми морозными звёздами.

Улан-Удэ хорошо объезжался слева и, проплывая, разворачивался с правого борта дымящими трубами, длинными низкими жилыми корпусами, тёмными горбами сопки по горизонту. Женя остановился у кафешки на выезде. На площадке стоял гигантский «фрэд» с длинным капотом и огромной, как рама, решёткой радиатора. Хромированный воздух напоминал титан для кипятка

или самовар, две блестящие выхлопуши оперяли задние углы кабины. Обтекатель спальника ширился, будто жабры. Тягач молотил дизелем, как завод, на разные лады — лязгом, бряком, самолётным присвистом, гудом и колотом. В кафе маленькая пожилая женщина в узорном пластмассовом кокошнике казалась не то приезжей, не то просто странной — мягкая, немного суетливая и какая-то нездешняя. Женя перекусил и чисто вытер хлебом тарелку со следами яичницы, убрал рот и, с жалостью смяв салфетку, положил её на тарелку.

Больно стало за лес, загубленный на пустяк. «Как Василий Михалыч становлюсь», — подумал Женя и вышел на улицу.

Эти места Женя любил особо. Слева вдоль дороги тянулись голые глыбы с редкими сосенками. Промелькнул щит с надписью: «Иркутск — 434, Бабушкин — 162». Равнинка. Кони, щиплющие жёлтую травку в снегу. Селенга, медленно приближающаяся справа и поначалу не видная за тальниками долины и словно притираемая к трассе хребтом с крапом соснячка по белому. А вот и сама река, недвижно-белая, с бледно-зелёной проступью наледи, широкая, мощная, сжатая горами. И железнодорожные мосты извечной здешней парой — с фермами, ногами укосин, углами и зигзагами, так рябящими из окна поезда. Дорога по-над Селенгой с бетонным ограждением. Утёсы с чахлыми сосенками. Транссиб, в две жилы тянущийся на ярус ниже вдоль реки.

Ближе к Байкалу помутнело небо, завязался и налёг западный ветерок, и потекли встреч по асфальту змеистые струи позёмки, рыская и сплетаясь струистой сеткой. Слева, поджигая клин равнины, отвесно подступал Хамар-Дабан — гранёными белыми пиками, ребристыми ногами в чёрных чулках кедрочей. Ещё сильнее замело. Щётки еле убирали снег, чистое стекло тут же покрывалось новой осыпью. Снежинки появлялись одновременно по всему полю, но при этом соблюдали умопомрачительную очерёдность и ухитрялись, едва коснувшись, из точки превратиться в лучистую кляксу. Налегавший ветер сгонял талую смесь к краям, и она судорожно тянулась к стойкам прозрачными перчатками.

Знакомый енисейский кедрач обступил дорогу. Рельефные чёрные кроны были набраны из гнутых свечей и имели каждая свой сход, развал и разлёт, словно соревнуясь в грозно-картинной своей выразительности. Снежный заряд достиг предельной силы, и всё потонуло в молоке, объяв Женю уже родной и привычной обстановкой чёрно-белой сибирской зимы.

Был Танхой, а потом граница Иркутской области глянула из зеркал сине-бело-жёлтыми цветами Бурятии на щите.

Потом Хамар-Дабан из разлома расступившихся треугольных гольцов выпустил белую речку

в тальниках и ельнике. И светило знакомое мутное солнце, и белые зубчатые вершины всё так же резали ветер на витые лоскуты. Справа уже поджимала Женю туманно-меловая громада Байкала. И тут Хамар-Дабан ещё надавил и косо восстал с левого борта, навалился серо-жёлтыми скалами и, почти смяв Женю в млечное марево Байкала, держал, испытывая, над Транссибом, который сам непонятно как тянулся по краю берега, так же не дыша и еле держа равновесие. И всё было диагональным, косым, рассечённым с угла на угол мощной линией склона, сходящего к Байкалу с Хамар-Дабана. И крепко было Жене между двух его огромных братьев в этой родной задувающей зимней стихии.

И вёрсты потянулись длинней из-за того, что Женя был почти дома. Он позвонил Вэде, и тот бодро брякнул сквозь шум дороги, что, мол, сегодня выехал по зимнику с Бора в город с пассажирами и что, дескать, давай, жми, братка, ерунда нам обоим осталась, скоро увидимся, через сутки, может...

Так же, в снегу, он проехал Слюдянку, уже со снежной блестящей мокретью на улицах, и на выезде, поднявшись по крутой петле серпантина, остановился на площадке по-над Байкалом, где лепились фанерные сарайчики с дымящими трубами, пахло дымком и за столами крепко одетые тётки продавали золотистых омулей, лежащих аппетитными кучками. Дальше дорога резко загибалась за скалу, и под ней стоял мальчишка с портфелем.

Женя остановился размяться, подкупить омулей и поглядеть на Байкал. Даль была так же мутно-бела. Как на ладони виднелись трасса, серые квадраты домишек, угловатая нарезка заборов с огородами, причал с кранами.

Назубоскалившись с тёткой в пушистой розовой шапке и красной жилетке поверх фуфайки, Женя осторожно понёс прозрачный пакет, слишком слабый для натянувших его изнутри твёрдых омулячьих морд. Омуля были плотные, лежали тугим рядком. Подошёл парнишка с портфелем: — Драсьте. Не подвезёте? А то школьный автобус отменили.

— Докудова? — покачал головой Женя.

— Да тут рядом. Километров двадцать.

— Ну, садись. Тебя как звать?

— Вова.

Отъехали от площадки, и, когда огибали скалу, Вовка сказал:

— Здесь недавно фура улетела. Хорошо, поезда не было.

— А чо такое случилось?

— Да вроде колодку заклинило. Они ещё носятся как сумасшедшие, им ход-то нельзя терять на подъёмах.

— А водитель?

— Водитель на глушняк. Вот, прямо здесь, я покажу, если остановитесь.

Видно было, что мальчишке охота показать место, и, чтоб не подсекать его порыв, Женя остановился, съехав на снежную обочину: поворот был абсолютно слепым — дорога круто огибала скалу. Они подошли к краю: железный парапет, обломанные берёзки, отвесный склон и стальная линейка железной дороги далеко внизу.

— Н-да,— сказал Женя.— Ну чо, поедем?

Поехать сразу не удалось. Левое переднее колесо уже стояло на дороге, но машина не могла взобраться на залавок, и её везло вперёд и боком, задок заносило, притирая к скале. Задние колёса прорезали глубокий снег до щёбёнки.

Женя накатал взад-вперёд колею и с разгону выскочил на дорогу. Вова выпятил губу, оценив манёвр, и начал взахлёб рассказывать про «чайник» с двигателем «турер», на котором носится как угорелый чай-то «брательник».

— Да ладно... «Чайник» как «чайник»... Вот как ты в школу теперь ездить будешь?— спросил Женя.

— Да вот так вот...

— Чо, и каждый раз так машину ловишь?

— Да нет, здесь вообще автобус ходит, но его ждать надо. А бывает дубарина такой...

— Да с ветром...

— Но.

— Но чо ж они, козлы, творят-то?

— У нас тут почти закрывать собрались...

Женя только крикнул, стукнув по рулю, и, успокоившись, бодро спросил:

— Ну и чо «чайник», хорошо «валит»?

— Да только шуба заворачиватца. Две турбины как-никак.

Пацанчик вышел посреди леса, помахал рукой и пошёл по снежному своротку, закинув портфель с лямками на спину. А Женя вспоминал белые лезвия Хамар-Дабана и огромный Байкал. И думал о том, что есть какая-то чудовищная ошибка, что при такой природе и таком диком и привычном народном трудолюбии ничего не ладится и всё только катится под откос, как фура с заклиненной колодкой.

А когда встречаешь крепкую русскую семью, то она, кажется, будто держит мир, живя на непреходящих и независимых источниках жизни вроде картошки, рыбы и дров.

Особенно когда оказываешься на ночлеге под белёными стенами и в тихом свете керосиновой лампы видишь матицу с крылами досок, как птица, хранящую домашний покой, если ещё не осталось икон. И кажется: вот оно, вечное, что всё переборет и вынесет из любого лихолетья.

А потом выходишь на улицу, и всё ощущение выливается из тебя, как синяя байкальская вода из пластмассовой бутылки. Видишь только убогие дома, сараюшки-залипухи и покосившиеся заборы. Разорённые посёлки, вопиющие временного вида магазинчики «Шанс», «Вариант» и «Антураж»

да кафе «Вкусняшка» с рестораном «Харакири». И сам городишко — будто рынок, такой же грязный и обклеенный яркой и измызанной бумагой. И поворот над лучшей в мире далью, и терпеливый силуэт продрогшего Вовки, у которого отменили школьный автобус.

— Да что ж вы... делаете... суки?!— Женя ударил кулаком по ободу руля.

И тогда восстал перед ним главный вопрос, которым мучился в ту пору каждый по-настоящему русский человек: «Как соотнести ратное желание защитить дорогое со смирением как главной добродетелью православного христианина?» И, как тысячи своих собратьев, в который раз восклицал в справедливом недоумении: «Да как же я могу возлюбить тех, кто разрушает моё Отечество?!» И как человек совестливый, думающий и тонко чувствующий свою землю, он не находил ответа и маялся в его поисках.

С таким разломом в душе он прошёл весь длинный горный участок. Неподалёку от Шелехова, на выезде из лесной логовины, был правый поворот и виднелся посёлок. Машину вдруг повело, и Женя прижался к обочине, уже понимая, в чём дело: правое заднее колесо спустило.

«Да это пока буксовал под скалой. Оно, похоже, уже было порёпанное. Придурок... на хрен надо было останавливаться на повороте на этом? Тоже место нашёл... Как будто первый раз этот обрыв вижу... Послушал пацана...» — и Женя полез за баллонником и домкратом.

Машина стояла на подъёме, норовила скатиться с домкрата, и пришлось подложить под колёса оковалки грязного прессованного снега. Кузов так облепило грязью и льдом, что Женя не сразу нашёл на его низу домкратную площадку. Край дороги был в смеси грязного снега, песка, которым посыпали подъём, и какой-то извечной грязевой взвеси.

Женя был раздражён и поминал недобрым словом Вэду с его «Жми, братка, ерунда осталась!». Женя и настроился на рывок, рассчитывая переночевать аж в Нижнеудинске у знакомого вертолётчика. Теперь, с учётом заезда в шиномонтажку, всё затягивалось.

Колесо помаленьку взвисло над грязным снегом дороги. К ещё большему раздражению Жени, оно не слезало, накрепко прикипев. Монтировки у Жени не было, вернее, была, но маленькая, и её не хватало. Он остановил «корону», «инспруху», но нужного инструмента ни у кого не было, и он бросил отвлекать народ.

Через место, где он копался, косо проходила муравьиная солдатская тропа. Солдатики перебежали дорогу, держа путь от каких-то своих служб в часть, стоящую неподалёку за голыми берёзками. Поодиночке, а больше кучками парнишки проходили, кто молча, кто что-то обсуждая на ходу.

Ребята шли всё больше худенькие, и шинели сидели на них как-то совсем отдельно. Шеи тонко торчали из воротников.

Женя ещё больше раздражился, с завистью глядя на них, живущих в своих расплывчатых работах, идущих к теплу и кормёжке, и совсем не думая о том, что любой боец с удовольствием бы поменялся с ним местами и «переобул» бы колонну «марковников».

Он всё копался и вдруг почувствовал, как над ним нависли две фигуры. Он обернулся и поднял голову: стояли круглолицый и невысокий молодой майор и солдатик.

— Здрс-сьте. Помощь нужна какая-нибудь? — бойко спросил майор.

Его румяное, розовое лицо было совсем детским и лучило участие и радость.

— Да, бляха, монтирочку бы поглавней, а? Прикипело, падала. Гальманул у Слюдянки не по теме. — Так... Ну, обождите... — сказал он, что-то прикидывая.

— Если есть, вы, может, бойца мне пришлёте с ней? — Да всё щас сделаем. У меня механик есть, — решительно сказал румяный майор, и оба бодро пошагали к части.

У Жени был топор, он отстучал колесо обушком, снял и уже подкатил запаску, когда объявился юный майор в сопровождении солдатика со здоровенным гвоздодёром.

— О, вот это выдержга! Спасибо, — сказал Женя, улыбаясь. — А вы... — дрогнуло что-то огромное в душе, — отпустите бойца... — и стало набирать светлую и зудкую силу, — и обождите...

Майор стоял, бодро и участливо глядя добрыми глазами — круглыми, живыми, блестяще-серыми. Крепкий, в плотной шинели, казавшейся на нём ещё плотней и толще.

— Вас как зовут?

— Саша, — он протянул руку.

— Саша, спасибо... тебе, — слова говорились крупно, в полный вес и с тихой задержкой, словно их самих сводило от простого и ясного их смысла.

И что-то нависло над куском грязной М-55, будто неподъёмное расстояние, пройденное и выстраданное Женей, раскинуло над ними прецистную сень и терпеливо ждало, укрывая и храня их снежным своим крылом.

— Мы же русские люди, мы должны помогать друг другу, — сказала оно Сашиними устами и помогло Жене уложить в душу огромные слова, потеснив всё нажитое и сделав и её в несколько раз огромней.

Женя, глядя в глаза, снова пожал Сашину руку: — Спасибо, брат. Это так важно, ты... не представляешь... Слушай, пацана щас вёз — у них автобус отменили... Саш, ну как это всё?... Как... вообще... дальше-то жить будем?

— Да так и будем... С Божьей помощью.

— А у вас в части батюшка есть?

— В самой части нет, но я солдат своих вожу каждую неделю. Обязательно. Это первое дело.

— Води, Саша. Спасибо тебе, брат! За всё спасибо. — Да не за что. Вам доехать. Там шиномонтажка слева за заправкой сразу...

Женя выгреб бутылку приморского бальзама, консервов каких-то в пакете:

— На вот... Ну всё, давай. Спасибо!

Майор проворно ушагал. Женя усадил тяжёлое широкое колесо на шпильки, накрутил гайки, опустил домкрат и дотянул на колесе, уже крепко прижатом к дороге. Снял мокрые перчатки и убрал инструмент. Скинул спецовку, всю в коричневой грязи, долго тёр снегом штаны. Проехал с километр и завернул к шиномонтажке, где ему восстановили запаску. И, отъехав дальше, вдруг остановился и включил аварийку. Выбравшись из машины, он встал в снежную грязь на колени и помолился за всех тех, кого встретил в этот нескончаемый день.



Николаю Зиновьеву

Там, где горы режут ветры
На витые лоскуты,
Я глотаю километры
Забутья и глухоты.
И, над сопкой вскинув руки,
Я кричу в просвет над ней:
Что ж вы делаете, суки,
С бедной Матушкой моей?!
Ниоткуда голос тщетный
Отвечает сквозь дымок:
А с душой своей бессмертной
Что ты делаешь, сынок?

Глава девятая

Катин голос

*Мой неравный и несравненный
Прожигатель ночных свечей!..*

<...>

*Ближе к утру, зарёй окрашенному,
Придержу ночевую мглу,
Чтобы было тебе не страшно
Выгребать из меня золу.*

Татьяна Баймундузова

1.

На подъезде к Иркутску хриплыми волнами начало набрасывать голос молодой радиодикторши. Приблизившись и ошкурясь от шороха и хрипа, он зазвучал чисто и нежно.

И с призывной женской силой прорезали душу слова о погоде «в нашем городе», словно певучие чары распространялись и на облачность, и на

город, и на всю дорогу сердцу округу. И, прострелив по жилам, с дорожной смежной близостью вспомнился один смертельно-чудный голос, так пронзительно озвучивший его огромно-бездомную жизнь.

Однажды летом Жене довелось везти Данилыча с его братьями-писателями на Шукшинские дни в Сростки. Сели очень солидно, каждый со своими книгами и авоськой, и начали с крепчайшего самогона прямо в Красноярске, у заправки «Фортуна плюс» на Маерчака. План был заехать в Ачинск к Петровичу, хлебосольному свояку Данилыча.

Творческие личности со сборами протянули и ехали впритык, прихватывая и ночь. Поэтому было решено, что в Ачинске Женя «чутко поспит», они «пока посидят» у гостеприимных Петровича и Лиды, живших на окраине в деревенском домишке.

Хозяева, по своему обыкновению, подошли к встрече основательно, и организованное по всем правилам застолье подхватило уже тщательно подготовленных пассажиров.

Из закусок были: рубленая с чесноком сохачья колбаса, два вида невозможных груздей, отстающих сырами пластинами и переложенных чесноком и смородинным листом, среднекалорийные солёные огурчики потрясающей хрусткости и пряности, свежеразмороженная черемша со сметаной, жаренный в масле папоротник, кварцевой прозрачности копчёное сало с прожилочками, шаньги сметанные и с ливером, винегреты разнообразные, жареные харьковские печёнки, пирожки с румяными спинками, мазанными желтком, и тремя сортами начинок — с яйцом и луком, мясным фаршем и картошкой, и, конечно же, сальники с трешухой... В общем, пока разливали самогоны на сабельнике, калине, золотом корне, маралых пантах и кедровых орехах из бурундучьих заначек, Женя грубо поел и пошёл спать.

Ему отвели комнату за печкой и тонкой перегородкой, и он, мечтавший отдохнуть перед ночной дорогой, понял, что заснуть по-человечьи не удастся, — за столом базланили так, что позвякивали запасные тарелки на столике. Уровень дал сам громогласный Петрович, всю жизнь проработавший на Севере дизелистом и начисто потерявший слух.

В одиннадцать вечера Женя выполз из горницы и загнал пассажиров в машину. Лида оснадила компанию блинчиками, ландориками, ватрушками

6. Шадажьи ушки — от слова «шадаг». Так в Курагинском районе называют северную пищу, по-другому — сеноставку, небольшую зверушку из отряда зайцеобразных.

7. «Майга» — ленок, «магун» — желудок (эвенк.).

8. «Ямаха-росомаха» — интереснейшая совместная разработка русских и японских инженеров. На «росомаху» предполагалось ставить проверенный временем двигатель от ВК-540, а также и уникальную гусеницу 670 мм. Проект не состоялся.

и прочим стряпанным, а также самогоном на шадажьих ушках⁶ и майгушачьих магунах⁷. И праздник понёсся в дальнейший скач.

Как бывает с вынужденно непьющим в хмельной компании, Женя и сам будто опьянел от общего возбуждения и так же перебивал, острил и громогласил. Вокруг все решили, что надо его развлекать, опекать и разгонять его сон, о котором не было и речи. Потом бросились спрашивать, удобно ему или нет сидеть, не загораживает ли кто обзора в центральное зеркало, не мешает ли чем-либо, и стали в припадке порядка всё поправлять и перекладывать, ронять и искать телефоны и хотеть до ветру. Начались бесконечные остановки. Сначала просил остановить один. Потом, едва отъехали, — другой. Потом повалили все вместе и, взбодрённые облегчением, разговорились на улице о чём-то необыкновенно важном и забыли, что надо садиться в машину и ехать дальше. К Боготолу плавкие души набрали такой творческий ход и такую востроту глаза, что опедали всё попавшее под взор. Восхищали необыкновенные чуткость, податливость и отзывчивость, с какими они откликались на любой штрих жизни, любое слово, надпись на щите.

Особенно разошёлся один крепкобородый пассажир, которого все звали Васькой. Писателем он не был, но зато слыл известным хвостопадом и имел очень знакомую внешность: всем казалось, что он на кого-то похож. Такие есть в каждом городе.

Работал Васька непонятно где. То разводил на даче соболей в лице единственного облезлого Кешки и пытался вывести линию особых морозостойких индюков. То искал мецената для скупки списанных водокачек и отделки их «под башню» на продажу богатым поэтам. То занимался рекламой так и не состоявшегося русско-японского снегохода «ямаха-росомаха»⁸. Утверждал, что на этикетке «купеческого» пива его личный портрет. Знал всех и всё. Стоило назвать любой населённый пункт Красноярского края и особенно Эвенкии, он говорил, что жил там, и сообщал о нём что-нибудь исключительное. Кто-то упомянул Ногинск на Нижней Тунгуске, где закрыли графитовый рудник, и он выпалил:

— Как же — Ногинск! Знаю! Там ещё Пикассо графит заказывал. На карандаши.

Женя начал рассказывать про Вельмо, Северо-Енисейский район, и Васька перебил стихом:

На Вельмо живут вельможи,
Баб... целуют стоя,
Работают лёжа.

Обстановка была горячая, и главной задачей стало не запустить делегацию в Кемерово к корешу Петьке Дерьгоусову, который ждал их в любое время суток, держа прихотливый стол. По крайней

мере, так следовало из слов: «Да пошёл он в пень! Что значит спит?»

Женя решил сосредоточить их на музыке, в надежде, что они отдадутся ей, понесутся, так сказать, по её взгорьям и это их убаюкает, но не тут-то было. Всё моментально превратилось в её обсуждение, настолько жаркое и оглушительное, что музыка потерялась. Потом все бросились подпевать. У Данилыча были отличные слух и голос. Он никогда не знал слов, но умел их угадывать по первым буквам и общему смыслу и подправлять по ходу строчки, иногда выплавляя интересные гибриды.

Потом кончился самогон, задние по очереди заснули, а Данилыч тоже клевал носом, но избражал штурмана, говоря, что не бросит Жеку, и всё время делал вид, что не спит.

Потом и он утихомирился, и Женя ненадолго наслаждался ночной ездой. Ближе к утру, на самом начале восхода, стал уставать. Здесь-то как раз собеседники бы и пригодились.

Но не тут-то было. Зашевелился Данилыч, спросил, где едут, и снова заснул. Не доезжая Новосибирска, Женя остановился у кафе. Мужики были очень вялые и совершенно не собирались похмеляться. Женя еле заставил их выпить по бутылке пива, но никто и не думал развлекать его разговором. Поведение было возмутительным. «Ну хоть бы десятую часть дурасти на утро оставили бы. Не-а. Бесполезно».

В Новосибирске передали посылку и поехали в Барнаул. Промелькнули Обьгэс, Бердск, Искитим. Доехали хорошо—трасса участками имела третью среднюю полосу, поочередно отведённую то одному, то другому направлению. В Барнауле в гостинице была встреча с организаторами, раздача ключей и талончиков на питание. И очень серьёзный бледный Данилыч в галстуке. И остальные такие же слегка пергаментные и с романтическим сумраком в глазах. И сон в прохладном номере, с занавеской, колышущейся от ветра под лёгкий холодок дождичка.

Открытие торжеств в библиотеке и другие встречи Женя мёртво проспал, оживя лишь к ужину. С утра он поставил машину во внутренний двор гостиницы и поехал со всеми в Бийск, где мероприятия продолжились, завершившись праздником прямо в сквере напротив гостиницы. Замечательно пел кемеровский мужик, непрофессиональный певец и лауреат всероссийского конкурса. Высокий, крупный, с гнутыми ногами, крестьянским загаром и белым лбом под чубом. Вышел с мужественным шиком, весь рубленый, в стальном костюме, усиливающим его кряжистую протруженную сущность, и сам будто только с проходной завода железобетонных конструкций. Запел, прикрывая глаза и наслаждаясь силой и простором, которые приотворил его

голос—низкий, режущий и необыкновенно мощный. Потом выступала целая труппа. Несколько мужчин и очаровательная женщина с короткой стрижкой и в длинном синем платье. Когда запел один из певцов, по-видимому, её муж, породистый и артистически крупный, она стояла возле сцены, не сводя с него глаз, улыбаясь и помогая губами. Забрёл на огонёк пьянчуга, присел на край ряда и, плача, тряс нечёсаной головой.

С утра Женя поставил машину во внутренний двор гостиницы и поехал со всеми в Сростки. Там пили чай у замечательной Лидии Александровны в музее, где Женю поразила парта, за которой сидел Шукшин, наклонная, чёрная, со слоями краски,— целый ряд таких парт стоял рядком в классе.

В Сростках кипел праздник. Толпилась куча машин с новосибирскими, кемеровскими, красноярскими номерами.

Пробегали, сопя долгим верстовым сыпом и требуя дороги, мокрые бегуны в трусах и майках, тут и там стояли то балалаечники, то ложечники. В тополёвом парке расположилась целая выставка резных деревянных фигур в рост человека, которые на твоих глазах появлялись из горы завитых стружек. Был замечательный Шукшин, глядящий настоящую берёзу. Вокруг каждого мастера теснилась своя толпичка народу. Пахло свежим деревом. Тут же лежали плавничные заготовки, пойманные в Катунь, стволы тополей в лохмотьях коры, отшлифованные галькой бургристые сосны. У входа стоял русский хор, и все, проходя его,—и Данилыч, и Вася, и Женя—тут же автоматически неотлагательно, будто в них что-то включали, пускались в пляс. Причём голова колонны уже, вытирая пот, успокаивалась, середка заходила в присядку, а хвост, ни о чём не подозревая, обсуждал издательскую ситуацию... И везде шёл толпами народ, и что-то такое стояло на лицах и витало в воздухе, отчего становилось страшно: а вдруг ты мог сюда не попасть?

На лице Лидии Александровны тоже стояло это выражение счастья, и только по озабоченному выражению помощниц, то и дело её теребящих, можно было догадаться, сколько сил требовала трудовая изнанка дела.

До встречи в библиотеке оставалось время, и Данилыч предложил пойти на берег Катунь, текущей меж тальниковых островов быстрым мутно-синим пластом. Была компания, человек десять, и среди них молодой журналист, который вдруг встрепенулся и обрадованно подошёл к статной девушке в тёмных очках и с рыжим пучочком. На ней был сарафан, и через плечо по диагонали сумка. Среди общего хода она стояла с каким-то неподвижным и выжидающим выражением довольства происходящим. Саша познакомил её с гостями и пригласил пойти на Катунь. Звали её Катей.

Половину лица закрывали большие тёмные очки в классической оправе—толстой, с кошачьими раскосинками, как у прежних учительниц, но только уже в новой, модной подаче. Собранные в пучок волосы были природной расцветкой рыжины и нежно выгоревшими по краю. Всё это Женя разглядел позже. Пока ему было не до этого: среди известных людей он чувствовал себя не в своей тарелке.

Васька плавал, шумно отплёвываясь и тараща глаза, остальные стояли кучками, разговаривали и время от времени фотографировались друг с другом в разных комбинациях и сложно передавая фотоаппараты. Постепенно обязанность эту взвалили на Сашу, который был увешан камерками, как ёлочными игрушками. Он то набирал их за петельки на пальцы, то рассовывал по карманам и зажимал под мышками. Он подошёл к Жене: — Жень, Катя хочет с тобой сфотографироваться.

Женя подошёл, напряжённо приобнял её за прохладную талию и выстоял несколько секунд.

Потом была встреча с читателями на лужайке библиотеки. После неё все поехали на Пикет, и Женя понял, что, не побывав на поросшем травой этом бугре, ничего не поймёшь ни в Сростках, ни в Шукшине, ни в алтайской земле.

Медленно поднялись наверх, где, закругляясь и отступая, плоский кусок русской земли заканчивался небом, на фоне которого сидел бронзовый Шукшин с босыми ступнями, пальцы которых, особенно большие, были до блеска затёрты—люди трогали их, гладили, целовали. Потом подошли к южному краю Пикета. Оттуда открывалась панорама: пойма Катуня, луга, околки, поля, над которыми вставало в райской летней дымке начало Алтая и синела гора Бабырган. Взгляд восторженно блуждал, парил в нежданной благодати, не ожидая такого простора,—в Красноярье Женя не знал точки, с которой бы так открывалось начало Саян.

Потом обедали в кафе, где говорилось много хороших слов, и особенно поражены были происходящим даже не столичные гости, а пишущий люд со средней России, из Орла, Воронежа, отсюда, где ещё чувствовали землю. Потом Саша попросил Катю спеть. Она как-то тяжело вздохнула, попыталась отшутиться, но под напором уговоров согласилась, и все сидящие—и те, кто её знал, и гости—были почти час во власти необыкновенного её голоса... Начала она с «Калины красной», благо они и сидели в кафе с тем же именем.

Катя пела так чисто и щедро, что, если приблизиться к её рту, трепетал и ватно зашкаливал в ушах воздух. И мурашки поползли по затылку, когда удалось вторить ей,—тогда заслоилась кафешка пластами голосов и объёмно взвисла меж них согласная ликующая бездна. А она поворачивала лицо, направляя трепет воздуха, и те, кто

сидел рядом, старались пометче подпасть под эту струистую судорогу...

Потом поехали уже на обрыв Катуня, откуда спустились к воде, и купались в мутно-синей стремнине, по нескольку раз кидаясь и снова заходя. В Бийск вернулись к ужину в полумрак ресторана. Катя оказалась рядом с Женей, и ему очень хотелось заглянуть ей под очки, которые она, казалось, никогда не снимала. У неё их было несколько штук. Теперь она сидела в дымчатых и таких же больших и нарочито-школьных, в полосатой бело-чёрной оправе.

Глаза её прозрачно просвечивали сквозь стёкла. Казалось, была слишком проницаемой их оболочка, и лучили они что-то такое, что она боялась растратить, отдав на яркий свет, и только выпускала на ближнюю прогулку в пределах стёкол. И оно послушно стояло зелёным дымком в защитном пространстве, готовое в случае опасности, быстро свившись в струйку, исчезнуть в зрачках. А может быть, она берегла от этого дымка других... Потом Женя взял её руку.

Уже ночью ходили на Бию, и он снова нашёл её руку, прохладную, обнажённую до плеча, и она крепко, по-школьному, ответила и уже не разжимала своей кисти, обрушив на него целый град вопросов. Где он живёт? Какой Енисейск? Любит ли он ловить рыбу? Где ночует на пути из Приморья, когда гонит машину, и хорошо ли там кормят? Какой Океан?

Было темно, и он почти не видел Катю, только чувствовал руку, крепко держащую его кисть, и слышал голос. Голос был удивительным, сочно-текучим, молодым, свежим.

Прорезая слова, на согласных и особенно на шипящих он давал резкое, шлифующее, искрящее «ш» и «с», будто натёкался на вкрапления металла. Между согласными тянулся нежно и упруго. И был в нём ещё какой-то сугубо женский не то холодок, не то, как сказал Васька, «смертельный обертон»— нечто не поддающееся описанию, но действующее подкожно, внутривенно и безотказно.

Катя, как и Женя, была родом из посёлка, но совсем из других мест—из Карасукского района Новосибирской области. Удивительны приказахстанские пространства эти, опоясанные почти по границе крепкой и трудовой железной дорогой... Степи, разводья с камышами, утки, цапли, озёра с чёрными целебными грязями и водой настолько солёной, что она буквально выбрасывает тебя на поверхность, и полные люди плавают в ней с необыкновенной и вынужденной важностью, выгнув шею и задрав лица.

Старинное песенное прошлое говорило в этой девушке... То зимнее степное, с ветрами и морозами, то летнее, с резко падающими чёрными ночами, южными звёздами и гулом тяжёлых товарняков, с шорохом ковыля и запахами—терпким

попынным и серным с соляных озёр. Казалось, сама сибирская земля, прорастая сквозь Катину существо, выбрасывала острые и гибкие стебли её животворящего голоса, и они бились-стучались в сердце тальниковыми побегами, резали его узкими листьями осоки.

Пуще обострилась в Жене тяга к единству, без которого лоскутья его души разобцённо трепетали на ветру, которые Катин голос мог бы ушить в такой невообразимый цветной плат! Жена представил, как она читала бы его любимые стихи, как звучали бы Пушкин, Лермонтов, Бунин, Ахматова, Блок, Есенин, Гумилёв. Какое было бы чудотворное соединение, как помогали друг другу бы слова и голос, в какую высь могли бы утянуть и его, грешного.

Когда, обойдя все виды мирского применения Катиного голоса, мечта устала и успокоилась, мысли вдруг пришли в тишину. А потом снялись, заплескав крыльями, и, оставив земное, поднялись куда-то совсем далеко, туда, где только снежок сеется да редким пером пролетают сквозь душу облака... вот тогда Жена и представил Катин голос на клиросе. Как звучали бы опетые ею слова... Те самые, что так долго добирают смысла, что, усохшие, сжавшиеся от духовной суши, молкнут, когда их произносишь без толку и счёту, а потом, оласканные чьим-то чуждым голосом, вдруг заговорят сами. И, выпав сучочками из доски времени, прозреют чуждыми глазками, и забьёт в них ослепительный предвечный свет, и многовековая пыль завьётся узким и острым лучом.

С Биби вернулись совсем поздно. Женя проводил Катю и приготовился прорваться вместе с ней в номер, но она не пустила, крепко встав в дверях. Он попытался сделать сразу три дела: снять с неё очки, распустить пучок, зашпилькованный деревянной шпилькой, и поцеловать в уклоняющиеся уста. Не удалось и части намеченного.

Утром не мог найти её номера — его расположение забыл совершенно. Так и рыскал меж этажом и рестораном то пешком, то на лифте и, конечно, пропустил. Она сидела в ресторане за столиком — с крепким пучочком, в тех, первых, очках с тёмной оправой. С ней завтракал вкрадчивый московский бородач из либеральной газеты, с неопрятной бородой и очками, крупно выкатывающими бледно-синие блуждающие глаза с жилками. На Женю Катя взглянула спасительно. Бородач говорил мягко, вежливо, весь измученный видением со всех точек, отягощённый каким-то до одышки сложным знанием, на фоне которого всё простое и жизненное казалось грубым, встающим ему в упрёк, а любая твоя позиция выглядела настолько детски-уязвимой и стыдно-однобокой, что становилось скучно от самого себя.

Назавтра предстояло рулить, и когда Васька, продуманно одетый в просторный пиджак,

предложил отхлебнуть алтайской из внутреннего кармана, Женя отказался, а Катя сказала строго: — Жене не надо.

Снова стояли в Сростках под тополями у резчиков, и снова колонна на подходе и выходе послушно отплясывала под баян и балалайку. Особенно хорошо шёл селезнем Васька — ладонь на затылке, ладонь на поясице. Тут же, прямо на улице, Жене подарили майку с надписью «Шукшинский фестиваль на Алтае». Он её немедленно надел, а уже поднявшись на Пикет, обнаружил, что на шее нет креста — Женя стянул его вместе со старой майкой и потерял. Место он помнил и решил на обратном пути найти крест.

От Кати он уже не отходил. Простота какая-то домашняя была у этой девушки. Женя давно заметил, что женщины по-разному говорят с миром: одни — как дамы, другие — как любовницы. Катя говорила как жена, и казалось, что если чем и можно совладать с ней, то только предельной честностью.

Таким он и стоял перед Катей — высвеченный до самой дальней душевной стенки. По крайней мере, так ему казалось.

На склоне Пикета, ниже фигуры Василия Макаровича, была оборудована целая сцена. От неё флажки отбивали дорогу в гору к памятнику. Напротив сцены ряды сидений ступеньками повторяли подъём. Кругом на траве, сколь хватало глаз, сидели и стояли люди. Всё пестрило флажками, майками, чем-то ярким, цветным. Особенно ярко, снежно горело на солнце белое. Начался концерт, посвящённый памяти Шукшина.

«Калина красная» была одной из самых любимых Жениных картин. Ещё в детстве она так потрясла, что, дорожа этим потрясением, он боялся её пересматривать. Потом запрет сам собой одолелся, и Женя облегчённо смотрел ещё и ещё, и каждый просмотр превосходил предыдущий по возносящей силе переживания. Прочитал он и сценарный роман, изучил историю съёмок с документами и фотографиями. Обсуждать и анализировать «характеры героев» Женя не умел, просто смотрел «Калину красную» как явление жизни, где действующие лица были не актёрами, а играли сами себя. До слёз трогала Люба, её интонации, движения, улыбка. Канонически-русским лицом Василия Макарыча он любовался, ему нравилось, как он говорит, как улыбается, как щурится, играет желваками.

«Калину красную» они смотрели тогда втроём с братьями, и Андрюха сказал, что будет «левысёлом», а Михалыч брякнул: «А чо он на другом тракторе-то поехал? До этого же пейсятка была». А на Женю сильнейшим образом подействовала песня, спетая на зоне, — в жгут перевитая с фильмом, она и осталась на всю жизнь. Женя знал силу таких спаек, удесятеряющих понимание

услышанного-прочитанного, и мечтал, чтобы всё близкое так же накрепко перевязалось в сердце, как Шукшин с Есениным после «Калины красной».

То, что человек сам всё придумал и написал, сам снял, да и ещё и сыграл, Женю уже не восхищало — он считал, что так только и нужно делать. Глядя фильм впервые, он не знал, положено ли у «левисёлов» включать в кино куски жизни или нет. И когда оказалось, что никто так шибко не делал, ещё раз восхитился шукшинской смелостью и пониманием, что лучше самой жизни о жизни не скажешь. И в благодарность эта самая жизнь только повторяла, долепляла в душе увиденное в фильме, словно в нём было больше правды, чем в ней самой.

Концерт начался и достиг под конец такой ноты, что у многих стояли слёзы в глазах. В завершение выступила знаменитая артистка из Москвы:

— Дорогие мои друзья! Я нисколько не преувеличу, если скажу, что восхищена, поражена тем, что здесь происходило в эти замечательные и катастрофически короткие дни. Ведь всё то, что меня окружает там, где я живу, уже ни малейшего отношения не имеет ни к той России, которой служил Василий Макарыч Шукшин, ни... к России вообще. Но сейчас я здесь, с вами, на святой алтайской земле... Конечно, это нечто гораздо большее, чем... ну... просто собраться и почтить память любимого писателя, — это отчаянная попытка объединения людей, близких по духу, по ощущению происходящего. И оно удалось, это единение, хотя бы и на несколько дней. Я хочу, чтобы меня услышала вся наша страна, и я говорю с полной ответственностью и великой радостью: да! Прекрасная и многострадальная наша любовь, наша Россия, она существует, она жива и дышит вами, вашей памятью, вашей заботой, дорогие сибиряки, дорогие жители Алтая! И я всей своей счастливой душой чувствую теперь эту нашу Россию, сердце которой бьётся сейчас здесь!

Пикет поднялся и ответил овацией. Потом раздали цветы, и с ними в руках все пошли наверх, к Шукшину, по дорожке, отбитой флажками. Катя была рядом всё это время, они и сидели вместе, и вместе шли к Василию Макарычу.

Женя чувствовал её, и когда их оттеснили друга от друга, и когда сквозь яркое солнце засверкали целые залпы вспышек, и когда он целовал отшлифованные до солнечного сияния большие пальцы Василия Макарыча...

Потом в каком-то светлом, восторженном упоении толпились у машин, фотографировались. Один только московский журналист, тот самый, что завтракал с Катей, говорил кому-то своим хорошо обезжиренным, отмятым и вычесанным голосом: — Ну как вам скэ-эзэть? Если честно... чтоб не огорчить... Конечно, ужасно безвкусно... а особенно этот чудовищный номер... А уж зачем Сазыкин вытаскил свою жену на сцену...

Назад ехали колонной со спецмашинами, и ни о какой остановке для поиска крестика не было и речи. Женя с Катей сидели вместе в уже ставшем домашним мирике. Он открыто держал её руку... Было совсем близко её лицо, очки в крупной оправе, пучок, проткнутый тёплой деревянной палочкой. Катя работала на молодёжном радио, которое слушали в автомобилях, и у неё назавтра с утра должен был быть эфир. Катя хотела спать и положила голову Жене на плечо, но она от тряски съезжала ему на грудь и никак надёжно не пристраивалась. Пучок Катя раскрепила, и волосы рассыпались золотистыми извивами, а палочка-шпилька осталась в её руке. Засыпая, Катя медленно разжала пальцы, и палочка выпала.

В Барнауле возле автобусов прощались, фотографировались, дарили и подписывали книги. Женя медленно выкатил белую «кресту» с горящими фарами и, остановившись поодаль, возвращался в привычную обстановку машины, чуть подзабытую и своим верным видом подчёркивающую скоротечность происходящего.

Он отвёз Катю до дома и наконец увидел её глаза. Они были большие, серо-зелёные, в распахнутых лучах острых ресниц. И, как виноградины, чуть просвечивали в боковом свете солнца — прозрачно и восковó...

— Ну дай я на тебя хоть посмотрю. Как следует... — Смотри-смотри... — как-то задумчиво ответила Катя и, будто что-то вспомнив, вскинула голову. — Ну всё. Я пошла.

Женя вышел, обнял её, поцеловал в ускользающие губы.

Происходящее продолжало нестись по чьей-то могучей воле, не оставляя лишней минуты, словно требовало аварийного приведения жизни в привычное русло. Женя вернулся в гостиницу, где уже вовсю дул неистовый отъездной ветер. Шло паническое разбегание людей на поезда, самолёты, неумолимое укладывание в расписания, то и дело звучали слова «билеты», «командировки», и царила сосредоточенность, никак не вяжущаяся с радостным и успокоительным совместным пребыванием. Кто садился на поезд прямо сейчас, кто улетал в Москву, кто на Урал, кто в Орёл.

Утром выезжали из опустевшей гостиницы. Сдавали ключи, что-то уточняли, где-то расписывались — всё с той же торопливой озабоченностью.

Женя сел в машину. Чуть накрапывал дождь, косо кладя по стеклу острейшие серебряные стрелки. Он повернул ключ, включил дворники, радио, свет. Вышел из гостиницы Валерий Данилыч со своим отрядом, неся опустевшие сумки. Едва сели и тронулись, как нахлынуло, навалилось...

Стало страшно уезжать, терять ощущение праздника, так незаметно набравшего-накопившего столько дорогого, что, казалось, вот-вот погибнет, раздавится происходящим в стране,

циничным, животным, примитивным... Все сидели тихие, подавленные. Вдруг над Барнаулом, над развязкой на Новосибирск, раздался дождевой, нежный, гибкий, как талиновый побег, голос: «В эфире снова „Дорожное радио“, Барнаул... Екатерина Задорожная... погода сегодня в нашем городе... чуть ветреная... чуть дождливая... будем надеяться... с другой стороны... расстраиваться... по заказу... целых два прекрасных дня и... словно ожидая окончания Шукшинского кинофестиваля... чтобы испортиться... закончились наши праздники... такие долгожданные... эта грусть на душе... столько гостей со всех концов страны... группа красноярских писателей и замечательный... просто человек Евгений Барковец...» — чисто и близко звучал чудный голос с вкраплениями металлчика на щипящих...

Словно росистое утро заглянуло в машину, но когда Катин голос сменился музыкой, все приуныли ещё больше и долго ехали в молчании, пока Данилыч не сказал:

— Что-то грустно, братцы. Надо бы где-то остановиться.

2.

Ребята остались в Новосибирске у Николая Александрова, писателя, издателя и старинного друга Данилыча, а Женя выехал в Красноярск дождливым утром следующего дня. Выехал с тем невыносимым трепетом в душе, какой бывает после удавшихся мероприятий, когда дни ещё только нанизывались, так что не успевал осознавать, падали крупными кусками прекрасного, необычного и тут вдруг резко оборвались глотающей пустотой. И она добавлялась к утере креста и расставанию с Катей.

О возвращении в Енисейск страшно было и подумать: близкие товарищи-единомышленники жили больше по другим городам — в Красноярске, Абакане, Новосибирске, Владивостоке. Дома люди, как водится, казались насквозь изученными и равнодушными. А здесь собрались все яркие, интересные, горячие. Так казалось Жене с его дороги, никогда ещё не кричащей таким одиночеством.

С этой дикой пустотой в душевных емкостях он еле дотянул до храма в Мочищах и там с трепетом приложился к чудотворной иконе Иверской Богородицы, а потом поднялся в помещение надвратной церкви и в лавке попросил крестик, объяснив, что произошло. Молодая женщина понимающе и внимательно взглянула на него:

— Вам надо на исповедь как можно скорее.

— Да, да. Я обязательно. Как доберусь.

— Постарайтесь. Только не тяните.

— Спасибо. Спасибо вам...

— Спаси Господи. Счастливой дороги.

Никогда он с подобной страстью не обращался к Богу.

Душевный вакуум настолько всасывал Божье, что тревога переросла в чувство необходимости такого состояния, благодарности великой Шукшину и всем, кого встретил на Алтае, не говоря уж о Кате. Он и не подозревал, насколько тонка грань между отчаянием и благодатью.

Кате он звонил, не отъезжая от храма. Потом с заправки, потом от кафе, но она не брала трубку, и он написал: «Смогу только позже. Съел беляш с чаем и попёр», — и тут же получил ответ: «Бе-бе-бе. „Попёр“ — это такое блюдо? Хи-хи. Будь осторожен».

На выезде из Кемерово дорогу загородила колонна платформ на московских номерах с широкими карьерными самосвалами. Колёса были сняты, и торчали только «ося», как говаривал Вэдя. Кавалькада занимала полторы полосы. Навстречу тоже всю двигались, и колонна собрала гигантский хвост с обеих сторон. В конце концов, Женя обошёл препятствие, чуть не выехав на противоположную обочину и видя рядом, сверху от себя, огромную ступицу.

К Канску подъезжал на потрясающем закате. Нависла свинцовая туча. С запада било ярчайшее рыжее солнце и освещало желточно-жёлтое поле, по которому мчался силуэт Жениной машины — странный, ширящийся книзу столбами колёс и подходящий на вставшего краба. Вдали сиял закатом огромный комбинат с трубами и бежевым дымом. Надо всем рдела огромная двухъярусная радуга. Женя видел только левую её ногу, торчащую вертикальным розово-рыжим лучом из корпусов комбината. Дорога заворачивала направо, и радуга сместилась в её створ, встав прямо из мокрого полотна, упирающегося в небо. Справа светилась огнями заправка и горела табличка с ценами на разные сорта горючего. Цветные буквы, цифры, набранные красным пунктиром, и электрически-синие огни отражались в мостовой и празднично сияли на рыже-заревом фоне гигантской радуги.

Потом Женя проезжал мелькомбинат, всегда поражающий одушевлённо-грозным видом старого бледно-зелёного корпуса — гигантского квадрата с чёрными дырами окон в крупную клетку. На выезде из города, вдоль трассы, загибаясь, тянулись подсобные какие-то рельсы. По ним, грозно клонясь в повороте, шёл старый двухсекционный тепловоз.

Высокий, рубленый, он обильно коптил чёрным дымом, и на свинцовом фоне тучи ярко горела в косом солнце его зелёная краска. Женю пронзила увядающая индустриальная эта краса, стало до боли жаль комбинатского корпуса, тепловоза, старого этого железа, которое было кому-то нужно, вызывало столько надежд и гордости, а теперь так вот приходило в ветхость.

На подъезде к Красноярску глаза устало впивались в глухую чернь дороги. И расцветали снопами

слепящие очи, переключаясь на ближний и словно опуская взгляд при встрече. Подступала ночь, его ждал Вэдя, и хорошо было знать, что у Кати в Барнауле на час раньше и ей можно позвонить перед сном, не опасаясь разбудить. Угорода пошла ярко освещённая мокрая и широкая дорога. Хватая края луж с гулким дробно-картонным звуком, Женя шёл левой полосой в дальнобойном полётном режиме, храня ход, словно воспоминание о Кате пузырьками любви могло взорваться в сосудах от резкой остановки, от всплытия из долгого погружения в её крепнувший образ. Заезжал через Брянскую, взлетающую блестящим поворотом на Покровскую гору.

Сонный Вэдя ждал с ужином. Жена с дочкой были на даче. Перед сном, уже лёжа, Женя негромко поговорил с Катей, отвечавшей тёплым и участливым голосом.

В Красноярске, по обыкновению, навалились дела, будто город, хорошо понимая свой краевой вес, требовал плановых хозработ. Весь день Женя помогал Вэде на воровайке. Цепляли на железнодорожном вокзале ящики со снегоходами и ставили на длинную платформу «нины». Кузов из толстого потемневшего алюминия шатался, принимая вес, тяжёлый ящик крутился и качался, Вэдя стоял за рычажками пульта, похожего на подушку с булавками, и орал:
— Жека! Успокой груз!

Потом выгружали ящики на грузовом причале, на площадку среди контейнеров, а рядом грузилась на Север крановая самоходка «Керчь», и студёный, из-под плотины, батюшка Енисей олизывал ржавую портовскую гальку с тем же девственным величием, что и тысячек вёрст ниже.

Вечером верный, отчаянный Вэдя, всегда очень горячо обо всём говоривший, что-то доставал из холодильника, резал, строгал — невысокий, с круглой и бритой лысеющей головой. С не отходящими от железа и масла руками — подушки его пальцев были покрыты мелкой серой чешуёй.

В квартире царил разор из-за ремонта, который он делал сам. Везде стояли банки, ведёрки, пакеты с просыпающимся алебастром, пластиковые рейки. И в некоторых местах уже желтели полированным деревом острова уюта.

Жене прислали фотографии с Алтая. Скучно щурясь от солнца на фоне Катюни, он держал Катю за талию. Красавица, она стояла рядом, чуть улыбаясь, рыжеватые кольца волос были распущены, очки сняты, и с прекрасного открытого лица глядели навстречу зелёные глаза... Он недоумевал, с какой проворностью сумела она развернуть и свернуть свою красоту.

Тут любовь и начала настигать Женю уже в логове, вернувшегося из полёта, расслабленного и сбросившего защитный кожух ветра. Милая драгоценность с золотыми волосами, виноградными

глазами и голосом, который только и остался теперь и каждый день отзывался нежно и внимательно или посылал весточку, уже имеющую своё неповторимое выражение букв и знаков: «Ты молчишь. Где ты? Я уже привыкла».

На другой день поступил заказ на перегон «ниссана-леопарда», редкого и «сильно суперо́вого», по выражению Вэди, большого седана. Женя так и не добрался до Николаевского монастыря и немедленно позвонил отцу Феодосию.

Женя любил это почти деревенское место, окружённое кладбищем, утопающее в зелени, с выгоревшими на солнце крашеными стенами деревянного храма. С флигельками, постройками и пристройками, сенками, полными каких-то банок, ведер, и цветами в горшках на окошках. В храме уже были люди, причём не одни только женщины, как это часто бывает, а стояли на исповедь и мужики с тем особенным видом, который бывает у мужчин в церкви, — с сочетанием растерянности и какой-то обречённой растрёпанности, особенно если лысина или борода. Были и другие — собранный и крепкий молодой человек, средних лет опрятный бритый мужичок. Был долговязый парень с длинным, темно обросшим лицом, вольно нестриженный, высокий, сильный и похожий на нетерпеливого коня. Он то нервно ходил, то стоял, и его длинные конечности, требовавшие движения, подёргивались. Женя должен были идти после него.

Вышел отец Феодосий, молодой, высокий, с тонким славянским лицом и русой бородкой. Началась исповедь. Исповедовал отец Феодосий не спеша, внимательно и никого не торопя. Казалось, если понадобится потратить на одного человека час, то он потратит. Наконец долговязый парень повернулся к прихожанам, сложив крестом руки на груди, поклонился со словами:
— Простите меня, — и пошёл к батюшке.

Они о чём-то долго беседовали, парень что-то с жаром объяснял, постепенно повышая голос, и батюшка его несколько раз отихорял... Долго говорили, и снова нарастал голос парня и слышались слова:

— Да я всё понимаю, но не могу...

Настала очередь Жени. Он рассказал и про потерянный крест, и про свою потерянную душу, страдающую маловерием, которое накатывало приступами, сводя на нет достигнутое. Про зло, от которого опускаются руки. Батюшка сказал:
— Да. Много зла, но если бы не было Бога, оно давно бы победило...

— Отец Феодосий, ну а как быть с врагами Отечества?

Отец Феодосий ответил после небольшой паузы:
— По обстоятельствам... Ты же понимаешь, что историческим процессом руководят не люди, а Бог. Давно на исповеди не был?

— Давно, батюшка.

И отец Феодосий улыбнулся загадочно:

— Хм... Видишь, как хорошо... Это Василий Макарыч тебя на исповедь отправил. А то бы так и ходил... Помолись за его душу. К причастию готовился?

Он кивнул. Отец Феодосий покрыл его голову епитрахилью, возложил поверх неё руки и сказал с тихой и торжественной радостью:

— Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит ти, чадо Евгений, вся согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властью Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Он перекрестил Женю, и тот приложился ко кресту и Евангелию и, ошеломлённый, постепенно замедляя ход, некоторое время шёл вдоль образов по дуге...

К причастию приехал ещё народ. В боковом притворе толпились с младенцами на руках молодые красавицы-мамы, и притихшие их мужья, простые трудовые парни, стояли при них с сосредоточенно-обострённым выражением лиц. Женя причастился Святых Даров и отъехал от монастыря в состоянии какой-то воздымающей и трепетной невесомости, и всё, к чему он обращал взор, порывисто отзывалось навстречу и тоже казалось причастившимся.

Вёдовый посадил Женю на поезд, и он залёт на полку с книгой Шукшина, но тут же отложил и звонил Кате и с каким-то почти отчаянием спрашивал:

— Ты мне споёшь ещё?

Просил:

— Только не забывай меня!

А она отвечала:

— Тебя, пожалуй, забудешь!

А потом в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, и так до самого Тихого океана, где брала связь, шла отрывочная отчаянная переписка: «Я к тебе приеду в Енисейск»... «Ты не боишься?»... «Я устала бояться»... Чем дальше удалялся он от Кати, тем ясней нарастал в душе её образ, креп и выстаивался, как фундамент, от самого течения времени, наслаивался живо, объёмно и независимо от Жени.

Снова был город Владивосток, Санина квартира на Эгершельде—и тут же обратная дорога на «леопарде» по летней, не укрытой снегом гребёнке. И редкая переписка с Катей, которую он с половины пути бросил, чтоб и её не дёргать, и самому не отвлекаться: копил всё до приезда, до долгого разговора. Перегон выдался напряжённый. Началось с того, что мастер, смотревший машину перед дорогой, оставил под капотом трещотку, и она вылетела и сломала лопасть вентилятора. Произошло это на выезде из Владивостока, и виноват был Женя: перед отправлением он собирался ещё

раз открыть капот, но в этот момент пришла записка от Кати: «Странно это всё. Ты меня совсем не знаешь». Он стал звонить и совершенно потерял голову от её голоса. Крыльчатку заменили.

Женя ехал в страшной пылище, и несколько раз, встав у заправки, писал Кате, и было что-то пожизненное в этом стоянии с подбитым видом у обочины в ожидании ответа и в том, что дорога, несмотря на его полную неподвижность, не отпускает, гудит и отдаётся внутри неподъёмной и твёрдой прожилиной. И горы с облаками переполняют синевой, наваливаются гигантскими окнами, и требуют места огромные куски сизо-синего стекла—и не вмещаются, трескаются, ломаются, острым крошевом жгут душу. И разъедает бессонницей глаза, продранные наждачкой асфальта, исколотые камешником гребёнки, да спину ломит, да лежит между ним и Катей расстояние огромной плитой разной жизни, которую не передать маленькими глупыми буквами на телефонном экране.

Потом к пыли добавился дым от горячей тайги. Потом он чуть не разбил на подъезде к Улан-Удэ. Спустился с тягуна, а навстречу пёр вверх «супермаз» с фурой. Из-за него высунулась белая морда и рванул на обгон «пульсар», самый дровяной из «ниссанов», несмотря на громкое название. Обогнать не получалось, он так и кожился бок о бок с фурой Жене в лоб и в последний момент отчаянно и косо пересёк встречку и съехал на обочину, оставшись сзади и справа. Из него вылез трясующийся дедок в очках и вязаной шапке: — Я думал, она сдохнет на подъёме, а она так и прёт, холера, вверх...

Хотелось сначала растерзать деда, но пришлось ещё и успокаивать, потому что он расплакался.

— Ну дед, ну всё, всё... ну живой ведь!

А потом была страшная авария после Иркутска, автобус с кровавыми занавесками, и КАМАЗ со сплюсненной кабиной, и такое, что Женя никому не рассказывал.

Он очень ждал приезда в Красноярск и готовился к звонку Кате, копя пережитое,— очень уж многим хотелось поделиться. Когда ехал в Приморье, воспоминание о Кате разрасталось по мере удаления—и по расстоянию, и по времени, а теперь он по времени продолжал удаляться, а по расстоянию приближался. Но никакого прототока не было—образ уже завершил набор высоты и теперь требовал только неба и скорости.

В Красноярске по приезде Женя сидел за столом, привычно готовый продлить усталость, взбодрить её на некоторое время общением и отчётом о впечатлениях.

— Ну, давай, Жек, с приездом!

— Давай, Вэдь!

Он отправил пробное письмо Кате, боясь звонить и опасаясь, что она почему-либо не сможет

взять трубку, а он огорчится. Так и сидел, поглядывая в телефон и раздражая Вэдо, пока на экранчик сыпались ненужные предложения о ненужных услугах. Вскоре Катя ответила: «Женька, я в Перми. Завтра на Усть-Качку», — и он обрадовался этому «Женьке» и этой неизвестной и весёлой Усть-Качке.

Так и не удалось рассказать Кате о дороге. На завтра она не брала трубку и отвечала капризными буквами, что занята или что устала и спит. Она больше не спрашивала, где он и как его дела. Он то держал волевые паузы, то атаковал звонками, то пытался рассмешить жалким стишком:

Шли мгновенья, сердце стало суше,
Я устал томиться и мечтать,
Да и майку с запахом Катюши-с-Барнаула
Всё равно придётся постирать.

И постепенно начинал сходить с ума. Примерно с неделю отрывочная переписка и редкие разговоры продолжались, и было понятно, что это конец, и никак не верилось — настолько требовал хода образ, нажитый разлукой и дальней дорогой. Катя, чтоб облегчить Женину долю или чтоб себе не портить настроение, холод катила постепенно, с возвратным теплом, с временной слякотью и внезапными гололёдами, косившими Женю.

Куда-то подевалась драгоценная простота, появились оборотцы «твой напор», «твой телефонный психоз», и всё закончилось вердиктом: «Мы могли бы с тобой дружить».

Трубку не брала. Изредка отстреливалась редяющими сухими телеграммками, да и то не отзывалась по несколько дней.

Не готов оказался Женя к такому повороту и пережил его в смешанном вихре то отчаяния, то светлого упоения. Страшно было, что, кроме чуждой внешности, имела Катя ещё нечто абсолютное, ставящее их обоих на общее поле, где не было ни мужского, ни женского и где она была сильнее. И где только близостью можно одолеть-разделить с ней её дар, святые токи земли, коснувшиеся её в виде необыкновенного голоса. Она была этим по-человечески прекрасна и, такая прекрасная, удалялась со своими виноградными глазами и песнями. И огромный, в полнеба, занавес закрывал Алтай с Шукшиным и Сростками, с Пикетом и горой Бабырган, с Онгудаем, Турачаком, Усть-Улаганом и Чемалом, где деревянный храм посреди бирюзовой Катунь стоит на острове-утёсе и люди идут к нему по шатучему висячему мосту.

Что-то пережгли не вяжущиеся с её образом слова, что-то Женя сам жёстким усилием скрутил-успокоил в сердце, и осталась Катя в памяти как пережатая песня. Или, как сказал Михалыч годы спустя про Настю, «как заглушённая буровая».

Сколько таких свёрнутых в узелок любовей так и хранятся в людских сердцах, ждущие часа,

готовые развернуться и раскрасить мир светлым заревом.

3.

Уже давно вместо девичьего радиоголоса зубоскалили два юных мужских баритона, перемежаясь с блаженной американской певицей, выведившей бесконечное волнистое воево, которое она, не в силах прекратить, длила, то сипло и дрожаще скуля, то тщаь обрубить горловым кабацким взрёвом. Женя давно переехал по мосту Ангару и застрял на светофоре, будто дорога не пускала его, пока он не вернётся в настоящее. И, словно подводя итоги истории с Ириной Викторовной и алтайской эпопеи, вспомнилось кафе на трассе Барнаул—Новосибирск, где Данилыч говорил, держа пластмассовый стакан:

— Друзья мои! Вы знаете, что мой любимый навек писатель—это Иван Алексеевич Бунин. Я никогда не устану им восхищаться. Я пробовал испытывать это своё восхищение так называемой читательской зрелостью, специально выдерживал себя и не перечитывал, бессовестно опасаясь, так сказать, перерасти своего учителя, а потом набрасывался и ждал, что будет... А были... «Чистый понедельник», «Поздний час» — и я снова рыдал от каждого рассказа, как ребёнок... У которого отобрали дорогое... С той лишь разницей, что мне это дорогое как раз вернули... Поэтому я позволяю себе уподобиться герою Ивана Алексеевича, хотя и сидим мы не в «Стрельне» с Качаловым и Шаляпиным, и пьём нисколь не разноцветные настойки и шампанское из ушата, потного от холода, и закусываем не паюсной икрой и расстегаем, а вот в придорожном кафе «Вкусняшка» заедаем слежалым беляшом палёную водку... и в руке у меня этот мерзейший пластиковый стакан, который... в случае чего даже и о пол-то не расшибить... Но зато вокруг нас наша великая сибирская земля, дающая таких людей, как Василий Макарыч Шукшин, благодаря которому мы получили небывалый заряд смысла на целый год и который почти затмевает печаль о том, что на нашей родной красноярской земле память о Викторе Петровиче не вылилась в такой же вот по-настоящему народный праздник. Да... И это расставание с шукшинской землёй... и с этими замечательными людьми, которые всё это нам так подарили... Я думаю, не только у меня одного... просто... сводит душу от невыносимой... печали, от беспричинной какой-то боли и тревоги... Но причина есть, и причина — тут, — он указал на сердце, — и состоит она в том, что мы любим эту землю так, что и сказать нельзя, да и не надо. Поэтому давайте-ка лучше выпьем за неё, за эту землю, за этот умопомрачительный праздник и за пресветлую память земляка нашего и сибиряка Василия Макарыча Шукшина! Стоя и чокаясь,

потому что мы не на поминках! — и он бросил, как писали в прежних пьесах, «в сторону»: — Не дождёться!

А после некоторой паузы наполнил стаканы и снова встал:

— Друзья мои. Ну вот... Кажется, всё выправляется... Действительно, день же надо... как-то начинать... Так оно и есть... Дак вот. Знаете... Я хочу выпить ещё за одного человека... — он продолжал говорить с перерывами, словно давая словам доброты содержанием по самое горлышко, и они по очереди наполнялись и, дрогнув, затихали уровнем, образуя один незабываемый горизонт. — Э-э-э... за которого мне в иные минуты бывает очень радостно, а в иные — страшно... так что... Да просто страшно! Потому что он очень хороший человек, поверьте, но иногда... так взвисает над пропастью, что, кажется, однажды не дотянет... до края. А он дотягивает, и это удивительно... Хотя кажется, что так нельзя жить... Что так можно давно порваться и погибнуть, но, оказывается, так жить можно и даже... необходимо! — он оглядел всех сияющими глазами. — Конечно, вы все поняли, о ком идёт речь... Поэтому давайте выпьем за Женьку, который терпел нас всё это время и вёз всяких-разных: пьяных-драных, дурных-хмельных, хмурых-понурых, таких, на которых и смотреть-то тошно. Женя, мы понимаем, что с тобой происходит... Мы не слепые... И мы видели твои глаза, когда ты смотрел на Катю... И переживаем за тебя, и радуемся, и ты нас знаешь... Но, друг мой... Может быть, я скажу что-то кощунственное, но вы меня простите, потому что сегодня день... такой... особенный...

Он как-то быстро качнул головой, будто что-то страхивая, и чуть помолчал.

— Я вот тут вспомнил свои истории-романы... И, задумавшись крепко, понял, что, влюбляясь в разных женщин, я всегда испытывал примерно одни и те же чувства... Вплоть до того, которое заставило застрелиться Митю из моей любимой повести «Митина любовь»... Думаю, оно всем знакомо, когда то взмываешь ввысь на невысказанных крыльях, то иссыхаешь, понимаете, влачась и пропадая... яко ночный вран на нырище... Это ощущение то смертельной пустоты, то небывалого подъёма, когда женщиной осеняется буквально всё сущее, когда оно болит-поёт так, что выдержать это не по силам — настолько весь мир напитан этой навеки неразделённой любовью... Но вот что самое удивительное, братцы мои... И самое поучительное... Что весь этот звенящий и пронзительный душевный пожар загорался во мне одинаковым образом от совершенно различных... понимаете... спичек.

— Зажигалок, — попытался вставить Васька.

— Вася, утхни. И я пью за тебя, Женя! За великую силу любви, которая коснулась тебя на наших глазах, и мы это видим, и радуемся, и завидуем

светлой товарищеской завистью. И, зная тебя, ещё и питаем на неё большие житейские надежды... Потому что та любовь, о которой сейчас идёт речь, будучи делом жизненным, грешным и прекрасным, — Данилыч объёл всех торжествующим взглядом, — имеет оправдание исключительно тогда, — и он почти вскричал: — когда сподобляет нас на подвиги ратные и духовные! Ур-р-ра!!!

4.

1.

Здравствуй, ты, не берущая трубку,
Переполненная золой,
Ты оставишь на мне зарубку,
Истекающую смолой.
И крылатый вздымщик, десницу
Простирая с небесных верхов,
Поутру соберёт живицу
Освящённых тобой стихов.

2.

Не жалею, не жду, не мечтаю,
Только вижу в стотысячный раз,
Как опять подъезжаю к Алтаю
Сквозь песок перетруженных глаз.
Снова вёрсты бессонного бега,
Предрасветная сыпь огоньков,
И опять на стекле вместо снега
Подсыхающий гель мотыльков.
Полоса почти с Искитима
Всё неистовой дышит тобой.
Я и рад бы проехать мимо,
И пускай этот привод — твой,
Я лечу не к тебе. Я полночи
Слеп под фарами в дальней езде,
Чтоб добраться и вымочить очи
В млечно-синей катунской воде.
Чтоб объять эти воду и сушу,
Разделённое наше житьё,
Расстояния, рвущие душу,
И над ними молчанье твоё.
Снова дворники ходят мерно,
И колёса гудят в висках.
Барнаул. Никогда так неверно
Не лежал ещё руль в руках.

3.

Я стою у поста сиротски,
Теребя глухой телефон:
Не молчи, пропусти меня в Сростки,
Отзови путевой заслон!
Видишь, хвост растёт час от часу
Вереницей коптящих труб.
Улыбнись. Отвори мне трассу
Чуть заметным касанием губ.
Изумрудом замрут светофоры,
Влажный дым отойдёт от земли,

И Алтайские зрячие горы
 Белым сном замаячат вдаль.
 И, внимая каждому такту
 Свежестихших шагов твоих,
 Я уеду по Чуйскому тракту
 Не смыкать очей за двоих.
 Будет день. И погибнут беси
 Осужденья. И встанет в круг,
 И споёт в едином замесе
 Всё, что есть святого вокруг,
 Всё, что светлого есть в этой шири,
 Гор верхи и литые низа...
 Нераздельное чувство Сибири
 Льётся поровну в наши глаза.
 И за счастье короткое это
 Буду я целовать дотемна
 Богоданную землю Пикета
 И босые ступни Шукшина.

Глава десятая

К сожжению готов

Снова было выбиратье из Иркутска с плотной и беспорядочно-светливой ездой, такой нелепой по сравнению с полётом по ночному безлюдью, что, несмотря на удобство многополосной дороги, Женя ждал, когда она кончится.

После воспоминания об Алтае он особенно отчётливо ощущал присутствие над иркутской землёй ещё одного человека, чьи книги давно стали частью души и придали мироощущению ту горькую крепость, которая, словно угаданный угол заточки инструмента, навсегда даёт верный рез действительности.

В детстве и юности всё настолько перемешалось в голове, что он порой и не знал, что вычитал, а что просто пришло снаружи. И, перебирая повесть, с удивлением обнаруживал, что какая-нибудь жизненная запчасть, давно вросшая в общую картину мира, живёт себе, здравствует на такой-то странице. А случалось, что, наоборот, целый пласт дорогого открывал по книге, а потом, сверяясь, ещё и покрикивал на жизнь за расхождения. И всегда радостно было сознавать образующую силу литературы, так покорно разгребающую каждый завал и всегда берущую главное. И прочищающую, будто дворником, залепленный обзор, так что мир после выхода книги становится обострённо-прозревшим.

С такими мыслями выбрался Женя на привычное двухполосное полотно. Впереди были Ангарск, Усолье, Черемхово и Зима. И хотя дорога от Иркутска до Красноярска очень плохая, Женя чувствовал себя почти дома и, несмотря на историю с колесом, рассчитывал к ночи быть в Нижнеудинске у своего кореша Серёги, бывшего вертолётчика.

Ближе к дому стало встречным снежком набрасывать беспокойство. И он поймал себя на минутном и грешном нежелании возвращаться домой — настолько знал эту привычку забот копиться в его отсутствие. И, чуя его приближение, посыпались звонки, словно он, попав в зону обнаружения, стал всем вдруг ненормально нужен.

Едва проехал Усолье, позвонил Михалыч — ему только что поставили телефон. Как раз в этот момент Женя обгонял фуру, а сзади лез с обгоном «крузак-сотыга»⁹. Фура сначала стояла у обочины с включённым левым поворотом, а потом тронулась и, перестроившись к серёдке, стала целить на свороток влево.

Женя всё это видел, но сзади наседали «сотыга», гудя и моргая фарами, и момент был не самый подходящий для разговора.

— Здорово, гонщик! Ты где? — спросил Михалыч.

— Завтра буду к вечеру, если всё нормально.

— Ну понятно. Хорошую взял-то?

— Отличную!

— Везёт! — не очень убедительно подпустил леща Михалыч.

«Значит, точно что-то надо. Так просто хрен позвонит», — подумал Женя с раздражением. «Сотыга» резко обогнал его и, увидев встречную «калдину», притормозил и нырнул в закуток меж копящим «зилком» с дровами в перекошенном кузове и фурой с кемеровскими номерами — как раз туда, куда метил Женя.

— Смотри ч-чо! Везёт, кто везёт.

— Да лан, я на чужую кучу глаз не пучу. Ты это...

И, по своему обыкновению, перешёл к делу. Суть его касалась последнего охотничьего закона, согласно которому арендная плата за уголья становилась настолько высокой, что делала бессмысленным занятие промыслом. И Михалыч просил Женю срочно заехать в департамент и «узнать поподробнее, почём пуд соли стоит», то есть когда закон вступит в силу и нельзя ли как-нибудь его обойти — например, фиктивно урезать участок. И в случае, если он не заплатит деньги, то не лишат ли его угодий.

— Ты уж подумай, как ловчее сделать, — закончил Михалыч.

— Ну хорошо, я узнаю, к кому там, если чо... — без восторга сказал Женя и подумал: «Взял бы сам задок-то оторвал, да приехал, да и порешал всё. Заодно бы и нюхнул... соли-то городской».

— Сделай, Жень. Я уж в долгу не остануся. Да... и ещё узнай мне насчёт гусянок на «Буран», где подешевле. А то снег нынче поздно лёг, — неторопливо и причмокивая говорил Михалыч (он, видимо, пил чай с конфетами). — А я по шивьякам осенью ездил, истрепал — аж спицы дыбарем торчат... Если чо, возьмёшь мне, ага, пару штук? Там деньги мои за пушнину у Тагильцева лежат, у Робки. На Водопьянова...

9. «Сотыга» — автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 100».

— Ну лан, дай доеду, брат, а? Давай. Всё. Не могу. Носятся как сумасшедшие. Позвони завтра вечером, — окоротил его Женя, покачав головой: «Со своими шивьяками тут!»

Женя очень ждал встречи с Вёдовым, с которым не виделся незнамо сколько, и звонил ему, но телефон был выключен. Уже настали сумерки, и оставалось километров двадцать до Тулуна, как позвонил Валерий Данилыч Татарских:

— Женька, здорово! Ты где?

«Ну, началось... в деревне лето».

— Здорово, Данилыч! Иркутск прошёл.

— А Тулун?

— Ну вот, подъезжаю. А что?

— Ты это... Сильно торопишься?

— А что такое? Говори.

— Помнишь Витьку Шейнмайера?

— А что ещё с ним?

— Да ничто. Ты... Ну... это... Короче, сможешь его из Братска забрать?

— Чо он в Братске забыл?

— Ну, долго рассказывать. Ну заberi... он подстрял, короче... Да там рядом. Полтора ста вёрст. Два часа делов...

«Да вы чо? Какой Братск?»

— Не полтора ста, а двести двадцать пять, во-первых...

— Ну Жень.

— Ково Жень-не-лезь на рожень! Какого рожна он в Братске делат?! Фельбушмайер твой...

— Шейнмайер, — облегчённо сказал Данилыч. — Ну слётай. («Шмеля нашёл!») Надо мужика выручить. У него там эта буча с затоплением...

— Да знаю я! — отрезал Женя и добавил уже мягче: — Ну ладно...

— Ну, отлично, — вздохнул Данилыч. — Я тебе его номер сброшу, позвони ему, подъезжать будешь. А то у него денег нету. Ну давай, Жека, спасибо!

— Спасибо будет, когда привезу Швеллера твоего! Такое... на кедровых орехах и с грузочками, — рыкнул Женя.

— Беспреткновенно.

— Ну, тогда и утешься, муже, — ответил Женя в тон. — Буду твоему блудному Шершхебелю аки верный путеводзь. Давай, Данилыч, всё нормально будет! — попрощался Женя бодро и весело.

И, покачав головой, бросил телефон на пустое сиденье: «Совсем охренели! Братск ещё какой-то...»

Витька Шейнмайер был ссыльный и очень беспокойный ангарский немец из Кежемского района, вместе со всеми жителями потерпевший от грядущего затопления Ангары выше Богучан, где по решению Москвы возрождали стройку гидроэлектростанции. В истории этой он занял показательную правдоискательскую позицию и уже получил на этой почве небольшой инфаркт.

Село Кежда, давшее многих замечательных людей, было центром особого нижнеангарского

уклада, многовекового, крепчайшего и достойного отдельного повествования. Богаче Енисея по природе и пригодней для жизни, Ангара, в отличие от него, течёт широченным разливом меж многочисленных островов, изобилующих покосами, разнообразно-чудны её перекаты, шивёры и разводья, да и нерестилиц трудно найти лучше, чем протоки меж островами. До стройки трёх гидроэлектростанций — Иркутской, Братской и Усть-Илимской — эта единственная вытекающая из Байкала река поражала кристальной водой — из Байкала она и по сю пору такой прозрачно-синей и вытекает. А сколько рыбы было! А как хороши были ушедшие под воду поля и покосы на длинных, как ножи, островах, многие из которых были жилыми! А стоявшая на Селенгинском острове деревянная церковь, которую разобрали и увезли как памятник зодчества!

Ангаре и повезло меньше, чем Енисею, — её сильно подкосили леспромхозы, пластавшие прекрасные боры и привлёкшие прорву шатучего сброду, смешавшего и замутившего вековечный уклад и усилившего отток молодёжи с земли на временные денежные работы. Но и к этому прискрипелся ангарский многожилый народ — больно крепко стоял он на этих обжитых прапрадедами берегах.

Сейчас, после долгой передышки, возобновлялась стройка Богучанской ГЭС, поэтому Кежда и все сёла выше — и на островах, и на берегу — подлежали ликвидации: Мозговая, Аксёново, Паново, Селенгино, Усольцево. Деревни со всеми стайками, сараями, банями сжигались, чтоб не засорять ложе будущей акватории «заисяющими остатками» жилого хлама. Народ перевозили в Кудинск. Витька сказал, что никуда не поедет, пока не дадут жильё в крае, достойное, по его мнению, тем потерям, которые он понесёт при переезде. Ничего такого никто ему давать не собирался. То, что предлагали, его не устраивало, он пошёл на принцип и со всей немецкой дотошностью бросился писать, взывать, судиться, а главное — продолжать жить в своём доме посреди пепелища.

Был он небольшой, худоцавый, подсохлый, с носатым несимметричным лицом и абсолютно неотличимый от любого сибирского жителя, такой же измочаленный жизнью, но неунывающий и шепутной. Слыл доскональнейшим механиком, до винтика знал всю прежнюю грузовую и тракторную технику. Был рыбак, охотник и матерщинник, любил выпить и считал себя коренным ангарцем.

Женя не мог понять, как из Кежды он попал в Братск, когда дорога в Красноярск шла через Канск. И удивлялся, как павалила вдруг в его жизнь Ангара: нижнеудинский Серёга, к которому он стремился как домой, был женат на коренной кежмарьке. Могилы её родителей в ближайшее время должны были уйти под воду.

— Не дают доехать по-человечки... — всё досадовал Женя. — Да ладно, заберу.

В глубине души он испытал облегчение от этой отсрочки — слишком многое предстояло разгрести по приезду, включая новый дом, куда он недавно переехал и где было невпроворот работы. Он с тоской предчувствовал первые дни, когда надо будет отвыкать от втягивающей силы трассы, когда опадут дорожные крылья и он с неделю будет маяться, трепыхаться линным крохалём, пока уже сам себя не обрастит новым и крепким домашним пером.

Тулун Женя проехал в полных сумерках и ушёл на Братск.

Проскочив километров шестьдесят по полупустой дороге до небольшого посёлка, он без труда нашёл в плотном ряду домов заезжий двор. Заснув пораньше, он хорошо отдохнул и бодро двинул по утреннему морозцу. В рассветной синеве тянулись берёзовые околки, поля, а ближе к Братску стали проклёвываться сопки с антеннами голых листовягов над золотоногим сосняком — необыкновенно светлая, красивая и радостная тайга. Перед Братском пошла капитальная двухполосная дорога времён прежних строек, заботливо оборудованная разделительной бровкой и бетонными фонарями. Вид ветшающего этого бетона и старого асфальта в трещинах пронзил Женю ощущением конца эпохи. Было дико, что правильная, грамотно сработанная задумка казалась теперь приметой прошлого, и он будто ехал по памятнику.

Виктор толочся в шиномонтажке на просторном въезде в город. Дул ветерок, и наносило сероводородом из какой-то развороченной тепло-трассы. С узором и ногой от мотора в мешке Виктор кинулся к Жене:

— Здорово!

— Здорово!

— Ни хрена — агрегат! Дорого, небось, отдал?

— Не дороже денег... Здорово, зимогор! Здорово! — они долго стучали друг друга по спинам.

Потолклись у машины, загрузили в «собачатник» узел, из которого Витя сразу достал плотную котомку со свёртками.

— Ну чо, всё? Поехали?

— Поехали! — Витка довольно уселся, отладил сиденье, все кряхтел, гнёздился. — Ты с востока? Чо там? Как сам? Как здоровье?

— Нормально. По пробегу. Щас заправимся только. Ты голодный?

— Да нет, у меня тут всё... вот... Сало тут, кульбаны копчёные...

— Водки хочешь, Вить, владивостоцкой? А?

— Давай! — обрадовался Витка. — А то тут с этой нервотрёпкой... Короче, вчера...

— Ну погоди, ладно, намахни сначала, успеешь рассказать... там вон кружка... а вот здесь бутылка... под сидушкой пошарь... Ну чо?.. Есть?

— Е-есть... Куда денется? Ну, ёлки... А нож есть? Хотя нет, постой, у меня тут свой — с рельсовой пилы, щас покажу... бриткий, главное, такой, за-раза. Ну хорошо...

— Ну вот и давай!

— А ты?

— Ты чо? Я же... — Женя похлопал по рулю.

— Тьфу ты, — шлёпнул себя по голове Шейнмайер. — Я совсем уже прибурел с этой катавасией! От Витька — прибурок дак прибурок!

Он застыл.

— Копа-а-ать ту Люсю! Эта... слушай, Женёк, у тебя телефон пашет? — он надел очки, потом снял, потом опять надел. — Дай я мужикам отзвонюсь, скажу, что всё, еду...

Витка позвонил, подуспокоился, потом ещё выпил владивостоцкой, и его прорвало...

— Ну, хоть ты забрал меня. А тут видишь чо? Ты в курсе же, наверно, что у меня творится тут?! Короче — надо в Красноярск срочно, а денег вообще ни копейки, все потратил на свистопляску эту. И никто, как назло, не едет. А тут мужики наши из Кодинска как раз поехали катер продавать в Братск... Ну, продавать-то, в смысле, не в Братск, а одному там на Байкал. Ну, который-то берёт, коммерсант — он сам в Иркутске живёт, а катер надо было только до Братска...

Женя не успевал за Виктором и только кивал.

— А им самим потом в Красноярск. Ну, короче, у них там... — всё это лилось из Витьки, переложенное хорошими матками.

— А чо они, порожняком до Красноярска?

— Ну да. Вернее, нет. У них от Канска. А они кенты мои. Ну и я с ними, дай, думаю, уеду, день-два потеряю, зато хоть с места пошевелюся. Сюда приехали вчера. Всё — главное, в город заехали... И представляешь, шесть утра, и вдруг — кляц, удар такой сзади, мы даже не поняли, чо к чему. Короче, пацан, в дымину кривой, с девкой на «хондарё» со всего маху в задний мост! Представляешь, балку — ба-алку! — пополам! Это с какой скоростью лететь надо?! «Хондарь» — в хлам, сами живые, правда. Девка ревёт, а этот артист в автобус — всё это на остановке — в автобус полез. Удират с места. Хорошо, Колька его уцепил за шкварник — тот трясётся, ничего не соображает, ещё и обколотый, видать. Оказалось, сынуля чей-то, батя у него зубные клиники держит. Приехал на «крузаке» — всё на себя взял. А я Данилычу звонить, чтоб денег на дорогу выслал...

— Н-да... история. А ты точно сытой?

— Да сытой... — и он перешёл к главному. — Ну всё, а нас перевозят, ты в курсе? Дома пожгли на хрен! Все деревни: Мозговая, Паново... И главное, смотри, падла, — кричал Виктор, — прислали каких-то утырков чуть не с Москвы, чтоб не свои, чтоб не знали никого... Народ собрали со всех деревень на баржу, всё это враслопырь, нахрапом, погода

ещё такая, низовка дерёт чуть не со снегом. Ну и в Кодинск, а там квартиры не готовы ни хрена. И такой бардачина на барже на этой, всё это впопыхах... Шмотки все поперепутались, никто ничо найти не может путём... Давай жрать на костре готовить... У меня всё на камеру заснято, я тебе покажу...

— А у тебя-то у самого чо за картина?

— У меня картина-задолбаная-плотина: гараж, два сарая, лодка-обяшка с булями, мотоцикл, «Буран», вот только каретки перебрал, мотор «Вихорь»... А кому они теперь на хрен там нужны? Я их даже продать не могу. Сын в Хабаровске... Так вот всю жизнь пропахал, и, сука, на тебе на старости лет медаль Сутулова! Подляна такая! Ухожья все с избушками, с путиками, пять избушек, центрально зимовьё с баней—тоже никому... Вернее, так-то возьмут, потому что видят: человеку деваться некуда. А за деньги нет. И собаки ещё! Кобель, главное, такой гавкий по зверю... Да, ёлки!

Звучал знакомый кежемский говорок: ухожья—охотничьи уголья, ночёвка на сентухе—то есть в тайге у костра, кульбан—язь, низовка—север (ветер). Подкруживать—подвирать...

— Я ещё жахну, наверно!

— Конечно, Вить, чо спрашивашь!

— Ладно, Женька! Спасибо, что не бросили меня! Спасибо!—сказал он с силой и тронул за плечо, закусил хлебом, поспел.

— Я не хочу никуда переезжать, это мой дом, я—ангарец! Мне по хрен! Когда это всё началось переселение, тут насулили чуть... не новых квартир в Красноярске, в Сосновоборске на крайняк. Пока суть да дело, все шишки нахватились, ну и кто поближе к началу... А как остальные-то чухнулись—началось: Ачинск, Шарыпово, Минусинск, Кодинск... Причём хлам всякий предлагают... Доброго ничего... Старьё одно... А я так считаю: вы нас топите, а не мы вас. Это вам надо. Поэтому—или давайте мне путнее жильё в путнем месте! С гаражом! С сараем!—Витя орал.—С погрёбкой! Так? Давайте мне все потери оплачивайте, будьте любезны, давайте переезд оплачивайте!—он с жаром загибал пальцы.—А нет—значит, под воду пойду к налимам и не пошевельюсь! Я сказал! Я всё равно добыюсь! Я и дом своей не дал палить, вышел с эскасом: пошли на хрен, козлы, не вы меня ссылали, не вам и высылать! Вы вообще здесь не местные! Токо, сука, подойди—как стегану, б..., по кишкам! Я кежмарь, мне по хрен! О-о-ой, сил нет!—прохрипел Витя, качая головой.—Давай ещё вмажу! Обожди, я ещё в газету напишу...—вязко проворчал он сквозь сало.

— Зачем?

— Чтоб им стыдно стало!

— Витя! Ты чо такой? Им стыдно не станет. У них в том сила вся... Братан, если б им могло быть стыдно, всё не так было бы... Тут брату старшему

на совет письмо с края пришло за подписью: почту им невыгодно держать, либо сами содержите, либо закроят, понял, да? Начальник почтамта—прикидываешь? В добрые времена после таких писем—или в отставку шли, или пулю в лоб пускали... А этим... по хрен! Сты-ьдно!—Женя раздражённо замолчал.—Не смейши мои подмётки, махни вон лучше ещё стопаря...

В Покосном перекусили, несмотря на отнекивания Виктора, который тут же набросился на борщ и пельмени, добрав под них «владивостоцкую». Двинулись дальше, Витя заклевал носом, и Женя переселил его на заднее сиденье, где он моментально заснул.

От Тулуна неслись по лесу по широкой жёлтой дороге из смеси песка, глины и льда. В Нижнеудинск приехали рано.

Расслабленно стали на постой в большом деревенском доме Серёги. Вечером смотрели кино. Сначала хозяин поставил фильм, снятый его знакомым, томским промысловиком.

Там был смешной эпизод розыгрыша охотника. Автор надел специально изготовленные чоботы из медвежьих лап с подушками и когтями и, встав на четвереньки, пересёк лыжню, по которой вот-вот собирался идти другой охотник.

Здесь же спрятался оператор с камерой. И вот появляется долговязый мужик с двумя мёрзлыми соболями в руках (ружья почему-то у него не было—видимо, решил просто по-быстрому пробежаться по путику). Увидав следы, он озабоченно замедляет ход, всматривается, водит головой и вдруг резко разворачивается и, пытаясь убежать, путается в тальниках скрестившимися лыжами, падает, роняет шапку и соболей. В это время автор фильма рычит из засады, и охотник, выпростав ноги из лыж, позорно удирает. Автор выходит, подбирает соболей и говорит в камеру: «Вот как, ребята, промышлять надо!»

Потом смотрели Витины ангарские съёмки. По большей части это были записи разных людей, в основном пожилых.

Одна бабушка рассказывала, покачиваясь на лавке, на фоне ковра и жёлтых фотографий:

«Приехали... Заходят... „Кто такая? Ты в списке есть? Так... Усольская?“ — „Ково Усольская?... Усольцева!“ — возмущённо передразнила бабушка.— О-о-о... Не признала свинья своего поросёнка! Переселять он меня приехал! Я грю: ты меня селил сюда? Так я и поехала... Как переселять?! Как переселять-то удумал меня—со стайкой, что ли, да с огородами? С картошной ямой? Ой-ой-ой... А оне, веришь ли, Ветя, оне как тут по кладбишшу зачали ровнять этим... бульдозером—черепа, сына, каталися поверху катком... катком каталися... — она махнула рукой и заплакала.— Я: ты, грю, уродова рожа, знашь, как мы жили? В ямщину как ходили?... Тут конна дорога была в Эвенкию...

В войну на Ванавару обозы муку да зерно с Кежмы возили. Тут станки через пятьдесят километров были... Мороз не мороз, а дорога—она есть дорога: то нэкать, то рóпухи... а морозы такие ране стояли... Калач токо из-за пазухи вынешь, идёшь грызёшь. А ты тут мне... „Усольская“... Я грю, люди страх совсем потеряли... Если б старики посмотрели, упали бы замертво».

Татьяна, хозяйка, вытерла рукавом глаза. Она готовила стол и всё смотрела на экран. Её оставшийся от родителей дом сгорел в их отсутствие. Подождли соседний, но был ветер, и пожар перекинулся. Погибли все вещи, лодка, мотор, снегоход, «уазик».

Когда сжигают под затопление, прибирают вокруг, чтоб потом не плавало. Виктор снял такой дом. Прекрасный сосновый пятистенок стоял, обставленный палками, досками, рулонами бересты, черешками от лопат, бастриками. Так у путнего хозяина вдоль стены сарая выстроены лопаты, лома, грабли, пешни вверх остриём, чтоб не тупились о землю.

Так и стоял дом с обречённо-строгим видом, будто готовый в дальний путь, смиренно ожидая участи и докладывая: к сожжению готов. И глаза смотрели тихо своими вековыми переплётами с заботливо согнанными рамами, с подоконниками, у которых специально сделаны желобки для талой воды со стёкол. С сенями, ещё недавно заставленными таким живым, нужным, насущным—кадушками, пестерями, тусами, канистрами. И сама на листовяжном окладе изба, белёная, штукатуреная, со стенами из сосны, которые в лесу поди свали, отсучкуй да раскряжуй безо всяких бензопил. Да привези на коне по снегу, да шкури, да руби. Пази, углы заделывай, да ворочай; одно хоть—семьи большие были в прежние времена. И на аховые работы, вроде подъёма самого тяжёлого, подмогу свали. А так—брёвна приготовь на балки, на матицы да на стропила, да стропила подыми, да на обрешётку напил продольной пилой, да на полы, да на потолки, да тёс на крышу или дранку основную, да по тёсу ещё канавки прогони водосточные...

Да печку глинобитную набей, да глиной стены обмажь, да известку выжги на костре плавничном на берегу—это сколь камня натаскать надо! А косяки, а рамы, а двери, а наличники?... И, пока строишь, сколько ещё каждодневно надо успеть.

И так вот закончит неподъёмную стройку хозяин, приляжет на койку и, глядя на белёную матицу с крылами потолочных досок, смотрит и не верит, что всё это его руками сработано, только спина сорванная подскажет да напомним локоть с застуженным суставом...

А тут уже все, и женушка сначала с белёнкой, а потом с самоткаными дорожками, и ребятишки лезут, обживают, наполняют теплом, суетой—и ты

со своими перетруженными руками и ни при чём вроде бы... Славное чувство... И сколько всего впереди! Сколько радостей и горя, размолвок, трагедий и примирений... Сколько латок на семейном полотне... Сколько рождений и смертей, праздников и поминок натянут эти стены. Война, укрупнение, леспромхозы, последнее разорение, мамина болезнь... Как подумаешь: какое огромное государство, какая страна, бесконечно слоистая прошлым, эта наша деревенская изба—в холод спасающая, в долгую зиму в своём тёплом теле хранящая, в жару охлаждающая, с дороги принимающая под бел потолок. Она—как часть тебя, живая, дышащая, когда горько—поддерживающая, когда бессильно—ворочающая тебе твой труд, твой пот... Греющая, усыпляющая и укачивающая... кров твой, твой корабль в пучине жизненной. Никакими метрами-вёрстами не измерить толщину стен твоих, высь потолка твоего, даль родимую, видную из зрячих окон твоих.

Нет ни одного дома одинакового, как нет одинакового дерева, одинакового человека. У каждого дома—своя судьба. И у всего, что внутри, тоже своя судьба—у каждой балки, доски, косяка. У всего, куда ни глянь,—у стола, лавки, табуретки, полки, полочки, спичек. И даже в спичечном коробке пятьдесят судеб.

Бедная моя спичка! Ни в чём не повинный отщепок дерева. Сколько сестёр твоих спасали на промысле мужика, еле живого, замерзающего, онемевшими пальцами, еле чувствующими падучий коробок, твою неверную тонщину, неподъёмный твой вес. Сколько помогали растопить печь притащившейся с работы хозяйке. Чем прогневала ты судьбу? За что такой позор навлекла на спичечную родовую свою?

Лучше б было тебе просто сгореть со стыда вхолостую. А вот перекались ты в другой коробок, может быть, свечку зажгла бы в Божьем храме пред образом Богородицы «Неопалимая Купина».

А может быть, прикурил бы от тебя трясающейся рукой безутешный кежмарь, глядя, как управляет заезжая бригада с приговорённой деревней. Как ходят, пряча глаза, торопливые бригадники вокруг его дома. А он стоит и ждёт роковой минуты, когда обольют его соляркой и поднесёт проклятую спичку чья-то спичечная рука. И нехотя затрещат вековые стены, а потом разойдутся веселее, полопаются окна, и ухнет тяга, и пойдёт дело, распахнутся вразвал стены, разлетятся искрами остатки кровли сгубленного дома, и душа его крылатой матицей улетит в высокое небо...

— Не могу больше!—вскрикнула Татьяна судорожно, скомканно и, взалёб зарывав, выбежала в кухню.

«Ты понимаешь, что это кранты?—говорил сам себе Женя, лёжа на белоснежных простынях,

проваливаясь в мягчайшую перину.— Это полные и беспреткновенные кранты. Писал человек книгу, не спал, плакал над лучшими местами, душу выворачивал, чувство привычки к жизни, прикипелость постылую отдирает вместе с глазами своими, снимал слой за слоем, рискуя ослепнуть. Зачем? Чтоб прокричать для таких же, как он сам, ненормальных, раненных сердцем? А казалось, всё закончилось, страшное и нелепое, и вынесен приговор, и книгой уничтожена сама возможность повторения подобного. Казалось, книга неимоверным усилием взяла в себя, иссушила и искупила, вытянула этот великий грех, подобрала все капли слёз и именно поэтому и снарядила такой силою слово. И прибранная жизнь потихоньку оправилась, засветилась и двинулась дальше...

А пристыжённый мир, извинившись, ещё долго боялся пошевелиться, сделать грубое движение... Но, выходит, нет — ничего не изменилось. И мир не то что не глох — он и слушать-то не собирался...

Ну что, Жека, теперь ты чуешь парное дыхание вечности, обжигающее её прикосновение?... Чуешь, как мироустройство сквозь века огромной и гудкой листовальной балкой отдалось в нутро, расщепившись, провернулось там ржавыми трёхрожками, мотануло навильник сокровеннейших жил твоих? Это ты его удостоен — раз опрокинуло навзничь и спину заломило, раз в перину вдавило-бросило, что всё валишься и не долетишь никак до упора, только мутит да звёздочки мелькают.

Ну теперь-то хоть ты понял, что всё по правде? Что вырвало зарезавшийся полоз из снежного плена, бросило сани на ровный и крепкий снег, горящий аки молния, и замерли они, будто вкопанные, посередь села, отданного на сожжение? И что настанет день, когда придётся так же, как эти избы, стоять и ждать спички? И спросишь тогда себя: а что сделал я для этой земли, для этих людей? Сколь вещей слов от глухоты своей уберёт? Сколь сёл от пожара спас? Сколь брёвен ошкурил, сколь паза выбрал и сколь венцов собрал? И что за добро составил рядом у стен рубленой своей души?»

Глава одиннадцатая

Калитка

*Светлой памяти Олега
Овчинникова посвящается*

1.

С утра был несусветный какой-то завтрак, домашние беляши, яичница с салом, блинчики со сметаной, заправка термосов и вкуснейшая ссобоюка, которую заботливо собрала Татьяна, и Серёга, терпеливо и ответственно стоящий в валенках и незастёгнутом бушлате рядом с машиной и наблюдающий предотъездную возню. И всё спрашивающий:

— Трос-то нормальный? Ну хорошо. Проверьте добром всё,— и не сомневающийся в достойном ответе.

И:

— Ну всё, давайте, мужики!

И прощальная фигура на белом снегу. И снежный хрустящий выезд на главную улицу, и поворот, и снова трасса — гудящая серая жила, на карте пересекающая Сибирь жирной чертой, а в жизни узкое, в два кузова, полотнышко, тонкой асфальтовой плиткой лежащее на гигантской бочине Земли.

Поначалу разговаривали плотно и живо, потом, по мере того как подсыхала и ветрилась свежая плоть нового дня, всё больше добавляли в разговор пауз, а потом впали в молчаливое томительное приближение к Красноярску. Чем ближе Женя подъезжал к дому, тем сильнее чувствовал разъедающее недовольство людьми, которое кругами разрасталось из его собственного недовольства собой и охватывало в первую очередь близлежащих.

Последнее время он перестал понимать своего старшего брата, Михалыча, которого всегда считал героем и примером. Женю раздражала его неспособность ни на что, кроме укрепления своего хозяйства. Узнай, как половчей ему сделать... Дождлся, пока обложили со всех боков. А теперь, смотри, зачесался! Думал в тайге отсидеться! Он почему такой-то? Почему в районной газетке закон-то не почитать было? Почему не интересуется ничем, что хоть на сантиметр в сторону? И откуда этот индивидуализм запредельный?

И это выгадывание на мелочах и проигрывание в главном?

Почему, когда приехал молодой охотовед, которого охотники хотели свалить за рваческое отношение к делу, Михалыч после бурного собрания негласно отозвал его в сторонку: «Ну, ты эта... прирежь мне ещё пяток квадратов»? Почему, когда договорились с товарищами-охотниками гонять с участков обнаглевших туристов, взял да и подвёз их целую группу на верёвке («Больно вид у них несчастный»)? Да ещё и ухватил в подарок две (две!) блесны, про которые сказал: «Хоть две, а всё прибавка!» И это при том, что у него пять коробок этих блёсен! А когда решили съездить танкетку тюменцев, залезших на чужую территорию, в самый решающий момент вдруг озаботился сливанием с неё бензина, поехал обратно за канистрами, а в это время на место прилетел уренгойский вертолёт, и всё сорвалось. Почему, до глубины души презирая Григория, он перезванивается с ним, беседует негромким воркотком всё из тех же хозяйских соображений, что, дескать, с паршивой овцы хоть шерсти клок, и зная, что Андрюха от этого просто бесится? Почему, когда Женя собрался в храм на службу, сказал самоуверенно и бодро: «Религия — хорошее дело!» — но идти с ним наотрез отказался?

А Андрюха? Этот ещё похлестче будет! Какого хрена он в Москву упорол? Какого рожна Сибирь оголил, индюк, когда её, наоборот, людьми нормальными заселять надо, пока китайцы не заволонали? Чо он в этой Москве-то добился?

Дожился, что квартиру уже не снимает, а живёт, как бичара, на чьей-то даче разваленной и в город на электричке ездит.

Чо он на этого Гришку шипит всё да шипит? Давно бы рыло начистил и успокоился!

Андрюха всё больше не давал покоя, и Женя вспоминал с негодованием его цивилизованные ухватки, как в тайге, когда её, наоборот, людьми нормальными заселять надо, пока китайцы не заволонали? Чо он в этой Москве-то добился? Дожился, что квартиру уже не снимает, а живёт, как бичара, на чьей-то даче разваленной и в город на электричке ездит. Чо он на этого Гришку шипит всё да шипит? Давно бы рыло начистил и успокоился! Андрюха всё больше не давал покоя, и Женя вспоминал с негодованием его цивилизованные ухватки, как в тайге, когда её, наоборот, людьми нормальными заселять надо, пока китайцы не заволонали? Чо он в этой Москве-то добился? Дожился, что квартиру уже не снимает, а живёт, как бичара, на чьей-то даче разваленной и в город на электричке ездит. Чо он на этого Гришку шипит всё да шипит? Давно бы рыло начистил и успокоился! Андрюха всё больше не давал покоя, и Женя вспоминал с негодованием его цивилизованные ухватки, как в тайге, когда её, наоборот, людьми нормальными заселять надо, пока китайцы не заволонали? Чо он в этой Москве-то добился? Дожился, что квартиру уже не снимает, а живёт, как бичара, на чьей-то даче разваленной и в город на электричке ездит. Чо он на этого Гришку шипит всё да шипит? Давно бы рыло начистил и успокоился! Андрюха всё больше не давал покоя, и Женя вспоминал с негодованием его цивилизованные ухватки, как в тайге, когда её, наоборот, людьми нормальными заселять надо, пока китайцы не заволонали? Чо он в этой Москве-то добился? Дожился, что квартиру уже не снимает, а живёт, как бичара, на чьей-то даче разваленной и в город на электричке ездит. Чо он на этого Гришку шипит всё да шипит? Давно бы рыло начистил и успокоился!

Последние пятьдесят километров тянулись совсем постыло. Затекала левая бездельная нога и просила сменить положение, и Женя то сгибал её в колене, то ставил на площадочку. Новое беспокойство овладело им на подъезде к городу. Где Вэдя и почему молчит Маша, которой он отбил письмецо из Хонхолая? И хотя он понимал, что вряд ли они уже встретятся, и даже как раз из-за этого молчание тревожило и изводило особо. Ещё надо было понять, где ночевать, и он снова набрал Вэдю, но телефон был выключен. Женя позвонил Данилычу, которому предстояло сдать Шейнмайера.

— Конечно, заваливайте. Я дома.

Женя уже заехал в город и тёк расслабленно в толпе машин по правому берегу к Предмостной. Пыхтящее морозным паром окружение несло его самотоком под крылья в смутно-жёлтом свете фонарей и только в пробке осторожно опустило на передышку. Позвонил Юрка Бояринцев.

— Женя, где ты? — раздалось сквозь далёкое ступенчатое эхо.

— Юрка! — обрадованно отозвался Женя. — Привет, братан! В Кырске, вот въехал только!

— Да ты чо?! Кунашир тобой гордится!

— А остров Танфильева?

— Вдвойне, Жека!

— Спасибо, брат! Машина отличная!

Через минуту позвонил Данилыч и раздражённо спросил:

— Ну вы едете? Ну давайте.

— Купить чо-то надо?

— Да не знаю... уж. Давайте дуйте.

— Кто? — спросил Витя.

— Данилыч, — пожал плечами Женя.

— Чо хотел?

— Я не понял. Щас узнаем. В лавку только заедем.

Данилыч открыл дверь со странным лицом:

— Так, мужики. Володя Денисенко разбился.

2.

Володя Четыре-Вэдэ продал воровайку и купил вэдовый дизельный микрик «хайс» («тойоту-хайс»), на которой возил пассажиров на Север. Тёмно-синий его «хайс» узнавали и на зимнике, и на трассе по жёлтым противотуманкам и надписью пальцем по грязному боку: «Красноярск — Бор, хайс». Дальше шёл номер его телефона.

Был Вэдя прирождённый водитель и механик сразу и нестигаемый работяга. Женя знал его по Енисейску, откуда Вэдя вскоре переехал в Красноярск. Одно время они вместе занимались перегонном. Небольшой, крепко-худощавый, Вэдя весь звенел энергией, трудовой дрожью. В его бешеном трудолюбии не было ничего натужного, он делал всё азартно, заражая других и позволяя себе красоваться. Говорил резко и нервно, был очень сильным и телом, и особенно духом. С крепкой кадыкастой шеей, в одну толщину с головой, всегда серо-бритой, с сизым, как железная щётка, мыском, несовместимо вдающимся в блестящий загорелый лоб. Со складкой-галочкой под этим мыском, будто в этом месте прихваченным скобой к черепу. Такая же ямка-прихватка была на Вэдином подбородке.

С шеей его был связан один случай. Как-то, до праворукой эры, пригнал он машину с запада, с Волжского завода. В те годы такой автомобиль считался огромной ценностью.

Он ещё ездил без номеров, и вечером его возле гаражей остановила девушка. Едва она села, откуда ни возьмись появились и уселись в машину ещё двое крепких мужиков.

Вэдя почуял неладное, но деваться было некуда. Не подавая виду, он вёз куда просили. Пока соображал, ему на шею накинули удавку, но он как-то ухитрился не только прижать подбородок и не дать проводу врезаться в шею, но ещё и выволочь на нём из машины главного бугаину. Молва ходила, что вылез он через окно и протасил сквозь него грабителя, как сохатый волокёт волка, повисшего на загривке, — по самой чащэ, пытаясь

сбить-страсти о тальники и ёлки. Жизнь Володя спас, но машины лишился.

При всём Вэдином пахарстве случались с ним полосы какого-то тупого уныния, когда он сидел дома перед экраном и резался в детские игры, составляя на пол пустые пивные бутылки, которые открывал не глядя о некую железячку в каркасе стола, видимо, им же и привинченную. Женя в эти периоды его не выносил, а жена жаловалась: «И вот так вот третий день, и днём, и ночью. Забирай его с моих глаз, сил нет его геноцид терпеть!» К концу третьего дня Вэдя вдруг резко и стихийно всё бросал и с утра увлечённо кому-то звонил или мчался на Шахтёров, на площадку, где в ряд стояли динозаврами воровайки, ожидая заказов на работу. Переговорив с мужиками, он долго стояния не выдерживал и снова куда-то ехал— и в итоге то грузил арматуру с завода, то подрывался в магазин-склад стройматериалов возить клиентам цемент и шифер. Работа воровайщика с вечными простоями ему нравилась всё меньше, и он впрягся в пассажирский извоз: по зимнику никто до него пассажиров не возил, борчане летали дорожными самолётами. Поэтому желающих было хоть отбавляй.

Сначала он ехал триста сорок километров по асфальту до Енисейска, а потом ещё пятьсот до Бора по зимнику. Зимник шёл по лесу, а в некоторых местах— по заливным лугам вдоль Енисея. Старался ехать ночью, чтобы видеть свет от фар вылетающего из-за поворота лесовоза, частенько с намахнувшим водяры водилой. Раз на горé в него въехала вахтовка. Дорога бывала разная, то после мороза ударяло тепло, и укатанный снег переставал держать, колёса зарезались, и машину начинало водить и кидало на бровку. Он откапывался, дружно толкаемый пассажирами, выезжал, грузил ватагу и мчался дальше. Доезжал до Бора, спал несколько часов и уезжал обратно. Возвращался в Красноярск, ремонтировал ходовую после нырков, кочек и стиральных досок и снова пускался в рейс.

В ночь, когда Женя ночевал в Нижнеудинске, на Енисейском тракте произошло вот что. В Енисейск из Красноярска двигался рефрижератор «ниссан-дизель», полный мороженой свинины. Валил снег с крепким ветром, сильно пуржило. В такую погоду за грузовой машиной, особенно на перевалах, страшно кутит, и чем ближе подъезжаешь обогнать, тем хуже видно: снег вьётся неистовым шлейфом, жесточайшим спиральным облаком. Рои снежинок налетают, напрочь слепя отражением фар.

Дело происходило на подъёме, переходящем в поворот. В это время со стороны Енисейска подъезжал Володя Четыре-Вэдэ на своём «хайсе», полном пассажиров и их сумок. На подъёме морозилку нагнал кунгованный КАМАЗ-«батыр»¹⁰

и пошёл на обгон на узкой и плохо приспособленной для этого трассе. На подъёме ему самому не хватило скорости.

Встречный свет водитель «батыра» заметил, когда было поздно. Он метнулся через встречку и почти освободил путь, пытаясь выскочить за асфальт через снежную бровку, которую нагребает грейдер, чистя дорогу. Но ему снова не хватило скорости, и он уткнулся в плотный снежный отвал.

Зад машины, к которому был приварен стальной швеллер, стало заносить и прижимать к морозилке, словно калиткой закрывая спасительный просвет, куда целил Володя.

Краем швеллера срубило правую стойку крыши, разнесло грудную клетку Вэде и срезало голову сидевшей сзади девушке из Енисейска. Остальные пассажиры не пострадали— «хайс» докатился и остановился. Правое расположение руля спасло жизнь переднего пассажира. Вэдю похоронили в Енисейске, рядом с могилами родителей. И его, и девушку отпевали вместе.

3.

Женя привыкал к случившемуся, но оно было настолько противоестественным, что в попытке исправить, пустить всё по другой ветке его то и дело отбрасывало в тот роковой день. К закрывающейся калитке, на которую так похожа вся наша жизнь, где едва что-то затеется и начнёшь привыкать, осваиваться, как закрывается железная створка и не хватает... То секунды, то жизни. Шли дни. Едва взявшаяся ледком поверхность горя каждый день прибавляла по сантиметру, незримо нарастая изнутри, отдаляя режущий пласт потери— вот уже и ступить можно, а вот и ходить.

Больше всего разрывал Женю вопрос: как всё это вообще могло случиться? И что же такое творится в Отечестве?

Ссылного немца пытаются выворотить с Ангара, а он упирается четырьмя костями. Как-то утырки жгут среди бела дня русские избы. Думцы без причины переименовывают милиционеров в полицаи, садятся в германские тачки и прут колонной кутить в «Барвиху Лакшери Виладж». Кто-то везёт самосвалы из Москвы черпать и гнать за границу народные алмазы, и они наглухо затыкают трассу протяжённостью в треть планеты. «Батыры» с приваренным швеллером ночью в пургу на слепом повороте обгоняют морозилки.

В святом городе Енисейске кидается оземь седая женщина, и на сизом ветру кедр со сломанной вершиной гнётся ко храму, где отпевают девушку с пришитой головой.

.....
10. «Батыр»—вздовый КАМАЗ.

Глава двенадцатая

Гастелло

*...взвейтесь, кони, и несите меня с этого света!..
Вон небо клубится передо мною; звёздочка сверкает
вдали; лес несётся с тёмными деревьями и
месяцем; сизый туман стелется под ногами...*

Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего

*Я—не первый воин, не последний,
Долго будет Родина больна.
Помяни ж за раннюю обедней
Мила друга, светлая жена!*

А. А. Блок. На поле Куликовом

Сны Жене снились только дома, словно он невидимым кабелем подключался к родным стенам. Тогда они и догоняли, брали на лёжке, а в дороге теряли наведение, промахивались, отставали, и если и настигали, то ошалелые, временно утратившие резкость. Зато дома действовали по всем правилам странного своего искусства и давали порой столь усиленную окраску обычным даже вещам, что Жёня просыпался заморожённый и долго не мог выйти из-под терзающего гипноза.

Вот и сейчас он вдруг очнулся посреди ночи... Маша приснилась с такой прожигающей и отчётливой близостью, что он еле отходил, потрясённый: ничто никуда не делось, а если и ушло вглубь, до самого оклада, то лишь затем, чтоб остаться навеки.

Он лежал неподвижно, будто к чему-то прислушиваясь, в том оцепенении, когда кажется, что если пошевелиться—обрушится что-то огромное. Он нащупал телефон. В который раз экран загорелся недвижным льдисто-синим светом... Ни конвертика... Почему же ничего нет-то? Маша, где ты?! Что случилось? Почему ты молчишь? Что с тобой происходит? Что... вообще происходит? Почему так ясно на дворе? То ли это светает, то ли луну так ярко и ровно отражает светящийся изнутри снег... «Вся равнина покрыта сыпучей и мягкой извёсткой, и деревья, как всадники, съехались в нашем саду»,—помнишь? Ты не помнишь... Но хоть что-то ты помнишь? Помнишь, как мы стояли на Ойском перевале? Послушай, я прошу тебя последний раз, посмотри, какая даль кругом... Хоть теперь-то ты что-нибудь различаешь? Хорошо ведь, правда? А? Смотри, какой простор! Помнишь, как я звонил тебе с Танфилки с хоккайдского номера? И ты откуда-то совсем издали крикнула таким прекрасным голосом: «Где-е-е ты?»

Где я? Я и сам иногда не знаю... А ты как думаешь? Совершенно верно. Всё как всегда... Как у нас с тобой. И, как всегда, ты абсолютно права: я действительно прохожу перевал неподалёку от Биры, это после Хабаровска. На нашей с тобой белой «кресте» в девяностом кузове. Как правильной:

наша с тобой белая «креста» или наша с белой «крестой» ты? Я спрашиваю, потому что иногда не понимаю, с кем я разговариваю—с тобой или с ней. И самое странное, что (опять же иногда) мне кажется, что это совершенно неважно. Тем более что ни тебя, ни её больше нет. Я вас бросил; по крайней мере, так это выглядит. И я вот что думаю: а вдруг вы на этой почве встретились и стоворились о чём-нибудь своём, женском? О том, как, например, встретить меня морозной ночью на Звёздной заезжке. Усталого и измученного одиночеством... И чтоб я встал на колени и...

Всё, всё. Извини. Так на чём мы остановились? Что я подъезжаю к Бире, которая в переводе с эвенкийского означает «река», и мне кажется, будто всё только начинается. И так хорошо на душе... знаешь отчего? Оттого, что ты говоришь со мной как-то совсем по-другому... И хочется тебя слушать и слушать... И ещё оттого, что до самого Енисея только горы, горы и горы... Когда стоишь на вершине сопки, всё брэнное осыпается с тебя, как листва... Только, может быть... ну, самое дорогое... из брэнного, хм, остаётся, как эти ржавые листья в дубках, что так и стоят вдоль дороги, сизым зигзагом уходящей вниз... В прогал меж двух сопки с вершинами, словно присыпанными мелом.

...Так хочется сразу всё увидеть. «Мне иногда кажется...»—хороший зачин, правда? Мне иногда кажется, что меня кто-то всё время дурит—показывает Её по кускам, а Её уже, может, нарезали и сложили где-то вповалку, а мне вроде как предъясляют, ну... чтоб не натворил чего. В общем, так, ребята: я поверю, что Она моя, когда увижу всю сразу.

Целиком. Понятно?

Да и высоту неохота терять. Нырять в распадок этот.

Жалко. Всё хорошо так складывается, такой разгон душа набрала. Так что если разогнаться с этого тянигуса, то... Смотри: вот и бензовоз добро дал на обгон, красавец, мигнул левым поворотом... Э-эх.

Ну что, моя родная? Моя тихоокеанская чайка... Разве ты не выпростаешь свои белые крылья навстречу западному ветру? Или мне никогда не взлететь на белой крылатой машине, не пронестись под облаками, встреч вьюге и рваным облакам? Вдоль Амура, Шилки и Аргуни, вдоль Селенги, где звенят от поездов наши с тобой мосты и скалы держат, как свечи, чахлые лермонтовские сосенки?... А вот и трасса внизу тонкой ниткой, и белые точки какие-то ползут по ней с востока на запад... А вот батька седой Байкал тонет в снежном мороке, и по леву руку Саян встаёт острой белой стеной, утопая в зимнем небе; а вот и батюшка Енисей, мой милый, хороший... Да! Вижу тебя, прости, что так проношусь над тобой, и уже не снизиться. Никак...

Не остановиться—сильно накопилось, наболело в душе, что не знаю, как и жить дальше. И, как всегда, хакасская степь предо мною, бел камень и две дороги—и какая моя из них, ратная или духовная, один Господь Бог ведает. Только вот в батюшки рано, не возьмут, потому что я пока не понимаю... одну штуку: почему я должен кому-то простить столько разоренья?... Не мо-гу больше... Вот так вот... И прости меня... Смотри, как несёт меня за синие леса белая «креста». Помнишь, как я в ней первый раз Машу поцеловал?

Да, та самая, наша с тобой во веки веков белая красавица, птица раздумий, тоски и надежды, крест мой извечный дорожный, мука крестная и бескрайняя. На нитке дороги белая моя иголка... Так и не сшил я ни куски своей жизни, ни лоскуты земли родной...

Но что это огромное и плоское, как полотно? Барабинские и ишимские степи, болотá и солончаки, берёзовые околки тянутся зимними кружевами... А дальше Тюмень с факелами и Урал коптит, как кочегарка, какой-то поезд ползёт, трудяга... А вот и степи башкирские, и Волга-матушка: слышишь, привет тебе от Енисея-батюшки!

А что это за сизая огромная шапка, прожитая лучами?

Что за трубы могуче клубят белые дымы, переходящие в облака? Что за огни на трубах и тёмных бетонных глыбах краснеют, как драконьи глаза, сквозь облака гари?

Маша, это же твой город! С парящими кратерами ТЭЦов, с мостами-теремами, сизыми шатучими стеблями, синими сотами, оловянными стекольными поясами... А вот башенки твои, Маша,—помнишь? Хорошие башенки... Эх, на каждую по орланчику посадить—это дело бы было...

А вот теперь, Женя, не торопиться... Не торопиться... потому что вот они, голубчики... Так. Да где мои очки? Что ж они блестят-то так, эти чёрные немецкие тачки?

Только не торопиться... И я вам покажу «Барвиху Лакшери Виладж»! Жека! До чего мы дошли! До чего мы дошли... Жека, ты боишься?! Нет, я не боюсь! Я ничего не боюсь!!! А всё равно страшно, дай кружок дам напоследок... Чувствую, будто забыл что-то... Конечно, забыл... Вот, Маша, твоя работа... Вот твоя машина... А вот, наконец, и он—наш с тобой монастырёк на Яузе. Здравствуй, хороший мой, здравствуй и прощай! Узнал меня? Я принёс тебе привет от младшего братца... Не узнаёшь? Помнишь ту «кресту» в девяностом кузове? Такая красавица была... Да? Помнишь, как я в ней Машу ждал и к тебе заходил?... Какая была огромная великолепная жизнь... Маша, девочка моя, куда я лечу? Маша, сколько же у меня всего... И как хочется в Магдагачи...

Посмотри, как высоко мы забрались, уже не видно ни степей, ни тёмного леса, один месяц да

звёзды в тёмно-синем небе... А может, взять выше?... Раз уж забрались... Не затем же так взмыли, чтоб...

Да нет уж, брат, решили—значит, решили. Но что там внизу за полоска сизая? Давай-ка, брат, шевелись, пока погода. А то с Балтики хмарь на-тащит—и капут... Капут—хорошее слово! По месту, главное.

А внизу белое облако навстречу всё сильнее плывёт, плоское, сизое, с рябью по краю... и вот оно уже под нами почти и... Ну быстрее, что ли! Какая она вблизи крупная, эта рябь, будто от огромного кречета, который где-то за горизонтом... Не в беде ли он там, раз перо летит?... Помочь бы хорошо... Какие большие хлопья... Пока каждое пролетит...

Значит, ты понял, Жека,—желательно в серединку и так... поположе по возможности... чтоб собрать побольше...

Давай! Рули, закрылки... Всё! Штурвал от себя! Пошёл, братка!

Да откуда это белое облако взялось?! Плоское, не то как лезвие, не то как козырёк, не то как крыло белоплечего тихоокеанского орлана... Почему оно не даёт мне обрушиться, зачем отсекает, почему подхватывает, взмывает вместе со мной в высокое небо и, кренясь, идёт на разворот? И уже не видно ничего внизу—только белое перо, снежное сеево да прозрачный жилистый ветер.

Огромным и крепким было это крыло, сотканное из енисейского морозного морока, из байкальского снежного буса, из охотского тумана,—это оно подхватило Женю и, широко развернувшись, понесло на восток. И сказал гулкий и родной голос:

«Э-э-э, стой, брат, так не делается! Стой, ты ещё нам нужен, ты ещё всем нужен здесь... И всем должен по уши... Слышишь, вот батюшка Енисей здесь, рядом стоит, во льду весь,—он больше всех за тебя просил. Он говорит, слышишь, он говорит: „А как же тот майор твой, помнишь—майор Саша? Как же ты мог его бросить?“ Какое ты имел право нас всех бросить? И так ломануться? Не спросясь, не посоветовавшись. Ты же всегда спрашивал. Помнишь?

Приходил по-человеччи на берег и спрашивал, просил отпустить... Отпускали тебя? Отпускали. Два раз? Два раз.

Ну? А на третий ты сам решил... Воин выискался! А нам ещё тебя и отмаливай... Да? Некимаста-а... Подожди... Что?

Вот тут речка одна интересуется, Бирой звать... Что? А-а-а...

В общем, она спрашивает, чем твоё кино закончится... Говорит, что никто, кроме тебя, не расскажет так... Так что ты уж разберись... Она говорит: пусть додумает, что ему стоит?

Да и вообще, ты слишком много тут наговорил, что так вот взять и уйти... А главное—рано тебе, слабостылый ты ишло духом и греховастый, хе-хе,

попадёшь не туда—переживай за тебя... Побудь уж с нами... до конца. Стольких отпеть придётся... Ещё навоюешься... Кладенец-то в порядке?

Вот и хорошо... Так, парни, правой маленько. Видишь, хвост закидыват. Надо, ветрище какой! Снега точно подбросит сантиметров сорок ещё. В сидячку собаку... Вода весной сумасшедшая в Енисее будет. Ворогово опеть потопит... Да.

Так чо ты тут про смирение-то спрашивал?... А-а-а... Ребята, вы его не там ищите. От вас никто не требует руки заирать. Смирение—это знаешь что? Это крепость с Богом. И боле ниччо. Понял? Вот и хорошо. Что у нас ещё тут? Так-так-так... По врагам... По врагам-вражинам... Да что ж кидает-то так? Тросик ещё этот... У тебя, случаем, трубочки нет медной? Заклепали бы. Пошарь там в «крёсте»... Нет? Ну ладно. Кстати, мы её заберём... В стойло. Будет ждать тебя...

Если заслужишь... Она-то заслужила... Заодно ходовочку посмотрим... А по этим... по зверо-нравным вот что: ты своих супостатов с Божьими не путай. Да и никто тебя не просит соглашаться с ними... меч там опускать... если ч-чо... А вот насчёт любить—это... такая материя... Я, наверно, объясняю как попало, моё рулить дело... Вот тут река одна подсказывает, Ангарой зовут... Да, хорошая! Да, на связи! Да!

Да! Врага! Ну, всё правильно... Пóнято. Слышь, она говорит: любить врага—это значит разглядеть в нём, пропащем, образ Божий... Да. Которого он не стоит... Понял? Ну вот и я вот пока тоже как-то не очень... Но работаем... А так—просто жёстче будь, братан, жёстче, понял? К себе жёстче. И не лезь без приказа. Вот тут Настя с Енисейска кричит: Святых Отцов пусть читает! А они как говорят? Не тщишь, человек, изменить судьбы Божии на земле—думай о спасении своей души...»

«Да как же?!...»

«Да так. Всё. Не мешай... Держись добром—Урал проходим».

Тихо опустила Женю белёная матица, уронив белые крылья, и, положив на родное ложе, убрала снежный трап и замерла, зависнув над ним спасительной сенью. И Женя, возвращаясь на землю, ещё долго—пока не померк сибирский зимний день—видел над собой её белые раскинутые крылья...

Глава тринадцатая

Успокой груз

В своей жизни я не видел реки великопнее Енисея.

А. П. Чехов. Из Сибири

1.

Здравствуй, мой дом. Принимай меня под тихий кров...

И прости... Ведь это же надо до такого дока-титься... Нельзя так...

Нельзя, переехав два года назад из квартиры в брусом бараке, так ничего и не сделать. Не удосужиться даже пол согнать и половину вещей похоронить кучей за перегородкой, куда и заходить неохота.

Нельзя так обращаться со своим домом, так бояться в него вернуться. И пусть ещё недолго здесь моё жительство, зато сколько уже передумано-перечувствовано в этих стенах из строевой дубческой сосны—спасибо Михалычу, что заказал сруб у староверов с Колокольнича Яра, у неистового Саввы Зверева. Вот он, мой крылатый потолок из бело-сизого пера, а вот строганный пол, дышащий тайгой и тундряками квадрат под моими ногами... Сверху небо неотрывно сеет то зимнее солнце, то звёздный нетленный морок, а из-под пола мой кусок земли русской лучит предвечную тайну и, восходя по жилам, то защищает, то сам просит защиты... А вот и я меж двух глубин пульсирую перепонкой, мембранкой гнусь меж двух разряжений, клонюсь то в одну, то в другую сторону, едва держусь за стены.

А стены?... Вроде бы тридцать сантиметров древесины, за которыми мороз, да иглистый морок, да едкий выхлоп, да угольный запах кочегарки, а на самом деле... Вот она, под ладонью,—гладкая и тёплая, вот глажу её... вот сквозь ровную плоскость слышу её гулкую даль, гляжу в глубину её, продолжаюсь в бескрайнюю греющую толщу...

Сюда приезжал бессонный, выжженный трассой, с глазами, вытравленными встречными фарами. Сюда припёрся ночью, когда сломалась машина под Усть-Кемью. Сюда, когда «Буран» клинанул на выезде из тайги, шёл пешком, и еле живой вступил в ночной, пустой и игрушечный город, и брёл, ошалелый, под фонарями мимо декораций домов. Налитой нехорошей уже слабостью и бессильно думая только о горячем чае, еле переставлял ноги, будто продираясь в густеющем растворе, вязко борясь за каждый шаг. И медленно, ватными подвижками, подавалась улица, будто всем плечом до перекрёстка повисая на ноге: вот лавка на охране с мигающей лампочкой, вот угол дома с моими любимыми наличниками... Вот недосыгаемый светофор, ярко и мёртво переключающий свет с красного на зелёный. А ты спокойней спокойного и понимаешь, что ещё сколько надо—столько и будешь брести, потому что ждёт дома охалка дров у печки и кольцо бересты...

Потом Женя затопил и долго, усыпая пол снегом, поочерёдно сбрыкивал-сбуксовывал бродни с ледяными голяшками, а они не слезали, собирались негнущейся гармошкой, и он отдыхал на скамеечке и снова стаскивал—пятку одного носком другого. А бродень уже лежал на полу отдельно, нелепо продлевая ногу, будто сломанную, и соединялся

с ней пустой брезентовой голяшкой, засевавшей тоннельным входом на комке завернувшейся портянки. А потом часа три пил чай со сгущёнкой и только под утро поел... Бывает такая усталость, что и кусок не лезет...

Всё помаленьку налаживалось. Женя никуда не ездил, занимался то проводкой, то столяркой. В предыдущке после строгания обналички прилаживался передохнуть и, глядя на свою работу, не верил, что вернулся. Да нет, вот он, мой дом, а вот за окнами милый мой город, со смешными домашними светофорами и единственными на свете наличниками в виде крупно отлитых витых напыльвов, тугих и плавных волн, рыбьих плотных спин, словно перенесённых не то с енисейской волны, не то с изгиба кедровых корней.

Где стена монастыря, которую расстроили, приобняв ещё древней земли, и побелили, и даже восстановили в ней надвратную церковь. Где Женин кедр, если посмотреть на него со спины и сверху от храма, оказался таким маленьким и беззащитным. И страшно стало, как бы его не убрали в порыве обновления и стройки. И именно из-за его тщедушной невеликости казался он огромней, живее, символичнее и всё отчётливее простирал живой отстволок к древним могильным плитам, к храму, где отпевали погибшую девушку и Вэдю.

Происходившее в храме было настолько истинным и так проламывало душу, словно отчаявшаяся жизнь пыталась страшным уроком пробить заско-рузлость и вернуть душам исходную оголённость и состояние того зияющего отчаяния, с каким обращаются к Богу как к единственному спасению.

Получив от отца Валерия послушание помогать на клиросе, Женя стоял у аналоя и читал из «Апостола», весь перейдя в голос, который звучал сам по себе, не требуя поддержки и усилия и его самого подбирая, как обрывки мирского платья. Было много людей в храме, и Женя ощущал отверстой спиной, как безо всякой границы началось нечто трепетно вздрагивающее, ответно слитое с ним во единую чуткую толщу. Когда всё закончилось, уже на кладбище, Настя подошла, быстро поцеловала Женю в щёку, перекрестила и ушла в зимний сумрак.

Утром, на восходе, Женя зажёт на синеем морозном окне свечу. Он не успел утеплить раму, и внутреннее стекло сильно зарастало за ночь. Потрескивая, свеча озарила тёмно-жёлтый олифленный переплёт и выпуклые меловые силуэты папоротников, крепкую лепнину ещё каких-то острых и незнакомых листьев. Женя отвёл утренние молитвы и, встав с колен, келейно прочитал в голос акафист за единоумершего:

— Яко безутешная горлица, носится душа над юдолию земною, созерцая с высоты божественного разумения грехи и соблазны минувшего пути, горько скорбя о каждом невозвратном дне,

ушедшем без пользы, но помилуй раба Твоего, Владыко, да внидет он в покой Твой...

Всегда от таких слов остаётся остаток не вместившегося в душу, но сейчас она была настолько истянута, размята горем, что они падали в сердце целиком.

— О Женише Бессмертный, в полночь греха и неверия грядый с небес со ангелами судити миру всему. Отверзи двери славного чертога Твоего рабу Твоему Владимиру, да в бесчисленных сонмах святых во веки поёт: Аллилуйа...

Потом Женя, не решаясь нарушать работой душевного строя, прилёг с книгой. И тут же вспомнилась Настя, как она поцеловала его теми же губами, что приложила к иконе... «Господи, до чего же всё в кучу...» — подумал он в каком-то светлом и покаянном отчаянии.

Удивительно, что Настя как-то особенно ярко, ново выглядела, несмотря на всю печаль происходившего. Вообще, Женя, вернувшись, заметил, как помолодел мир. Обычно после разлуки всё ветшало, на лицах появлялись морщинки, а сейчас и Настя, и другие люди выросли свежей силой, как-то великолепно налились, и это означало, что постарел он, и было не жаль.

Вдруг позвонил Андрюха, трезвый и в десять утра красноярского времени:

— Женька, ты меня сможешь встретить утром послезавтра в пятницу в Емельянове?

— Не понял...

— Всё. Я возвращаюсь. Хорош. Вовка меня берёт.

— Да ты чо?! Конечно, брат! Рейс скажешь только.

— Ну ладно, давай, всё потом, при встрече!

«Ну, как обычно... Что давай? Что потом?» — Женя пожал плечами и обрадованно заходил по комнате.

2.

Андрей искал глазами белую «кресту» в девянстом кузове. Женя видел, как он, глянув вскользь на его «блин», достал телефон и собрался звонить. Женя гуднул и вышел из машины. Никогда братья не обнимались так крепко.

— Груза много?

— Да не шибко. Я всё поездом отправил. Встретим потом, ага? Это что у тебя за красавец?

— «Марк» такой...

— Хм... А та ведь тоже хорошая машина была.

— Та... была не машина, — тихо и медленно сказал Женя.

— Ну ничего... У этого... тоже всё впереди, — так же негромко ответил Андрюха.

— А у нас, брат, тем более.

Они зашли в павильон, где народ, толпясь во круг низкой овальной стойки, похожей на детскую железную дорогу, расхватывал сумки и чемоданы, движущиеся в разных позах по резиновой

дорожке. Андрей был настолько расслабленно-счастливым, что предложил не толкаться и подождать. Так они и сделали и спокойно забрали свой багаж с уже опустевшей ленты, по которой одиноко каталась по кругу чья-то клетчатая сумка, умотанная прозрачной липучкой.

Андрюхе нравилось всё, что он видел вокруг. На выезде из портовской площадки они стояли перед шлагбаумом возле будки:

— Вот это по-человечки: для правого руля справа окошечко, для левого слева. Жек, слышь, сёдни воскресенье. Давай через город, а, поедем? И на берег заглянем. Давай, брат? Ну, туда, в район речпорта, к «Огням»... А? Я на Енисей хочу посмотреть...

— Давай,— что-то дрогнуло в Жене, словно судорога перешла с его собственного на заенисейские хребты, прокатившись до самого города Владивостока, до окончания транссибовских рельс, до морвокзала, где ржавым бинтом белеет плавгоспиталь «Иртыш» и прозрачно-синяя тихоокеанская вода взлизывает оледенелый берег с ржавыми железяками.

И, словно повторяя чью-то тень, сходящую к океанской воде, Женя с Андреем спустились напротив гостиницы «Огни Енисея» и смотрели на чёрно-сизую бегущую воду, на сопки напротив, которые Саяны последним рассветным потягом руки на ощупь вынесли на север, желая побольше побыть с батюшкой Енисеем и словно опасаясь снять с него верховую охрану своих остролесых громад, поседевших медвежьих спин. Вышло солнышко, и что-то предвесеннее было в тенях, бегущих по штриховым склонам сопки, фронтом стоящих напротив — каждодневным напоминанием о том, в каком богоданном месте стоит поразительный и прокопчённый этот город.

Женя оставил брата наедине с Енисеем и ушёл в машину под предлогом долить не нужный зимой омыватель. Вскоре Андрей вернулся, бодрый, краснолице-росистый, с торчащими из-под шапки мокрыми волосами. Оказалось, он попросил на плавресторане ведро с верёвкой и умылся енисейной водой.

— Ну вот,— сказал он, вытирая платком сияющее диковатое лицо,— теперь можно дальше ехать.

— Ты есть-то сильно хочешь, или уж до дома? А то тут на тракте шашлычка есть хорошая, ты её помнить должен...

— В шашлычке сам знаешь что главное, а ты за рулём. До дома, брат!

Женя остановился на выезде из города у цветочного павильона и вернулся с букетом гвоздик. — Не по-онял,— улыбнулся сквозь сигаретную затяжку Андрей.

— Поймёшь ещё.

Побежал под колёса Енисейский тракт, понесли поля, потом лесочки и леса, начались

небольшие подьёмы с ледком и песчаной крошкой. В лесу, как всегда, было больше снега.

— Слушай, а мне ведь тачка нужна будет,— мечтательно говорил Андрюха.

— Я надеюсь, с норма...

— Естественно, брат, за руль не бойся. Я их в Москве все наперечёт знал... Там даже свои любители есть. Но ничего не понимают — литраж какой-то обсуждают... Мы поедем во Влад, да? Когда денег заработаем?

— Да тут и на месте сейчас можно. Оно даже лучше — и дешевле, и без головняков. Не распили, не конструктор, а ценник меньше, чем в Приморье. Короче, наши пацаны новую тему надыбали, называется: настоящий японский автомобиль на переселенца.

— Да ты чо? Как это?

— Ну, в Киргизии, короче, пошла какая-то маленькая, а у киргизов, которые здесь живут переселенцами — ну есть такой... ну как сказать... ну, этот...

— Статус.

— Ну да. В паспорте, что ли, какая-то отметка... Короче, у кого она есть — у них право бесплатно сюда барахло своё притащить. Например, машину. Понял?

— Не-а.

— И не корч какой-нибудь — тачечка с аука, таможня Кырск, всё чеснок, при тебе оформляют, номера сразу — в модной рамочке салонской, ещё и мастикой кузов надрат бесплатно, если захочешь. Ставят сначала на переселенца, а он тут же с тобой договор купли-продажи заключает. Прямо киргизку такую тащут к окошку: «Где Фарида Неязова?» — «Тута она». — «Паспорт давай!» Она даёт. «Расписывайся!» Она расписывается. Стоит как тумба, фары вообще не врубает и по-русски ни бум-бум. Я угорел. А лавандос отдаёшь прямо в тачке — у пацанов такая машинка специальная карманная считательная — бумажки сама считает: шр-р-р-р! Так стайкой и перелетели. Как воробышки. Ну не черти ли?! А?

— Черти! Смотри, чо удумали! Русский Ванька ни хрена не дремлет! А как её с Японии-то везут? — Контейнером по морю в Китай, потом до Бишкека точно не знаю как, по жездэ, скорее всего, а оттуда на киргизских транзитах самогоном до Новосиба. Ну и сюда, понятно. Три тыщи кэмэ — и дома. Я видел, они стояли оформлялись на Рязанской — «сафарь», два «сурфа», «прадик» и «хорёк» чёрный. «Сафарь» начальнику милиции в Ангарск шёл.

— Вот это тема!

— Для кино! — Женя толкнул Андрюху локтем.

— А чо! Мы ещё поговорим...

Андрюха помолчал, как-то поёрзал напряжённо, а потом сказал другим голосом:

— Тут новости.

— Что такое? — насторожился Женя.
 — Короче, я «нёрусю» носопырку своротил!
 — Да ты чо? И как носопырка?
 — Бе-э-э,— брезгливо протянул Андрюха.— Со-
 плей много... И... ты только на меня не волоки...
 Не знаю... Ты в курсах, что к нему Машка вер-
 нулась?
 — Да ты чо? — ахнул Женя.— После этого?
 — Ну.
 — Ну, спаси-и-ибо, брат, помог... То-то она трубку
 не берёт. Теперь понятно.
 — Кстати, они в Каннах что-то там получили за
 наш фильм, какой-то приз дополнительный.
 — Да ты ч-чо? Это за то, что в Сибири «к религи-
 озным праздникам плохо относятся»?
 Женину голову как раскалённым обручем взя-
 ло. Он отрывисто выдохнул и замолчал. Потом с
 ходу заговорил:
 — Понимаешь, я же думал... я все мозги продумал,
 пока с Приморья ехал. Да. Понятно, что с Маш-
 кой— всё. Никак,— он безвыходно пожал плечами
 и повёл левой рукой.— Но она вот здесь,— он по-
 хлопал себя по груди.— До конца, понимаешь.
 Ничего не сделаешь. Пришлась — трудно, крепко,
 но по месту. Она уже часть меня. Женщины это
 почему-то лучше нас понимают. И ещё, знаешь, я
 подумал, что если б она стала такой, как мне бы
 хотелось, то я бы её в ту же секунду разлюбил.
 Потому что в ней бы пропало главное — умение
 быть недосыгаемой, чтоб ты каждый день за неё
 бился. И с собой, и с ней. А это, оказывается,
 тебе... ещё нужней, чем ей. Что она к нему верну-
 лась — это... даже слова не могу подобрать. Обидно,
 дико... Тем более что это её решение, хотя я её и
 подвёл к нему своим руками — но всё равно. А ж
 раздирает! Но это гордыня, и я понимаю, а раз
 понимаю — значит, ужé лечится... И знаешь, мне
 как-то даже спокойней, что это Гришка. Понятно
 всё, по крайней мере. А если б она в кого влюби-
 лась? Я спятил бы! Так что, может, оно всё хорошо
 и правильно. И что ты с Гришкой обрубил — тоже
 правильно. Братан, неужели ты не понял? Нам же
 их неспроста подсунули.
 — Для испытания, типа?
 — Ну. И мы прошли его и вот вместе едем в город
 Енисейск. Ты не рад разве?
 — Рад. Ты чо — не видишь?
 — Ну, вижу вроде... А я... я же до сих пор её сло-
 вами думаю... Ты не представляешь, как меня она
 изменила, я с такой плотностью, с такой скоростью
 не жил никогда. Меня аж в кресло вдавило. И я
 другой уже. Да я ей по гроб жизни благодарен — за
 всё. За счастье, которого уже не будет никогда — я
 тебе говорю. Потому что это было... не знаю...
 полёт какой-то... одноразовый. Такие расстояния.
 Не-а,— сказал Женя резко и уверенно.— Без неё
 ничего бы не было. Ты же чувствуешь: и у меня, и
 у тебя как лопатой целый кусок жизни отвалило.

— Ну и что делать-то? Я как начинаю вспоминать
 всю эту подлость... так аж...

— А я тебе скажу.

— Ну говори.

— Обожди.

— Почему.

— Ну подожди.

— Чтó за тайны? — Андрей пожал плечами.

Машина проходила поворот перед спуском. За
 обочиной у берёзок стоял свежий деревянный
 крест. Женя остановился.

— Пойдём. Я тебе не сказал. Это Вэдя.

Постояли молча рядом с крестом, на котором
 косо висел припорошённый венок. Пронесились
 машины с каким-то особенно дальнобойным
 гулом, эховым раскатом. Женя поправил венок,
 отряхнул старые цветы от снега и, добавив свои,
 положил на место.

— Что случилось-то? — спросил Андрюха, когда
 снова поехали, словно боясь произносить слова в
 присутствии этого недвижимого креста. Или слова,
 будучи прочно увязаны с механизмами машины,
 тоже требовали хода, крутящего момента, разря-
 дившись перед лицом горя.

— КАМАЗ поймал.

Андрей покачал головой. Помолчали. Потом
 Андрей спросил:

— Так что ты сказать хотел?

— Ну да. Мы с Вэдей раз грузили на жэдэ вокзале
 снегоходы в ящиках. Я в кузове стою воровайки,
 а он стрелой рулит. Последний ящик крутится,
 тяжеленный такой, то так не встаёт, то эдак, то
 углом зацепится, то в борт навалится, аж кузов
 ходит. И качается, и вертится, как зараза. А Вэдя
 тогда как рывкнет: «Успокой груз!» Понял? Успокой
 груз. Это очень важно, понимаешь. Груз — он твой,
 он уже на стропах — никуда не денешь. Но пусть
 он повиснет спокойно. А ты поймёшь. Зачем он
 тебе даден. На стреле тоже не дураки сидят. А ты
 всё: «Мя-яйна, мя-яйна»... — гнусаво передразнил
 кого-то Женя.— Груз — он штука такая, его как
 поставишь. Можно так, что елозить будет да пе-
 ремнёт всё в округе, а можно определить по месту,
 с заботой — и как влитой встанет. Здесь не столько
 вес губит, сколько тряска. В жизни же всякого на-
 случается... Дак ты поставь, чтоб душу не тёрло, и
 езжай куда хошь. Вес — он такой... Сорвёт — убьёт,
 а добром раскрепишь — только опоры добавит, а
 может, и чо болтучее ещё и удавит. Но для этого
 сначала его успокоить надо. Согласен? А потом
 дальше. Или выше. Кому как.

— Да как с тобой не согласиться? Только это ска-
 зать легко.

— Сказать как раз нелегко, если с понятием. Ска-
 зать с понятием — это уже, брат, часть дела. Это
 как ногу оторвать от земли. А дальше не думать,
 что оступишься, а брать и ступать. Знаешь, когда
 в гору лезешь... А теперь представь, что нет горы

никакой впереди, что она уже под тобой, гора эта, а дальше есть только прозрачный саянский воздух... И вот снова ногу задираешь, не боясь, что коленка там хрустнет... И вступаешь прямо в синее небо, и должна оступиться, провалиться нога—ан нет! Едва ты её поднял, занёс над пропастью, вдвинул в неё и чуть подержал, пошарил в поисках опоры—тут же, буквально в миллионную долю секунды, воздух твердеет! Ступенькой! Это Господь Бог тебе трап подаёт. Вот так вот, брат Андроний.

Женя помолчал.

- А у меня тоже новость. Но хорошая.
- Ну, какая?—виновато спросил Андрей.
- Сёдни вечером наш старшой приезжат.
- Да т-ты ч-чо?!

Глава четырнадцатая

Там, где кедр со сломанной вершиной

Н. А. Александрову

На следующий день в морозных сумерках, когда ещё жива синева и особенно остро и драгоценно лётся фарный свет, напротив Жениных ворот затряслась земля и остановился, сияя, как люстра, заиндевелый до полной сахарности огромный кунгованный «Урал» с двумя скатами на кабине.

И стоял, трясясь и по-судовому неся сгоревшей соляжкой и будто катая по огромному неровному колоколу язык громового рокота. Сквозь него, едва пробиваясь, неслись из кабины какие-то завершающие выкрики, и вывалился Василий Михалыч Барковец с клетчатой сумищей и ещё некоторое время высвобождал откуда-то с бампера, из-под троса, «восьмёркой» заделанного на клыках, мёрзлый свёрток в мешковине. Вырвав добычу, он рывкнул в высокую кабину:

— Всё, давай, Кешка!

«Урал» по-локомотивному гуднул и уехал. Женя схватил сумку, и они пошли в избу, где сидел за столом Андрюха, взад-вперёд возя вилку от волнения. Женя встречать его не пустил и Михалычу о приезде младшего не сказал. Едва в дверях показалось красное мясистое лицо старшого, Андрюха выскочил из-за стола и полетел в его лапы. Михалыч качал головой и не верил глазам:

— От это да! От это подарок! Ну Женька, ну ты и хитря-як! И ни словом, главное!

— Всё! Садитесь!

— И надолго ты?

— Да я насовсем, Вась. Примете блудного?

— Да куда мы денемся! А ты чо тошшой такой? Приедешь ко мне—откармливать тебя будем. Обождите, мужики... У меня тут... Женька, на вот, построгай чиркунца, а это в холодильник, а это на улицу—это в город... У тебя там в сенях собаки не шарятся, хе-хе?

И Михалыч вывалил на стол здорового, твёрдого, как колотушка, чира. Горбомордого и с морозно обломанными спицами плавников.

— Печёнку будете оленью? Вот ишшо пилимени тут, Нина Егоровна стряпала, чашку только мне опростай, Женька. А то она у меня хозяйка сам знашь какая, будет потом сканудить... Я же у ней век вредитель главный.

При слове «Егоровна» Женька обрадованно глянул на брата:

— Мы всё будем, садись уже! Затомил!

— Щас, руки помою... Я смотрю, ты наконец домом хоть занялся...

— Смотри, какой светильник модный замутил,—сказал Андрюха.

— Обожди... Дак это с трубы колонковой, и цепь от бортобвязки! Нас не проведёшь! Он в ней, паразит, болгаркой щелей насёк—и, смотри, хоть на выставку! У меня, Женька, таких труб на второй буровой залежи—можно абажурну фабрику открывать!

— Братья Барковцы. Абажуры и люстры!

— Ну вы скоро угомонитесь, абажуры? Люстры на вас нет подходящей! Невозможно... Уже нолито!

— Ну всё! Всё! Иду!

— Ну что, братцы!

— За встречу?

— За встречу!

Когда закусили и чуть приосели, Женя наполнил стопки:

— Ну что, ребята... Давайте помянем Володю Денисенко.

— Давайте,—с особенной какой-то силой сказал Михалыч.

— Можно, я только немного скажу? Ты вот как раз, Вася, звонил, а перед этим в тот же день я Вэде звонил с Выдрина, это от Танхоя сюда. Он выезжал с Бора как раз. Кричит: мол, давай тапку в пол—увидимся скоро! Чо нам осталось-то? По тыщце каждому. А то в рейс уйду опять. Ушёл. Так в голове до сих пор не укладывается. Да...

— Женя помолчал.—Знаете, мужики, Вэдя был единственный человек, который... меня жить не учил. Хотя относился, наверно, как к ребёнку. То есть понимал, что это бесполезно. Вот так вот... Ну что, Володя? Ты с нами... И пусть Господь Бог успокоит твою душу—дорожную и горячую. Да, брат... так и не увидел ты моей новой машины... — Пухом тебе земля, Володя.

Закусили. Михалыч, сосредоточенно глядя в стол, дожевал кусок чира, выложил сабельку косточки на край тарелки и поднял глаза:

— Представляешь, я же с ним хотел ехать.

— Да ты чо?!

— И чо не поехал?

— Да всё—собрался. Вот Володька подбехать должен. С Бора идёт. Я на подслухе. Сумки приготовил. Сижу. И тут Нина вбегает—руку рассекла, палец

большой. Главное, дров ей наколол, с запасом, а запас у меня знашь какой... Нет. Мало. Ещё надо: не может вот спокойно, настолько всё это в крови, хозяйское... Чурку колола, а берёза вертлявая¹¹... Косина—колун засаживается, а она внастыр... она внастыр,—он показал рукой, сжатой в кулак.—Ещё на нервах вся: ей этот мой город сам знашь как. Ну, после истории—то с Настасьей—то. В общем, по пальцу большому ка-ак саданёт,—Михалыч сморщился.—Прямо с костяшки до подушки развалила...—Михалыч крикнул.—Зашивали у Оксанки. Разревелась... Тут уж какая поездка?... А потом, как узнала...О-о-о...—Михалыч махнул рукой и отвернулся.—Главное, ещё прибилась, ну меня-то провожать, платок цветной повязала, как же—народ в микрике! И тут с этим пальцем вбегае... —Может, она специально?—спросил Андрей, у которого всё это время остро блестели глаза. —Вередила-то? Да ну. Я уж думал. Наверяд ли,—и Михалыч ещё раз солидно протянул:—Навря-яд ли...—и тут же разрядил обстановку:—Главное, палец всмятку, а напалок целёхонький у верхонки! От где нитка крепкая! Ха-ха!
—Это у тебя колун тупой!
—Это точно, Женька! Она ещё: наточи, наточи! Вот наточил бы!

Подняли за Нину Егоровну, потом Женя налил стопки, встал и, помолчав, сказал:
—Браття! Вы не представляете, как я рад... Что мы так собрались—и всё в один день... Я не буду долго, хотя хочется...
—Говори как надо. Нам не тóропно.
—Браття мои. У нас у каждого за этот год столько произошло. И у тебя, Андрюха, и у тебя, брат Михалыч. А про меня вы всё знаете. Я хочу выпить за вас. И я хочу попросить у вас прощения. Я же червяк последний стал! Вы не представляете, как я на вас раздражался! Когда ты мне звонил под Тулуном-то. Сидит чаёк распивает, а тут такой бардачина на этой трассе, все едут хрен знает как, и он ещё со своими гусянками да с законом промысловым! Досиделись, что прижали так, что дальше некуда... И всё ждуд, что за них кто-то устроит. И вездеход тот припомнил... О-ой...—прохрипел Женя и замотал головой.—А уж тебе-то, Андрюха, больше всех досталось! Чо он сидит в Москве этой долбаной?! Чо с этим Гришкой-паразитом нянчится... Подумашь—нюх у того на дорогое... вот в нюх и дал бы, или уже забыл бы совсем! Вася, Андрюха! А ведь я ещё себя православным считаю... На клиросе помогаю... За Россию болею... Говорю... что беречь её надо... Вместе всем быть... Что начинать надо делать что-то... И вот начал... С родных братьев! Ну куда это годится?!—у него снова началась эта редкая интонация, будто он и спрашивал, и сам себя уговаривал, и тут же соглашался.—Вася, Андрей, простите меня, браття. Вы не представляете, как это важно для

меня. Я хочу выпить за вас и за то, что мы снова вместе. За то, что... хотел сказать «река»... нет... Что это непостижимое и ненаглядное существо, которое... мы все любим, наш батюшка Енисей всех нас снова собрал. В один кулак! Всё! За вас!

Он выпил, закусил и вдруг посмотрел на Михалыча:

—А ты же ехать не хотел. Чо сорвался?

—Да у тебя такой голос был злюччий, когда я звонил. Решил, думаю, не буду терёбить—он и так гружёный, и тут я ещё со своими гусянками.

—Да привёз я тебе гусянки!—весело закричал Женя.—Вон они, в чулане лежат.

—Спасибо, Женька... Мужики,—вдруг встал Михалыч,—теперь я скажу. Я точно долго не буду. Всё. Я рад тоже—видите. Короче, щас вы тут разберитесь, чо да как. Особенно Андрюха. А я вернусь с города—и ко мне. Все вместе. Вот за это!

Потом Андрей встал. Глаза его сияли совсем уже блестяще.

—Мужики. Вы не представляете... Как я рад, что снова здесь, в Сибири, дома. И что у меня такие братья... Потому что я вот смотрю на вас... Я перед вами... шпана... Правда...Вобще никто. Вот ты, Михалыч... Знаешь, такие лабереги есть, ровные, как мостовая, все из камней, и камни как кувалдой забиты, гладкие, плотные—насколько их льдом заровняло, зашлифовало галькой, которую в лёд ещё по осени вморозило... И на них от каждого ледохода царапины свежие... Но зато этот камень хрен выворотить... Вот ты, Михалыч, такой... Ты крепкий. Ты собой этот берег крепишь. И за него не страшно... А за тебя тем более... А Женька—он другой. Он одинокий. Но ему так правильной... Потому что в одиночку... к алтарю идут. И вы... вы так друг друга дополняете... что я даже не нужен тут. Но я... всё равно приехал... К вам... Потому что вы знаете, зачем живёте... А я тоже без смысла не могу... Я спячу... Или сопьюсь на хрен... Но у меня вы есть...—он запнулся и выкрикнул:—И я... так люблю вас!—у него затрясся подбородок, он опрокинул стопку и шваркнул её об пол.

Тут началось уже совсем шумно. Потом все вышли во двор.

—О!—сказал Михалыч.—Луна на убыль пошла: баба ведро перевернула. А я пошёл спать. Меня чо-то мотыляет с дороги. Колени кругит. Ещё бирки к собалям пришивать—так дома и не добрался до них: то одно, то друго. Давайте. Не бузите шибко. И это...—он отозвал Женю.—Вы это, как ево, Настьку поддержите, ага?

11. Под словом «вертлявая» Михалыч имел в виду не какую-то особую вертучесть берёзовой чурки, а то, что сама берёза была витая, крепко закрученная, и поэтому колоть её трудно. Всегда восхищает такое своё видение слова простым русским человеком, наполнение его новым неожиданным смыслом.

— Не волнуйся, брат, я уж думал.

Луна ещё горела вовсю, освещая зрело-зимний и уже крепко добравший снега Енисейск. С волнистыми в снежных пластах крышами, с белыми плитами и шапками, обливающими каждую будку, бочку, сараюшку, с косыми надувами у заборов и одеяльными складками в огородах.

Небо было чистым, но с морочком, и из него сыпался иней, холодно щекоча шею. В морозе неярко и мутно горели звёзды, и если смотреть звёздочке в глаза, она, стесняясь, исчезала, а если рядом, вбочок, то доверчиво выглядывала.

Братья вернулись в избу. Михалыч, покопавшись в сумке, завалился спать, а Андрей с Женей с новыми силами вернулись к столу.

— Бр-р. Так это... прохладно.

— Не май месяц. Давай.

— Давай. За тебя!

— За тебя!

— За нас.

Братья с аппетитом закусили.

— Ну ты как... вообще? — спросил Женя, даже радый, что Михалыч сейчас ушёл и разговор принимает двуручный мах, с каким легче допилиться до правды.

— Да — всё. Не смог я там больше. Невозможно. Всё не о том. А когда о том, на тебя как на идиота смотрят. У всех одни бабки на уме. Больше ни-чи-во. А вообще, Женька, что-то происходит. Какой-то капец. Я ведь тоже чуть мозги не сломал. Но хоть что-то понимать начал. И на том, Москва, спасибо тебе.

— Ну, видишь, ругаешь — а ты там русским стал. — Брат, я не её ругаю. Её-то как ругать можно? Она мать городов наших. Это как раз понятно. Непонятно, что делать. Вот я и думаю: может, ты мне объяснишь?

— Знаешь, я, пока ехал, тоже передумал столько... Всё пытался разобраться... перебирался, перехватывался ближе, ближе к голове. Она потом, правда, хвостом оказалась... Ну и снова по хвосту, потом за серёдку, а серёдка дальше, дальше шлёт. И с каждым перехватом, главное, пролёты огромней. И вот вроде бы здесь он, корень дела, — а нет, смотришь — пусто. И так — пока до головы не догнал. А вот теперь скажи: тебя никогда не настораживало, что мировой войны нет очень давно? — Х-хе! Раньше радовало, а с какого-то момента действительно настораживать стало.

— Вот и меня тоже. А знаешь, почему её нет, войны? — Женя в упор посмотрел на брата.

— Ну?

— Потому что нас и так почти победили. Обожди маленько... Нам же не торопно? Я тебе прочитаю сейчас. Можно?

Женя полез на полку.

— Конечно.

— Вот слушай: «В прежние времена начиналась война, и человек шёл сражаться с врагом, защищая

своё Отечество, свой народ. Сейчас мы вступаем в сражение не ради защиты Отечества. Мы идём в бой не для того, чтобы воспрепятствовать варварам сжечь наши дома, надругаться над нашей сестрой и нас обесчестить. Мы ведём войну не за национальные интересы и не за какую-то идеологию. Сейчас мы сражаемся либо на стороне Христа, либо на стороне дьявола», — Женя поднял глаза. — Паисий Святогорец. Ты понимаешь? Только из этого ни в коем разе не следует, что Отечество не надо защищать. Наоборот! Но это значит другое, брат.

— Что?

— Это значит одно, — медленно сказал Женя, — что враг — уже здесь. Вот это что значит.

— Н-да.

— Поэтому так и сложно, не всякий выдерживает. Зло — оно как-то частями прилипает и к каждому. Я сам до конца не понимаю... Ну, вот ещё. Можно, да? — Женя полистал. — Иоанн Кронштадтский... Ты знаешь... — он поднял глаза, — это такие люди были... Когда вникнешь, они как старшие братья становятся. Ты уже без них себя не представляешь. Вот он пишет: «Не скорби безутешно о злополучии Отечества... Скорби о том, что ты плохо подвигаешься к Отечеству нетленному, вечному, на небесах уготованному, что сердце твоё далеко от Бога». — Женя положил книгу. — А я не могу не скорбеть! Не. Мо. Гу. Ну что я — плохой из-за этого? И Бог меня осудит? Я грую, передумал тут столько, пока ехал. Пять тышш двести вёрст одних токо мыслей... без заезда в Братск. Потом ещё смерть Вэди... — Женя помолчал. — И ты знаешь, Андрюх, я вот думал и про то кино наше несуществующее. Там вот герой мучается, думает о двух Отечествах своего служения: земном и небесном... И всё пытается их пересечь — они у него порозь до поры. И он понимает, что всё объяснение в смерти. Что её таинство, такое одноразовое и страшное с точки зрения... так сказать, слепотствующего мирянина, коими мы с тобой являемся, — оно настолько переводит всё в другую плоскость, что автоматически главным вопросом становится вечность. И весь секрет, что поймёшь это, только когда на пороге будешь... этой самой... калитки, за которой останетя навеки всё близкое, что было твоей огромной жизнью, всё до слёз любимое, подробное и важное, включая мысли о Боге. Ну, чтоб наглядней: есть телевизор. По нему кажут бесовщину, а есть православные и русские программы, между прочим, очень хорошие и душеполезные. Но когда ты на пороге, вопрос уже не в выборе программ, а вообще в наличии телевизора. Или ещё правильнее — в наличии глаз, или ещё точнее — самого зрителя. И ответить на него можно только через Бога. Вот где разница, понимаешь? И отсюда не следует, что Отечество русское второстепенно по отношению к небесному.

И вроде бы он это понимает, наш с тобой герой, но понимает и другое — знаешь что?

— Ну?

— Что всё это мудрствование. И вопрос остаётся... Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что он не у калитки. Он живой. И ему больно оттого, что происходит. И он находит для себя ответ: раз существуют два этих служения и их надо пересечь, то... сделать это может только... Знаешь что? Подвиг. Смерть за православное Отечество. И он готовится... Но это кино... Когда придумывают героя — неспроста такую воздушную прокладочку кладут между ним и собой, ну, чтоб музе руки развязать, чтоб личное не путалось под ногами. Но она двоякая, эта подушка безопасности, потому что героя можно нагородить какого угодно, а потом выбраться из-под него спокойненько, отряхнуть колени и уйти домой попивать водочку под морожену печёнку, как мы с тобой и делаем. Поэтому я думаю: ну-ка его к бабаю, это кино. А? Надо быть научиться, а не героев выдумывать. — Как это к бабаю?! — Андрей вдруг стукнул кулаком по столу, вскочил и заходил по комнате. — Ты что, меня... Ты... у меня... Ты што, сдурел?! Я, может, ради этого сюда приехал! Я всё бросил! У меня профессия! Ты понимаешь, что это проигрыш! А ты... Ты у меня всю надежду отнимаешь! Оно же не твоё, оно... Оно же, как только ты рот открыл, уже не твоё!

— Андрюха!!! Оно и до этого моим не было! Ну что ты, Андрюха! Садись, давай-ка намахнём! Давай-давай-давай! Ты чо, моя?! Ну прости, брат. Прости. Хорошо. Подожди, раз так... Раз так, подожди... Так это раз... Это раз так... Наперетак... Я же не знал, что оно так. Вишь ч-чо... Эка... Эвона... Эвока... Той-той-той... Я тебе щас расскажу. Ща-ас расскажу, — утихомиривал его Женя, как ребёнок. — Хорошо! — Андрюха уселся. — Хорошо. Мне плевать, что там твой герой надумал. Ты скажи: как ты сам считаешь?

— Братан, я могу сказать, вернее, повторить. Потому что всё уже сказано. Но дело в словах. Они должны быть одной, что ли... спелости. Иначе ты только кожуру услышишь.

— Чо — вперёд?

— Ну.

Женя заговорил очень медленно и отчётливо, будто читая:

— Надо осознать жертвенность пути России, которая как никогда является Куликовым полем... битвы меж Христом и дьяволом, и... вынести, не ропща, этот крест.

— Я согласен. Но это всё общо очень! Общо! Что я должен делать?

— Ты должен... бросить курить! — дал теперь Женя кулаком по столу, и оба захохотали.

Из комнаты раздался кашель.

— Вы чо орёте так?! — вышел Василий Михалыч в трусах и майке, со слипшимися веками. — Щас вам устрою поле Куликово...

Сходив на двор, он покачал головой и ушёл досыпать.

— Наливай... — временным шёпотом сказал Женя. — Чо-то я сказать хотел... такое... О! Вспомнил. Ты сказал: проигрыш. Ты ч-чо?! Какой ещё проигрыш? Это, наоборот, победа! Ты не проиграл, ты победил! Тебе Бог помог. Если бы у тебя там заварилось — ты бы не вернулся! Так что всё отлично. Мы с тобой всё по уму сделаем и ещё бабу тебе найдём путную. Ты знаешь, какие здесь люди хорошие есть! А какие женщины в библиотеках и музеях! Это с ума можно сойти! С какой любовью они дорогое берегут! Да перед ними рухнуть надо и ноги им целовать по гроб жизни... Они еле выживают, но не отступятся! А твой Вовка чего стоит один? Ты знаешь, какую он книгу про Гоголя написал? А студентов своих таскает как? А какого я майора встретил, Сашу, под Иркутском! Майор Саша... А какие издатели! В каждом городе почти есть такой сумасшедший... В Тобольске, в Новосибирске, в Бийске, во Владе... И в Иркутске был, да умер. Потеря такая... А школы какие есть! А лицей в Карасукё! Но это в миру... а какие батюшки! Представляешь: Енисей, штормина пластает, а в устье Сыма стоит катеришка, и в нём отец Даниил такой в спецовке — руки в масле по локти — дизелю башку отнимает. Поднимались по Сыму, вода ушла, на косу сели — еле слезли... Потом распредвал чо-то начал мозги канифолить... А Православная школа в Лесосибирске у отца Андрея! А мальчишки у него какие в летних лагерях — настоящие воины... А какие храмы люди строят! А хора какие! А какой монастырь в Могочине Томской области! Там отец Иоанн настоятелем. Сам решил строить, сам начал. Мы там в самый мороз были. Монастырь такой, из кирпича и из бетонных блоков построенный, какие-то арматурины торчат, как ежи, но мощно смотрится, красиво, сурово. А внутри тепло, цветы, всё зелёное... И запах, знаешь, такой домашний. Туда со всей страны едут. А в Чемале на острове посреди Катуня храм какой мужик отгрохал! С Москвы приехал, фотограф, коллега твой, кстати, бросил всё, продал и построил. Фотоаппарат продал «хассельблат», он как «крузак» стоит... И стоит теперь деревянный храм на скальном острове посреди Катуня, и она такая, знаешь, жилистая, прозрачно-бирюзовая и меж обломками скал течёт. И зелёная синева с таким океанским переходом, густеньем от меляков к глубине... А ты говоришь — что делать! А матушка Людмила Кононова? Не слышал? Да ты чо?! Чо ты там слышал, в этой Москве?! У неё две песни есть: «Синева» и «Матушка Россия»... Я тебе поставлю, поедем... Такие люди немислимые... Конечно, их мало, но они, знаешь, как вершинки

над серой осенней тайгой... Когда солнце вдруг из-под тучки выйдет и позолотит их. Они сами друг друга нагружают своей надеждой, которую уже нельзя не оправдать будет, тянут друг друга за руки. Вот один стоит где-нибудь в Благовещенске и видит вершинку такую в Сургуте, в Красноярске, в Барнауле—и уже знает, что не один. Они, как свечки, теплятся в разных краях... Представляешь: такая холмистая равнина, и там, там, там—горят свечки... как стебли светящиеся, прозрачные и чистые, как сердца этих подвижников, аки воск, мягкие и податливые в своём послушании. И очищают своим пламенем тяжкий наш воздух, нашу тьму безбожную, и пламя покачивается, и потрескивают свечки... Представляешь—такую картину написать! Я её вижу. Она называется «Наши хранилища»... Вот про что снимать надо! И я за такую Русь хочу выпить!

— Брат, прости меня!

— Всё. И пошли на Енисей!

Они пошли на берег белого замершего Енисея. Пока шли, потихоньку начинало светать. Под давлением морозного морока трудно открывалось небо, но всё неумолимей проступала и тлела холодная и прекрасная синева его сквозь сизую низовую облачность.

Братья, дружно хрустя, дошли до берега, долго стояли там, говорили, топтались—разгорячённые, с белыми закрайками шапок, усами, ресницами.

Потом прошли к монастырю, и Женя остановился у кедров со сломанной вершиной.

Уже шёл необыкновенный рассвет с рыжими и розовыми слоями неба, с тонко-лучистым солнцем, розово осветившим монастырскую стену, Преображенский собор, куржак и снег на ветках, на кедровых кистях, на главах и крестах собора.

— Вот мы и с Машей тогда так стояли... — задумчиво сказал Женя.— Хорошо, да?

— Да. Я не представляю, если бы... я там остался. Спасибо тебе, брат.

— Да это мне разве? Эт не мне-е... А мы щас, братан, знаешь что сделаем? Мы щас цветтьев купим охапку и к Насте пойдём... Типа, за письмами... Э-э-э,—вдруг спохватился Женя,—а во Владе уже утро давно! И на Танфилке! Уже сто раз звонить пора! Та-ак, Николаев... где ты у нас тут? Вот он-он ты. Во-от так вот... Ну-ка. Приём! О! Саха, здорово! Как ты? Отлично! Слышишь, я стою сейчас... Саш, я... я стою... там, где... там, где кедр со сломанной вершиной... Я тебе рассказывал... У стены монастыря, где... наш с тобой кедр... Да! Тот самый! Представляешь? Саня, у меня праздник! У меня все три брата собрались. Вася, Андрюха и я. Спасибо, спасибо, брат! Как ты там? Как наш город?... Влад! Стоит? Ну хорошо. Пускай стоит, ждёт. Да, ждёт! Почему меня? Нас! Мы с братом приедем! Да хрен с ними, с ценами. Купим ему какую-нибудь пузотёрку—лишь бы не плакал!

ДиН пародия

Евгений Минин

Грёзы и угрозы

Выбор

*я во рву не лежал под бомбёжкой
я не знал что такое чечня
мне грозила гёрл-френд поварёшкой
и стреляла глазами в меня*
Евгений Степанов

то ль в Казани а то ли в Рязани
был с гёрл-френд я когда-то знаком
но когда не ходил на свиданья
угрожала большим черпаком
чтоб не встретиться вдруг с неотложкой
я подумал в какой-то момент
может лучше лежать под бомбёжкой
чем с такой агрессивной гёрл-френд

Рукоятное

*Но твоя любовь пребудет во мне,
вонзённая по рукоять.*
Вероника Шелленберг

Твоя любовь заставляет гореть
и по ночам не спать.
Она не на четверть и не на треть—
вонзается по рукоять.
И нет желанней в этой любви
того, кто вдруг обнажал
во мраке густом
и гордо вонзал
огненный свой кинжал!

Вероника Шелленберг

Белая гора

(К подножью Белухи)

*Матушка Гора,
матушка Река,
матушка Тропа,
помогите нам пройти без потерь!*

Гнедой

Небольшое селение Тюнгур—крайняя точка заброски на туристические маршруты к подножью Белухи. В Тюнгуре, под крупными алтайскими звёздами, наша группа впервые собралась у костра: сёстры Мария и Ольга, супружеская пара Анатолий и Наталья, их общая подруга Маша, приехавшая сама по себе Людмила—все из Москвы. И я, из Омска. Наш инструктор—молодая девушка Арина—пустила круговой чашей кружку горячего чая, чтобы мы, назвав себя, высказали, чего ожидаем от похода. Как всё будет на самом деле, никто, конечно, не предполагал...

Хорошо, что, зная цель пути, никогда не предусматриваешь, какой будет тропа. Тропа непредсказуема. Тропа цепко держит внимание, как ты—своего коня за узду. Карбакается вверх, ухаёт вниз, пропадает в грязи и мягко вьётся по склону холма. Тропа, при всей своей зримости, до каждого сизого камешка, мокрого корня, до комьев земли, вылетающих из-под копыт—состояние метафизическое. Тропа—острое ощущение настоящего. Не ради ли этого чувства солнечным утром 25 июля мы дружно ударили в шаманский бубен Тюнгура копытами наших коней?

Символично: в самом начале пути мы перешли Катунь. На лодке, вброд или по мосту, как здесь, в Тюнгуре,—пересечение реки всегда мистическое действо.

Катунь в тот день казалась особенно яркой, сине-зелёной, сверху—почти прозрачной. Каменистые отмели берегов—белыми в солнечном свете, дальние горы—лиловыми, небо—огромным, блёклым от яростного близкого солнца. Но всё это виделось мне боковым зрением сквозь мелькающие натянутые тросы подвесного моста. Крупно—прямо перед собой—я видела только острые насторожённые уши своего коня, взлохмаченную вороную гриву, равномерно цокающие копыта, а под ними—весь в заплатках, старый

шатучий деревянный мост, в котором нет-нет да и моргнёт голубой глазок просвета на воду. И в момент перехода, как молнией, пронзило меня ощущение радости жизни. Я наконец-то поверила: вот оно—свершилось, я иду к Белухе! Это не миф, это происходит сейчас. Я помолилась искренне, как в городе не делаю никогда—как-то не получается, гложет червячок сомнения, соглядатай не спит. А здесь, на Алтае, иное... И после «аминь» я выдохнула:

— Матушка Гора, матушка Река, матушка Тропа, помогите нам пройти без потерь!

Тропа первого дня—в основном гладкая грунтовая дорога—просто подарок для человека, год не сидевшего в седле. После моста через Катунь тропа повернула налево, миновала последнее селение на нашем пути—Кучерлу, пересекла бревенчатым мостком одноимённую реку и стала забирать в гору, к перевалу Кузуюк. Дорога на перевал пробита сквозь густой лес. То, что ты добрался до верхней точки, можно понять только по установленной там табличке с указанием высоты—1513 м—и дереву, увешанному ленточками. Таков первый день: заснеженных вершин ещё не видно, ты привыкаешь к своему коню, прислушиваешься к непривычным болевым ощущениям от верховой езды. Не знаю, у кого как, у меня сначала ныли колени, а в остальном—всё замечательно! Жара ли, дождь, грязь, холод—всё в радость, всё преодолимо. Мобилизация сил физических и моральных в походе просто колоссальная!

Мой конь, мой гнедой, мой Герат тоже, хитрец, привыкал ко мне. Почуял, видно, что наездница я неопытная, и давай при каждой заминке останавливаться и щипать траву. Аркадий, наш конюх, пока широкая тропа позволяла, скакал параллельно колонне, то обгоняя, то отставая. Присматривался, кто из нас как обращается с конём.

— Ты его подгоняй, подгоняй! С ним жёстко надо, а то он у тебя совсем уснёт!—сказал мне.

Не сразу, но я нашла с Гератом общий язык жестов, где самым действенным ускорителем темпа стало прокручивание чембура в поле зрения коня. Бить по крупу рука не поднималась, разве что в исключительных случаях—на крутых подъёмах

или переправах вброд. Зато я методично хлестала свои арчемаки и драйбег, притороченный к задней луке седла, надеясь, что звук удара Герата взбодрит, и, конечно, разговаривала со своим конём. К концу похода я привязалась к нему, как к родному...



Я всё оставила за кордоном, Герат!
Уходит в горы маленький наш отряд.
Туда, где снега, туда, где истоки рек
и ветер на перевале Каратюрек.

По узкой тропе, по рытвинам, по камням
навьюченным нелегко проходить коням.
Поджарило солнце, будешь туману рад.
Ещё немного, и вот перевал, Герат!

Туман наступает, теряется в нём тропа,
и сразу же дождь, и белых градин крупа
сечёт, застревая в гриве твоей вороной.
Герат! Мне здесь никак не пройти одной.

Я всё оставила за кордоном...

Аккем и Тухман

Первый переход закончился у реки Аккем, и здесь нас ждал сюрприз. По плану мы должны были перейти реку по мосту и встать лагерем на правом берегу. Однако из-за недавних сильных дождей Аккем разлился и даже изменил русло. Бурная вода промыла второй рукав. Мост заканчивался на острове!

Арина с Аркадием долго совещались: что делать? Вода в Аккеме мутная, белая — дна не видно. Ледяная: кружку помыть — руку сводит. А что будет, если упасть в воду с седла? Течение мощное: человечка понесёт, заглохнет — не поперхнётся. В прошлом году на коне переходила я вброд несколько раз Шавлу, так Шавла при такой же глубине ленивее будет.

Аккем мог с самого начала изменить наш маршрут. Пришлось бы нам возвращаться через Кузюк, делать лишний крюк и идти по намеченному пути с другого конца, поднимаясь вдоль Кучерлы к Кучерлинскому озеру.

Арина с Аркадием решили подождать до утра, а пока:
— Ставьте палатки, собирайте дрова.

Вечером, сидя у воды, я просила реку сжалиться, утихомириться, «упасть»...

Маша с Натальей тоже вышли на берег. И тут, как предзнаменование завтрашнего дня, мы увидели переход Аккема вброд. Пока увидели с берега. Подъехала группа: два конюха и за ними вереницей — навьюченные кони. Обычное дело здесь: часть вещей, снаряжение и продукты забрасываются до Аккемского озера конями, пока туристы идут кратчайшим путём вдоль реки отнительно налегке. Два дня — и ты у подножия Белухи. А наш путь к Белухе четырёхдневный,

если мы перейдём Аккем, должен быть иным — по верхам, через перевал Сарыбель.

Темнело. Холодало. Шум реки, казалось, усилился. Аркадий подъехал к конюхам, решившимся на переправу, подстраховать. Мы как замороженные смотрели: вот кавалькада перешла мост, остановилась на языке каменистого мыса. Кони переминаются с ноги на ногу, склоняют головы, как будто нюхают воду. Конюхи что-то кричат друг другу, но грохот речной дробит слова. Под бело-меловой бурлящей водой дна не видно, кони должны ступать на ощупь. И они пошли вслед за первым верховым. Колонна смешалась. Кони, подгоняемые криками, подстёгиваемые чембурами, медленно, с явным усилием, начали переправу. Покачиваясь, забирали против течения наискосок к противоположному берегу. Встречая сопротивление, вода пенилась вокруг мускулистых ног. Гнедой Аркадия, идущий крайним по течению, вдруг провалился в воду по грудь и едва не поплыл. Тут же без всякого понукания начал быстрее перебирать ногами, как на крутом подъёме. Выбрался. Кто-то из конюхов, может, и сам Аркадий, захохотал. Минута — и кони начали один за другим выскакивать на гладкую зелёную лужайку противоположного берега. Именно там мы должны были встать на ночь, если бы река не изменила русла.

После мы сидели с Машей на берегу и под впечатлением увиденного обсуждали, что лучше — делать многокилометровый крюк или идти вброд. К единому мнению так и не пришли, да и не имело оно значения, мнение наше, — всё решит завтрашний уровень воды. А тем временем кони, освобождённые от седел, с удовольствием катались по мокрой траве.

Удивительное зрелище: понурое навьюченное животное, освободившись от груза, преображается. Поднимает голову, приобретает свой прекрасный природный вид. Неужели это наши лошадки — точёные, мускулистые — стоят у реки, потряхивая гривами? Обступили маленькую заводь на берегу. Пьют. Долго-долго пьют. Мокрые бока, потемневшие от пота и пыли, мерно вздымаются. У белых, а теперь пепельно-серых коней на боках — чёткие квадратные отпечатки от попон, полосы от подпруг, а светлыми остались только морды. Гнедые кони стали почти чёрными, «на одно лицо».

Я узнала Герата по белой звёздочке на лбу.

За ночь вода в Аккеме упала всего на несколько сантиметров, и этого оказалось достаточно, чтобы рискнуть. Снова — солнечное утро. Аккем, казавшийся в вечерних сумерках серебристым свинцовым, теперь в сиянии солнца полностью оправдывал своё название: «белая вода». Кипел Аккем белый-белый. Но этот белый не напращивался в синонимы к чистому листу, а казался итогом цветовой полноты, насыщенности. Аккем

клокотал, бурлил, пенился. Не было у Аккема гладкой поверхности, чётких границ. Всё смазывал поднимающийся густой шум воды. Шум настолько живой, струящийся, плотный, что этой воды казался продолжением и частью. И в эту воду вошли наши кони и, как вчерашние, не выдержали строя под напором струи. Только теперь я видела поток сверху: вот он, бьётся под самой грудью моего гнедого, я чувствую, как Герата начинает сносить течением, понукаю, погоняю...

Аркадий что-то кричит — мне или коню — не разобрать. Соображать надо быстро, не стоять на месте и крепко держаться в седле. Да! Главное — удержаться в седле. Конь слушается не столько меня, сколько своего собственного чутья, шагая к берегу. В какой-то момент я просто доверилась Герату, и когда он в два прыжка выскакивал на берег, крепко прижалась к нему. Я ощутила всё сразу: резкий запах воды и конского пота, солнечное тепло на спине, рывки коня подо мной, жёсткую луку седла, мокрые кроссовки...

И закрыла глаза...

Тропа второго дня вела сначала через лес вдоль ручья Ороктой между Ороктойским и Бородинским хребтами. Наконец-то никакой утоптанной грунтовки, настоящая горная тропа — по камням, по рывтинам, по корням. И вот где-то в середине пути настал долгожданный момент: поднимаясь, мы увидели вдалеке заострённую белую кромку Катунского хребта. Белуха! Я не ожидала увидеть её так скоро... Усталость от жары, от череды спусков, подъёмов как рукой сняло. Не я одна — духом воспрянули все. Так мы и шли до Тухмана — оглядываясь через правое плечо на неё, Белуху. Белье вершины выглядели издали как ангел, начинающий поднимать крылья.

Тухман — тоненький ручеёк, единственный источник воды в этом месте, — был прекрасно знаком нашим коням. Как только их, рассёдланных, стреножили, они устремились на водопой. Какое это всё-таки царапающее душу зрелище — бегущий стреноженный конь! Он, подсакивая, изо всех сил мотает головой, как будто в ухо залетела пчела. Высоко приподымает передние спутанные ноги и рывком отбрасывает от себя как можно дальше. Замирает в неудобной позе, опустив голову, подтягивает задние ноги и всё начинает сначала. Комичное и жалкое действо, как будто человека на костылях заставили танцевать. Как бы то ни было, добежали наши лошадки до ручейка.

Интересно, что всякий раз мы останавливались у разной воды: возле бурной реки, тихого громадного озера, робкого ручья.

Высота стоянки на Тухмане — две тысячи двести метров. Ландшафт изменился: безлесные волнистые горы, кое-где украшенные останцами, будто остатками рухнувших крепостей. Вдалеке — ломаная линия Катунского хребта.

Поставив палатку, я легла на каремат и смотрела на Белуху долго, неотрывно. Цвет неба менялся, «теплее», до охристо-серого, а снежные горы, наоборот, «холодели», голубея. Получался интересный оптический обман, как будто горы дальше неба, значительно дальше. Так я и уснула.

И приснился мне сон, будто я спускаюсь в тёмную глубокую расщелину и вижу там духов Алтая. Всеми забытых духов! Они появились передо мной в виде огромных бараньих черепов с длинными витыми рогами. Только черепа от времени пожелтели, покрылись коростами мха и ржавого лишайника. А витые заострённые рога — и вовсе ракушками, словно долго лежали на морском дне. Мне нисколько не страшно, я пытаюсь разглядеть их лучше, но в расщелине темно. Пыльно, тесно, тоскливо. Оглядываю себя — а нет у меня ни рук, ни ног. Как это часто бывает во сне — тут же вижу себя со стороны. Я — такой же бараний череп, только рога у меня чистые, блестящие — новые, не иначе! И этими рогами мне надо соскоблить наросты и ракушки, облепившие древних духов. И только я переплелась рогами с одним из черепов, как проснулась.

Солнце зашло. Сразу похолодало.

Вся наша команда сидела у костра, обсуждая: купим барашка или нет. Да! Недалеко паслось стадо баранов, и блеяние не умолкало ни на секунду. И кто бы мог подумать, что бараны блеют на все лады, выстраивая голосом целые музыкальные фразы?

— Неужели они и ночью не замолчат? — был первый мой вопрос к пастуху.

— Барана брать будете? — поинтересовался тот.

— Я — нет. Вот Анатолий...

Конечно, барана взял. Главный любитель шашлыка Анатолий такой возможности упустить не мог. И правильно: где ещё попробуешь экологически чистого свежего мяса? Мы с девочками, чтоб на убиение животного со всеми вытекающими последствиями не смотреть, ушли за дровами, за листовницей — она идеальна для жарения мяса на открытом огне. Огонь...

Из всех костровых посиделок в этом походе ночное бдение на Тухмане было, пожалуй, самым мистическим: умопомрачительно пахло жареной бараниной, польнюю, дымом. Белуха угадывалась в темноте, проступали звёзды...

От светских разговоров мы наконец-то перешли на страшные сказки:

— «...Маруся, ты ходила за мной?» — «Да...» — «А видела, что я в церкви делал?» — «Мёртвого жрал!» И плеснула ему в лицо святою водой, и мертвец рассыпался в прах...

— И как я теперь спать буду? Я в палатке одна!

Правее Белухи вставала луна. Аркадий тоже включился в разговор:

— Когда луна будет полной, увидите: на ней великан, он держит дерево в руке.

— Почему? Расскажите, расскажите!

Привожу легенду так, как помню:

Давным-давно жил на Алтае один великан, и звали его Дьельбеген. Удержу в веселье не знал, а как разойдётся—начинает всё вокруг себя крушить и ломать. Никому от него покоя не было. Взмолились местные жители Солнцу: «Забери от нас этого горе-великана!» Отвечало Солнце: «Помогло бы я вашей беде, да если приближусь к Земле—выгорит весь ваш край». Тогда обратились жители к Луне: «Помоги нам!» А надо сказать, что Луна в те времена была без единого пятнышка, ослепительно белая, как снег на Белухе. «Хорошо,—говорит Луна.—Как стану я полной, опущусь к самой Земле и заберу вашего обидчика. Только наступит в тот момент холод лютый. Пусть все жители спрячутся в айлы и не выходят до рассвета».

Наступило полнолуние, и Луна опустилась, как обещала. Все жители попрятались, но сквозь тонкие стены айлов слышали, как злобно кричал Дьельбеген, когда Луна тащила его на небо. А великан, отрываясь от Земли, ухватился за огромное дерево. Луна тянет великана, а тот за дерево держится что есть силы. Полночи сопротивлялся, и неизвестно, смогла бы Луна обратно на небо взлететь, если бы дерево не вырвалось с корнем. И притянула Луна Дьельбегеня. И вмёрз он, как был—с деревом в руке,—в белоснежную поверхность, и замер навечно.

До сих пор его силуэт темнеет на лунном диске, а Луна больше не приближается к Земле. Да и людей таких, что могли бы силой помериться с ночным светилом, больше не встретишь в этих краях.

Кюльдауйры

Утром я встала первой: «Жизнь прекрасна!» В тишине и одиночестве разожгла костёр: «В пепле ночных песен теплится головешка. Дуну—солнце взойдёт!» И оно взошло, там, за горами...

Белуха встречала солнце: сначала зарозовела левая грань самой высокой, Восточной, вершины. С той, другой, стороны склоны должны быть ослепительно розовыми! Постепенно высвечивается Аккемская стена, а с правой стороны резче синеют тени. Солнечный свет осторожно двигается по горе, ощупывая горный хребет, складку за складкой, подобно руке слепого, чтобы представить рельеф.

В начале одиннадцатого все были на конях.

Третий день перехода дался мне особенно тяжело. Тропа проходила в основном по открытым пространствам. Солнце жарило. Если б я предусмотрительно не надела тонкую белую рубашку с длинными рукавами, которая «в огне не горит и в воде не тонет», меня бы спалило.

Мы долго двигались на юго-восток, то спускаясь, то поднимаясь. Ледяная Белуха, подёрнутая

знойным маревом, казалась недостижимой. Когда в середине пути повернули на юго-запад, Белуху периодически стали закрывать ближайшие к нам безлесные гребни. Зато слева открылась долина с рекой Балтырган. Вскоре мы обогнали две пешие группы. Туристы, отягощённые рюкзаками, уступали дорогу, вежливо здоровались, но сквозило во взглядах: «Вам-то хорошо, вы-то на лошадях!»

Сложно объяснить человеку, не бывавшему в конном походе, что это отнюдь не лёгкая прогулка.

На гребнях виднелись останцы. Выглядели они как корявые тролли, а одна конфигурация рассыпающихся скал отчётливо напоминала людей, сидящих вокруг костра. Это Три охотника. Значит, озеро Кюльдауйры недалеко.

Озеро окружено мёртвыми серыми стволами—несколько лет назад по склону прошёл огонь.



Здесь когда-то пожар бушевал,
а теперь сухостой
засеребрил висок зелёной горы.
И особенно ясно, как седина,
в сумерках светится память о прошлом...

Вечером, в сумерках, так и есть, но подходили мы ясным полднем. Молодая поросль, яркая, густая, окружала сияющее озеро. Так захотелось пить, так захотелось прыгнуть в воду—не раздеваясь, прямо с седла!

Лагерь разбили чуть дальше, там, где узаконенное место для стоянки. Поставив палатки, сразу же пошли на берег. Может быть, из-за жары—вода показалась мне отчаянно ледяной. Конечно, я окунулась несколько раз, а потом замерла в воде по колено, пока Людмила щёлкала фотоаппаратом, но это было всё равно что стоять в снегу... Нет, в снегу теплее! Из всех из нас только Люда поплавала по-настоящему. Смелая!

Я уже говорила, что в туристической группе, за одним исключением, собрались женщины. Когда я смотрела, как ловко держатся в седле Ольга, Мария и Людмила, как играючи берёт препятствия Наталья, как Маша, пересиливая себя, не отстаёт от других, а про Арину я вообще молчу,—меня охватывала гордость. Вот они—настоящие русские женщины, которые «коня на скаку остановят, в горящую избу войдут»!

В тот вечер, сделав вылазку за дровами, я читала стихи у костра—легко, напевно. Я исполняла свой ритуал соединения с Алтаем.



Найди золотистый стебель,
прозрачный, как мёд.
Горный мёд.
В нём вереск поёт
и пчела начинает сердитый полёт.

Найди золотистый пружинистый стебель,
в нём ветер ещё не угас, не увял
на границе равнины...
У подножья базальтовой бабы,
врастающей в землю, обратно,
к началу начал.
Туда,
где первый огонь,
первый бой барабанный
у подножия каменной бабы
с круглым,
как мир,
животом.

Золотистый стебель срежь на закате,
обнажая охотничий нож,
самодельный, подаренный другом
(на медведя, не меньше!),
так, чтобы солнце
скользнуло по лезвию,
так, чтобы солнце
полоснуло само...

Но ни листья,
ни корни, обвисшие в норы,—
ничего не бери!
Только стебель,
несущий на свет дождевые потоки обратно.
Стебель,
прозрачный, как солнца слеза,
разломи на ладони.
На вкус он горчит.
И—волнующе,
смутно ещё
пахнет небом свободы,
нетронутым снегом свободы,
чёрным хлебом дороги.
И надо же, а...
Всё ещё начинается...

После Тухмана душа просила Белухи, а её не видно с Кюльдауйры... Вот написала эту фразу и поняла: здесь всё для меня естественно именовать на алтайском языке, и только Белуху—на русском. Алтайцы же называют свою главную священную гору Уч-Сюмер, что значит «трёхглавая». Есть и другие названия, данные древними тюрками: Кадын-Бажы («вершина Катюни»), Ак-Суру («величаява»), Музду-Туу («ледяная гора»). Все они дополняют друг друга. Легенд, связанных с возникновением Белухи и Катюни, берущей начало с её южного склона, тоже немало. Вот одна из них.

В стародавние времена, а может быть, и не так давно, жил сильный, смелый, но жестокий воин Ак. В одном из племён приглянулась ему прекрасная дева Кадын. Не смог он завоевать сердце красавицы и решил похитить её. Однажды ночью он выкрал девушку и поскакал с ней на высокую гору. Кадын вырывалась, но напрасно—железной

была хватка воина Ака. Кадын молила отпустить её, но жёстче железа была душа воина Ака. Кадын пыталась усювестить его, но громче железа бряцал смех воина Ака.

Поднялся воин с добычей на вершину, и тут взмолилась Кадын богам: «О боги ветра, воды, земли и огня! Избавьте меня от ненавистного!» Эта гора была самой высокой, и боги услышали мольбу. И явились все четверо в могучем и страшном своём естестве, нестерпимом для смертных. Ветер—скрученный в жгут ураган, Вода—бесконечный водопад, Земля—каменный поток, Огонь—пляска пламени. И прогремели боги: «Прими стихию одного из нас—и будешь свободна вечно». Кадын прыгнула в воду и обратилась рекою. И побежала по склону.

Воин Ак, увидев четырёх богов, застыл от ужаса на месте и обратился в снег. А из левой его руки, которой он прижимал к себе украденную Кадын, побежал белый Аккем. Так и текут они с разных сторон Белухи—Катунь и Аккем. А когда встречаются, Катунь растворяет Аккем в себе. Она прощает его.

Приближение

Тропа на перевал Сарыбель оказалась именно такой, какой мне хотелось давно. Я даже видела это раньше, во сне: сумерки, серпантин крутого каменистого подъёма, угрюмые сосны, корни, змеящиеся поперёк тропы. Трудно оторвать взгляд от причудливых, отполированных дождями, будто бы живых корней, между которыми аккуратно вышагивает конь. Трудно поднять глаза на предгрозовое небо. Холодно, но ещё не до дрожи. От разгорячённого коня исходит пар. Тишина ватная, как бывает в тумане. Слышно только клацанье подков о камни и прерывистое дыхание коней.

Перевал далеко, тропе не предвидится конца. Один взгляд вверх—и мне становится страшно, но в душе поднимается весёлая ярость: не так-то просто вышибить меня из седла!

Всё так и произошло в реальности.

Шаг за шагом, скачок за скачком мы поднимаемся на перевал Сарыбель. Начинается дождь. Моя тонкая белая рубашка сразу же промокает, прилипает к спине. Остановиться, надеть ОЗК пока нельзя, подъём крут. Не только останавливаться—медлить опасно: потеряешь равновесие. А конь всё равно иногда встаёт как вкопанный, раздумывая: как обойти очередное препятствие—справа или слева?

Тропа, встречая одинокое дерево или особо выдающийся камень, раздваивается. Я доверяю коню—ему виднее, куда ступать. Чувствую, как он напрягается, движется подо мной. Всем телом помогаю удерживать равновесие: откидываюсь назад, наклоняюсь вперёд, балансирую, как на борту лодки, скачущей по волнам. Это движение,

это постоянное напряжение так захватывает, что я забываю обо всём на свете, не думаю даже о том, далеко ли до перевала. Важны только несколько метров пути передо мной: конкретный камень, корень, торчащая коряга. И вот тогда наступает момент абсолютной ясности. Все чувства обострены. Мышцы готовы к любому повороту событий: конь внезапно рванёт вверх — я прижмусь к передней луке седла, если оступится — сожму ещё сильнее колени и удержусь. Сделаю это интуитивно, потому что я, конь и тропа — единое целое. И всё хорошо, всё просто замечательно, главное — не натягивать повод без нужды и следить, чтобы ноги не выскочили из стремян.

Крутой подъём оборвался резко. Мы вышли на сравнительно пологое открытое место, но ещё не на перевал. Небо двигалось: со всех сторон то появлялись, то исчезали в клочковатом тумане горы. Туман шевелился, перетекал из ложбины в ложбину, и странно — благодаря этому пространство казалось обширней, чем в ясный полдень. Где-то далеко внизу крошечным блёклым мазком на тёмно-лиловой зелени виднелся водопад Текелю. Над ним длинным белым волоском — другой водопад. Мы остановились надеть озк.

Резиновый плащ поверх мокрой рубашки тепла не прибавляет, но защищает от ветра. Ещё полчаса ходу — и перевал Сарыбель. Туман сгустился за нами окончательно, а вот долина, куда мы должны были спускаться, была видна целиком. Жёлтая, с чёрной змеей дороги — и ни единого деревца. Горы с той стороны долины размывались дождём. Дождь приближался. Спешившись, мы повели коней в поводу.

И кони, и люди скользили по жирной грязи. В противовес подъёму — ни камня, ни корня, чтоб зацепиться. Тяжёлый плащ путается в ногах, мешает идти. Герат то норовит обогнать меня, то отстаёт... Кажется, на мне уже не осталось ничего сухого. В тот момент я пожалела, что не надела с утра резиновые сапоги. Лежат они там, в арчемаке, красные мои сапожки, и достать их нет никакой возможности! Зато ходьба согревала! Ноги мстами буквально катилась под гору, держась за коня, разъезжались в грязи. У него четыре ноги, он устойчивей. Наконец склон стал более пологим, и мы снова поехали верхом. Хорошо после такого спуска ощутить, что тебя кто-то несёт!

Стихия быстра на перемены. За туманом — дождь, за дождём — град. Вижу как сейчас: белая крупа застревает в вороной гриве Герата. Вдруг — молния! Одна, другая. Далёкий раскат грома. Кони останавливаются, поворачиваются к мокрому ветру задом. Колонна рассыпается, но ненадолго. Резкий окрик Аркадия — и кони снова идут. Дождь мелькает. Туман расступается, и прямо перед нами возникают горы, покрытые ледниками. Но это ещё не Белуха.

На спуске в долину Ярлу снова спешилились. Сырость, туман, чавкающая земля под ногами — всё воспринималось как должное, спокойно, без унылого нытья «ну когда это кончится!». Дикая, неуютная красота Ярлу подействовала на меня опьяняюще, как звуки бубна действуют на шамана, готового погрузиться в транс. Ручей с первого взгляда был похож на расплавленный свинец. Густой, он медленно тёк, застывая на ходу складками и наплывами. Туман, как пар, поднимался от серого месива, скрывая другой берег. Подойдя поближе, я поняла: это сплошная жидкая глина, кое-где прорезанная струйками мутной воды. Так вот почему Аккем такой глинистый — постарался приток Ярлу!

И как мы будем это переходить?

Арина и Людмила, ведя коней в поводу, пошли первыми и сразу же завязли почти по колено. Чуть не оставив сапоги в движущейся жиже и с трудом развернув коней, вернулись на берег. Ясно, что переходить надо только верхом. Коням ступать в текучую глину не хотелось. Я еле заставила Герата сделать первый шаг. Отслеживая, куда наступает впереди идущий гнедой конь, увидела, как он провалился почти по брюхо, выскочил на каменистую отмель, и чёрный конский хвост стал до середины серым, как будто его обмакнули в цемент.

Когда мы вышли на тропу противоположного берега, туман плотно обложил нас со всех сторон, а кончился внезапно, у переправы. Наверное, это было неожиданное зрелище для нескольких туристов, стоявших на противоположном берегу: из сплошной молочной стены один за другим выезжают всадники.

У Аккема остановились. Можно было, заплатив, переправиться на тот берег в лодке. Три наших девушки воспользовались этим предложением: почему бы и нет? Остальные, и я в том числе, пошли вброд. О! Вода! Она смыла глину и грязь с моего коня и заодно с моих многострадальных кроссовок. Ноги уже промёрзли окончательно, так что прополоскать их в ледяной воде было даже приятно. Что бы там ни говорили инструкторы, я, переходя реку на коне, обожаю смотреть на воду. Да, от неё, текучей, слегка кружится голова, но это сравнимо с полётом...

Место для лагеря мне (да и не только мне, судя по недовольным возгласам) сперва не понравилось. Неровный склон, вытопанный туристами. Тут и там — палатки, натянутые верёвки. Кострище, заваленное консервными банками, какие-то железяки вокруг. Плюс к тому — холод, туман, гор не видно... Спешившись еле-еле, я не стала привязывать коня. Обняла его за шею, погладила. Стянула мокрые перчатки, приложила закоченевшие руки к горячей конской шее — погреться. Но странно: от прикосновения к живому теплу почувствовала, что промёрзла окончательно. Аж зубы начали клцать. Не помню, когда я так замерзала...

Мысль о том, что в этой сырости надо ещё палатку ставить, энтузиазма не прибавляла.

— Сходи за дровами, согреешься! — сказала Арина.

Ей, как инструктору, приходилось сложнее всех: ещё костёр надо развести и еду сварить.

Конечно, за дровами я пошла. Идти далеко, высоко, так как место туристами обжитое и дрова, соответственно, в дефиците. Отстегнула ляжку от фотоаппарата (ей удобно дрова связывать) и пошла в гору. Действительно согрелась. А вот когда спустилась обратно, еле донеся мокрую добычу, меня накрыла вторая волна холода. Всё! Полцарства за кружку горячего чая и сухую одежду!

И тут я вспомнила — о счастье! — в арчемаке лежат они, мои красненькие резиновые сапоги. И эта мысль утешила, можно сказать — спасла. Я просто включила внутренний автопилот и, не обращая внимания на стучащие зубы да скрюченные от холода пальцы, поставила с Машей и Ольгой нашу палатку. Мы и так делали это раз от раза всё быстрее и аккуратней, а тут и вовсе изошрились: пока я и Ольга держали тент, Маша под ним расправляла каркас, натягивала спальное нутро. Дождь...

Долина Семи озёр

На следующее утро я встала часов в пять. Туман был настолько плотный, что противоположного берега Аккемского озера не было видно совсем. Сплошная белёсая стена. Наконец-то, совершенно одна, я вышла на берег в полной тишине... Справа небольшой каменистый мыс, вдаваясь в белую воду, как будто повисал в пространстве. Единственное яркое пятно — сиреневые цветы у самой воды.

Я долго смотрела в туман, пока мне не начало казаться, что там, за туманом, ничего нет. Совсем ничего... Я стою на краю земли... Но вот стали проступать зазубрины сосен. Ряд за рядом, слой за слоем — как будто бы проявлялась фотография. В соседних палатках зашевелились, и чувство одиночества исчезло, а жаль.

Странно, что за столько дней похода у меня практически не оставалось времени просто посидеть, бездумно глядя в пространство... То надо ставить палатку, то собирать, то упаковывать арчемаки, то вещи сушить... Вот так стоишь утром у реки, чистишь зубы и стараешься охватить обалдевшими глазами рассветную красоту.

В первую днёвку на Аккемском озере мы пошли в Долину Семи озёр.

— Озёра, — сказала Арина, — и в тумане разглядеть можно, а идти в такую погоду к леднику смысла нет.

И она, как всегда, оказалась права.

Путь к Семи озёрам прост, в окрестностях Аккемского озера вообще сложно заблудиться. Мы пошли вдоль озера вверх, миновали устрашающий плакат «Уверен в своих силах?» с данными МЧС

о спасённых и погибших в этом районе. Через пару сотен метров тропа раздвоилась. Та, что круто повела наверх, и есть дорога на Семь озёр.

Восхитительный подъём! Кони здесь, конечно, не пройдут: рельеф тропы — как на перевале Сарыбель, только склон гораздо круче. Удобнее забираться быстро, скачками, а вот спускаться... Но пока мы только поднимались. Приметный разлапистый кедр, на котором, судя по стёртой коре, фотографируются туристы, отмечает конец крутого подъёма. Далее тропа, забирая вправо, идёт в гору постепенно. А слева открывается вид на Аккемское озеро. Непривычный: вместо водной глади — переплетающиеся протоки, лысые мели и крошечные фигурки коней.

Долина Семи озёр — это не какое-то гладкое место среди гор, а перетекающие друг в друга холмы, изрезанные ручьями и водопадами. После долгих переходов под палящим солнцем — другой мир, где всё дышит водой... Пока идёшь по тропе, журчание ручьёв, как в стереосистеме, перемещается. То вверху, то внизу слышатся водопады, незримые в тумане.

Туман расплзается, обшаривая каждую ложбинку. Туман — это белые руки Аруны, ищущей свои рассыпанные бусы. Давно это произошло...

В одном бедном кочующем племени жили девушка по имени Аруна и юноша по имени Кюнёр. Они знали друг друга с детства: вместе пасли овец, ловили рыбу, грелись у костра... Кюнёр полюбил Аруну, ведь она была особенной, внимательной. А её голос был подобен журчанью ручья. Её лицо и руки — нежны, белы. Глаза — переменчивы, как воды горного озера: то кристально-голубые, то маняще-зелёные.

Не мог Кюнёр подарить своей возлюбленной ни золотых украшений, ни богатых мехов. И тогда собрал он разноцветные камешки, отполировал их до блеска и сделал каменные бусы.

Аруна приняла подарок и улыбнулась, когда Кюнёр завязал на её шею тяжёлую нитку. А Кюнёр, волнуясь, произнёс: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой! Но у меня ничего нет... Только лук, стрелы и добрый конь. Я отправляюсь на охоту очень далеко... Вернусь с богатой добычей и женой на тебе!»

Аруна осталась ждать. Вечерами, сидя у костра, перебирала в задумчивости каменные бусы. Юноша не знал, что за камешки он собрал для своего подарка, а были там и полупрозрачный змеевик цвета ночной травы, и дымчатый агат, и офиокальцит бело-зелёный, будто в зелень капнули молока и не размешали. Проходили недели, а Кюнёр не возвращался. Всё тяжелей и тяжелей казались Аруне подаренные бусы.

И вот однажды в долину спустилось ещё одно кочевое племя. Молодой вождь Айас был так очарован красотой Аруны, что захотел взять её в жёны.

Девушке надоело ждать своего далёкого Кюнера, но она всё равно не согласилась. Её губы сказали «нет», но глаза переменчивого цвета озёрной воды посмотрели так, что сердце охотника дрогнуло от тайной надежды. Тёмной безлунной ночью выкрал он Аруну. Девушка не сопротивлялась.

Долго скакал молодой вождь, прижимая к колотящемуся сердцу притихшую девушку. Вышла луна. Всадник остановился, чтобы взглянуть на свою возлюбленную. Засияло под луной её белое нежное лицо. Айас не удержался, стал целовать и обнимать Аруну и вдруг нащупал на девичьей шее что-то холодное, твёрдое—это были каменные бусы. И только он прикоснулся к ним, как нить лопнула, и разлетелись бусины в разные стороны, раскатились по долине. Аруна в тот же миг горько вздохнула и обратилась в туман, уткнулась пальцы Айаса, улетучилась...

Разноцветные бусины превратились в озёра. Ручьи—обрывки лопнувшей нити—до сих пор соединяют их. И до сих пор опускается в долину белым туманом Аруна—пытается собрать рассыпанные бусы, чтобы снова надеть, чтобы снова стать человеком и дожидаться Кюнера. Но даже за сотни лет ей это не удалось...

Озёра долины такие разные... Первое меня сначала не особенно восхитило. Маленькое, зеленоватое и какое-то сиротливое—ни деревца рядом, ни водопада. Мы с Ариной пришли к нему вдвоём, далеко оторвавшись от группы. Поджидая остальных, я села на камень у самого озера. И вдруг—я даже вздрогнула от неожиданности—сквозь слой прозрачной воды увидела глубоко впечатанные в грунт чёткие следы босых ног! Туда и обратно... Кто-то здесь, на уровне две тысячи пятьсот метров, заходил в ледяное озеро! День, неделю или месяц назад—неизвестно, ведь живности в озере нет—воду мутить, дно ворошить некому. Как зачарованная смотрела я на эти следы. Блики на воде мешали разглядеть, где же человек повернул обратно.

Второе озеро, хоть и вытекало прямо из ледника, по цвету напоминало серо-коричневый агат. Мутное, оно не вызывало желания упасть на колени и пить из него. Но ледник! Ещё на подходе к озеру туман стал расступаться, редеть. Когда долго двигаешься в тумане, отвыкаешь от мысли, что вокруг высокие горы. Их не видно, но они существуют! Сквозь прореху туманной мягкости, однородности вдруг проступил ледник. По цвету—такой же серый, но резкие трещинки на нём, морщинки, каменные вкрапления выдавали иную природу: мощь, твердь. Это внезапное явление горы всколыхнуло меня. В момент внутренним зрением проникла я сквозь туман, представляя, какой может быть Белуха. Я горячо попросила у матушки-Горы только одного—увидеть её на самом деле!

После видения ледника туман приподнялся, оставив под покровом только вершины гор, окружающих долину. Озёра—третье, четвертое, пятое—были похожи друг на друга, как братья-погодки. Только где-то среди водной глади островками топорщились пучки трав, где-то ручьи плели замысловатые косы, где-то каменная осыпь не позволяла подойти к самой воде.

До седьмого озера мы так и не дошли, но шестое было именно таким, каким мне мечталось. Неправильной формы, прозрачное, сине-зелёное, оно отражало язык ледника. Замшелый камень вдавался в воду крошечным полуостровом, будто специально предназначенный для того, чтобы долго-долго сидеть, глядя вдаль. С этого места между изгибами долины открывался вид до противоположного берега Аккемского озера, оставленного далеко внизу. И там, на серой осыпи, заскользил солнечный луч...

Мелькнуло солнце и исчезло на той стороне Аккема.

Всю обратную дорогу нас сопровождал дождь. Спускаться всегда сложнее, чем подниматься. Тропа, вьющаяся от кедра вниз,—сплошной слалом по грязи между камнями. Скользя по раскисшей тропе, мы радовались предстоящей бане, которую заказали на метеостанции. Как вовремя!

Пока собирали вещи для бани, небо проявилось. И стало так тихо... И засверкала гладь озёрная... А мы снова шли, теперь уже дружно месили грязь по направлению к метеостанции, повернувшись к Белухе спиной.

Откровения не ищут наиболее романтического момента. Они не предупреждают: рассаживайтесь поудобнее, достаньте тетради и карандаши... Так и первое видение Белухи—всей целиком, от пиков до подножья,—настигло нас... на пороге бани. Конечно, ни у кого не было фотоаппарата. Кто ж его в баню берёт? А парилку к нашему приходу приготовить не успели, и, пока растапливали, мы стояли в обнимку с полотенцами и глядели на гору... Белуха—незамутнённая, грозно-свинцовая в сумерках—нависала над блистающей поверхностью озера.

Когда, распаренные, мы выскочили через полчаса, уже стемнело.

К подножью Белухи

Тропа к леднику идёт сначала по левому берегу озера вверх. Тропа одна, ошибиться сложно. Но там, где озеро становится сетью протоков, есть топкие места, поэтому резиновые сапоги желательны. Идти к леднику надо в ясную погоду (для нас выдалась именно такая—лучше не придумаешь). Горное тепло обманчиво, и даже если на стоянке ты в одном купальнике ловишь солнечные лучи, к леднику надо взять тёплые вещи. И непромокаемые—тоже. Спрятаться от дождя у подножья Белухи негде.

На этом пути три деревянных моста. Первый, сравнительно недалеко от лагеря, переброшен через речку, вытекающую из Долины Семи озёр. Смешной разномастный мосток: круглые брёвна, струганные доски, соединённые неуклюже, но крепко. Кажется, там были даже спинки кроватей...

Мосты через горные реки обычно держатся на стальных тросах. Как бы то ни было, проходить по мосту надо по одному и не останавливаться даже ради шикарного кадра. А фототехнику лучше пристёгивать к чехлу, который крепится на ремне через плечо. Сколько было случаев, когда фотоаппарат выскальзывал из рук, падал в расщелину! И техника не самое ценное, что пропадало безвозвратно, но кадры, отснятые кадры...

Пока не наступил лирический момент, небольшая ремарка. Если ты собрался идти к леднику, а погода норовит испортиться, со стороны Белухи ползут тяжёлые тучи — лучше поворачивай обратно. Под дождём можно блуждать в Долине Семи озёр, можно, наконец, сходить в баню, посидеть у костра. Но карабкаться несколько часов по скользким камням — опасно. Большая часть пути к леднику — курумник.

...А солнышко пригрело. Ярко-синее небо, белая гора вдалеке, зелень с промельками палаточных тентов, разномастные кони, — всё было ещё таким привычным, здешним, обжитым. Попалось высохшее русло ручья в виде дорожки, аккуратно вымощенной галькой. Такая ровная лента, что мы засомневались сначала: природное ли это образование? Так, глаза по сторонам, без особых трудностей добрались до второго моста. Он был внушительней, ведь соединял два берега Аккема. Река неслась бешено. Клокотала. Радовалась свободе.

На правом берегу сразу начался курумник. Тёмный, в пятнах лишайника, с торчащими кое-где карликовыми деревцами. Справа кипел Аккем. Поднимавшаяся от него свежесть кружила голову. Между камней росла смородина. Она так и называется — каменная. О! Каменная смородина — это отдельная песня! Крошечные листочки — привычной формы, но жёстче, темнее и маслянистее на ощупь. Разотрёшь в пальцах, и пойдёт запах — резкий, сочный, одуряющий. По сравнению с запахом обычной, равнинной смородины — как эссенция рядом с раствором. Как идея, сверкнувшая в мозгу, по сравнению с её воплощением в реальности.

Прыгая от кустика к кусту, я собирала листья в два пакета: один — заварить чай в лагере, другой — привезти в Омск. По пути к Белухе мне ясно представилось, как 13 сентября в Омске я соберу друзей у костра и заварю щедрую горсть высокогорного лета... Так и произошло, только не 13-го, а 16 сентября.

Белуха! Она приближалась, но не закрывала полнеба, нет! Гора надвигается по-другому — она укрупняется, и прорезаются детали. Объёмно,

как насупленные брови, нависали на Аккемской стене снежные массы, готовые сорваться лавинами. Восточная, самая высокая, вершина, сияющая правильным треугольным пиком, постепенно закрывалась серой стеною горы Борис. Зато Западная белела перед нами во всей красе.

Господи, как же нам повезло! Мне повезло — видеть вблизи, реально приближаться к горе, к которой я стремилась год... А может, всю жизнь, только не догадывалась об этом...

Впервые я увидела Белуху с перевала Тянь-Хан. Мы поднимались на конях от Шавлинских озёр. На перевале — сумрак раннего вечера, а там, вдали, — горы, горы, горы... Освещённые белые пики Катунского хребта...

По приезде в Омск я каждый божий день видела Белуху перед собой. Когда мне было плохо или хорошо, весело или тоскливо, я могла представить Белую гору... Не то чтобы повседневная жизнь стала пресной, неинтересной — наоборот, только в сочетании с Белой горой как ещё одной, более высокой, незамутнённой точкой моего пространства она обретала глубину и смысл. И, не предаваясь праздным мечтам «ах, пойти бы...», я просто старалась каждый день что-то сделать, чтобы приблизить себя к горе.

О чём я думала на пути к Белухе? Обо всём и ни о чём... Такие лёгкость и ясность пронзали меня, что я слышала далёкий звон. И когда состояние невесомости достигло предела, на фоне Белой горы увидела я... часовню. Конечно, мне было известно, что здесь есть часовня, но возникла она как-то неожиданно и — вовремя. Я без особого трепета отношусь к культовым сооружениям. Для меня открыт только нерукотворный храм — природа. Моей душе достаточно. Но эта часовня всколыхнула во мне что-то такое давно забытое или неизведанное... Она была сродни молитве, которую читаю на тропе. Она просто существовала, вне зависимости от того, каким богам мы поклоняемся...

Перед самой часовней — третий мост. Он переброшен через приток Аккема, берущий начало в озере Горных духов. Странное озеро. На некоторых фотографиях, сделанных с более высокой точки, оно заметно, на некоторых — нет. Может быть, виной тому движущиеся тени облаков... Так стекло, опущенное в воду, вдруг исчезает. Так вдохновение: есть, а через минуту — нет...

Господи, помоги мне! Весь мой путь — это путь к Белой горе. Мне очень трудно. Не тогда, когда надо карабкаться по камням, а теперь, через два месяца. Теперь, когда, чтобы добраться до рукописи, надо отодвинуть кучу спешных дел. А чтобы воскресить в памяти тот путь, надо встать на него заново. Вспомнить не череду картинок, но ощущение гор. Надо просто встать и идти.

Долина ледника выше часовни—серебряная чаша с белою кромкой вечных снегов. Всё монохромно: серые камни под ногами, почти чёрные горы справа, тусклые—слева. Только дно чаши—цветное. Переплетение протоков пульсирующего Аккемского озера нарезает сиреневые лоскуты островков—там цветы, каких много на берегах Аккема. В остальном это место скупое и лаконично по цвету. Единственную яркость даёт голубое небо, когда рассеиваются облака.

Ещё сто лет назад ледник Родзевича (он же Аккемский) был длиннее и заканчивался у верхней границы Верхнего озера. Не знаю, как в других уголках планеты, а здесь природа отчётливо зафиксировала темпы глобального потепления: почти два километра за сто лет таяния. Камни, по которым мы перебирались к языку ледника, уменьшающимся ледником и принесены.

Веяло влажным холодом. Ледник был огромный, серый и вблизи походил на слоёный, усыпанный каменистою крошкой пирог, полосатый на сколах... Я прикоснулась к нему ладонью. Это ощущение жгучего, шершавого таящего льда под рукой, как ничто другое, заставило меня почувствовать настоящий момент.

С острого края ледника струйками стекала вода в поток, в Аккем, зарождающийся здесь... Аккем с грохотом вырывался из глубины ледовой пещеры. Исток скрывался там, в таящих пластах тысячелетней давности. А свежий скол ледника голубел... Этот лёгкий небесный оттенок был единственным проявлением цвета в чёрно-белой графике гор, снега и льда.

Перевал Каратюрек

Утром, примерно в полшестого, слегка трянуло. Я проснулась оттого, что земля плавно зашаталась подо мною палубой корабля. Так, угасая, до Аккема докатилось землетрясение, эпицентр которого был в Акташе. Позже мы узнали: пять баллов по шкале Рихтера. И все дни стоянки на Аккеме мы слышали шум далёких камнепадов. Характерный сухой звук камня, бьющегося о камень, напоминает треск электричества, если обвал далеко. А если близко... Один раз я это даже увидела.

Я стояла на берегу озера и повернулась идти в лагерь, когда две туристки, девушки не из нашей группы, показывая на другую сторону озера, закричали:

— Смотрите, смотрите!

А в голоса врезался нарастающий грохот. Я обернулась. Плавно, как в замедленном кино, с вершины каменистого откоса сходил камнепад. Летящие камни на таком расстоянии почти незаметны, зато хорошо видны зловещие клубы пыли, вырастающие на склоне. Как будто одна за другой взрывались бомбы. Светло-серая пыль на чёрной горе, дробный грохот и крики ужаса

с той стороны озера— всё это длилось минуту, но осталось в памяти навсегда.

Люди, стоявшие лагерем там, под горой, выскакивали из палаток, бежали к воде, кричали... Слава Богу, обвал остановился где-то на середине склона.

Правый берег Аккема опасен во время обвалов—над ним нависает крошащийся склон. Лагерь надо раскидывать на левом берегу, где стояли мы и почти все остальные туристы. Но для этого необходимо переправиться через Аккем.

После двух дней пешего образа жизни хочется не просто сесть, а запрыгнуть в седло! Встали рано. Погода ясная—Белуха видна до последней чёрточки. Три главных цвета горного пейзажа предельно яркие: белый, синий, чёрный. Озеро—литое стекло. Хотя бы одна морщинка! Посидеть на бережке, как обычно, некогда: чем раньше соберёмся и выйдем, тем больше вероятности дойти до Кучерлинского озера по хорошей погоде. Между Аккемским озером и Кучерлинским—самый сложный переход, самый высокий на нашем маршруте перевал—Каратюрек, высота—три тысячи шестьдесят метров. И самый потрясающий вид на Катунский хребет...

Сначала мы обогнули озеро по берегу, потом пошли на подъём. Вскоре оставили за собой последние деревья, и здесь началось самое удивительное. Чем выше мы поднимались, тем дальше раздвигался горизонт. За нами открылась долина Ярлу. Серебристая, зеленоватого-сиреневая, с разветвлённой серой змеёю ручья, того самого, глинистого, который мы переходили в тумане. При свете солнца всё выглядело ярко, приветливо и даже сказочно. Сползающий язык ледника Родзевича—отчётливо полосат.

Белуха подняла из-за горы Борис главную, Восточную, вершину и вершину Делоне, а вслед за ней, как нить за иглой, вытягивалась левая, невидимая с озера часть Катунского хребта. На какой-то момент мы остановились, чтобы охватить взглядом открывающийся мир. А долгий путь к перевалу только начался. Вскоре Белуху спрятал серый склон, под стать тому, с которого сходил камнепад. Перед нами открылся пейзаж, как будто даже и не земной: слева, справа, впереди—дроблённые камни. Сплошной курумник. Ни деревца, ни травянистого откоса... Я вдруг представила, как эта махина ничем не скреплённых глыб может потерять хрупкое равновесие от одного сброшенного камешка, от одного громкого крика...

Тропа среди курумника практически незаметна. Тропа—просто более мелкие, плотнее лежащие друг на друге камни, исцарапанные подковами. Час или два—не знаю точно, но довольно долго кони медленно переступали по камням. В некоторых местах были спуски, и довольно крутые. Когда вырастал перед нами очередной гребень горы—каждый раз казалось: вот он, перевал!

Но нет, мы шли и шли. От подъёма на такую непривычную высоту слегка кружилась голова. Хотелось дышать, дышать, но невозможно было надыхаться. Так вода ледниковых ручьёв, сколько ни пей, полностью не утоляет жажды. Реальность и неуловимость бытия.

Наконец-то мы поднялись. Перевал Каратюрек — площадка примерно двадцать на двадцать метров, утоптанная людьми и лошадьми. Туры, сложенные из камней, белые ленточки, трепещущие на ветру.

Мы спешили. Насколько хватало глаз — горы. Им не было предела, не было конца! Такой грандиозный вид никогда ещё мне не открывался. Момент перевала... Он подобен прыжку с парашютом. Ты долго планировал этот шаг, собирался, поднимался, преодолевая всяческие неудобства. По сторонам особенно не смотрел, занятый только дорогой. Впереди маячила цель, а дорога была лишь средством её достижения... И вот момент «икс» настал: ты шагаешь в пустоту, считаешь «триста тридцать два, триста тридцать три, триста тридцать четыре...» и дёргаешь за кольцо. Один только миг видишь землю иначе, с высоты. Один миг, который запоминаешь на всю жизнь.

Перевал накрыла тень облака, и сразу похолодало. Ветер, ветер! Я улавливала низкий свистящий стихийный звук, а может, это шумело у меня в голове. Я стояла возле Герата, заслоняясь от ветра горячеей, пропахшей потом конской шеей. Прядка жёсткой гривы щекотала щёку.

Я смотрела во все глаза: ослепительная Белуха — только часть Катунского хребта, только одна из покрытых ледниками гор. Движущиеся пятна тень соединялись, и казалось, по горным отрогам движутся не тени, а пятна света. С другой стороны пространства тянулись горы не столь высокие, лишённые снежных шапок. Гряды за грядой они, волнистые, уходили в синюю дымку, растворяясь в ней. В северном направлении линия горизонта терялась, истаивала.

Где-то там Катунь, а за ней — Тюнгур, начало пути. На востоке — долина Ярлу. На юго-востоке — Белуха. На юге, так близко, что можно различить отдельные валуны, — хребет, увенчанный красным снегом. Да... Этот поразительный природный феномен я видела только на перевале Каратюрек. Снег будто пропитан пролитой сверху кровью. Не иначе, предки принесли здесь жертву богам. И столь велика была жертва, а может быть, столь напрасна, что багровые следы её до сих пор проступают сквозь новые и новые снега.

Слушая вой ветра, я вспомнила, что Каратюрек переводится как «чёрное сердце». Это снова история любви.

Где-то в здешних местах одинокий охотник встретил девушку. Она умывалась в ледяном ручье и, услышав шаги, подняла глаза. Охотник

взглянул на неё и сразу влюбился. Так бывает. До заката гуляли они у ручья — говорили, держали друг друга за руки. Руки девушки были изящные, но необыкновенно сильные. Взгляд — твёрдый, а голос — низкий, глубокий. Охотник был немало удивлён, когда узнал, что девушка живёт в лесу совершенно одна. И выйти за него замуж она согласилась, только если он останется с ней в лесу и не поведёт в своё племя.

Они построили аил возле могучих кедров и стали жить. Муж каждый день уходил на охоту, а жена оставалась, не опасаясь одиночества. Когда он возвращался с добычей, вся тяжёлая работа была уже сделана: принесена вода, заготовлены дрова. А молодая жена — румяная, весёлая, заботливая.

Стал муж задумываться: как же она всё успевает и даже не устаёт? И вот однажды сделал он вид, что пошёл на охоту, а сам притаился за деревом. Смотрит — вышла его красавица жена из аила и направилась в лес. Он — за ней. В самой чаще остановилась у поваленного дерева, воткнула в него ножичек, перекувырнулась через рукоять и обратилась медведицей. Встала на задние лапы и давай ломать толстые ветки на дрова, легко, как спички. Тут молодой охотник не выдержал, закричал от ужаса и побежал. А медведица взвыла и бросилась за ним вслед.

Понеслись они напролом через чащу. Охотник кричит, медведица дико воет, хочет сказать: «Остановись, я люблю тебя, я не причиню тебе зла!» Но вырывается из её глотки только звериный рык.

Бежали они, бежали и выскочили на край обрыва. Охотник, ослеплённый страхом, не заметил пропасти и сорвался, разбился насмерть. Чёрная тоска сжала сердце медведицы. Взвыла она громовым голосом, а потом заревела жалобно, стала звать своего любимого, но напрасно...

До сих пор слышится в порывах ветра её медвежий рёв, почерневшего сердца плач...

На Каратюреке мы стояли не одни: были ещё две-три пешие группы и вереница навьюченных коней. Кто — туда, кто — обратно. На перевале стараются не задерживаться, здесь не место для пикника и долгого любования. Это даже хорошо. Красота в ежовых рукавицах времени ещё пронзительней.

Несколько минут — и мы стали спускаться на запад, ведя коней в поводу. Спуск вначале довольно труден. Тропа проложена по курумнику, по краю северного склона, резко уходящего вниз. Смотришь только под ноги, под копыта... А Белуха безвозвратно закрывается кровотокающей горой. И тут я поняла: даже отдаляясь от горы, я приближаюсь к ней. Просто на другом, на следующем всегда неумолимо витке, длиною в год. Я приближаюсь к Белой горе, даже если в данный момент удаляюсь от неё...

Спускаясь с перевала, важно обратить внимание на развилку тропы—сверху она хорошо видна. Правая ветка тропы выводит на плато между Кучерлой и Аккемом. Чтобы попасть на Кучерлинское озеро, надо идти по левому ответвлению. Двигаться до ручья и переправиться через него. Слева ещё будут видны красные снега. После ручья опять брать левее. Тропа долгая, волнистая—вверх-вниз, вверх-вниз, пока не покажется по правую руку долина Кучерлы.

До ручья мы вели коней в поводу. Для некоторых наших девочек пеший спуск оказался тяжким испытанием. Колонна растянулась. Аркадий, единственный, кто остался в седле, временами скакал параллельным курсом, подгоняя отстающих, но толку от этого было мало. Вышло солнце. Жара навалилась сразу, как будто мы нырнули в другой, горячий слой воздуха.

На очередном вихлянии тропы (сверху-то она видна отчётливо, а вблизи попробуй разберись среди нагромождения камней!) я оказалась предводителем отстающих и чуть не завела их неизвестно куда. Вернулась обратно, отыскала тропку...

Как бы то ни было, с погодой нам везло, а жара только усилила счастье от ледяного ручья.

Один из спусков на пути к Кучерлинскому озеру я назвала бы адским. Сказывались усталость, жара. Я отстала в конец группы. Отведя взгляд от Гератовой холки, увидела изрытую землю тропы, как-то уж слишком круто уходящей вниз. Не знаю, почему мы не спешились, но я держалась в седле из последних сил. Меня болтало из стороны в сторону. Я так вцепилась в луку седла, что только с рукой можно было её от меня оторвать.

Отчётливо помню один кошмарный момент: я не вырулила, и Герат, двигаясь по инерции, чуть не налетел глазом на торчащий сучок. Я уговаривала коня:

— Вези мамочку аккуратно.

Вспомнила все хорошие и нехорошие слова. Аркадий, замыкая колонну, посмеивался над моим «французским». Мне было всё равно, как я выгляжу со стороны, я то пела, то хохотала...

А ещё был опасный момент, когда на подступах к озеру тропа раздвоилась и мы трое—Аркадий, Толик и я—пошли по верхней, как оказалось—старой, тропе. В одном месте Герат провалился в расщелину задней ногой. Так резко, что я чудом удержалась в седле. Уже соскальзывая к хвосту, вцепилась в переднюю луку и сразу наклонилась вперёд. Секунду конь балансировал, и всю эту мучительно долгую секунду я чувствовала, как во мне пульсирует кровь. Меня бросило в жар. Когда конь выдернул ногу из каменного капкана, выровнялся и пошёл как ни в чём не бывало, я была готова расцеловать его от радости.

Увидели мы и последствия обвала на верхней тропе. Валун чуть ниже тропы, судя по отсутствию

ярких пятен лишайника, в изобилии украшавших камни вокруг, был нездешний. Ничего себе камешек—величиной с одноэтажный дом!

— Ещё в прошлом году его здесь не было,—сказал Аркадий, догоняя меня.

Я подняла глаза: отмечая путь валуна, вверху торчали обломки сосен. Расщеплённая древесина белела, свежа.

Кучерлинское озеро

Тропа вынырнула из леса на открытую площадку. Первая мысль при виде Кучерлинского озера: «А где же Белуха?» Отсутствие над озером Белой горы даёт досадный сбой в ощущении времени и пространства. Неужели мы так далеко от неё?

Кучерлинское озеро очерчено резко. Острые углы мысов, никаких прибрежных полянок. Склоны круто уходят в воду. Сразу видно, что озеро в расщелине и наверняка глубже Аккемского. Так и есть! Удивительно другое: Кучерлинское теплее Аккемского. Летом—целых семь-восемь градусов, а не четыре, как в Аккеме, поэтому здесь водится хариус. И, как оказалось, купаться в восьмиградусной воде вполне возможно, а Катунь после Кучерлы—и вовсе парное молоко.

Из всех увиденных мною за эти дни озёр именно Кучерлинское произвело впечатление дикого, заповедного, рыбно-звериного царства. Подходя к Аккему, невольно замечаешь аккуратное здание метеостанции, россыпь палаток. А здесь—нет. Немногочисленные туристы скрыты лесом. Даже мост через Кучерлу кажется естественным, а не рукотворным.

Не переходя через мост, мы встали на правом берегу возле единственного деревянного навеса. Рядом были лагерь пешей группы не то французов, не то итальянцев и две-три палатки «наших». По сравнению с Аккемом—почти никого.

На этот вечер мы с девочками запланировали одно важное дело, до которого всё руки не доходили. Надо сказать, что у подруг Натальи и Маши в волосы были вплетены разноцветные синтетические косички. Причёски, уместные для гламурных вечеринок, девушкам явно мешали, но разбирать такое сооружение—дело долгое, муторное. Длинные Натальины косички до кончиков настоящих волос обрезал ещё на Аккеме Аркадий. Хорошим таким охотничьим ножом, хитро улыбаясь, отхватил, как кобылий хвост: раз-два—и готово! А то собиралась она что-то там маникюрными ножницами выстригать.

За Машу мы взялись по всем правилам. Сели на берегу. Склонились над Машиной головой втроем и давай расплетать, вытаскивая из настоящих волос синтетические пряди. Долго, сосредоточенно, в такт друг другу, ибо шести рукам над одною макушкой тесно, мы совершали обряд освобождения... Медно-рыжие волосы, живые,

мягкие, распушались. Расплетая косички, я чувствовала, как устают мои пальцы, избавляя девичью голову от искусственной тяжести. Расплетали все понемногу, уступая друг другу место возле преображающейся Маши. Темнело. Арина зажгла над нами фонарик. Снующие руки, пружинящие косички, волнистые рыжие локоны — всё это в резком белом свете фонаря было похоже на какой-то фантастический танец в языках пламени.

И вот Маша — совсем другая: рыжеволосая, настоящая дикая женщина, красивая без косметики и парикмахерских ухищрений. Она запустила обе руки в шевелюру, с наслаждением пошевелила пряди и так и этак, разбросала вольными волнами по плечам, сказала:

— Спасибо, девчонки! — и засмеялась...

Утром я снова встала раньше всех. Смотрела, как тени перемещаются по горам, как испаряется туман. В этот день никаких организованных выходов не намечалось. Поодиночке, по двое, по трое — кто как — все разбрелись из лагеря когда вздумается и возвращались когда хотели. В лагере неотлучно оставалась одна Арина. Аркадий ещё вчера встретил знакомых конюхов и до завтрашнего дня исчез.

Есть особое удовольствие в том, что с утра не надо собирать арчемаки, складывать палатку и обшаривать взглядом траву в поисках забытых вещей... Можно быть беспечным и бездумным созерцателем, особенно если позволяет погода. А погода позволила даже позагорать и окунуться в озеро.

Потом я отправилась через мост на левый берег и дальше, вдоль реки. Спустилась к самой воде. Густой мох пружинил. Мох, как свечной воск, заливал сплошным оранжевым потоком корни и прибитый к берегу топляк. Соединял живое дерево и отжившее. Там, где мох не находил опоры, круглились отверстия прямо над текучей водой...

В одном месте из воды торчали причудливые коряги. Не иначе сам Пан и три его сына — Кедрач-бородач, Грибной дух да Брусничный — застыли, застигнутые рассветом. Каждое полнолуние, а вчера как раз стояла полная луна, Пан с сыновьями ныряет в озеро — пропитаться серебристой водой, расправить задеревеневшие плечи, позволить хариусу выщипать из бороды длинноусых жучков...

Разомлели в глубине духи лесные, не уследили за временем. Будут теперь топорщиться кривыми корягами, пока не народится новая луна.

К вечеру я исследовала тропу по правому берегу озера вверх. Кучерлинское значительно больше Аккемского — примерно четыре с половиной километра в длину, и вряд ли я дошла даже до середины. В озеро сбегает несколько прозрачных ручьёв. Через два или три можно перешагнуть, а через один, самый широкий, перекинуты сосновые стволы. Там, где ручей втекает в озеро, чётко видна граница прозрачной и беловато-зелёной кучерлинской воды. Здесь, судя по рыбацким снастям, стоит хариус!

Оказывается, мы были не так уж одиноки на Кучерлинском. В двух местах я миновала палатки, а на противоположном берегу увидела раньше закрытое мысом вполне современное строение не больше дачного домика — уединённую туристическую базу. Так вот куда нас приглашали в «крайнюю» баню!..

И вот шла я, шла по тропе, пока не оторвалась от всех, как мне казалось, очень далеко. И преградил мне дорогу валун. Был он подобен гигантскому медведю, вставшему на задние лапы. И вдруг я осознала: всё! Дальше идти нельзя.

Если я обогну валун, то обратно уже не вернусь. Нет, я не сгину каким-нибудь страшным образом, заблудившись в лесу. Я просто обрету свою естественную первозданную сущность и возвращаться не захочу. Такая трансформация для меня, по видимому, неизбежна, но ещё преждевременна.

Я присела у ног «медведя», бездумно скользя взглядом по сверкающей поверхности озера. Недалеко от берега из воды выступала скала, а из неё вырастала одна-единственная сосна. Знакомый сюжет: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна...» Но в её одиночестве — ущерб, надрыв, желание найти свою вторую половину. А в моём — успокоение, гармония.

Моя основа, источник духа моего — здесь, в горах, озёрах и реках, в деревьях и травах. В неразрывной связи с живою водой, с Белой горой.

В сущности, человек всегда один на один с природой, но редко чувствует это во всей полноте. Уединение — это не предательство по отношению к тем, кого мы любим. Просто иначе не будет силы любить...

Сентябрь — ноябрь 2012

Александр Рыбин

Архитектура

Отрезок жизни, когда меня начала интересовать архитектура, я отчётливо помню. Это случилось в Белграде—когда я и моя русская подруга Настя вернулись из Косово. Несколько дней мы провели в Косовской Митровице, охраняя баррикаду на мосту Дружбы. Мост соединял (но точнее написать—разъединял) сербскую и албанскую части города, стоял над узкой горной речкой Ибар. На севере города компактно жили сербы. В южной части—албанцы. Граница между ними—Ибар. Через реку—два автомобильных моста: Дружбы, главный, и Восточный, вспомогательный. Был 2011 год. Албанцы попытались взять под свой контроль север Косово, населённый сербами, не признающими албанскую власть над регионом. Началось противостояние. На стороне албанцев—расквартированные в Косово иностранные войска, из стран НАТО главным образом. Сербы построили баррикады на своей территории (в своих «општинах»—общинах, районах), чтобы мирно заблокировать передвижение иностранных солдат и албанской полиции. Передний край противостояния—Косовская Митровица, берега Ибара, мосты через реку. Мы вместе с сербами-добровольцами охраняли баррикаду, по другую сторону которой стояли итальянские солдаты, их броневики и албанские полицейские. Мы охраняли границу двух тотально противоположных, не признающих друг друга миров. С одной стороны к мосту подходила главная прогулочная-кабацкая улица южной части города—Sheshi Mehë Uka. С другой—центральная в северной части улица Царя Душана. Между гуляющими, шумными каждый вечер, выпивающими и поющими улицами—кладбищенски пустой мост Дружбы. Мы, днями напролёт охраняя баррикаду, рассматривали его детали. В 2005-м его реконструировали французы—в стиле хай-тек. По краям—вытянутые от одного конца до другого две высокие дуги, немного наклонённые за края,—похожи на размахнувшиеся крылья. Вдоль дуг—часток кол многоламповых фонарей. Ровное асфальтовое полотно и два тротуара, выше проезжей части сантиметров на тридцать. И меня зацепило соединение, совмещение, наложение устремлённого к полёту моста и двух враждебных миров, сделавших его местом противостояния, стычек, конфликтов. В Белграде, вернувшись,—моим

постоянным местом жительства тогда был балканский старинный город Белград—я много читал об истории моста Дружбы, о столкновениях сербов с албанцами под его «крыльями» и фонарями. Когда его реконструировали французы, они задумывали, что он станет символом дружбы между двумя народами. Получилось совершенно наоборот.

От тех белградско-косовских дней у меня появился интерес к мостам—к символам, которые в них закладывали строители и которыми они становились позже для человеческих историй.

От тех белградско-косовских дней я смотрел на мосты как на картины. Мост в сирийском городе Дейр-эз-Зор—французский, колониальный. В Сирии в то время уже происходили беспорядки. На улицах Дейр-эз-Зора дежурили вооружённые военные и полиция. Тут проводились антиправительственные демонстрации, которые военные и полиция якобы расстреливали, разгоняли стрельбой на поражение. Телевизионный канал «Аль-Джазира» сообщал, что на улицах стоят танки,—танков я не видел, мы не видели, я и моя Настя. Мы пересекли весь город с запада на восток. Мы задержались на местном «Арбате»—на колониальном французском мосту. Мы повисли на перилах из непрогибаемо-натянутых стальных тросов—разглядывали мост и изумрудный Евфрат под ним. Мы соглашались друг с другом, что здесь, в этом течении, Евфрат действительно похож на великую реку—быстрый, полноводный, чистый изумрудный оттенок. Мы видели его в других местах, выше по течению,—он был мелок, заболочен, замусорен. Мимо нас, в стороне от нас прогуливались или стояли молодые сирийцы—парочками, компаниями. Фотографировали друг друга на фоне реки, на фоне тонких, полупрозрачных конструкций моста. У французов, пока они владели колониями на Ближнем Востоке, была нужда самые отдалённые от Средиземного моря районы соединить надёжными дорогами с побережьем. На Средиземном море у них был крупный порт Бейрут, от него удобно плыть в метрополию—во Францию. Поэтому в 1920-х французы накиннули на Евфрат узду моста—Евфрат являлся самой сложной помехой для надёжных дорог. Но французы не просто ввинтили в дно крепкие опоры и застелили

их железобетонными плитами (так поступали в своих колониях англичане — быстро и экономно). Они строили главный мост на Евфрате — поэтому постарались вместить в него максимум изящества из современных материалов. Высокие стальные опоры-пилоны, соединённые арками на трёх уровнях — каждая арка звонко, как колокол, отражает звуки. Стальными тросами к опорам прицеплены полотна-пролёты. Конструкция наполнена тонкими длинными линиями. По тем же технологиям и эстетическим принципам гораздо позже выстроили мосты «Русский» через морской пролив Босфор Восточный во Владивостоке, через Суэцкий канал, «Нормандия» во Франции, «Сутун» в Китае, «Татара» в Японии — очень долгий список. Весной 2013-го антиправительственные боевики захватили мост в Дейр-эз-Зор — расстреляли его из миномётов, обвалили в реку: того требовала их стратегия — усложнить продвижение, наступление армии, вообще остановить. Город лишился своего прогулочно-туристического «Арбата». В городе много месяцев шли бои, он слёг в руины.

Разрушенный мост в турецко-курдском Хасанкейфе. Другая великая река Месопотамии — Тигр. Хасанкейф, по месопотамским меркам, молодой город — каких-то пару тысяч лет. Известность он получил в средние века. Из степей Западного Казахстана дошли тюркские племена огузов. За два года на новых землях они организовали государство, а Хасанкейф сделали столицей. И двинулись дальше, на запад, — навстречу крестоносцам, которые расширяли свои владения на восток. В мае 1104 года две силы сошлись у Харрана. До того дня крестоносцы били мусульманские армии, как кирпич стекло, — мелкие осколки в стороны. Поэтому до начала битвы рыцари заспорили, кому какая добыча достанется после победы. Их внезапно атаковали огузы — убили тридцать тысяч крестоносцев. Ещё десять тысяч были убиты во время беспорядочного отступления к крепости Эдесса. Двое командующих — граф Эдессы Балдуин Второй и Жослен де Куртене — попали в плен. Жослена четыре года продержали в Хасанкейфе и отпустили, когда владения крестоносцев уже капитально обрезали мусульманские армии и Византия с Арменией.

От огузского государства в Хасанкейфе остался разрушенный мост через Тигр. Известна точная дата постройки — 1116 год. Разобрали старый римский и поставили новый — с модными тогда стрельчатými арками. Пролёты — деревянные, чтобы убрать или поджечь, если попытается переправиться враг. Крупнейший мост средневековья. До наших дней уцелели только каменные опоры. Опоры бесшумно резали острыми углами тёмную воющую воду. К одной, стоящей на берегу, пристроен дом — она служила несущей стеной

дома: вокруг квохтали и ковыряли сухую землю куры; лепёшки навоза, колючие кустарники. Расцвет Хасанкейфа проходил в годы огузского государства — продолжался сто лет. Нынешний Хасанкейф — бедное и бледное село, где к руинам блестящего прошлого пристроены плоскостолы, без претензии — минимализм нищеты — дома, сараи, курятники, загоны для скота.

На левом берегу — в стороне от жилищ, особняком от руин — стоял мусульманский мавзоль — абсолютно фаллической формы. Плоское пустое пространство вокруг подчёркивало его фалличность. Пятнадцатый век и синяя глазурь на стенах, майонезные полосы арабской вязи — суры из Корана и рассказ о деяниях покойного — вены каменных резных орнаментов. Типичная гробница богатого мусульманина — типичная для Средней Азии: для Самарканда, Бухары, Балха, Кабула, Хивы. Оттуда тюркские кочевые племена принесли представления о том, как должны выглядеть важнейшие здания — храмы, гробницы, дворцы.

Следующее, после символики — выдуманной и фактической — мостов, что меня заинтересовало в архитектуре — её сексуальные мотивы. Архитектура самых откровенных форм — в Средней Азии. Минареты, айваны и купола доведены там до предельной откровенности. Мечети, гробницы-мазары, караван-сараи, медресе, дворцы — галереи первичных и вторичных половых признаков.

В Таджикистане гробницы-мазары мусульмане почитают гораздо больше, чем мечети. Земля древних цивилизаций — у неё полно великих покойников, поэтому на их могилах, вокруг их мощей строят священные здания. Кишлак Мазари-Шариф на склоне хвойной горы. Название его переводится как «главная гробница». В селе самая почитаемая в Северном Таджикистане гробница — Мухаммеда Башоро. Точно неизвестно, есть ли внутри останки самого Башоро. Вход в мазар — через высокий, повторяющий форму женского лона айван. Айван — редчайшее явление в исламском мире — украшен символами раннего христианства — терракотовыми изображениями рыб. Крохотные рыбки будто направляются внутрь айвана, глубже в тело мазара. Внутри под полом — настоятель-хранитель, старый, с седой бородой и сопровождаемый несколькими внуками, открыл для меня люк в полу — камеры с человеческими скелетами. Почерневшие черепа, острые рёбра, позвонки, берцовые и тазовые кости — аккуратно сложены в специальные ниши. Настоятель-хранитель сказал, что это кости религиозных учителей. Хоронить в мазаре перестали лет двести назад. Когда начали? — гробницу построили в четырнадцатом веке. По таджикской традиции гостеприимства, настоятель-хранитель позвал

меня к себе в гости — поужинать и переночевать. Мы сидели на матрасах-курпачи, постеленных на полу, вокруг дастархана — пили долгие чаи, вели неспешные разговоры. Женщины приносили и уносили подносы с едой. Мы выходили на улицу — подышать прохладным ночным воздухом, густо пропитанным ароматом арчовых рощ и шумом стекающих по склону горы речушек.

Я долго и подробно исследовал тему таджикских гробниц (таджики расселены не только в Таджикистане, районы их традиционного проживания есть в Афганистане и Узбекистане). Результат — текст «Мавзолей», первый мой текст, который перевели на иностранный, словацкий, язык.

«Самая голая крыша, какую я видела», — сказала ты, когда мы прогуливались по македонскому Скопье. Ты показывала на баню, ставшую национальной художественной галереей, — показывала на хамам Даут-паши. Слово «хамам» — от арабского «хам»: «жарко», «горячо». Турки-османы строили жаркие бани в каждом мало-мальски значимом городе своих владений. В Скопье тоже строили они, когда Македония была вилайетом — областью — Османской империи. Пятнадцатый век: турки доставили в Европу сексуальность среднеазиатской архитектуры и навязывали её Европе. Пятнадцатый век, Скопье: Даут-паша — один из высших османских чиновников на Балканах, склонный к роскоши и комфорту, — приказал построить грандиозный хамам. Крышу хамама составили из металлических куполов в виде грудей расслабленно лежащей женщины. Куполов — тринадцать, на вершине каждого — украшение: торчащий крепкий «сосок». В хамам два входа — с противоположных сторон: один — для мужчин, другой — для женщин. Стены из крупных обтёсанных камней. Крошечные оконца с округлыми архитравами. Внутри — стены и потолки были разрисованы ярко-цветными рисунками. Но баня ни одного дня не функционировала как баня. . . есть две легенды, объясняющие почему. Первая: по окончании строительства выяснилось, что вблизи Скопье леса давно вырублены и невозможно добыть достаточного количества дров для обогрева хамама. Вторая: дочь Даут-паши пришла пробно помыться, и её укусила змея. Отец приказал закрыть баню и никогда ею не пользоваться. Православные, угнетённые, унижаемые и побиваемые мусульманами-турками македонцы объясняли, что укус змеи — за грех: хамам поставили на месте разрушенной церкви. После Второй мировой войны новые власти Македонии — югославские — разместили там национальную художественную галерею. Сейчас это единственное место в стране, где можно увидеть развитие местной живописи — от иконописи четырнадцатого века до картин конца двадцатого века.

Хамам под стенами турецкой крепости Калемегдан в Белграде, освободившемся от османского ига, стал планетарием. Скромное здание — один купол, небольшая площадь, вокруг — романтическая дубрава. Каждую пятницу с весны по осень в планетарии проводят бесплатные лекции по астрономии. На круглый потолок лектор проецирует карту звёздного неба. Показывает лазерной указкой — нервно бегают ядовито-красная точка, — где созвездия, где звёздные системы, где галактики, где похожие на Землю планеты, где невидимые телескопам чёрные дыры, сколько световых лет, веков, тысячелетий туда лететь. Лекции заканчиваются поздно вечером; выходишь на улицу — на небе ни единой звезды: их затирают, слизывают обильные огни Белграда, их ослепляет мощноваттная подсветка Калемегдана.

Заброшенный хамам Скандербега в Круе. Скандербег — главный герой албанской истории. Половину жизни он провёл мусульманином, был лучшим полководцем османской армии. Затем — стал христианином и вожаком албанцев в борьбе против турецкой оккупации. В 1443 году, во время битвы у Ниша, он дезертировал из турецкой армии. Организовал войско из албанцев и начал войну за независимость. Причина была проста — родовое поместье. Турки отобрали у его отца родовое поместье, замок Круя, — отец прославленного военачальника Скандербега исповедовал христианство, то есть оккупантам-мусульманам совсем не зазорно было грабить его, даже положено. Для Скандербега — это было оскорбление, позор. Он принял религию отца и двадцать пять последующих лет успешно сражался против Османского царства. В то же время турки громили лучшие армии Европы и взяли Константинополь. Почти каждый год они присоединяли к своему государству новые территории.

Албанцы создали независимое государство. Столица — Круя, её отбили в первый же год войны. Албанию турки завоевали снова после смерти Скандербега.

В двадцатом веке из белоснежного камня внутри замка Круя отстроили музей Скандербега. Музей — один из символов страны, его фото — на миллионах открыток, одно из красивейших зданий страны. От самого замка сохранились стены, квадратная сторожевая башня и хамам. Хамам — в стороне от мощёной туристической дорожки. Он оброс дикими бурьянами, из каменных стен пробилась зелёная трава. У него неприметная табличка: «E ndërtuar në shekullin e 15» — «Построен в 15 веке». Сумрачные помещения для мытья и отдыха — через световые оконца в купольных потолках проходит скудный даже в полдень свет. Сумрак — самое правильное освещение, чтобы смотреть на обнажённую женщину: мелкие, способные

нарушить общую гармонию тела детали не видны, стёрты, видимы объёмы, ноги, живот, груди, руки, нагота—остальное дорисует воображение на своё усмотрение. Мусульманина Скандербега в бане, конечно, посещали наложницы. Забыл ли христианин Скандербег прошлые привычки? Вряд ли, тогда бы роскошь хамама не была полноценной. Однако достоверных сведений нет.

У нас родился сын, наш «Мистер Малыш»—я начал интересоваться архитектурой домов, жилых помещений, зданий для жизни.

Дом-мастерская в московском Кривоарбатском переулке—«Дом Мельникова». Известнейший архитектор-конструктивист построил для себя творческое жилище из двух втиснутых друг в друга цилиндров. Окна—сетка сот по поверхности стен. Три этажа. На фасаде—фасад затянут в стекло сверху донизу—надпись: «КОНСТАНТИН МЕЛЬНИКОВ АРХИТЕКТОР». Этот дом многократно описан—в книгах, статьях, на картинах. Я видел его на фотографиях—не ждал, что он произведёт на меня больше впечатления, чем уже произвёл. Кривоарбатский переулочек, Арбат, от которого он ответвляется,—собрание архитектуры восемнадцатого—начала двадцатого веков: достопочтенные пузатые здания в ажурных украшениях—пространство из дореволюционных сентиментальных романов, призрак влих тургеневских героев спят на карнизах. Доходный дом первой половины девятнадцатого века, доходный дом восемнадцатого века, перестроенный в 1876–77 годах, доходный дом 1910 года—расселись в кресла фундаментов, сонно полуприкрыли глаза. И вдруг—бац!—подтянутый, напряженный, спортивного вида «Дом Мельникова»: Мальчиш-Кибальчиш в плену у проклятых буржуинов. Аскетичности и протестности в его вид добавляет низенький и скромный деревянный заборчик, которым он опоясан. Мне не удалось побывать внутри, хотя я отыскал телефон наследницы Мельникова, его внучки Екатерины Викторовны, которая продолжает жить в доме-мастерской,—не дозвонился. О состоянии внутренностей сужу по фотографиям. Пока был жив Константин Мельников—внутри порядок творческого хаоса. После него, через десятилетия после него—толпы мещанских вещей и вещичек заполнили пространство, бестолково назанимали места.

Коммунальный дом в соцгородке Дангауэровка. 1920-е годы—самое творческое и свободное время в советской эпохе, заслуженное за Октябрьскую революцию и мрачную Гражданскую войну. Именно в те годы строил в Кривоарбатском переулке Константин Мельников—известнейший из конструктивистов. Для рабочей слободы

Дангауэровка, район Москвы к северо-востоку от Кремля, вычерчивали проекты другие конструктивисты—Мотылёв, Звездин и Шервинский. Их задача—на месте дореволюционных грязных трущоб создать экспериментальный социалистический городок («соцгородок»—говорили и писали архитекторы, время тогда двигалось бешено, на длинные слова его не хватало). Завод «Компрессор», Дом культуры, бани, коммунальные дома, дома для инженеров из США, памятник Ленину—втиснули в пятьдесят гектаров. В 1936-м Константин Мельников пристроил к Дангауэровке гараж Госплана—ребристое скошенное здание с огромным, как небесное колесо, окном на первом этаже. Гастарбайтерствуя в Москве, зарабатывая деньги для семьи, я жил в коммунальном доме на улице Авиамоторной, 49/1,—построен в 1929-м, первый законченный объект соцгородка. Треугольные угловые балконы, растянутые не горизонтально, а вертикально окна, сбивчиво расширяющиеся и сужающиеся пространства коммунальных квартир. Я не мог привыкнуть к расположению дверей—они располагались дисгармонично. Памятник Ленину между двух «американских» домов ставили в 1930-е—по актуальной, то есть тридцатых же годов, моде: у него френч, кепка с квадратным козырьком и тупоносые ботинки. Жить в «американских» домах сейчас считается престижным. В других, в том числе и в первом, на Авиамоторной, 49/1, состоянии коммуникаций и обитатели похожи, уверен, на доконструктивистские здешние трущобы. Есть, правда, свой плюс: интерьеры домов, их планировка остались неизменным с двадцатых годов—обветшавший экспериментальный конструктивизм.

Заработанные в Москве деньги мы вложили в переселение во Владивосток. Мы живём в самом известном доме города, единственном в городе доме с собственным именем—«Серая лошадь»; это коммунальный сталинский дворец. Построен с 1936-го по 1938-й. Семиэтажный, напирющие прямоугольные формы, в оцеплении колонн-конусов (колонны похожи на штыки—поэтому некоторые владивостокчане называют его «Дом на штыках»), но это название распространилось незначительно; общепринятое, народное, ставшее официальным,—«Серая лошадь»). Его построили на возвышении—подвели сопровождаемые балюстрадами и вазонами лестницы к подъездам. На крыше четыре грубо вылепленных статуи, в порывистых, взрывных позах,—шахтёр, колхозница, лётчица и красноармеец—смотрят на восток, приветствуют рассвет, устремлены в новый день. На углах—подобные дангауэровским треугольные балконы. Вообще, акцент на напористость внешнего вида «Серой лошади» создают многочисленные балконы. С фасада и со двора они

выполнены по образу торчащих из кулака костяшек. Каменные грубых форм балясины и перила, пол застелен трёхцветной — жёлтая, коричневая и зелёная — плиткой. Есть легенда среди жильцов по поводу балконов. Якобы, когда дело дошло до сдачи дома в эксплуатацию, перед приездом приёмной комиссии на балконы проверочно заходил прораб. И один на седьмом этаже обвалился. Прораб спасся — зацепился на уровне четвёртого этажа, даже не ушибся. Как звали прораба, нашли ли виновных — жильцам неизвестно. Но — факт: в советское время в квартирах висели предостерегающие объявления, что балконы в аварийном состоянии и выходить на них запрещено. Нам рассказывали — лично мы таких объявлений не видели. На балконы можно выйти из некоторых комнат и из коммунальных кухонь. «Комнатного» балкона у нас нет, есть — кухонный, на дворовой стороне. Мы регулярно им пользуемся — попить чай на солнышке, почитать книги, просто посмотреть, что происходит во дворе, выставляем на перила еду нашего «Мистера Малыша», чтобы она остыла, если перегрели, развешиваем на верёвках стираное бельё, вытряхиваем скатерть. Гостям, конечно, рассказываем легенду, когда на балкон выходят они. Те, которые иностранцы, особенно японцы или немцы, обычно принимаются дотошно выискивать — есть ли трещины, сколы, признаки аварийности, скорого разрушения. Меня интересует другое — изначальные цвета дома. На

балконе я нашёл следы самой первой штукатурки — она была розовой. То, что «Серая лошадь» изначально имела розовый цвет, а перекрасили её в серый во время Великой Отечественной войны для маскировки, — тоже считалось легендой. В ванной расковырял вздувшуюся краску. Последняя краска — жёлтая, под ней бледно-зелёная, под ней салатная, под ней бледно-голубая, под ней сиреневая — первоначальная. Сейчас потолки окрашены в белый — расковырял: изначально — в яркий фиолетовый. Сиреневый, фиолетовый, розовый — этими цветами на русских православных иконах изображали рай, райский мир. Кто выбрал райские цвета для «Серой лошади»? Главный проектировщик Александр Поречков? Он ли сам? Один он? Формы дома далеки от форм русского православного рая. У «Серой лошади» объёмы индустриальной эпохи, динамизм научно-технической революции, набор промышленных поз. Станочно-шестерённую современность объединили с традиционными мечтами — получили уникальный для тихоокеанского побережья коммунальный дворец.

Наш «Мистер Малыш», проснувшись утром, влезает на широкий — для него как лавка — подоконник. Он рассматривает проезжающие внизу по улице Алеутской автомобили, автобусы, мотоциклы, рассматривает стоящие в бухте Золотой Рог военные остроносые корабли, паромы, катера, контейнеровозы. Он тыкает пальчиком в стекло и спрашивает: «А те эта?»

ДиН пародия

Евгений Минин Неловкости

Неловконое

*Будет шёпот, неловкие ноги,
Облегченье последних слёз
И над синей стрелой дороги
Симфонический шум берёз.*
Михаил Тарковский

Будет шёпот с дыханием робким,
Соловья сексуальная трель.
Мы с тобою спешили по тропке,
Где с берёзой целуется ель.
К сожаленью, признаюсь в итоге:
Помешали горячей любви
И любимой неловкие ноги,
И неловкие руки мои.

Падежизненное

*Мы разучились говорить на русском языке —
Висит солёная вода на ледяном суку.*
Александр Петрушкин

Не всем по силам изучить наш русский языка,
Порою сложно написать по правилам строка.
И над бумага за столой я каждый день сижу,
Стараюсь, чтобы было всё в нормальном падежу.
А кто коверкает порой наш русская язык,
Предупреждаю, что такой терпеть я не привык.
И пусть кукушка сотню раз споёт своя «ку-ку»,
Висеть несчастному тогды на ледяной суку.

Владимир Алейников

Союз нерасторжимый

Гармония

Луч музыки, взошедшей над былиной!
Верни мне обозначенный долиной,
Ненастной огорчённый пеленой,
Возникший из неясного сиянья.
Сомненно изменив без настоянья,
Союз нерасторжимый с тишиной.

Её в непогрешимости привечу:
Подругой неминуемую речи
Далече обретается она,
Как родинка девическая, рядом,
Движеньям повинуется и взглядам—
И всё же, как луна, отдалена.

И, стало быть, её ли оправдают,
Когда отговорят и отстрадают,
В молчании улавливая звук,
Пожалуй, от рождения идущий,
Ещё недосыгаемый, грядущий,
Подобный притяжению разлук?

И мыслимо ль слиянье с лепестками,
Где помнит навеваемое пламя
Отнюдь не долгожданная зима?—
Хранимые красой первоначальной,
Мы вровень с очевидностью печальной,
Но сказочные строим терема.



Любви щадя произношенье,
Взгляну на юг—и снова там,
Где есть дождя предвосхищенье,
Смущенье с негой пополам,

Где горы, брови не нахмурил,
Не могут влаге помогать
И травы ждут, набедокурил,
Когда мы будем прозревать.

И, чужестранному внимая,
Взирает издавна залив
На тех, кто, море понимая,
Сюда вернулся, молчалив.

И замирает по ресницам
Касанье солнечных лучей,
Покуда ливням и зарницам
Играют Баха в сто свечей.

Пускай не поймут

Пускай не поймут основного
И влаги избыток испит—
Как самое первое слово,
В нас прошлое сказочно спит.

Картины живут, протестуя,
Исполнены смысла стихи,
Поднявшись за веру святую
И наши прощая грехи.

В погоне за призрачным счастьем
Не ведал и я в полусне:
Грозятся напрасно ненастьем
Стихии, подвластные мне.

И молча глядим, покидая
Заброшенный табор в полях,—
Пульсирует, кровью сияя,
Сердечного выбора шлях.

И собраны зрелости зёрна.
И я вспомяну ли потом,
Зачем, неумелы и вздорны,
Брели за осенним листом?

И степь—это тризна и бездна,
Чего сознавать не хотим,—
И нам ничего не известно,
Куда и откуда летим.

В ночных незагаданных бденьях
Нам столькое надо понять,
Что даже в мечтах о раденьях
Нельзя на бесследность пенять.

Филиппика ливня в июле
Напомнила заново вдруг,
Что в этом разливе и гуле
Заметнее замкнутый круг.

Кто вести принёс, бескорыстен,
Тот узрит, уже не темня,
Цветник неподстриженных истин,а
Туман вдалеке от огня.

И вот полудождь, полуветер
Небес извели лазурит—
И смотрит вокруг на рассвете
Богиня-змея Иарит.



Уже полумесяц молодой багровел—
И реяло столь недалёко
Подобное ветру над проливнем стрел
Зелёное знамя Пророка.

Но, разом нахлынув из области снов
Наследьем античного сказа,
Во славу героям устами сынов
Была произнесена фраза.

И розы под ветвием ветхих деревьев
Раскрылись безумному лесу
Навстречу мелькнувшему в глуби небес
Крылатому шлему Гермеса.

И мы сознаём этот мир навсегда
Во знаменье горного зова—
И почести нам воздают иногда
За близкое к вещему слово.

И если бредём под пустынной звездой,
Приюта от нас не таите—
Холодной водицей, живую водой,
Святою водой напоите.

Таврида

Тебя ли с оливковой веткой
Примечу ещё вдалеке,
Желанную в грусти нередкой,
Хранимую розой в руке?

Разорваны горькие цепи—
И нет у толпы Божества,
Чтоб в древнем стенанье и крепе
Найти дорогие слова!

Ты радуги просьба, Таврида,
Войти в золотые врата,
Где впрямь затихает обида,
Свирель возникает у рта

В перстах, прозревая звучанье
И чаянье слуха даря,
Ты вся рождена как прощанье
И встречена словно заря.

Ты рядом со мной, Пиэрия,
Изранена тяжестью гор,—
Пускай торжествуют чужие,
А ты хоть сейчас на костёр.

Но пламя тебя не затронет,
Подобную белым лучам,
И в море твоём не утонет
Лишь то, что певцам по плечам.

Волнуемы терпкие степи,
Где тайна скитаний царит,—
И даже в Эребовом склепе
Асклепий тебя оживит.

Монолог

Людей Хранящий, Видящий и Зрячий!
Мы злачные увидели места—
Но совесть и подверженность чиста
Не вежливостью белого листа,
Влекомого повадкой горячей,
А плаваньем неведомым вокруг,
Чтоб кормчий нам откликнулся бы вдруг,
Светилами ведомый и наитьем,—
И нам не померещились открытjem
Гордьячка-ложь и ветреник-намёк,
И в горле перепутанный комок
Страстей и слов, и веры прозретья,—
И так же величаво расставанье,
И прерванная встреча коротка,
И поднятая брошена рука,
Ресницы, опускаемые близко,
С луною нашептавшись, говорят—
И так же совершается обряд
Разрыва, сочетания и риска,
И тот же он—как десять лет назад,
Воистину—где чаек постиженье
Сближению сулило продолженье
И ночь с цветами Флорой в полусне
Являлась мне,—улыбчивые птицы
Слетались отдаленья причаститься
И раковины двигались на дне
Тумана ли? залива ли?—не знаю,
Не ведаю,—но сила неземная
Уже вела над водной пеленой—
Сияла сквозь небесную обитель
Звезда моя—и Ангел мой хранитель
Так ласково склонялся надо мной.



Мне вновь одному не до сна—
брожу по округе знакомой
где полная светит луна
и налиты кроны истомой
и старая песня звучит
из сердца в лучах и догадках
и сад потому не молчит
что грустен он в ягодах сладких
и горечь струится из глаз
и в окнах темно полуночных
чтоб этот изведанный час
остался в заветах бессрочных
а ночь отдаляя цветы
луну приближает к зарнице
где дремлешь любимая ты
подобная зыблемой птице.

Осень с недавних пор

Среди дня, что дождём не густ,
Пребывая в соседстве близком,
Виноградный дождался куст
Прояснения в небе низком.

И в изгибах его ветвей,
Потянувшись к свету сразу,
Я увидел судьбы своей
Нарождённую сердцем фразу.

В этом городе без церквей
Что и есть — только память скифов.
По степям не ищи кровей,
Иероглифов или рифов.

На корню размело бурьян —
Только, дом не затронув отчий,
Коли так уж в порыве рьян,
Непечатое чаркой потчуй.

Помнишь — осень с недавних пор
Стала матери вроде, что ли,
Чтобы твой укреплялся взор,
Восстающий лучом из боли.

Что я понял из тех начал,
Где и так разобраться сложно?
Ты молчала — и я молчал:
Неизбежное так возможно.

И сейчас, у реки, внизу,
Проходя по тропе свободной,
Зелень вижу и бирюзу,
Быстрины укоризну водной.

И, вблизи различая звук,
Серебрящийся меж домами,
Точно птицу, беру из рук
Эти сумерки над холмами.

Улыбнись: удержи! — летит
Ветерок, наверху вздыхая, —
Где-то там я с пространством квит —
В этих свитках стихии стая.

Разожги же огни скорей,
На мостах поменяй местами
Те, кто лучших ещё добрей
В ноябре, да и в Божьем храме.

Ну а кров с четырёх сторон
Охранять понапрасну тщатся —
Поздний вечер — приходит сон —
Мне уютно — и жаль прощаться.

Только что б ты ни слышал там,
Где развеял красот излишки,
Не сумеешь прижать к устам
Фонарей разрозненных вспышки.

Феодосия

Богом дарованный город!
Где ты открылась? кому? —
Там, где захлёстывал холод,
Еле взглядишься во тьму.

Там из узоров оконных
Еле видны вдалеке
Пастбища запахов сонных
Или следы на песке.

Там различаю невольню
И постигаю вполне,
Как широко и привольно
Ты прикоснулась к волне.

Что старина? — словно локоть —
Ну-ка опять дотянись, —
Только минувшее трогать
Мы наклоняемся вниз.

Там, в этой шахте догадок
И наслоенных пластов,
Голос минувшего сладок
И отозваться готов.

Это смятенное эхо —
Словно разбуженный сад,
Где что ни шаг, то утеха,
Слога дремотного лад.

Если же голову вскинуть —
Может гордиться душа,
Что заповедные вина
Пили и мы из Ковша.

Льётся ли звёздный напиток
Прямо в сухие уста —
Соль застывает попыток,
Затвердевает, чиста.

Что ж! — запрокидывай лица
С болью чела от венца.
Мне ль пред тобой повиниться?
Ты — половина кольца.

Где же частица другая?
Созданы мы для зари —
Только, небес достигая,
В сердце чужих не бери.

Кто же кольцо воедино
Соединит навсегда?
Это — уже поединок,
Это ещё не беда.

Так принесите же, Музы,
Хоть песнопенья мои
К берегу прежних иллюзий,
К мысу святого Ильи.

Анатолий Вершинский

Вид на жительство

Вестники

Триптих

1. Ёлки-палки

Трембитарю Мыколе

Как имя, которым гуцул наречён,
созвучно судьбе имярека,
так связано с ним с допотопных времён
бессмертное древо смерека.

По-нашему—ель. Европейская ель,
коль быть ботанически точным.
Для горцев она остаётся досель
природным кредитом бессрочным.

Из брёвен смерековых рубят дома.
Из чурочек режут посуду.
Из хвои хозяйка готовит сама
лекарство и лечит простуду.

Из ёлки и церковь, и в ней образа.
И своды смерекой обиты.
И в небе огонь высекает гроза,
чтоб высушить ель для трембиты.

Один за смерекою числится грех:
топила в реке плотогонов.
Замечу: не всех, а единственно тех,
кто правил, не зная законов.

Хоть люди полвека не вяжут плоты
в долине, заросшей смерекой,
как встарь, их подъёмы и спуски круты.
Міркуй, соплеменник, мерекай:

не впрямь ли славянский заступник уснул?—
Европа сбивается с курса...
Гуди ж веселей на трембите, гуцул,
чтоб ангел-хранитель проснулся!

Сливайся дыханьем с еловой трубой,
пока не обветреют губы,
пока в небесах не сыграют отбой
иные, нездешние трубы.

2. Ангелы на страже

Почему в народе мало песен
о небесном вестнике поют?
Потому что ангел бестелесен,
и никто не скажет: «Вот он, тут».

Но под сводом киевской Софии
и в стенах церквушки под Москвой
не изображённые—живые
слуги Божьи молятся с тобой!

Юношей с лебяжьими крылами
сколько б ни раскрасил богомаз,
ангелы, живущие меж нами,
с виду не всегда красивей нас.

Дух, отягощённый смертной плотью,
может быть не в рыцарском плаще,
может и креститься не щепотью,
может не креститься вообще.

Помнишь, как тебя у светофора
дёрнула гадалка за рукав?
Чем и удержала, будто вора:
мог бы век утратить, миг украв.

Мир людей, родных и незнакомых,
ценен даже тем, в чём проку нет:
ведь не попаданье в цель, но промах
стоит временами меньших бед.

Ангелы на страже! Чей любезней
воинам небес и вид, и род?
Кот—громоотвод твоих болезней?
Пёс—тяжеловоз твоих забот?

Так не разоряй гнездовье птичьё,
нерпу не глуши в морской губе.
Ты же без понятия, в чьём обличье
твой заступник явится к тебе.

3. Явление

(По мотивам повествования, сохранённого
иноками Киево-Печерской и Почаевской лавры)

Край родной, расхристанный, сиротский,
словно пронеслась чужая рать...
Много здесь успел товарищ Троцкий
ризиц православных обобрать!

Помощь голодающему люду—
повод учинить разбой в церквах?
«Демон революции» повсюду
сеял запустение и страх.

Впал в гордыню— и пошла на убыль
власть его, и бысть повержен бес!
(Как живописал маэстро Врубель,
к демонам питавший интерес.)

Двадцать пятый год задался сытым.
Хлебным был и следующий год.
Но по шляхам, грозами омытым,
не за хлебом двинулся народ.

В киевской земле, в июле, въяве,
двое хлопцев, сельских пастушат,
видели Христа в красе и славе
и о том поведать всем спешат.

— Ярче солнца Он сиял над нами.
А когда сурово говорил,
с гневных уст Его срывалось пламя
в трепетанье херувимских крыл.

Вот что повелел сказать Спаситель:
«В Церкви нестроенье, в людях блуд.
В бездну, а не в горнюю обитель
пастыри-раскольники ведут.

Горе им, зачинщикам разлада—
обновленцам и еретикам!
А заблудшим для прощенья надо
возвратиться в православный храм.

Времени даю на то не много.
Вновь приду— помилую не всех.
Вы же разучились верить в Бога.
Неба достигает этот грех!»

И народ, молясь, дивился чуду.
И на месте, где явился Спас,
крест воздвигся в назиданье люду,
чтобы светоч веры не погас...

Снова раскололась Украина.
Слом прошёл по тысячам сердец.
Что же не пошлёт, как прежде, Сына
в скорбный мир всеведущий Отец?

Или Сын пришёл, и как известье
о Его явленье пресвятом
в захолустном киевском предместье
светом озарился чей-то дом?

Может, в Сеть, гудящую, как улей,
юноша, ведущий модный блог,
эту весточку постил, но пулей
сшиб его майдановский стрелок?

Может, в ясли забежав за дочкой,
«беркутовец» нёс ту весть в толпу,
но ему проткнул гортань заточкой
Зверь с тавром Хозяина во лбу?

Черты

Так. Руками холст не трогать!
Можно руку потерять.
Видишь—слева будто коготь?
Различаешь справа прядь?

В этих чёрточках невнятных—
то ли жало, то ли клык...
В завитках, пунктирах, пятнах
проступает смутный лик.

В линиях—горизонталях,
вертикалях и косых—
кто-то кроется в деталях...
Ты готов добавить штрих?

Тёмная материя

Фотограф, занятый театром,
огнями рампы упоён
и оставляет зал—за кадром,
хотя богаче сцены он.

Философ мудрствует о мире,
но всё, что ведаёт о нём,
в ночи космической не шире,
чем тусклый круг под фонарём.

За узким кругом понимаешь
ещё младенец мирозданья
не выпростался из пелён.
И свет от тьмы не отделён.

La passion

Если очи у пассии карие—
постарались пассионарии:
коневоды и копьёметатели
синеглазых селянок брюхатали.

Волоокие, смуглые, страстные,
позабыть златовласок не властные,
в деревнях оседали кочевники—
пастухи, кузнецы и кожевники.

А дотоле, послушные Одину,
шли варяги на новую родину,
шли хазары, и гунны, и арии—
евразийские пассионарии.

Лишь кипёж мировой урезонится,
как является новая конница—
копьяцами помешивать варево,
чтобы издали видели зарево.

Чтобы в страхе от зрелищ трагических
с галактических карт стратегических
стёрли Землю в своём планетарии
инозвёздные пассионарии.

Френд

Вчера в новостях специальных
к экранам приковывал всех,
а нынче в сетях социальных
стяжает посильный успех.

За прошлые телезаслуги
к нему бескорыстно добры
его сетевые подруги,
фанатки минувшей поры.

Он вдоволь поездил по свету
и дразнит скучающих дам
такой заразительной к лету
тоской по чужим городам.

Он любит выкладывать фотки,
где снялся меж важных персон.
И, как выпивоха без водки,
болеет без откликов он.



Смерти не дал глаз Господь,
и она кружит вслепую,
и вынюхивает плоть,
и разит—любую.

И когда бездомный пёс,
пробегавший в полушаге,
заскулит из-под колёс—
поклонись дворняге.

Род

Прилегла под плитою каменной,
не закрыв калитку в оградке...
После тихой кончины маминой
что-то пишет отец в тетрадке.

Долгий век достался недёшево.
Сил хватает—на помощь птицам:
щиплет булку и сыплет крошево
голубям, воробьям, синицам.

Отлучив старика от горести
просто тем, что приехал в гости,
не хочу о былом разговор вести,
да не все в нём отпеты кости.

О душевном ли равновесии
помышлять в родословном сыске?!
— Ты подростком застал репрессии.
Это дедовы братья—в списке?

Та ж фамилия, то же отчество.
Семьянины, отцы, кормильцы...
Вытер батя столешню дочиста.
— Нет,—ответил.—Однофамильцы.

Вскоре он ушёл вслед за мамою
в край, где все калитки открыты.
Не вписавшейся в память драмою
тайна рода легла под плиты.

Лишь недавно в архиве Ачинска
я обрёл в метрических книгах
сельский мир, позабытый начисто
в тектонических наших сдвигах.

В нём венчались, крестили детушек.
Умирили—обидно рано.
В нём сходились в корнях прадедушек
два чалдонских семейных клана.

Род отца избежал насилия,
а другой—не ужился с властью...
Крепко вбита наша фамилия
в грунт пути к «народному счастью».

Метро

Зелёная, как ранний плод, планета
куда летит, опоры потеряв?
Покров, которым плоть её одета,
туннелями пронизан—сплошь дыряв.

Скатясь по ленте движущихся сходней,
куда по червоточинам Земли,
на сотню метров ближе к преисподней,
лечу, как пуля по команде «пли»?

Александр Хабаров

Могли бы жить как лилии и птицы

Смысл жизни

Легка моя жизнь, и не ноша она, не дорóга,
Река безымянная: сохнет, осталось немного...
Качаются в ней пароходы, размокли бумаги;
То в греки течёт из варягов, то снова в варяги...

А я загребаю то правой, то левой, однако...
То с берега машут платками, то лает собака,
То женщина плачет, что я не плыву—утопаю,
Спасателей кличет, а я уж двумя загребаю...

Не нужен спасатель, родная; глубок мой фарватер;
Но я же за круг не цепляюсь, не лезу на катер;
Плыву себе тихо, без цели, хватаясь руками
За воды, за звёзды, за небо с его облаками...

Утро

Я встану затемно, и мне Господь подаст
Всего, что я просить уже не в силах,—
Он сам, Господь, от всех щедрот горазд
Убогих оделять, больных и сирых.
А я не сирий, даже не больной,
Ну, чуть убог... Иное—исправимо.
Чего просить мне? Крыльев за спиной?
Тепла побольше да поменьше дыма?
Земную твердь снегами замело,
Следов не счесть, да к небу нету хода...
Весь мир осел узором на стекло,
И вместо смерти—вечная свобода.
Чего уж тут выпрашивать, молить
В безвременье, где даже век—минута?
Я помолчу, мне незачем юлить
Перед лицом Творца и Абсолюта.
Мне незачем пенять на вся и всех,
Шарахаться шагов и резких свистов,
Я всех людей простил за глупый смех,
Я даже раз просил за коммунистов.
Но за себя? Нет прихоти чудней—
Выпрашивать, теряясь в общем гаме,
Того-сего... успехов, денег, дней—
Огня не замечая под ногами...

Белая рубаха

Зачем, скажи, мне белая рубаха?
В таких идут на смерть, отгннув страх;
В таких рубахах, брат, играют Баха,
А не сидят за картами в «Крестах».
Пора менять свободное обличье
На чёрный чай, на сигаретный дым,
Пора сдирать овечьё, резать птичье,
Пора обзаводиться золотым.
Пора точить стальное втихомолку—
Под скрип зубов, под крики из ночей.
Пора отдать без спора волчье—волку,
А человекье—своре сволочей.
Пора искать надёжную дорогу
Туда, на волю—Родину сиречь...
Пора отдать вон то, святое, Богу,
А это, в пятнах,—незаметно сжечь.
Пора идти, не предаваясь страху,
На острый взгляд и на тупой оскал.
Ведь для чего-то белую рубаху
Я в этом чёрном мире отыскал?

Земля моя

Земля моя, ты прах... И я таков,
и я из праха вышел, червь двуногий...
И что с того, что девять пиджаков
Имею от щедрот терминологий?
Вещизма раб, я так люблю предмет,
Щелчок и хруст, удобство рукояти,
Защёлку, зажигалку, пистолет
И кнопку «Пуск» в секретном агрегате.
Люблю весь мир как собственность свою,
Как часть, как малость, розданную нищим.
Земля моя! Как чёрную змею—
Люблю тебя, чтоб ты под сапожищем...
Да я и сам давно лежу во тьме,
Окутанный безбрежными снегами,
Как вещь в себе, как частное в уме,
Как чёрная земля под сапогами...

Походная жизнь Трофимова

Памяти Серёжи Евсеева

Болеет сердце. Я здоров как бык.
 Молчит душа, свирепствует свобода.
 Я прочитал семьсот священных книг,
 Когда, как все, вернулся из похода.
 А что ждало ушедшего в поход?
 Пещера ли без дна? Даль океана?
 Зачем вы мне заглядывали в рот,
 Которым я дышал легко и пьяно?
 Не суждено осужденным кричать,
 А я иду, во всём подозреваем,—
 Не стоило, товарищ, руку жать,
 Ведь мы друзей руками убиваем.
 Что ждёт тебя-меня, везущих груз
 Через Баграм, погрязший в мести мерзкой?
 Неужто не отметится Союз
 За нас, убогих, честью офицерской?
 Пока ты, гад, раскуривал косяк
 И плакался в жилетку всякой мрази,
 Наш экипаж клепал отбитый трак
 И жизнь свою выгалкивал из грязи...
 Ну что ж, прости... Тебя не ждёт никто.
 За перевалом нет библиотеки,
 И не спасёт тебя стишок Барто
 О мячиках, что наполняют реки.
 Там ждёт тебя, водитель, путь зверей
 Под перезвон нетронутых копилок.
 Тебя спасёт начитанный еврей
 В ковчеге из прессованных опилок...

Куда бы ты ни выполз—быть беде.
 Кровь—оправданье, но твоя—едва ли...
 И те, что задыхались в БМД,
 Не зря тебя так часто поминали.
 На чёрном, знали, чёрное—видней;
 Они теперь белее серафимов.
 Куда уполз, как змей, из-под огней
 Боец несостоявшийся Трофимов?
 Там ждут тебя тюремные клопы
 С бойцами вологодского конвоя,
 Картины мира на телах толпы
 И шепоток густой заместо воя.
 А тот, кто за тебя ушёл в поход,
 Вчера воскрес и найден на покосе;
 Живым железом—яблочный компот,
 А тот, кто мёртв,—и не родился вовсе...
 Убитым не поможет айкидо,
 Живым не быть играющему в прятки.
 Хотел быть после, а остался до,
 Мечтал в моря, а сел, как все, за взятки...
 Всё зря... не зря... Весь мир у наших ног,
 И боль, и страх, и пьяная отвага,
 Всё знать дано... но отличает Бог
 Кресты от звёзд и грека от варяга.
 Что ждёт тебя? Кто бил тебя под дых?
 Досталась ли тебе любимых жалость?
 Немного нас осталось, золотых.
 Серебряных—и вовсе не осталось.

Прочёл

Я прочёл на странице семьсот двадцать два,
 Что из жёлтых костей прорастает трава,
 И не выжечь её сквозняками;
 А однажды и люди воспрянут из пут,
 И сквозь чёрное небо они прорастут,
 Облака раздвигая руками.

Я прочёл на какой-то из главных страниц,
 Что мы, люди, прекраснее лилий и птиц
 И чудеснее ангелов Божьих;
 Мы спасёмся с тобой от воды и огня,
 Только крепче, мой ангел, держись за меня
 На подножках и на подножьях...

Я и сам-то держусь ослабевшей рукой
 За уют, за уклад, за приклад, за покой,
 За насечки по счёту убитых;
 Только где-то прочёл я: спасут не стволы,
 А престол, пред которым ослы да волы
 И повозки волхвов даровитых...

Смерть

Как ни вертись, а умирать придётся...
 Да где же смерть? А вот она, крадётся,
 на лимузине поддаёт газку,
 с подельничком стаканчик допивает,
 кудлатым псом у дома завывает
 и тянется к запястьям и к виску.
 Она живёт в тепле, светло и сыто,
 фигурки наши лепит из пластика,
 обводит красным чёрную беду,
 железо плавит, мылом трёт швартовы,
 скребётся в дверь, и мы уже готовы
 поверить в технологии вуду,
 в судьбу-злодейку, в неизбежность рока,
 в бессмысленные речи лжепророка,
 в безумный сон, в газетный полубред...
 Листаем гороскопы, рвём страницы...
 Могли бы жить как лилии и птицы
 И знали бы, что смерти вовсе нет...

Анна Павловская

Вывернутый зонт



Когда бы я могла встряхнуть края низины,
где ходят камыши на тонких каблуках,
взяла бы я себе не прежний взгляд совиный,
а ветер в волосах.

Пусть себе гроза бубнит и солнце прячет,
мой вывернутый зонт пусть улетает ввысь,
и я промокну вся, пока дойду до дачи,
и ты произнесёшь: «Смотри не простудись!»

Мы будем пить чай под старым одеялом,
выискивать просвет, на водосток глазеть.
Ты видишь: я учусь, я рада крохам малым —
подмокшим выходным, июлю и грозе.



Из разжавшихся рук потерявшего веру,
как слезинка с коротких ресниц,
выпадает судьба, и улов браконьера
переходит к простёршимся ниц.

Получается, вера — бейсбольная бита,
и младенец, читая канон,
добивает за ангелом тех неофитов,
кто во тьму, словно в сон, погрузён.

Ничего не желай, не проси и не требуй,
всем и так благодати мерло
разливает сверх меры кристальное небо,
что не знает про зло и добро.



Под вечер тянет хвойным дымом
и остывающей рекой,
и этот город нелюбимый
я принимаю за другой.

Сквозь этот запах горьковатый,
собой реальность заслоня,
мой двор, расплавленный закатом,
вдруг наплывает на меня.

Тогда и я совсем другая,
какой была я в те года,
впервые город покидая,
а получилось — навсегда.



Мы пшеницу воровали,
обжигали колоски,
на ладони растирали
золотые угольки.

Бесконечные заделы,
вдохновенные поля,
но колосьев обгорелых
не возьмёт себе земля.

Пахли хлебом и пожаром
Блок, Тарковский, Манделъштам —
я чужим питалась даром,
по чужим прошла полям.

А теперь пора настала
свой возделывать огород.
В землю зёрнышко упало,
что из зёрнышка взойдёт —
тоже кто-то укредёт.



пробираюсь по кромке
по тонкому льду
подстели мне соломки
когда упаду

отведи мя от края
от бездны и зги
если я заплутаю
Ты мне помоги

пусть меня защищает
за правым плечом
пусть мне путь расчищает
огнём и мечом

я зажмурила очи
свернулась клубком
защити меня Отче
сейчас и потом

если я задыхаюсь
в холодном поту
если я просыпаюсь
с землёю во рту

Шествие

Осточертел словарь, почти безвкусно слово,
и аппетита нет у девочки Серова.
Грустит, закрыв ладонь,— не хочется малютке
ни яблочек любви, ни персиков рассудка.

В особицу сидит в густом осеннем свете—
в гостинице, в гостях, в казённом кабинете,
в остуженном кафе, в вагоне-ресторане,
и свет её кружит, как ложечку в стакане,
и с креслом и столом стремительно выносит
сквозь мутное окно в отчаянную осень.

Смотри, какая жизнь— роскошная и злая!
Кроваво-жёлтый сад над девочкой летает,
за нею вслед летят, как звуки саксофона,
любовники, шуты, фигурки из картона.

Выстреливает хмель в неё витком шершавым:
сегодня над Москвой, а завтра над Варшавой—
теперь ей видно всё, она открыла очи.
Возьми же плод любой, который ты захочешь.

Едва надкусишь—и артезианским соком
кровь прогремит в тебе, как дождь по водостокам,
ты прыгнешь из себя оранжевым лососем,
не бойся ничего— не страшно грянуть оземь.

Пушай не по воде, по влажному эфиру—
пушайся босиком в компании сатира.
Я разрешаю: впредь— аминь и аллилуйя!—
по воздуху иди, играя и танцуя.

Макни свою свирель в наваристую синьку,
пушай услышат все «калинку» и «малинку»,
пусть хмелем заплетёт дворцы, дома и лазни,
пушай печаль пройдёт, пушай наступит праздник.

● ● ●
Как бабочка в космическом луче
дождём преображённого рассвета,
мелькает сон, мелькает жизнь... вообще,
я сплю или живу на свете этом?

Так зеркальце, улавливая блик,
размазывает задник и детали,
и белый свет проходит напрямик,
где мы, как пыль, парим по вертикали.

Что там, в тени, одной ногой в ночи—
задвинуто на полку и забыто,
но я ладонь подставляю под лучи
и снова стану маленькой Лолитой.

Я поплыву в лучах и наяву,
расправлю крыльев зеркальце ночное,
и старшекласник, падая в траву,
меня притянет солнечной рукою.

● ● ●
Тоска, тоска, а ехать надо—
за горизонт, куда-нибудь,
где тётя Рая с тётей Адой
в саду присели отдохнуть.

Где в летней кухне дух малинный,
в окно просунул ремень,
где только начат длинный-длинный
благословенный летний день.

Сквозь листья солнце руки жалит,
но ты идёшь в зелёный зной—
и вдруг выходишь на вокзале
зимы далёкой и чужой.

Перрон уже оцеплен стужей,
известен путь, и вектор дан,
и всё, что есть, и всё, что нужно,—
вместилось в чёрный чемодан.

● ● ●
Господь меня берёт
за пазухой как птицу
за чистый голосок
и длинные ресницы

за пазухой Христа
на плачущем стигмате
была я заперта
в психической палате

кровавая слеза
скатилась с плащаницы
открыла мне глаза
очистила зеницы

я через ту слезу
увидела впервые
как долго Иисус
прощается с Марией

как веско пустота
стоит в безлюдном храме
как страстно сирота
мне говорит о маме

она придёт опять
ключом откроет двери
необходимо ждать
необходимо верить

всё нужно претерпеть
и не бояться смерти
чтоб можно было петь
и жить с открытым сердцем

Ольга Корзова

Тоска по родине

«Ах, мир изменчивый,
да так ли ты изменчив?»

В минуты грусти на столе моём всегда Чехов. Нет, не юмористические рассказы, а то, что созвучно моему настроению.

Очень часто, например, я перечитываю чеховский рассказ «На подводе». Сюжет очень простой. Учительница едет в город за жалованьем и обдумывает свою жизнь, вспоминает прошлое. Никаких необыкновенных событий не происходит, однако после прочтения впечатление остаётся очень сильное. В чём причина этого? Попробуем разобраться.

Во-первых, это рассказ о нас с вами. Вот Марья Васильевна, у которой от былой жизни «осталось в памяти что-то смутное и расплывчатое, точно сон». Даже фотография матери потускнела от сырости в школе, «и теперь ничего не видно, кроме волос и бровей». (У кого из нас нет настолько стёртых воспоминаний?) Помещик Ханов, который жертвует в школы «одни только глобусы и искренне считает себя полезным человеком и видным деятелем по народному образованию». (Так и слышатся благостные речи о даровании в школу новых технологий; речи сии могли бы довести до сладостного слёзотечения, если б не знать, что на отопление школ и на прочие мелочи деньги часто не выделяются вовсе.) Мужики, думающие, что учительница «получает слишком большое жалованье». (Картинка современной деревни, где работник ЗАО, ООО, агрофирмы и т. д. получает меньше учителя.)

Во-вторых, такое ощущение, что время действия рассказа не так уж далеко от нас отодвинуто. В чеховском времени легко узнаваемы приметы дня сегодняшнего. Особенно это касается школы. Да, той деревенской, крошечной, называемой малокомплектной и тщательно ныне стираемой с лица русской деревни, с лица России.

Героиня рассказа — учительница, у которой «такое чувство, как будто она жила в этих краях уже давно-давно, лет сто, и казалось ей, что на всём пути от города до своей школы она знала каждый камень, каждое дерево. Тут было её прошлое, её настоящее; и другого будущего она не могла представить себе, как только школа, дорога в город и обратно, и опять школа, и опять дорога...» Работа — дом, работа — дом: как всё знакомо...

Думает она лишь о школе, об экзамене, какая будет задача — трудная или лёгкая. «Квартира из одной комнаты, тут же и кухня. После занятий каждый день болит голова... А ночью снятся экзамены, мужики, сугробы. И от такой жизни она постарела, огрубела, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно её налили свинцом, и всего она боится... И никому она не нравится, и жизнь проходит скучно, без ласки, без дружеского участия, без интересных знакомых». Обычная судьба деревенской учительницы, да и не только деревенской. Словно слышу вздох одной моей каргопольской приятельницы:

— Что поделать, Оля, мы [она и её сестра] и умницы, и красавицы, а всё равно никому не нужны. Кроме школы, никакой жизни...

Да и кого любить? Вот Ханов с интересной наружностью и тонкой воспитанностью. «Около старого Семёна он казался стройным, бодрым, но в походке его было что-то такое, едва заметное, что выдавало в нём существо уже отравленное, слабое, близкое к гибели. И точно в лесу вдруг запахло вином». Ханову, «по-видимому... всё равно и лучшей жизни ему не нужно». «И непонятно, — думала она [М. В.], — зачем красоту, эту приветливость, грустные, милые глаза Бог даёт слабым, несчастным, бесполезным людям, зачем они так нравятся». Жить с человеком, который не видит отчаяния вокруг, не понимает жизни? Марья Васильевна прекрасно понимает, что «в её положении какой бы это был ужас, если бы она влюбилась», когда «вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце».

А что в той самой жизни — в школе? Сторож, который ничего не делает, грубит и бьёт учеников. (Пьяные кочегары, работники по текущему ремонту...) Земская управа, в которой трудно кого-либо заставить. (Администрация, управление образования.) Инспектор, бывающий в школе раз в три года и ничего не смыслящий в деле. (В школах часто возникает вопрос, зачем нужны инспектора РУО и чем они заняты, кроме бумаготворчества. А анекдоты об их образованности...

Одна инспектриса, к слову, сделала когда-то при мне учителю замечание, что неправильно говорить «свёкла», нужно говорить «свекла́». Другая серьёзно исправляла мою ошибку: «Вот у вас тут написано: „в течение года“. „В течение“ нужно писать с буквой „и“. Что ж вы даже за орфографическими ошибками не следите?»)

«В учительницы она пошла из нужды, не чувствуя никакого призвания... и всегда ей казалось, что самое главное в её деле не ученики и не просвещение, а экзамены». Кстати, о призвании. Помнится, в смутные времена моего директорства пришла ко мне проситься на работу в школу молодая женщина. Около получаса она вдохновенно говорила о любви к педагогическому труду, о призвании. Я, хоть и не люблю восторженных людей, была растрогана и взяла её учителем рисования. Прошла неделя. Девушка уволилась, а затем пошла в совхоз, где умоляла бригадира взять её хоть скотницей, хоть телятницей, только бы больше не работать в школе. Дети ведь, конечно, «цветы жизни». Лютики, в основном.

Ладно, Бог с ним, с призванием. «Учителя, небогатые врачи, фельдшера при громадном труде не имеют даже утешения думать, что они служат идее, народу, так как всё время голова бывает набита мыслями о куске хлеба, о дровах, плохих дорогах, болезнях. Жизнь трудная, неинтересная, и выносили её подолгу только молчаливые ломовые кони, вроде этой Марьи Васильевны». Что изменилось в веке двадцать первом, скажите, ради Бога?

Главное—экзамены. ЕГЭ, например, которым вот уже несколько лет полощут мозги, несмотря на все учительские, да и профессорские протесты. Почему мы, как и Марья Васильевна, принуждены всё время думать о том, как бы выдать красивую картинку, дать сто процентов успеваемости? А ежели их нет, сделать, чтобы было. Например, поставить выбывшим неуспевающего ученика. Есть много и других способов.

Поневоле у многих, как у героини рассказа, появляется мечта, что «никогда она не была учительницей, то был длинный, тяжёлый, странный сон, а теперь она проснулась...» Счастье—в пробужденье?

«Тоска по родине»

В руках я держу томик Цветаевой, купленный мною в Израиле. Конечно, у меня есть её книги и помимо этой. Но этот томик, 1988 года выпуска, на слегка пожелтевшей бумаге, особенно мною любим.

...Начиналась весна 2001 года. Я уже прижилась в Израиле, куда приехала ещё летом по туристической визе, чтобы подлечиться, немного заработать и пожить хоть чуть-чуть под одной крышей с человеком, которого очень любила,— со своим мужем. Туристическая виза была продлена,

спустя несколько месяцев мне дали разрешение на работу. К весне я уже неплохо зарабатывала, по российским меркам. Хватало и на то, чтобы посылать маме. У меня появились подруги. Вечера я проводила с ними или с мужем. Словом, жизнь была довольно спокойная и сытная (по крайней мере, казалась таковой после наших голодных девяностых).

Уже зацвёл миндаль. Зимних дождей становилось всё меньше. Вечерами мы подолгу гуляли с мужем по тихому Реховоту, говорили обо всём на свете (запретных тем у нас не было, как, впрочем, нет и сейчас), пели, думали о будущем. Конечно, мы знали, что когда-нибудь я отсюда уеду. Это было обговорено заранее. Но когда и как, всё ещё было непонятно. Мужу хотелось, чтобы я дождалась получения «теудат зеута»—паспорта. Мне же казалось абсолютно ненужным двойное гражданство. Мы и раньше спорили о нём. Теперь же, чем ближе был срок возможного приобретения гражданства, тем тоскливее мне становилось. Мне не нужна была эта страна, в которой мне было так хорошо и спокойно. Я чувствовала себя гораздо лучше, свежее уже не говорила, что я «бледная и худая, как из больницы», но каждую ночь, как только я закрывала глаза, мне виделась моя крохотная кухонька. Я стояла у порога и не смела пройти в другие комнаты, точно утратила право на это...

Я молча подчинилась мнению мужа и свекрови, считавших, что паспорт израильский мне необходим, прошла все процедуры, связанные с оформлением документов. Не знаю, что бы я сделала, если бы мне всё-таки выдали «теудат зеут». Слава Богу (кстати, слово «Бог» в израильских газетах печатают вот так: «Б-г»), чтобы не упоминать полное имя всуе), документа я в итоге не получила.

Но тогда я ещё об этом не знала. В то редкое время, когда днём мы с мужем не работали и у меня не было уроков, мы бродили по книжным магазинчикам. Больших русских книжных магазинов в Реховоте не было, их можно найти в Тель-Авиве, в Хайфе, а Реховот—город небольшой, хотя и в нём русских много.

Вообще, мы с мужем не могли пройти мимо даже книжного закупа. Израильтяне, в основном, читают мало. Увидеть в доме израильянина много книг—почти невозможно. Много для них—несколько полок.

Очень часто можно увидеть книги, выкинутые за ненадобностью на улицу. Когда мы бродили по городу и нам встречалась такая книжная свалка, муж, несмотря на мои протесты, садился на корточки и смотрел, нет ли чего-нибудь ценного. И порой находил.

Маленькие книжные магазинчики можно было найти и при русских компьютерных мастерских, где мы тоже постоянно бывали. Когда мы заходили

туда, владельцы, знавшие уже в лицо всех реховотских русских, включали и русскую музыку.

В тот день было так же. Мы долго бродили без всякой цели по городу, устали и зашли в магазин. Хозяйка, зная, что мы любим бардов, включила Визбора. Зазвучало моё любимое: «Льжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой».

Всё удивительно совпало. Шёл март, мы думали о доме, грустили из-за скорой возможной разлуки, хотя ещё и не предполагали, что она будет настолько долгой.

Я уселась в кресло, муж перебирал книги. Потом он подозвал меня к себе.

— Смотри, совсем дешёвые.

Я стала рассматривать книги в коробке, стоявшей на полу. Ерунда, совсем старьё, и вдруг — Цветаева, да какая! Хороший переплёт, в томике более пятисот страниц, да и стоит всего десять шекелей. Беру!

Показываю хозяйке. Она говорит: — Стоп, ребята! Десять шекелей — это же за два томика. Там где-то и второй есть.

Она роется в коробке и находит ещё один том — проза, драматургия. Восторгу моему нет предела.

...Вечером, уютно устроившись на кровати, я, как всегда, читаю вслух мужу, сидящему за компьютером. Он слушает, порой невнимательно, тогда я начинаю произносить монологи о его духовной деградации. В конце концов, он бросает компьютер и слушает меня. Когда мне это надоедает, я замолкаю, и он возвращается к монитору.

А я читаю дальше про себя. Дошла до стихотворения «Тоска по родине!»:

Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошёлкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Вот! Это то, что чувствую сейчас я. Этот дом — не мой. Древние камни Израиля — это не моя дорога.

Мне всё равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —
В себя, в единоличье чувств.

Нет, Марина Ивановна, не всё равно Вам, как и мне. Я тоже редко ощущаю «вместе», с детства легче чувствую себя одна, но ощетиниваться всё же лучше среди родных русских лиц.

Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.

Не ужиться — это точно. Хорошо, а худо. В одном израильском журнале в интервью вычитала

строчку: «В Израиле — как в спичечном коробке». Поразилась точности высказывания. Впрочем, это, наверное, относится не только к Израилю. Нам, привыкшим к беспредельным далям России, везде тесно, где не она.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.

Здесь прыгну вперёд. Вернувшись на Родину, я в первые дни, бродя по улицам Петербурга, хмелела от языка. Действительно, возникало ощущение, словно в молоке купаюсь. А ведь в Израиле полно русских! Русские магазины, русские вывески, русские клубы. А вот поди ж ты!

Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Да куда бы ни занесло русского, его легко вычислить в любой толпе! Не смоешь с нас ни признаков, ни мет. В России родились мы все, в России...

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё равно, и всё едино.
Но если по дороге — куст
Встаёт, особенно — рябина...

Родной дом никогда не будет чужим, как бы ни отрекался от него после горьких обид. Не будет пустым и русский храм, даже если не веришь в Бога. А что касается рябины...

Бабушка моя говаривала моему брату, вырубавшему лишние кусты на пожне:

— Олешник да ивняк убирай. Нарастёт. Рябину только не трогай...

«Поэтом можешь ты не быть?..»

В литературе девятнадцатого, двадцатого, да и двадцать первого веков почему-то укоренилось мнение, что Н. А. Некрасов как поэт гораздо слабее, чем его современники. Считается, что он значительно снизил художественную планку, установленную А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым. Вспомним хотя бы отзыв И. С. Тургенева: «Поэзия тут и не ночевала». Совсем недавно, уже в 2008 году, похожая мысль — о ремесленничестве Н. А. Некрасова — промелькнула и в «Литературной России». В «Литературе в школе» (№9, 2004) читаю в письме одной из читательниц журнала: «Образы некрасовских крестьян половину моей сознательной жизни заставляли меня стыдиться того, что я русская».

А между тем есть и слова В. Г. Белинского, обращённые к поэту: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?» Есть признание Ф. М. Достоевского: «Как много Некрасов... занимал места в моей жизни!» Есть и высказывание того же И. С. Тургенева: «А Некрасова стихотворения, собранные в один фокус, — гугутся».

Кто же прав? Анна Андреевна Ахматова, когда при ней хулили Некрасова, неизменно защища-ла его словами: «Он написал гениальную поэму „Мороз, Красный нос“».

Начинается поэма с посвящения сестре. Посвя-щение появилось позже основного текста поэмы (1864), лишь в 1869 году. Кстати, из посвящения становятся известны раздумья самого поэта о роли поэзии в его жизни в тот период:

Ты опять упрекнула меня,
Что я с музой моей раздружился,
Что заботам текущего дня
И забавам его подчинился.
Для житейских расчётов и чар
Не расстался б я с музой моею,
Но бог весть, не погас ли тот дар,
Что, бывало, дружил меня с нею?

Подчинился «заботам текущего дня»... Шестиде-сятые годы девятнадцатого века. Время реформ Александра II; время, когда появился намёк на свободу слова и забрезжил призрак конституции и выборного органа власти. Б. М. Эйхенбаум счита-ет, что в этот период возникла необходимость в массовом слушателе поэзии, и Н. А. Некрасов сознательно пошёл по пути намеренного снижения поэтического языка, олитературивания народной речи, отчего она становилась более яркой и сочной. Но поэт, как замечает исследователь его творче-ства, никогда не порывал с русской поэтической традицией.

В чём же она состоит? Проспер Мериме сказал: «...Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою...»

Когда читаешь поэму или другие произведения Некрасова, сердце замирает именно от этой прав-ды. У меня мороз идёт по коже, когда читаю строки:

Решился. Крестом обозначил,
Где будет могилу копать,
Крестом осенился и начал
Лопатою снег разгребать.
Иные приёмы тут были,
Кладбище не то, что поля:
Из снегу кресты выходили,
Крестами ложилась земля.
Согнув свою старую спину,
Он долго, прилежно копал,
И жёлтую мёрзлую глину
Тотчас же снежок застилал.
...Пошёл... по дороге шагает...
Нет солнца, луна не взшла...
Как будто весь мир умирает:
Затишье, снежок, полумгла...

Этот старик, готовящий могилу для сына, эта крестами лежащая земля, эта странная тишина вокруг, всегда, даже посреди самых солнечных дней спускающаяся к нам, когда мы теряем своих

близких,—это и есть правда, соединённая с кра-сотой. И что же это, если не поэзия?

Некрасов верен правде даже в мелких деталях. Мы воочию видим то деревенского дурака, зве-нящего веригами, то обряжение покойника, то будто слышим вой по «надёже семьи» Проклу. Кому-то этот плач может показаться неестествен-ным, излишне красивым. Мы, называющие себя людьми современными, стыдимся показывать свои чувства, считаем, что они, воплощаясь в слова, обрастают фальшью. Мы, конечно, слышали о вопленицах и плачях, но это было так давно, что ощущается сном далёким или сказкой.

А я вспоминаю то, что видела однажды. У одной женщины из наших мест погибла дочь, двадцати-летняя девушка. Разбилась при падении с мотоцик-ла. Работала она в нашей школе гардеробщицей, и мы, как и положено, пришли посидеть у гроба.

Вошли в нетопленную низенькую комнату, по-клонились, взглянув на чёрное искорёженное лицо (когда-то «кровь с молоком», чёрная, в руку толщи-ной, коса ниже пояса), притихли, усевшись кто где.

Люся, мать покойной, стала рассказывать о том, как тело возили на вскрытие, как обмывали и обря-жали потом. И вдруг, глянув в окно, запрочитала: — Ты встань-ко, поднимись, моя доченька. Открой глаза-те свои ясные. Идёт твоя любимая подру-женька. Сколько лет вы с нею вместе в клуб хаживали. А идёт она тебя проведати. Да не встанешь ты, дитя моё милое. Буду я по окошкам сиживать, где, когда ты домой воротишься. Да вовеки ты домой не воротишься. Тут моя и надёжа вся...

И Люся, уронив свои большие, раздавленные работой руки (смолоду до самой пенсии была телятницей) на колени, затряслась в безысходном плаче.

— Все дни так говорит, как липа лист кладёт,— сказала мне потом её сестра.

...А через полтора года Люсю парализовало, и че-рез сутки она умерла. Не было больше её «надёжи». Так до самых последних дней и смотрела в окошко, ждала дочь с работы. Вот вам и правда жизни.

Какую бы страницу поэмы я ни открыла, с неё веет чуждой народной речью, глубоким чувством Родины, впитанным нами с молоком матери.

Овод жужжит и кусает,
Смертная жажда томит,
Солнышко серп нагревает,
Солнышко очи слепит,
Жжёт оно голову, плечи,
Ноженьки, рученьки жжёт,
Изо ржи, словно из печи,
Тоже теплом обдаёт,
Спинушка ноет с натуги,
Руки и ноги болят,
Красные, жёлтые круги
Перед очами стоят...

Читая это, мы, конечно, не венециановских крестьянок представляем, а вспоминаем рассказы о жатве наших бабушек, прабабушек. Всё это для нас знакомое, родное, привычное. Мы вместе с Дарьей видим, как:

К утру звезда золотая
С божьих небес
Вдруг сорвалась — и упала,
Дунул господь на неё,
Дрогнуло сердце моё...—

и сердце наше тоже словно волнуется от вида падающей звезды. И верим мы, что падает она от дуновения высшей силы. Ведь и приметы, и обычаи русские не слишком изменились со времён Некрасова. Разумеется, не изменились они для тех, кто не отделяет себя от народа высокими стенами коттеджей и затемнёнными стёклами лимузинов.

И появление Мороза-воеводы, и заколдованный сон Дарьи — всё не вызывает нашего отторжения, тем более стыда оттого, что мы русские. А пресловутый спор, является ли Некрасов истинным поэтом, возник лишь потому, что сам Николай Алексеевич пытался осознать, что для него важнее — быть поэтом или гражданином. Но, кажется, прав другой уже поэт — Евтушенко: в России «суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, кому уютно нет, покоя нет».

«Не приходил мой чёрный человек...»

Мне день и ночь покоя не даёт
Мой чёрный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Чёрный человек... Предвестник смерти. Тот, от кого за версту веет леденящим холодом крыл Таната. Судьба. Рок. То, от чего не убежишь, не откупишься никакими сокровищами.

Лежишь бессонной ночью, в отчаянии глядя время от времени на циферблат. До рассвета ещё вечность. Невозможно уснуть, невозможно отвлечься от горьких дум. Всё ушло безвозвратно: молодость, любовь, жизнь. Было и не было... Как песок сквозь пальцы...

Чёрный человек
На кровать ко мне садится,
Чёрный человек
Спать не даёт мне всю ночь.

У каждого из нас порою возникает ощущение безысходности, бессмысленности бытия. Все нервы сомкнулись где-то в спине, да так, что тело не в состоянии горделиво, да и не только горделиво, а попросту держаться. Сползаешь спиной по стене, ложишься, подтянув колени к подбородку.

Хочется, чтобы никто не видел твоего лица, чтобы никто не видел тебя вообще. Шепчешь сухими губами страшную молитву: «Господи, хочу, чтобы меня не было. Сделай так, чтобы меня больше не было».

...А в холодном тревожном окне лишь только мутные глаза ночи. Господи, где же Ты? Что же не берёшь душу мою? Или она и Тебе не нужна? Не нужна, не слышна Тебе моя боль? «Кого любит Господь, того и испытывает?» Да любишь ли Ты меня, если испытываешь так?..

Отчаяние, перерастающее в отторжение, бунт, почти богоборчество даже у людей верующих. Отсюда Демон, «презрительным оком» окинувший «творенье Бога своего», отсюда трость или бутылка, летящая в ночное зеркало. Отсюда, если не получается дуэли или чего-то подобного, появляется петля в «Англетере» или пистолет у виска.

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

Откуда берётся, в самом деле, эта страшная тоска? В такие дни даже самое простое, мимо чего обычно проходишь, не останавливаясь, воспринимается как предвестие, предзнаменование. Шум ветра, смешанный со стуком дождя, кажется нескончаемым плачем; случайный крик ночной птицы чудится зловещим. Всё ранее любимое видится теперь пошлым, скучным, набившим оскомину. Хватаешься за книгу, точно за спасительную соломинку, но тут же выпускаешь её из рук. Нет сил читать, смотреть, любить...

И уже невозможен становится никакой ранее замысленный побег. Не ждёт нас никакая «обитель дальняя». Где они — «покой и воля»? Утрачены навсегда...

Не помогает и «шампанского бутылка».

То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рошу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

И хочется хоть как-нибудь, только чтобы скорей было всё кончено. «Тяжело дышать. Давит...»

Тут же вспоминается блоковское: «И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». А если ещё ко всему этому «чёрный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба»...

В Петербурге невыносимо болеть, любое страдание там увеличивается стократ. Что тому виной? Небо ли, «залитое тушью», или теснящиеся «громады... дворцов и башен»? Бог весть... «Свинский Петербург» — ёмкое определение Гоголя — мне совершенно понятно, хотя я очень люблю этот город.

Помню лица в белых масках с прорезями для глаз, странные мятущиеся фигуры в балахонах

с длинными рукавами а-ля Пьеро, обступающие со всех сторон силуэты серых домов. Одна из музейных экскурсий. Где, какая, не могу вспомнить, как ни силюсь. Вокруг звучат голоса Блока, Ахматовой, ещё чьи-то. Сумрак. Фонари то гаснут, то слепят.

Но все они опутаны всерьёз
Какой-то общей нервной системой:
Случайный крик, раздавшись над богомой,
Доводит всех до крика и до слёз!

«Общая нервная система» Петербурга настолько осязаема, что, кажется, её можно потрогать. Добротронуться до страдания, войдя в этот «трущобный двор», где, может быть, живёт Сонечка Мармеладова. А «фигура на углу» на поверку может оказаться не Достоевским, а, допустим, майором Ковалёвым.

И жёлтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу.

«Гранитный гром» с небес, «грязные ступени» — Боже мой, пусть пройдёт ещё сто лет, но всё это будет в Петербурге. Будет и резкий ветер, врывающийся в трущобный двор (может быть, двор-колодец). Будет и «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». Будет и торчащий «в окне бессмысленный рассвет». И толпа, которая «потянется за гробом».

Будет и «чёрный человек». Пушкинский, есенинский или рубцовский, но обязательно будет. Рядом с добром и светом всегда, по закону равновесия, стоят зло и тьма. Что победит? Каков будет твой выбор, если возможно останется выбирать? За чем или за кем пойдёшь? Не знаю ответа. Пока не знаю... Как не знает и каждый из живущих.

ДиН пародия

Евгений Минин

Никого не укушу!

Наизнаночное

*Вереница белых звуков в рог охотничий трубит,
Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица спит.*
Миясат Муслимова

Иногда в стихах бывает всё не так — наоборот. Снег пушистый и холодный в небо белое идёт, Строчки с ямбом и хореем водят твёрдою рукой, Вроде мир кругом обычный, но какой-то не такой. Горы в турах, поле в лисах, в птице крепко спит ладонь, Тополя шевелят ветер, на джигите скачет конь. Сочиненье наизнанку завершаю — вышел срок, Звук пародии колючей мне трубит в бараний рог.

Грызнаковое

*С тех пор, не раз переведён с латыни,
Я тщетно слово русское грызу...*
Сергей Арутюнов

В среде поэтов став известным, ныне Тусовок всяких обхожу бузу, Переведён гекзаметром с латыни, Поскольку слово русское грызу. Но в жизни не кладите в рот мне палец И сочных строк не вешайте лапшу: Грызу лишь слово, ну а, как Суарес, Я точно никого не укушу!

Разница

*Поэт в России меньше, чем сержант
омона, КГБ или ОВира.*
Сергей Кузнецихин

Поэт в России ходит без погон, без кобуры, фуражки и кокарды, в руках порою держит самогон и пушкинские носит бакенбарды. Порою скупердяй, порой педант, но, строки сочиняя ювелирно, он не стоит на страже, как сержант, у каждого столба по стойке «смирно»!

Рифмошная любовь

*По строкам, стопам, ритмам, рифмам
К тебе прокладываю путь.*
Вера Зубарева

Вовек не сделает покорней Разлуки горькой западня. Приставки, суффиксы и корни — Вот в чём спасенье для меня. И, от своей любви дуря, Сквозь снег, метели и дожди, Вся в ямбах, дактилях, хорях, Я припаду к твоей груди.

Александр Свирилин

Одна осень Артёма Горяинова

Захар Прилепин. Обитель.— Москва: АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2014.

Строго говоря, «Обитель» Захара Прилепина и не роман вовсе, а разросшаяся до титанических размеров повесть. Один главный герой, одна сюжетная линия, неукоснительное следование хронологии. День за днём, час за часом на протяжении лета и осени 1929 года мы наблюдаем за Артёмом Горяиновым в Соловецкой тюрьме, куда он угодил за убийство собственного отца. Молодой узник заводит роман с любовницей начальника лагеря Фёдора Эйхманиса¹ Галиной, многократно подвергается смертельной опасности, пытается вместе со своей возлюбленной бежать и, наконец, уже за пределами повествования, гибнет.

Тему романа, разумеется, следует признать заведомо невыигрышной. Сложно писать о лагере, имея многочисленных предшественников, которые к тому же изучили её изнутри, а не извне, и заплатили за своё знание годами неволи. Прежние книги Прилепина несли на себе отпечаток личных переживаний, собственной судьбы: чеченский опыт воплощён в «Патологиях», национал-большевистский — в «Саньке», и даже мрачная фантазмагория «Чёрная обезьяна» с её размытым сновидным миром прожита автором от начала до конца.

«Обитель» — шаг в сторону с магистрально-го пути, которым Прилепин движется со своей первой книги. Шаг осознанный и, конечно же, рискованный, ибо исторический роман — в той или иной мере всегда фальсификат, пусть даже и искусно сработанный.

Вот что писатель говорил ещё до выхода «Обители»:

«Прочитанные подряд все (или все основные) вещи любого сочинителя позволяют увидеть не только текст, но и — путь. Или несколько расходящихся путей. Или путь в тупик, что не менее любопытно и познавательно.

Получилось, что все мои тексты так или иначе перекликаются друг с другом. Что из повести в повесть бродят одни и те же призраки и гуляют общие сквозняки. И если в одном тексте кричат и зовут на помощь — в другом можно услышать если не ответ, то хотя бы эхо».

С чем же перекликается новый роман? Есть ли литературные сёстры, скажем, у главного женского персонажа Галины Кучеренко? При желании можно попытаться доказать, что Аглая из «Восьмёрки» имеет отдалённое, но несомненное сходство с соловецкой чекисткой. С помощью различных ухищрений можно протянуть нити к другим действующим лицам, другим книгам. Но вот что бесспорно и неожиданно: Артём Горяинов до странности похож на героя ещё одного прилепинского объёмного труда — биографической книги о Леониде Леонове, выдающемся русском советском писателе, чьи произведения далеко не в полной мере вписывались в каноны социалистического реализма.

Судите сами: Леонова и Горяинова объединяют происхождение (из купцов), место жительства (Зарядье), любовь к театру, проявившаяся с самого раннего детства, к тому же они почти ровесники (Леонов родился в 1899-м, Горяинов, по-видимому, тремя годами позже).

Прилепин разрушает штампы, заостряя внимание на фактах, быть может, и известных, но всё же остававшихся в тени. На Соловках отбывали наказание не одни священники и политические — декларирует он и делает своего Артёма обычным уголовником. «Самая странная тюрьма в мире» не есть порождение мрачного большевистского режима, ибо она создана ещё в шестнадцатом веке. Советские Соловки — это не ад крошечный, заключённые могли получать образование, ходить в театр, покупать спиртное, наконец. «Потом будут говорить, что здесь был ад. А здесь была жизнь». Но тут же сам себя опровергает бесовскими сценами в приспособленной под штрафной изолятор церкви, навеянными не иначе как «Виём». И это самые выразительные, беспощадные и яркие страницы книги.

Критики любят ловить Прилепина на разного рода несуразностях — языковых, сюжетных и прочих. К сожалению, они бывают правы. Вот, наугад,

1. Под этим именем в романе выведен начальник Соловецкого лагеря особого назначения Фёдор Эйхманс (1897–1938).

не самые, мягко говоря, удачные выражения, за которые ответственность в равной мере несут и автор, и редактор: «над головой у него толпой кружились чайки», «в комнате был плохо прибранный бардак», «мясные говяжьи консервы». И это, конечно, снижает впечатление от книги.

Артём Горяинов «со времён нЭпа не видел ничего подобного», но ведь нЭП-то продолжается, конец двадцатых на дворе. Во время неудачного бегства с Соловков «снег затевался всё сильнее, и видимость была метров на тридцать, не больше», и тут же герой берёт бинокль и всматривается вдаль. Фёдор Эйхманис в своей речи использует слово «новояз», которое войдёт в языковой обиход лишь через шесть десятилетий — в девяностые годы двадцатого века — из перевода романа Джорджа Оруэлла «1984», выполненного Виктором Гольшевым.

Вообще, стилизация языка заключённых и охранников, этих взаимозаменяемых жертв и палачей, получилась не слишком убедительной. Вот, к примеру, как говорит о том, за какие преступления попадают на Соловки, один из ключевых персонажей владычка Иоанн: «У одного — злохульные слова, у другого — воровские бредни, у третьего — иная великоважная ошибка». Эти ветхие архаизмы, несомненно, позаимствованы Прилепиным из указов восемнадцатого века об отправке в монастырь. Даже не из них самих, пожалуй, а из довольно любопытной, хотя и чрезмерно заидеологизированной книги Георгия Фруменкова «Узники Соловецкого монастыря» (1965). Оттуда же, по-видимому, перекочевали в роман истории о жутком быте узников дореволюционных Соловков, которые рассказывает Артёму Галина.

Любви между ними нет, чувство, испытываемое Артёмом, оказывается иллюзией, эрзацем, порождённым нечеловеческой, звериной тоской молодого мужчины по женскому телу. Галину же, как она сама признаётся в дневнике, бросило

в объятия Артёма желание отомстить неверному Эйхманису. Так что не любовь — лишь похоть и мщение.

Несмотря на пронизанность христианскими мотивами, «Обитель» повествует отнюдь не об обретении веры. Перед нами не богоискательство, а отстранённое богосозерцательство. Острое осознание незримого присутствия Бога, растворения во всём божественного начала при полном его неприятии и нераскаении. Образ Бога соотносится у Артёма с образом убитого отца, и он говорит самому себе: «Бог отец. А я отца убил. Нет мне теперь никакого Бога. Только я, сын. Сам себе Святой Дух». И далее: «Бог есть, но он не нуждается в нашей вере. Он как воздух. Разве воздуху нужно, чтоб мы в него верили?»

Какая уж тут вера, какое смирение?! Артёма едва не забивают до смерти в штрафном изоляторе свои же товарищи по несчастью, после того как ложкой он изуродовал фреску с изображением святого. «...Нераскаянный!.. — вскрикивал Зиновий. — Гниёшь заживо... Злосмрадие в тебе — душа гниёт!.. МалOVER, и вор, и плут, и охальник — выплону тебя... ни рыба ни мясо — выплону!»

«Обитель» — самая большая книга Прилепина, но это автоматически не делает её самой крупной, как того хотелось бы. В попытке художественного осмысления событий без малого вековой давности он отходит от образа злободневного «пацанского писателя», дюжего бритоголового молодца в камуфляже и берцах. К афоризмам «Человек создан для счастья, как птица для полёта» и «Человек — это звучит гордо!» Прилепин добавляет ещё один, собственной выделки. «Человек тёмный и страшный, но мир человекен и тёплый», — так завершается книга, и слова эти, доносящиеся эхом из прежних текстов, максимально приближают автора к русской литературной традиции со свойственной ей гуманистической доминантой.

Владимир Костров

Пред жизненным пределом



Грядущее темно и неизвестно,
А прошлое прозрачно, как стекло.
Черёмуха, красавица, невеста,
О, сколько лет сквозь ветви утекло.
Твои цветы ломать мне было любо,
Дарить соседке, чувствена не тай.
Оскоминою мне вязала зубы
Горчащая ягода твоя.
Ты не растёшь под нашим небоскрёбом,
Привязанная к палке бечевой.
Мне ягод не давить горячим небом,
Не запивать водою ключевой.
Не целовать девчонок у околиц
И овода не отгонять с лица.
Звенит, звенит недалёкий колоколец
В преддверье неизбежного конца.
Лучей небесных свежая солома
Заваливает двор издалика.
А белая черёмуха у дома
Ещё цветёт в сознание старика.



Я лежу у костра на рассвете
Под копной над певучим ручьём.
Я сегодня свободен, как ветер,
Как крестьянские дети в ночном.

Сигаретная пачка в кармане,
На канадке развязанный жгут,
Недалёкие кони в тумане
Деревенскую травку стригут.

Хорошо из московского круга
Погрузиться в мерцающий свет.
Почему-то мне «Бежина луга»
Вспоминается дивный сюжет.

Почему-то, как дождик по крыше,
Месяц ягоды сыплет в ведро,
Почему-то в далёком Париже
Роковая поёт Виардо.

Почему-то тепло под рубахой,
Почему-то светло на уме,
Почему-то Тургенев с собакой
Из тумана выходят ко мне...



Беру костыль, опять меня мотает,
И самому себе твержу: держись!
Презренного металла не хватает
На скромную оставшуюся жизнь.
И точно не оставлю я наследства.
Благодаря аптекам и врачам
Мне много лет. И я впадаю в детство.
Но мама не утешит по ночам.
Но продолжает Божий мир вращаться,
Наркоз стихов кончается уже.
И лишь душа не хочет возвращаться,
Таится, словно утка в камыше.
Мир полон и больных, и без гроша,
Но унывать — нестоящее дело.
И потому прошу тебя, душа:
Не покидай страдающее тело.



Вспыхнут в милых глазах
Новогодние свечи,
На исходе судьбы
Ты меня не ревнуй.
Обнажи для меня
Свои белые плечи
И, как рюмку, к устам
Поднеси поцелуй.

Завершается бал.
Опустели кулисы.
За окошками Русь,
Дед Мороз на юру.
Белоснежен простор,
В нём купаются лисы,
Горностаи любовную водят игру.

И на ёлке в доме
Голубое мерцанье.
А хвоинки на ней
Зелены, как трава.
И по жилам опять
Пробегает желанье
Прошептать на ушко
Молодые слова.

● ● ●
 В небесах загорались Стожары,
 Млечный Путь обозначен во мгле.
 Неужели мы просто стажёры
 На летящем земном корабле?
 Неужели неисповедима
 Нас в пространство пославшая мысль?
 И судьба наша несправедлива,
 И мы зря сквозь года пронеслись.
 И боролись, и сладко любили
 Птицей сердца, стучавшею в грудь.
 Неужели закат протрубили
 И настала пора отдохнуть?
 Под мистерией звёздного свода
 Завершается яростный век.
 Для чего, о Господь и Природа,
 Был вам нужен и я, человек?

● ● ●
 Всё то, что так в тебе сверкало,—
 Каприз, порыв и глаз тепло—
 Не испарилось, не пропало,
 А вновь в моей душе устало,
 Как солнце зимнее, взошло.
 Мне и сейчас ночами снится:
 На тропке дымные следы,
 Цветёт сирень, щебечут птицы,
 И наливаются плоды.
 Всё-всё, что было настоящим,
 Навек останется со мной,
 Как тот манящий и пьянящий
 Неповторимый запах твой.

● ● ●
 За тебя я не буду в ответе,
 Без тебя не обрушится мир.
 Я тебя отыскал в Интернете,
 Набирая случайный клавиш.
 Ни к кому я тебя не ревную,
 Не безумствую, душу губя.
 Я тебя, словно рюмку, целую,
 Словно кофе, смакую тебя.
 Не звездой упиваюсь дальней,
 Не случайною судеб игрой.
 Ты всего лишь обман виртуальный,
 Электронов бесчувственный рой.
 Сочинять бы стихи и поэмы
 И валяться с тобой на траве,
 Но скрипят интегральные схемы
 В окаянной моей голове.

● ● ●
 В дни юности, как мне казалось, сдуру,
 В безбожной комсомольскости своей
 Нашёл я деревянную скульптуру
 В какой-то из разрушенных церквей.
 Она покраской старую белела,
 От сырости немного оцвела
 И на оплечьях, видимо, имела
 Когда-то два оторванных крыла.
 И вот теперь пред жизненным пределом,
 Перебирая прошлое своё,
 Считаю небольшим, но Божьим делом,
 Что я отмыл и высушил её.
 В немецких кирхах и в соборах Англии
 Я замирал, сознанием томим,
 Что дома ждёт меня домашний ангел,
 А может быть, крылатый серафим.

● ● ●
 Терпенье, люди русские, терпенье:
 Рассеется духовный полумрак,
 Врачуются сердечные раненья...
 Но это не рубцует никак.
 Никак не зарастает свежей плотью...
 Летаю я на запад и восток,
 А надо бы почаще ездить в Тотьму,
 Чтоб положить к ногам его цветков.
 Он жил вне быта, только русским словом.
 Скитания, бездомье, нищета.
 Он сладко пел. Но холодом медовым
 Суровый век замкнул его уста.
 Сумейте, люди добрые, сумейте
 Запомнить реку, памятник над ней.
 В кашне, в пальто, на каменной скамейке
 Зовёт поэт звезду родных полей.
 И потому, как видно, навсегда,
 Но в памяти, чего ты с ней ни делай,
 Она восходит, Колина звезда,—
 Звезда полей во мгле заледенелой.

Игорь Болычев

Русской музыки вечные ноты



Человеческой жизни не хватает,
Притяженья не хватает звезде,
Чтобы мальчик в пальтишке на вате
Научился ходить по воде.

Он умрёт от тоски и презренья,
Он иссохнет, считая часы,
Ожидая любви и прозренья,
Как трава полевая — росы.

И слова, что хранили народы,
И слова, что хранили века,
Как подводные атомоходы,
Тихо лягут на дно языка.

Человеческой жизни не станет,
Притяженье изменит звезде
До поры, когда мальчик восстанет
И пойдёт по бурлящей воде.

Из-под ног, словно серые горы,
Субмарины всплывут из глубин.
С залпом ядерным новой «Авроры»
В мир придёт человеческий сын.

И когда во вселенскую слякоть
Ухнет всё с ненадёжных орбит —
Что он сможет? Проклясть да оплакать.
Да и то — если Бог пособит.



А всё могло бы быть иначе,
И — «через годы и века» —
Цветы на подмосковной даче,
Трава, деревья, облака.

Невдалеке резвятся дети.
И Вы читаете мне вслух.
Неважно что — хотя бы эти
Четыре строчки. Хватит двух:

«Невдалеке резвятся дети.
И Вы читаете мне вслух».



Снова осень за окнами плачет.
Мокнут липы, скамейка и стол.
Ничего это больше не значит,
Жизнь твою этот дождик иначит
И смывает в холодный подзол.

На дорожке овалы лужи,
Человеческой жизни года —
Мельче, глубже, пошире, поуже.
Да, конечно, бывало и хуже,
Но бессмысленнее — никогда.

В сером небе гудят самолёты.
Льётся с крыши на землю вода.
Капли, паузы, брызги, длинноты —
Русской музыки вечные ноты —
Ниоткуда летят никуда.

*Лизе*

Они приходят и уходят
И в небе серо-голубом
Беззвучно песнь свою заводят
О дорогом и о былом.

О том, что всё на белом свете
Надеждой призрачной живёт
На то, что никому «не светит»,
На то, что не произойдёт.

Всё не сбывается. И руки
Напрасно тянутся к рукам,
Не воплотившиеся звуки —
К несуществующим строкам.

И те, которые оттуда
Тебе сочувственно молчат,
Ждут не прозрения, не чуда, —
«Немного нежности» — отсюда,
От подрастающих волчат.

Александр Логунов

Сердцебиенье тишины

Ночное пробуждение

Разбуженный немой тревогой,
заботой, болью-недотрогой,
далёким голосом, неясной маетой,
гляжу на город убелённый:
дрожа в молчанье законном,
сияет снег, фонарь мерцает золотой.
Нет одиночества на свете,
есть в окнах свет. Немного света
в неразрешимом поединке с темной.

Закрой глаза. В любой квартире—
прислушайся—дыханье мира,
сердцебиение неровное его.
Глубоко в таинственной ткани
по капиллярам мироздания
поёт связующее нити вещество.
Судьбу по образу свяжую—
ни имени, ни вдоха всуе—
пока звучит во мне вселенское родство.

А в городе всё, как и было:
зима пылает шестикрыло,
ночь, улица, фонарь—живи ещё хоть век,
но небо обжигает слово,
и всё для ока в мире ново.
Идёт, идёт неповторимый человек
сквозь тёмно-синюю ночную
густую мглу глухонемую,
и белый-белый на следы ложится снег...

Застигнутый врасплох ли, врасхорош
весной за здорово живёшь,
осколком воздуха ночного
задетый наповал,
раскинув руки, в сумерки упал.
Под звёздами ничто не ново.

Пьян перекрёстным чёрным граем,
сыт оголтелым белым бегом,
плыву. Над головой кружат.
Жизнь кончилась, нагрнула другая.
Всё так же талым пахнет снегом,
как двадцать лет назад.

Я песни оставляю, будто вехи,
к обетованной Родине кочуя.
Сказаньями тропу свою ищу я,
дурак-Иван. И, верно, ради смеха
она лукаво путает названья:
то Беловодье, то Гиперборея,
но я иду, перечить ей не смея,
пространства кочевые раздвигая.

А путь прямее лезвия меча,
короче третьей избранной дороги.
Ступай по ней, коль воля горяча,
чтоб на последнем онеметь пороге,
где обернётся Садам, Горним градом
пред изумлённым взором песнопевца
земля родная, что повсюду рядом,
на самом дне кочующего сердца.

Над мира глубиной чёрной,
Среди печали ледяной,
Иди, кораблик обречённый,
Крылатый мой.
Светилу следуй виновато,
Не подымая парусов,
Вальсируя витиевато
Меж полюсов.
Объятия живые строги,
Обетованны и страшны.
Иди. Орбиты и дороги
Завершены.

...И долго слышал окаянный
Сердцебиенье тишины.
И тлела снасть меридиана,
Слетали сны.
Сияло небо, отворяя
Семижды семьдесят высот.
И молоко текло по краю,
И капал мёд.
Над мира глубиной чёрной,
Среди печали ледяной,
Иди, кораблик обречённый,
Господь с тобой.

Дарья Верясова Похмелье

Первая бутылка

В окно то и дело летит крупа—кто-то из соседей сверху подкармливает голубей. Октябрь тёплый, но отопление уже включили, приходится держать окна нараспашку. Крупа неприятно щёлкает о наружный жестяной подоконник и рикошетом влетает в комнату. Сегодня она сыпалась дождём, и я расвирепела. На последнем, седьмом, этаже обнаружили виновники.

— А что за крупа-то?—спросил один.

— Сегодня была гречка,—рявкнула я, и они виновато потупились.— А вчера манка летела.

— Манка—это не мы!

— А кто?

— Может, Бог?—задумался другой.—Тогда вам выше...

В пять позвонил Олег и предложил пойти гулять. Гулять с Олегом—значит, пить. Осенью пьют все, и я тоже. Для вида помялась, но согласилась. Мы не виделись всё лето, и нам есть о чём поговорить: однажды весной он вдруг позвонил, обещал развестись, звал замуж, а потом делал вид, что был пьян и ничего не помнит. Я каждый день считала нечестным, поскольку не хотела на него давить, и спустя три месяца была готова на что угодно, лишь бы закончилась эта мука.

Встретиться договорились у выхода из «Маяковской». Олег опаздывает всегда и всюду, поэтому я готовлюсь к долгому ожиданию и, желая найти лавочку, пытаюсь пройти мимо условленного места. В темноте я вижу плохо и не сразу замечаю в толпе его тёмную фигуру. О чудо!—он уже здесь, он пришёл раньше меня. Олег обнимает меня, целует в щёку и предлагает:

— Пошли проведем классика.

Его правый глаз сильно косит, поэтому при каждой встрече мне кажется, что он высматривает в толпе кого-то, кроме меня. Оглядываюсь, но знакомых не вижу.

Мы выходим на площадь и идём к постаменту. Впервые оказавшись в Москве, я направилась именно сюда: для меня, провинциальной девочки с глупыми стихами, вся жизнь была сосредоточена возле памятника Маяковскому. В моём воображении там до сих пор собирались толпы народа и гремели голоса «шестидесятников». Площадь

оказалась большой и свободной, а я на ней—единственным поэтом и слушателем. Я приезжала на свой первый литературный фестиваль, где вдрызг разругали мои стихи, а после—научили пить водку. Когда же к Маяковскому повадились ходить митингующие оппозиционеры, власть быстренько закрыла площадь на вечный капитальный ремонт. Правда, через несколько лет, когда оппозиция сменила место дислокации, железные загородки всё же сняли.

Олег достаёт из сумки плоскую бутылку виски, откручивает крышку и протягивает мне. Я вздыхаю: вечер накануне был бурным и богатым на выпивку. Прислушиваюсь к организму: кажется, против вискаря нет возражений. Это радует.

— Я, когда тебе звонил, в окошко глянул, там солнце было. А сейчас выхожу из дома—темень, и ещё, похоже, дождь собирается. Кто ж знал, что осень?

Он смеётся нарочитым смехом. Так смеются люди, не уверенные в том, что сказали смешное. Но он убеждён в собственном превосходстве и потому при мне смеётся часто.

— Пойдём на Арбат? Я там давненько не был.

В десять ему надо будет уходить, для прогулки у нас почти три часа. Он должен объясниться, а вместо того рассказывает о тяготах трудовой жизни. Я терпеливо жду. На эту встречу я напросилась сама, и отступить поздно.

Как напрашивалась—не помню, об этом мне утром рассказала подруга Наташка.

Сегодняшний день мог начаться для меня в Уругвае или Выборге—и тут бы не было ничего удивительного. Но я проснулась дома, в собственной кровати, не понимая, каким ветром меня сюда занесло,—вчерашние события в памяти не отложились. За окном дождём сыпалась крупа, тарбанила о подоконник, запрыгивала в комнату. Этот звук меня и разбудил.

Накануне проводилось поэтическое мероприятие с банкетом, и наливали там коньяк. До середины вечера было весело, потом, наверное, стало ещё веселее. Последняя яркая картинка—как ругала себя за то, что явилась пьянствовать на шпильках. Что ни говори, а на плоской подошве пить сподручнее. Меньше риска шмякнуться.

Хотя, возможно, я и не шмякалась — опять-таки не помню.

Голова не болела, но организм требовал воды, и потому я попыталась встать и дойти до холодильника. На полу обнаружились куча одежды и грязные следы. Здесь прошёл бой: кто-то укладывал меня спать, а я сопротивлялась. Следы вели к двери, возле которой лежали вчерашние ботинки на высоком каблуке. Одним высоким каблуке. На месте второго торчал короткий штырёк.

— Опаньки...

Судя по сломанному каблуку, в комнату меня вносили, судя по затоптанному порогу — вшестером. Напрягла память, но без толку. Презентация, банкет, коньяк, виски, водка... Наташка, Олег...

Мерзкий звук крупы россыпью ударил по мозгам. Проклятые голубятники!

Самую качественную информацию о вчерашнем дне могла предоставить Наталья. Вместе с ней мы пришли на вечер, наверняка ушли тоже вместе. Наташка открыла дверь не сразу — спала. Но выглядела она многим лучше меня, поэтому я сразу же взяла быка за рога:

— Чем кончилась вчера игра?

— В смысле?

— В смысле, душа моя, голубушка, золотце, — я проникновенно заглянула ей в глаза, — расскажи, что вчера было? Умоляю!

Наташка засмеялась:

— Амнезия?

— Да

— Неудивительно... Заходи. Будешь чай? Ты до куда помнишь?

Я вошла и села на стул, всем видом выражая покорность судьбе.

— Помню, как Олег уходил.

— То есть помнишь, как каблуком в него тыкала?

Этого я не помнила и ответила осторожно:

— Мы курили, он подошёл, попрощался и ушёл. Ну да ведь?..

«Пусть будет так, пусть будет так!» — шептал внутренний голос.

— Не-а... — с удовольствием пропела Наталья. — Мы сидели за столом. Олег подошёл прощаться, чмокнул меня в щёчку, потянулся тебя поцеловать, а ты взяла да и выставила в него шпильку. Он такой: «Да я же только поцеловать... Да я же только в щёчку...» — но ты была непреклонна. Правда, потом усвистала следом за ним минут на двадцать. Кстати, куда? Тебя ни в курилке, ни в туалете не было.

Меня охватила паника: бог его знает, где я шлялась. Вряд ли побежала за ним, но в целом поведение походило на меня, пришлось поверить.

— Это все мои шалости?

— Какое! Потом к тебе подошёл какой-то симпатичный парень, вы с ним вискарь распивали

из горла. Ты отобрала у него шарфик и не хотела отдавать.

— Ну бог с ним. А как я каблук умудрилась сломать?

— погоди, сейчас всё будет, — Наталья не спеша разлила чай. — Ты отобрала у этого парня шарфик и не отдавала. Это уже когда к метро шли всей толпой. Вы с ним играли в догоняшки, но силлись, как две лошади. Он хотел вернуть шарфик, а ты требовала, чтоб взамен он прилюдно разделся.

— Догола?

— Ага.

— А он?

— Разделся.

Я захлопала глазами, а Наташка засмеялась:

— Не-а, я не придумываю.

— Что, и трусы снял?

— Вот ты и вчера зациклилась на трусах. Он тебе полчаса объяснял, что не носит трусов, поэтому никак не может их снять. Но разделся полностью. Ты его достала.

Наташка говорила абсолютно серьёзно.

— А кто это ещё видел?

— Вся Пушкинская площадь. Не веришь? Ты завизжала, когда он джинсы снимал, на твой голос ещё народ сбежался, менты подходили. А ты так восторгалась его мужественным поступком, что начала прыгать и сломала каблук. Чуть не упала, я тебя подхватила.

— Мило... Я по пьяни такая затейница... А парень — брюнет в очках?

Наташка улыбнулась:

— Вспомнила?

Я помотала головой:

— Догадалась. Я полгода пытаюсь снять с него одежду...

Большого огорчения не было в моей жизни.

— Да, что же с каблуком? Как мы до общаги доехали?

— Про каблук отдельная история. Мы доковыляли до спуска в метро, ты прошла две ступеньки, села на попу и начала снимать ботинки.

— Ой-ёй-ёй! — я закрыла лицо ладонью и попыталась представить себе эту картинку.

— Кстати, чисто по-женски я тебя вполне понимаю. Целый вечер на шпильках — даже ангельское терпение лопнет. А потом ты с хохотом швыряла ботинки в разные стороны.

— Шалунья! А что менты? Не реагировали?

— Мы тебя быстро нейтрализовали. А ещё ты требовала, чтоб этот парень, который раздевался, нёс тебя до дома на руках. Вместо этого он поймал нам такси. Пока ехали, ты звонила Олегу и говорила, что он старый козёл и что тебе необходимо с ним встретиться, а потом уснула. До комнаты я тебя почти на себе волокла, — и Наталья закинула за спину воображаемый мешок.

Я молчала. После вчерашнего у меня не осталось похмелья и, кажется, друзей тоже больше не осталось.

— А чего ты раздухарилась-то вчера? — спросила Наташка.

Но мне не хотелось ей ничего объяснять, и я ответила:

— Так... Любовь моя подёрнулась печалью...

Чтобы избежать толпы, до Арбата надо пробираться переулками, и мы идём к повороту на Патриаршие. Год назад, влюблённая в «старого козла» Олега по уши, я шаталась на Патриках с подругой Аней, жалуясь ей на горькую судьбу. Вот у неё, в отличие от Олега, смех замечательный: по любому поводу, колокольчиком, узнающийся издали. Но тогда она не смеялась, а всю убеждала меня, что я глупая балда. Я упорствовала и пыталась объяснить ей, как вдохновенна и прекрасна моя любовь. Ранняя осень была тёплой и сухой. Горели фонари, по пруду плавали лебеди, утки зависали хвостом кверху и дёргали красными лапами. Одиноко сидящий на скамейке человек окликнул нас и предложил коньяку. В странных своих очках он походил на крупную и прилично одетую стрекозу. Мы, как порядочные девушки, отказались и продолжили путь. Прошли немного, как вдруг я поняла: — Аня, а ведь я хочу коньяку!

И мы немедленно вернулись.

— Знаете, — сказала я, — а мы передумали.

— Но мы минут на двадцать, — добавила Аня, — потом уйдём.

— Нормально, — ответил мужчина, вынимая из внутреннего кармана пальто непочатую бутылку коньяка и стаканчики. — Осень, холодно, теперь только коньяк и надо пить.

Представился он сценаристом и сообщил, что в полночь ему стукнет сорок пять лет.

— Пр-гр... гр-пр... — он глубоко вздохнул и сделал ещё одну попытку: — Пр-р-раздник, можно сказать.

— Эге, — засмеялась я. — А вы, судя по всему, давненько тут сидите.

Мы выпили.

— А вы к фильмам сценарии пишете? — уточнила вежливая Аня.

— К фильмам.

— К каким?

Наш благодетель устало опустил голову.

— Вы, — сказал, — коньяк лучше пейте. Можем потом ещё сходить. Мне тут в любое время крепкий алкоголь продают. Деньги берут, в тетрадку записывают, а утром пробивают в кассе. А если что, у меня ещё конопля есть.

Мы переглянулись, но промолчали.

— Кстати, о кино, — Аня изо всех сил поддерживала затухающую интеллигентную беседу. — Вы пойдёте на прощание с Лиозновой?

— Нет. Что я там забыл? Разве можно считать её великим режиссёром, чтоб я туда пошёл? Вот если бы Гайдай, к примеру, умер, тогда бы я пошёл.

Я удивилась:

— Так он давненько уже умер.

— Да ну, брось. Живой ещё. Как бы он близняшек снял, если бы умер? — собутыльник глядел с высокомерием.

— Каких близняшек?

— Ну, близняшек!.. — большего от него было не добиться.

— «Настю», что ли? — спросила я неуверенно.

— Точно! «Настю»!

— Так это не Гайдай снял, а этот... как его... Ну, кто снял «Мимино»?

Знаток кино ответил мутным взглядом. Я мягко, чтобы не обидеть, спросила:

— А вы уверены, что вы сценарист? Может, вы что-то напутали?

— Ладно, умыла, — ответил он. — Пей коньяк.

С этими словами он разлил остатки по стаканчикам и бросил бутылку за спину, на газон.

Я возмутилась:

— Вот же урна в двух шагах!

Он махнул рукой и ответил:

— Мне захотелось сделать что-то пафосное.

Ещё минут десять мы говорили о ерунде. Бутылка лежала на газоне и пронзительно смотрела мне в спину. Наконец я не выдержала. Встала, сходила за бутылкой, выбросила её в урну.

— Ты что делаешь? — собутыльник был изумлён.

— Помогаю вам бороться с вашими недостатками. Меня тоже потянуло на пафос.

Мужчина ошарашенно посмотрел на меня, внезапно встал и ушёл, не проронив ни звука, в сторону памятника Крылову.

Возле этого памятника через два месяца мы сидели с Олегом. Уже начиналась зима, я была в лёгкой курточке, короткой юбке и осенних ботинках — страх замёрзнуть был меньше страха не понравиться. Внезапно пошёл снег, было красиво, но потрясающе холодно. Пальцы на ногах превращались в ледышки, а руки ходили ходуном. Я не понимала, почему мы всегда встречаемся на улице и пьём, мне хотелось, чтобы Олег хоть раз отвёл меня в кафе и покормил. Но просить я не хотела, а кроме того, боялась, что в этом случае вовсе лишусь наших и без того редких встреч. Олег не замечал, что я продрогла, что меня трясёт. Я же прекрасно понимала, что если мы уйдём отсюда, с этих холодных скамеек, то лишь в метро, где немедленно разъедемся по домам, и смотрела на него почти с ненавистью.

Но он поступил неожиданно — позвал меня в гости к своему другу. У друга происходила пьянка, и меньше всего мне хотелось показываться на ней вместе с моим женатым спутником. Но я почти окончила, и не хотела расставаться к тому

же. Олег обещал, что будет весело. Поэтому мы пошли. Было неловко, я представляла все горы слухов и сплетен, которые неизбежно рухнут на наши головы, поэтому молча грелась, курила и пыталась слиться с обоями. Мужчины глядели на Олега понимающе, женщины — ехидно, меня же рассматривали, как экспонат. В середине вечера пришла молоденькая, известная в узких кругах журналистка, расспрашивала Олега про жену, глядела на меня в упор. От напряжения хотелось расплакаться. Хуже стало, когда мой спутник решил, что пора уходить. Надо было встать и уйти вместе с ним. Не глядя ни на кого, я кое-как отлепила себя от стула, ушла в прихожую и долго стыла там в ожидании, пока он со всеми попрощается. Мимо прошла молоденькая журналистка, смерив меня насмешливым взглядом...

— Уж коли мы взялись за классиков, — говорит Олег, — надо выпить у Крылова!

В серебряных от дождя сумерках видна знакомая ограда Патриков. Мы подходим к памятнику. Из-за пруда доносится странный трубный вой. Мы останавливаемся и пытаемся понять, что может издавать эти душераздирающие звуки. Источник приближается, и через несколько минут мы видим безутешно рыдающего малыша.

— Бедняга, — сочувствует Олег. — Что ж ты так орёшь?

— А ты предложи ему выпить, — советую я.

Настроение у меня не лучше, чем у малыша. Темно и холодно, накрапывает дождь, весёлая беседа не клеится, а серьёзного разговора Олег избегает. Он с большим удовольствием отправился бы домой. Но пока бутылка не допита, он на меня обречён.

Я недовольно морщусь. Олег смотрит вопрошающе.

— Когда мы с дружищем Африканом возвращались из Крыма, — объясняю, — в соседнем купе ехала какая-то хабалка с выводком детей. Нет, я детей вообще-то люблю, но там была такая мерзкая девочка, что хотелось выкинуть её в окно. Она орала не переставая, следом начинали орать и другие дети, она забиралась на верхнюю полку и так колотила в стену ногами, что моя верхняя полка (за стеной!) тряслась и прыгала — я боялась, что она попросту рухнет. Потом эта сопля бегала по всему коридору и визжала. Мы терпели. Но когда они с мамашей встали возле нашей двери и девочка начала орать «Ма-а-ам!», постепенно переходя на ультразвук, а та не реагировала никак, я не выдержала и рывкнула, чтоб она заткнулась. И она заткнулась! О-о-о, эти две секунды блаженной тишины!

Олег качает головой, но всё-таки смеётся. У него самого маленький сын.

— Мамаша тут же наехала на меня, потом наконец-то обратила внимание на дочку и стала её утешать, а на меня гневно зыркать и пыхтеть. Так я внесла мир в простую украинскую семью — они объединились перед внешним врагом. А когда мы приехали в Харьков, эта хабалка вышла первой, дождалась меня и завопила кому-то: «Вот она, вот!» Я почувствовала себя звездой, улыбнулась и помахала ручкой.

— Когда у тебя будут дети, — говорит Олег, — ты поймёшь, что не так всё просто.

Хочется сказать ответную гадость:

— Так ты бы уже выдал меня замуж, что ли.

Он пожимает плечами:

— Выдам.

Мы продолжаем петлять переулками. В одном из них живёт Изольда Сергеевна — вдова классика. Под её руководством я полтора года работала уборщицей в одном из легендарных домов Москвы. Эта высотка дореволюционной постройки помнила Маяковского, Есенина, Булгакова, Ахматову и прочий литературный цвет минувшей эпохи. Ну а я в этом доме мыла полы верхнего этажа, где размещалась редакция толстого журнала и где Изольда Сергеевна работала редактором. На полу в коридоре и кабинетах лежало ковровое покрытие, в женском туалете — линолеум, а в мужском — плитка. Плитка была уложена в год возведения здания, поэтому до моих трудовых дней дошла в печальном виде. Она была столетней, практически целой и изящной, но возле стен уродливо заляпанной более поздним цементом, за который цеплялась тряпка. Поэтому я мыла центр, почти не трогая тёмных углов. Иногда я присаживалась на корточках и разговаривала с плиткой о её долгой жизни, чем весьма пугала поздних посетителей туалета. Впрочем, меня редко заставляли, поскольку занималась я своим благородным делом исключительно по вечерам, когда никого из работников в здании не оставалось и можно было филонить. И ещё можно было незаметно вылезти на крышу, с которой открывался вид на всю Москву и немножко — на Тверскую улицу. Однажды я пришла на работу седьмого мая, в день репетиции военного парада. В тот же вечер, не заходя домой, я должна была ехать в Питер, поэтому филонила больше обычного. После того как мусор был собран, а пол протёрт, я почувствовала себя вольной птицей и, переодевшись, решила выпить чашечку кофе на крыше.

День был ярким и солнечным, а вечером объявили штормовое предупреждение. Ветер дул порывами и с такой силой, что кофе выпрыгивал из чашки. С минуты на минуту должен был начаться ливень. Но люди упорно стояли вдоль Тверской, ожидая прохода военной техники. Вместо техники туда-сюда шныряли милицейские машины, кто-то орал в рупор. Прошло полчаса, из-за крайнего

здания наконец-то высунулась морда первого БТРа, но сразу замерла на месте. Тут же по наждачному настилу крыши ударили крупные капли дождя, потом полило как из ведра, и мне пришлось вернуться в помещение. Я ополоснула чашку, взяла рюкзак и отправилась на Ленинградский вокзал.

Позже выяснилось: бдительная милиция разглядела меня на крыше, приняла за снайпера и намеренно задержала военную технику. Разбирательства длились полночи, по крыше шнырял ОМОН, весь дом стоял на ушах, а я спокойно ехала в сидячке и жалела о том, что не успела увидеть репетицию парада. По возвращении мне надавали по ушам и запретили выходить на крышу. Репрессий со стороны властей не последовало.

Вышеупомянутую Изольду Сергеевну я помню с того самого литературного фестиваля, где научилась пить водку. Тогда же я познакомилась с дружищем Африканом. Существуют две версии нашего знакомства. Моя версия начинается с того, что я, малопьющая, накануне оказалась в кругу поэтов со стажем и на следующее утро проснулась с дикой головной болью. В тот день по коридорам и лестницам пансионата, где проводился фестиваль, я ходила медленно и плавно, боясь неосторожным движением потревожить голову, а особенно её заднюю ноющую часть. Видя моё состояние, даже Изольда Сергеевна, безжалостно загонявшая молодых писателей на литературные встречи, проявила понимание и не стала меня тиранить. Вечером я вышла на крыльцо — покурить и подышать воздухом. Было свежо, даже морозно. Возле входа по красным кирпичам здания ползли заиндевелые ветки дикого винограда. Само здание тоже было каким-то ползучим: своими корпусами-шупальцами оно напоминало застывшего гигантского осьминога. Через несколько минут ко мне присоединился парень в кепке и стильных очках. Мы разговорились, и он предложил:

— Ну что, пойдём в бар? Коньяком тебя угощу.

Мысль об алкоголе вызвала неодобрение в организме, и я ответила:

— А может, лучше кофейком?

Но купил он нам всё-таки коньяк. Объяснил, что папа его — изрядный шутник, потому и дал сыну такое звучное имя — Африкан. Рассказал, что сам он драматург и что недавно его пьеса вышла в толстом журнале. Слова он произносил с очаровательной ленцой. На фестиваль он тоже приехал впервые, ему тоже было здесь не по себе. Мы решили объединиться и вместе искать развлечений.

На следующий вечер мы столкнулись в коридоре. К тому моменту я обнаружила в своём номере бутылку водки и желала с кем-нибудь от неё избавиться.

— Привет! Хочешь водки? Пойдём ко мне! — Африкану я искренне обрадовалась, к тому же хотелось отблагодарить его за вчерашнее угощение.

С этого момента и начинается вторая версия нашего знакомства. По словам Африкана, к нему подбежала абсолютно незнакомая жизнерадостная девица и предложила пойти к ней в номер пить водку. От удивления он согласился. Как выяснилось, Африкан, будучи накануне весьма под мухой, предыдущего вечера не запомнил.

С тех пор мы редко появлялись на литературных мероприятиях поодиночке. Однажды я сказала: — Слушай, но ведь надоело! Нас все считают семейной парой. Этак я и замуж никогда не выйду. Может, не будем портить друг другу личную жизнь и начнём представляться родственниками?

Африкан задумался, рукой поправил обрабатываемые волосы и мечтательно произнёс: — М-м-м! Шальные сестрички!..

— С Блоком-то будем пить? — спрашивает меня Олег.

— Да.

Мы проходим по узкой асфальтовой тропке вдоль стены дома. Дорога не освещена, и я ступаю осторожно, пытаюсь не угодить в лужу.

Памятник Блоку — одно из культовых мест для студентов Литературного института. На первом курсе все ходили туда пьянствовать и неоднократно попадали в руки, а после и в машины служителей правопорядка. Всякий раз, узнав, что приняли поэтов, менты смеялись, покорно выслушивали стихи и быстренько высаживали неприбыльных пассажиров.

Я была старше моих однокурсников, они меня побаивались и потому пить с собой не звали. Вероятно, поэтому я до сих пор не побывала в отделеции. Единственное моё столкновение с органами больше напоминало самопиар, чем попытку задержания. В Москве шли митинги, Интернет бурлил, рядом с присвоенной оппозицией Триумфальной площадью ежедневно задерживались люди. Литераторы на события реагировали вяло: заявляли, что политика — это мирская суета, и принимались думать о душе. Мне же дома не сиделось.

Площадка возле «Маяковской» была оцеплена, но станция продолжала работать на вход и выход. Выходивших людей омовцы с рупорами расталкивали и уговаривали расходиться как можно быстрее, стоявших на улице чуть ли не силой запикивали в метро. Время от времени они вставали в шеренгу и медленно теснили толпу по Тверской в сторону Пушкинской площади. Пройдя квартал-другой, бойцы внезапно поворачивались и ручейком утекали куда-то за ларьки и припаркованные машины. Свободные граждане великой страны с радостью возвращались на исходные позиции. Бессмысленность происходящего удручала. Не было ни лозунгов, ни знамён, мы стояли молча, ничегошеньки не нарушая. За час менты

провернули свой бессмысленный трюк раз пять. В процессе очередного притеснения оказалось, что другая группа ОМОНа подпёрла наш тыл со стороны Пушкинской, и мы оказались в окружении, и кольцо неотвратно сжимается, что людей выцепляют из толпы и разводят по автозакам. Молча стоявшего рядом со мной пожилого и приличного мужчину окружили и увели за ларьки. Стало ясно, что пора куда-нибудь слинять от служителей правопорядка, и началось движение. Казалось, мы — дети, азартно играющие в прятки. Все кафе в этой части Тверской в связи с происходящим закрылись на ремонт, учёт, уборку и снос, работал лишь небольшой продуктовый магазинчик, и мы набились в него, как сельди в бочку. Девушка-продавец глядела то ли испуганно, то ли гневно и требовала от нас покупок. Кто-то от дверей передал деньги и попросил минералки. Через десятки рук деньги проплыли к кассе, в обратную сторону отправилась минералка. Спустя несколько минут вторая цепь ОМОНа прошла мимо дверей, и мы, как из утреннего общественного транспорта, вывалились из магазина на свежий воздух.

Расходиться никто и не думал — в крови играл адреналин.

Возле входа в станцию я наткнулась на двух товарищей, «нашиста» и оппозиционера, умно и вежливо диспутировавших под прицелом телекамер. Неподальёку от них льнула друг к другу юная парочка совершенно не революционного вида, омовцы кидали на них недоверчивые взгляды, но целоваться не мешали. Чтобы лучше слышать спор идейных противников, я влезла на железное ограждение за их спинами. Немедленно ко мне подошёл мент — симпатичный дядька с пышными усами — и поманил в темнеющую даль.

— Девушка, можно вас на минутку?

— А зачем? — спросила я, мило улыбаясь и крепче вцепляясь в ограждение.

— Поговорить.

— А о чём? — я улыбнулась ещё милее.

Он задумался и поинтересовался, к какой партии я принадлежу.

— Ни к какой, — ответила, стреляя глазками. — Я поэт.

Мент смутился и спросил, что я пишу.

Я с охотой рассказала, что работаю в основном над гражданской и философской поэзией, немножко занимаюсь любовной лирикой; впрочем, мне кажется, сейчас не то время, чтобы можно было позволить себе, как поэту, разбрасываться на мелочи типа любовных стихов, ведь такие масштабные события в стране, вот о чём надо писать, а вы как думаете?

— А-а-а... где вас можно почитать? — его пышные усы задёрнулись от смущения.

Я перечислила. Он расплылся в улыбке и спросил:

— А как ваше имя?

Я назвалась. Мент зацвёл майской розой:

— Да-да, что-то слышал!

И ушёл.

Я пересказываю эту историю Олегу и смеюсь. Он же принимает меня ругать:

— Напрасно ты ходишь на митинги. Чего доброго, угодишь в мясорубку!

Олег уверен, что рано или поздно дело дойдёт до баррикад и уличных боёв. Также он почему-то уверен, что я заведомо политический сдох.

— Послушай, — говорю, — а ты вообще в курсе, как я живу?

Но он уже начал поучительную историю и не обращает на мой возглас никакого внимания.

— Я тоже в молодости хотел изменить мир. И на митинги ходил, пока не понял, что всё бесполезно. А в девяносто третьем меня омовец к асфальту автоматом прижал, и я решил, что лучше посижу дома.

— За террориста принял?

— Нет. От снайпера спасал — тот на чердаке засел. Потом снайпера всё-таки взяли, из здания вывели, а до машины уже не дотащили — народ его в ключья разорвал. На Арбате, кстати, дело было.

— А в девяносто первом ты где был? — интересуюсь я.

История про девяносто первый уже сидит у меня в печёнках.

Олег не улавливает насмешки.

— В отпуске! — это шутка, приходится вежливо улыбнуться в ответ. — Бухал у друзей на даче. В Москву вернулись под вечер, часа через три закончилась водка. Мы пошли искать таксиста, тогда только у них можно было ночью водку приобрести. Вышли на улицу, а там — ни души. До перекрёстка дотопали, смотрим, овощная палатка, фрукты-овощи лежат, арбузов куча, а хозяев нет. Постояли, подождали — тишина. Так мы набрали сколько могли унести — и домой. Ходок пять за ночь сделали. Арбузов штук двадцать притащили, персиков, винограда, слив уйму. Только утром узнали про введение комендантского часа и поняли, почему людей на улице не было. А ведь нас в ту ночь вполне могли пристрелить.

Он делает вид человека, который чудом избежал гибели, а теперь вспоминает боевую юность. — Орден-то дали?

Он видит, что я не впечатлена, откручивает крышку бутылки и протягивает мне. Мы у подножья памятника Блоку; я перешагиваю газон, тянусь и чокаюсь с бронзовой ногой классика. Его печальное, блестящее от дождя лицо говорит мне, что ещё не такие номера откалывали здесь пьяные поэты и что глаза бы его на нас не глядели. — В том доме, — кивает Олег на многоэтажку, — жил Папанов. Если ты, конечно, знаешь, кто это.

Ему тоже хочется говорить гадости, и я обрадована: мы нашли тему для беседы.

— Знаю-знаю! Когда ты окончательно постареешь, ты будешь на него похож.

— Не доживу! — вздыхает Олег, прижимает бутылку к губам и запрокидывает голову.

Когда мы покидаем Блока, вместо дождя начинает идти снег. Мелкий и несерьёзный, а потому холодный. Я из дурного упрямства продолжаю идти без шапки. Олег, не обращая на меня внимания, плотнее натягивает кепку, и я злюсь на него ещё больше.

— А я, кажется, влюбилась, — я по-женски пытаюсь хоть чем-нибудь его пронять.

— Ты потому сегодня такая ошеломлённая? — участливо интересуется Олег. — У него ночевала?

Он не впечатлён, и настроение у меня портится окончательно:

— А тебе совершенно безразлично?!

— Нет, что ты! — Олег принимает серьёзный вид. — И кто же он?

— Так, — отвечаю, — один знакомый.

— Хомяков? — допытывается Олег.

— Сдурел?

— А разве у вас не роман?

— Нет, — отвечаю, — у нас алкогольное братство.

Хомяков — человек контрастов, к нему я отношусь с интригующей смесью уважения и отвращения. Первое чувство вызвано его необычайным интеллектом, второе — невыносимым поведением. Хомяков способен рассуждать о философии Канта и тут же забраться в мусорный бак и заорать матерную националистическую кричалку. Он зарабатывает хорошие деньги, но покупает самую дешёвую водку — не из жадности, но от странного чувства самобичевания. Эту же самую водку он может запить дорогим вином и залакировать пивом, при этом вполне вменяемо анализируя классическую поэзию и пафосно негодуя на алкоголизм современников. И что хуже всего — он мне понятен во всех проявлениях: я такая же, только девочка. Поэтому мы дружим.

Олег полгода назад, весной, видел нас вместе с Хомяковым на посиделках после презентации очередной поэтической книжки. Что это был за поэт, каковы были его стихи, хоть убей, не вспомню. Но по окончании вечера мы отправились в кафе: Хомяков жаждал покормить бедного студента, то есть меня, к тому же ему необходимо было обсудить общее дело с кем-то, уже там сидящим.

Этим «кем-то» и был Олег. Судя по всему, те несколько месяцев, что мы не виделись, пролетели для него незаметно. Он поздоровался со мной без тени смущения, как со старым приятелем. Мне тут же расхотелось есть, пить и существовать. Кроме Олега, за столом пиروвали поэт Петров и веселый критик Карпов. У Карпова я занималась в семинаре

поэзии на осеннем фестивале молодых писателей. Более зверского семинара мне не встречалось; тем не менее, ежегодно у Карпова нет отбоя от слушателей. Не помню, что он говорил по поводу моих стихов, но вряд ли был от них в восторге. Зато малоприятная критика от Петрова, который тоже участвовал в работе семинара, запечатлелась в моей памяти на века. С тех самых пор мы играем с ним в своеобразный пинг-понг: кто-то выдаёт едкую колкость, другой парирует колкой едкостью. Он мне, к примеру, говорит: «Что-то глядишь печально. Жизнь, наверное, не удалась? Ни мужика, ни денег...» А я ему отвечаю: «Так ведь пишу в поте лица. Не на тебя же русскую литературу бросать! Твои хрупкие плечи не выдержат этой глыбы...»

Если мы пьём в одной компании, то продолжаться эта игра может бесконечно. Но сейчас здесь сидел Олег, и мозг отказывался работать, и не было благовидных поводов для ухода.

— Ё-о-ож! Водку пьёшь? — спросил меня Хомяков.

С первого дня нашего знакомства он утверждал, что я не только похожа на ежа, но даже и фамилия моя рифмуется с этим животным. На резонные высказывания типа «„Хомяков“ и „забор“ — это тоже рифма» он обижался и обещал больше со мной не дружить. Но всё равно дружил и иначе чем ежом не называл.

Вместо меня ответил нарочито возмущённый Петров:

— Чтобы она да от водки отказалась? Должен наступить конец света!

Рефлекс сработал, я сумела оторвать взгляд от скатерти.

— Зачем же затевать конец света из-за такой ерунды? Пожертвую собой, выпью водки.

Олег заулыбался и хмыкнул. Критик Карпов повернулся ко мне, поправил очки и, дружелюбно протянув руку, сообщил:

— Меня зовут Александр Львович. А вас?

— А я Авдотья Тряпочкина, — я пожалала его ладонь, а потом объяснила: — Мы же с вами знакомы неоднократно.

Карпов не смутился.

— Ну что со старика взять? Дела, склероз!

Он улыбнулся и развёл руками. Я посочувствовала:

— Ну, если склероз, тогда, конечно...

В этой доброжелательной атмосфере мы просидели несколько часов. Взгляд Олега ползал по мне, как муха, я старательно не смотрела в его сторону. Когда водка была выпита, а еда съедена, Карпов засобирался домой:

— Супруга с ужином ждёт.

— Не наелись? — спросила я, кивая на общую посуду, почему-то составленную именно перед ним. — Знаете, — назидательно начал Александр Львович, — если вы почитаете русские романы девятнадцатого века...

— Ну-у!—воскликнула я.—Непреренно почитаю!

Петров захихикал:

— В мире существует два вида язв: сибирская и вот эта дамочка.

— Тем не менее, аперитив никто не отменял,— закончил Карпов свою мысль.

Вслед за Карповым и остальные решили расхотиться. Олег хотел обнять меня на прощание, но я совершенно случайно спряталась за дверь. — Ё-о-ож! Ты с Карповым-то зря ссоришься,— говорил позже Хомяков.— Он хороший человек. Замученный только. А ты—молодая и глупая и могла бы над ним не издеваться. Вот!

— Нет,—отвечала я.— Мне просто не нравится, когда кто-то знакомится со мной в пятый раз. А зато теперь он меня запомнит.

Карпов действительно не забыл. При следующих встречах он здоровался со странной улыбкой—как будто оценивал возможность подвоха с моей стороны. А Олег после того вечера стал подначивать меня отношениями с Хомяковым.

— Неужели ты ревнуешь?—радостно спрашиваю я.— Конечно, нет,—фыркает Олег.— Мне Хомякова жалко.

— Дался тебе Хомяков! С ним весело. Вот в прошлую субботу мы, к примеру, катались кубарем с откоса. Знаешь мост возле Киевского вокзала?

Правым глазом он выжидающе смотрит на меня, левым осматривает бесконечность, и мне опять кажется, что за нами кто-то следит.

— А под мостом—крутой травяной откос, по нему можно спуститься на трассу и набережную. Вот с него мы и катались, как два бочонка. Сначала Хомяков, потом я. Это опасно, там реально вылететь на трассу.

Олег окидывает меня скептическим взглядом: — Судя по всему, ты выжила.

— Я под конец испугалась, начала цепляться за траву, а она обрывалась. А потом оказалось, что внизу горка становится пологой, сверху этого не видно, вот тут-то я и затормозила. А потом мы купили коньяка и орехов, сидели на пустыре, там возле моста здоровский есть, огороженный. Болтали о всякой всячине... Правда, на следующий день он этого не вспомнил, но с кем не бывает?

— Как плодотворно вы проводите время!—восклицает Олег.

И я с удовольствием вижу, что он всё-таки ревнует.

— Кстати, хотел сказать: повесть у тебя отличная получилась,—переводит он тему.— Я даже думаю, что именно сейчас и начнётся твоя авторская судьба. Тебе надо писать прозу.

Год назад он заявлял, что самый мой большой талант—это голос, а с литературой лучше бы завязать.

— Материал благодатный попался,—отвечаю я.— Правда, в основном меня за эту повесть ругают. Вот один литературный патриарх с бородой Герцена обвинил меня в нечуткости к языку. Сказал дословно следующее: «Раз вы не понимаете, что встретить кого-то—это означает, что он шёл вам навстречу, значит, у вас совершенно нет чувства языка!»—а потом с ненавистью добавил:— Значит, идите и пишите стихи!»

Олег, как обычно, шутки не понимает:

— Можно подумать, в стихах чутьё не нужно! Да здесь оно в тысячу раз нужнее.

— Олеч,—говорю я мягко,—дорогой мой человек! Смеяться после слова «лопата». А ещё у меня недавно было занятнейшее обсуждение. Представляешь...

— Да,—перебивает Олег.— У меня тоже был случай...

Он никогда меня особо не слушал, но сейчас я обижаюсь:

— Тебе что, совсем неинтересно?!

— Ну что ты такое говоришь?—он глядит на меня, как добрый дедушка на неразумную внучку.— Я только хотел тебе рассказать, как лет десять назад попал в странную компанию. Там...

Я машу на него рукой и отворачиваюсь. Минут десять он рассказывает историю, сути которой я даже не пытаюсь уловить. Я гляжу на него искоса и думаю о том, какой он самовлюблённый болван.

Занятнейшее обсуждение началось с того, что одним прекрасным вечером дружище Африкан прислал сообщение: «Ты вообще в курсе?»—со ссылкой на литературное объединение, в котором завтра будет обсуждаться моя повесть...

Нет, я не в курсе. Я в замешательстве. Руководитель этого ЛИТО, Андреев, имеет отношение к нашему институту и потому живёт в общежитии. Как-то раз он встретил меня на лестнице и попросил закурить. Мы разговорились, и между делом я рассказала, что ездила волонтером в зону ЧС и после этого написала повесть. Он попросил почитать, и я отправила повесть ему на почту. Всё. На письмо он не ответил, при встречах кивал как обычно—за годы в Лите мы все примелькались друг другу. Вряд ли он вообще меня запомнил—во время вышеупомянутой беседы он был не слишком трезв.

Поскольку никто меня не приглашал, на обсуждение я решила сходить инкогнито. Прикрывать меня взялись друзья—выпускники Лита: Сердюков и его жена Люба. Встретиться договорились в чебуречной неподалёку от института.

— О чебуречная! Ты величайшее произведение искусства, ты незыблема, как сама земля. Сколько нас, одичавших и обессиленных, прибилося к твоему гостеприимному берегу! Пройдут века,

а пьяные литераторы будут сидеть в подвальчике, выливать целебную жидкость из гранёных стаканов в пересохшие рты, заедать её лимоном с солью и перцем, воздвигать мусорные пирамиды из грязных тарелок, стаканов и салфеток. Сигаретный дым будет выедать глаза, им пропахнут волосы и одежда, от него не будет спасения даже в зале для некурящих, потому что вытащить сигарету из поэтического рта — хотя бы на минуту! — бессилён и самый кровавый режим. Курить поэты перестанут только тогда, когда опустеют все табачные ларьки во всём мире. И если случится эта несправедливость, мы распашем огороды и взрастим на них самосад. И если бесчувственные политиканы лишат нас водки, мы не станем учиться хмелеть от кефира, нет, мы спаяем самогонные аппараты и поставим бражку на антресолях. О! Мы отстоим своё драгоценное право на прокопчённые лёгкие и тяжёлую почерневшую печень. Ибо мы — рупоры эпох! Ибо поэзия неподвластна сиюминутным решениям сильных мира сего!

Так говорил кудрявый и величественный Вася Васильев — один из завсегдатаев чебуречной. Остановив на мне свой добрый голубой взгляд и уже не отводя его, он пел дифирамбы существу и вящему, рифмовал «салями» с «Майами», взмахивал рукой с зажатой в ней стограммовой бутылочкой и читал стихи Георгия Иванова.

Ему внимала моя однокурсница Ирка. Первое время она казалась мне недалёкой, но доброй девочкой, и только на третьем году совместного обучения я осознала, какой могучий ум, какой величайший сарказм она прячет от посторонних под маской простоватости. Ирка — одна из немногих литературных знакомых, с которыми у меня получается разговаривать всерьёз. Она утверждает, что в семье у неё все были юмористам, но, слава Богу, многие умерли, так и не успев пошутить.

Я купила чаю и плюхнулась за их столик; товарищи, обременённые водкой, взглянули на меня с осуждением. «Предатель!» — читалось в их взглядах.

— Ах ты, двуличная лиса! — отчеканил Вася, прищурившись и размахивая бутылкой перед моим носом. — Что держишь ты в своих жадных ручках? — Ах, негодница! — завопила Ирка и потянулась к моим сигаретам.

Переглянулись и хором пропели:

— Преда-а-а-а-атель!

К приходу четы Сердюковых мои щёки пылали, а спина от стыда за собственную трезвость покрылась пóтом. Через минуту после их прихода в чебуречной объявился не кто иной, как Андреев — руководитель того ЛИТО, на заседание которого мы собрались идти. Он купил себе бутылку лимонада, вылил его в пивную кружку и подсел к нашей компании. Сообщил, что скоро ему придётся уходить, что сегодня на ЛИТО

обсуждается повесть про недавний катаклизм (мы с Сердюковыми переглянулись).

— А что за повесть-то? — спросила я. — Кто автор?

Андреев упёрся в меня мутным, исподлобья, взглядом и проскрипел:

— Какая-то неизвестная девочка. Она, наверное, сегодня не придёт. Я ей послал приглашение, она не ответила, не знаю, может, письмо не дошло. Да и посылал-то как на деревню дедушке. С одной стороны, без автора обсуждать... — он прищёлкнул языком и сделал рукой «ай-на-нэ». — А с другой — неплохая повесть, почему бы не обсудить?

— Ой, — мгновенно сориентировалась Люба Сердюкова. — А можно прийти послушать? Так интересно!

Андреев, само собой, разрешил.

На ЛИТО не оказалось знакомых лиц, и разоблачить меня было некому. Надёжно спрятавшись за могучей спиной Сердюкова, я слушала откровения моих читателей.

Первая девушка оказалась моралисткой. Тоненьким голоском она негодовала на автора за малое сопереживание жителям затопленной зоны. — Насчёт положения дел в городе — мне понравились описания. Но мне совершенно не понравилось то, как автор описывает поведение молодёжи. Бессердечные какие-то. Там же наводнение, горе, трупы, семьи рушатся. А у них какие-то свои дела, они как будто вообще не обращают на это внимания. Если бы я была там, я бы за каждую семью переживала, за каждую кошку!

Андреев откинулся на спинку стула и закашлял смехом:

— То есть ты днём нагладелась на трупы, вечером сидишь переживаешь, к тебе подходит друг и говорит: «На-ка выпей, отпустит!» — а ты ему отвечаешь: «Нет у меня времени водку пить! Я за кошку переживаю!» Так, что ли?

Девушка смутилась. Андреев покачал головой, достал из сумки плоскую фляжку и причастился к её содержимому.

Следующие читатели искали в тексте «блех», ругали власть, обсуждали историю описания котят в русской литературе и необходимость поиска языка, каким надо писать о катастрофах. Равнодушным остался только портрет Шолохова на стене. В середине вечера пришла крупная девочка в очках. На неё посмотрели с подозрением и тут же спросили, не она ли автор. Девочка перепугалась, чуть не расплакалась, и от неё отстали.

Самые жаркие споры возникли по поводу фразы: «Дашь одному — от остальных не отобьёшься». — Девушки не могут так думать! — возмутился какой-то мужчина с повадками застенчивого подростка. — Она как о товаре об этом говорит! — При чём тут товар? — защищала меня женщина в годах. — Мои взрослые дети ещё и покруче выржаются. А от этой фразы сразу перед глазами

встаёт картинка: как много там было молодых привлекательных парней. Очень удачная фраза. — Конечно, удачная! — поддержал её мужчина с таким лицом, на котором усы запоминаются даже в случае их отсутствия. — У неё и про «цветочек» очень ёмко! Не «труп», не «ноги-руки», а «цветочек» — и от этого становится прямо жутко.

— А по-моему, это просто неспособность автора обращаться с языком. Вы же все пошли у неё на поводу и додумываете за неё то, что она должна была сказать, но не говорит. Просто таланта нет, чтобы сказать! — вмешалась коротко стриженная и уверенная в себе барышня.

Я почувствовала, как на лице задёргались мышцы, обхватила щёки ладонями и стала смотреть на свой ботинок.

— У неё же ни одного итога, никаких выводов! Сплошное описание, и то с «блохами». А ведь и юридический документ можно описать так, что он станет произведением литературы. Это обычное авторское бессилие, потому здесь и «даст — не даст», и все остальные корявости.

— Не должна она так выражаться! — ни к селу ни к городу заверещал женский голос от противоположной стены. — Если хотя бы одному мужчине неприятна такая формулировка, значит, автор не имеет права так выражаться!

Андреев отставил фляжку, повернулся на звук и спросил:

— А вы сами-то читали?

Женский голос возмущённо ответил:

— Нет, и не хочу! Мне по комментариям понятно, что не стоит тратить на это время.

— Не читал, но осуждаю... — шепнула мне Люба.

— Признаваться-то будем? — так же шёпотом спросила я её.

— Конечно! Знаешь, как прикольно будет! — и подмигнула.

Внезапно очередь выступить дошла до нашей тройцы.

— Вы читали? — спросил Андреев.

Мы с Любой дружно замотали головами. Сердюков посмотрел на нас ехидно и заявил во всеулышание:

— А я читал.

— И что же вы нам поведаете?

Сердюков неторопливо достал из сумки распечатку моей повести, сел поудобнее, прокашлялся (меня уже заметно трясло) и начал речь. Говорил он недолго, но обстоятельно, и к концу его выступления даже я была убеждена в том, что написала великое произведение.

— Сашк, — шепнула я ему, пока все переваривали услышанное. — А теперь встань и скажи, что женское имя на обложке — это твой псевдоним...

Сашкино выступление странным образом изменило мнение большинства. Внезапно выяснилось, что повесть удалась, автор неплох, но отношение

читателей ему стоит учесть. А это значит, что надо записать все высказанные мысли и отправить их автору по электронной почте... Тут я не выдержала, наконец-то высунулась из-за спины Сердюкова и попросила слова.

— Знаете, — сказала я, — я сюда случайно сегодня попала. Меня никто не предупреждал, что будет обсуждаться моя повесть. Но всем спасибо, было весело! — и села обратно.

После минутного затишья начался переполох, запрыгали восклицания и следом за ними вопросы: действительно ли я автор, на самом ли деле я была волонтером, не хочу ли я дописать или переписать повесть через некоторое время. Я ответила, что да, это я, волонтером была, переписывать не хочу, но, возможно, напишу что-то вроде продолжения. — С ума сошли?! — воскликнул Андреев, трясая пустой фляжкой. — Боже вас упаси от сериалов!

После заседания мы в прежнем составе вернулись в чебуречную. За два часа нашего отсутствия прибавилось народу, поэтому верхняя половина воздуха состояла из сигаретного дыма. Вася Васильев и Ирка сидели всё за тем же столиком. Вася вдохновенно рыдал, Ирка пыталась оторвать его от насиженного места и спровадить в общагу. Задача эта была практически невыполнима, но Ирка старалась.

— Белая горячка, — пояснила она шёпотом. — Дашь сигарету?

Я протянула ей открытый портсигар, Ирка взяла две — себе и Васе. Сидящий со мною рядом Андреев уже достаточно нетрезвым голосом сообщил в пространство, что сегодняшнее обсуждение удалось на славу.

— Что же, — спросила я, — вы так меня и не узнали? — Как это не узнал?! — искренне возмутился он. — Конечно, узнал! Просто вид делал, чтоб никто не догадался...

Я слышу, что Олег закончил свой рассказ.

— Ты когда-нибудь был в чебуречной? — спрашиваю я.

Похоже, удар попал в цель: именно чебуречная имеет наименьшее отношение к его истории. Я гляжу тревожными глазами, мне необходим его ответ, ничто в мире сейчас не имеет такой важности, как чебуречная. Несколько секунд он пытается найти подвох, он нервничает, но потом успокаивается и отвечает:

— Нет! И в «Макдоналдсе» тоже!

Я поджимаю губы и вздыхаю. Он смотрит искаса, но наконец-то молчит.

Срезав угол возле станции метро «Смоленская», мы попадаем на Старый Арбат и проходим мимо застывшей пары — Натальи Николаевны и Александра Сергеевича. В их сжатые бронзовые руки кто-то вложил красную розу в целлофановой обёртке. Выглядит это неестественно и пугающе.

Однажды мы с однокурсницей Машей пришли сюда петь. Она замечательно играла на гитаре, я не менее хорошо пела, в заботливо подставленный кофр летели банкноты и монеты. Через некоторое время к нам подошли представители сувенирного магазина, расположенного напротив, и попросили переместиться. Оказалось, что мы отбиваем у них клиентуру: вместо того чтобы глядеть на рекламу, люди пьют на нас. В Машиных жилах текла гордая кубинская кровь, к тому же она не первый год пела на Арбате и хорошо знала московские законы, разрешающие этот мелкий заработок. Поэтому мы заартачились и сообщили, что покинем наше хлебное место только под конвоем, а до той поры будем стоять здесь насмерть. И в подтверждение запели «Интернационал». Озадаченные представители магнитов и матрёшек ушли. Вернулись они через некоторое время и предложили компромисс: они платят нам по сотке, а мы сдвигаемся на двадцать метров. Моя кровь была не такой гордой, как у Маши, поэтому я согласилась и уговорила подружку переместиться. Одарив наших гонителей гневным взглядом, Маша демонстративно сделала двадцать небольших шагов в сторону. Новое место отличалось от старого только тем, что неподалёку «квасили» пахучие бомжи и здесь к нам быстрее подползло безжалостное июльское солнце. Так что, в конце концов, пришлось и вовсе уйти на другую, тенистую, сторону Арбата. Бомжи, великие ценители уличной музыки, последовали за нами. Столь благодарных слушателей мне ещё не попадалось: они наслаждались нашими голосами, замирая и обращаясь в слух, стоило нам что-нибудь запеть, и я изо всех сил старалась не переврять ноты. Через час я заметила странное оживление в их содружестве: они шевелились и шушукались, кто-то порывался встать, его дёргали за одежду и заставляли сесть обратно на брусчатку. Вскоре ситуация прояснилась: один из них нерешительно подошёл, держа ладони лодочкой, наклонился к нашей копилке-кофру и высыпал в неё пригоршню монет. Прижав руку к сердцу, он запрокинул голову, а потом так резко швырнул её вперёд, что чуть не клюнул себя в грудь. Мы ошарашенно пролепетали слова благодарности. Выполпив миссию, бомжи свернули лагерь и ушли в неизвестном направлении. Марш про «вихри враждебные» понёсся им вслед.

Через несколько метров Олег восклицает:

— Чёрт! Мы же про Пушкина забыли!— и лезет в сумку за вискарём.

— Может, подойдём ближе?

— Нет,— уверенно отвечает Олег.— Он с женой. Чего доброго, поскандалят.

Мы выпиваем, и мой спутник продолжает на ходу развивать глубокую мысль— удачную шутку он выжимает досуха:

— Ох уж эти жёны! Как самим пить— так можно, а как мужик выпьет— так сразу разборки устраивают.

— Милый друг!— отвечаю я.— Не надо проецировать свои семейные проблемы на классиков.

Несмотря на поздний час и темноту, на Арбате ещё работает несколько художников. Один высказывает передо мной:

— Девушка, пишем?

— Только тем и заняты,— вместо меня отвечает Олег.

Возле памятника Булату Окуджаве мы допиваем виски.

Конец первой бутылки

Вторая бутылка

Мы проходим Арбат и направляемся к Гоголевскому бульвару. С Гоголем тоже необходимо выпить.

Неиссякаем запас алкоголя в сумке моего спутника. Мы останавливаемся возле высокого постамент. Из-под шарообразных опор фонарей выглядывают морды расплуженных львов.

— Когда я был маленький, у меня была книжка. Про тридцатые годы и советскую школу. Не помню, правда, ни автора, ни названия.

— Макаренко?

— Нет... Там был такой эпизод: учитель рассказывает про своих детей, как он привёл их на Гоголевский бульвар и те немедленно оседлали львов. Учитель вспоминает, что и сам он в детстве так делал. Отсюда вывод: жизнь бесконечна.

Лицо его становится одухотворённым и романтическим. Поэтому я отвечаю восторженно:

— А я возле этого памятника год назад с Черным целовалась!

Он сплёвывает, открывает вторую бутылку и протягивает мне со словами:

— Стерва. Я ей про жизнь, она мне про Черных.

Основной посыл моей фразы он игнорирует. Я не унимаюсь:

— А ещё я вчера прилюдно обнажила молодого человека.

Олег прищуривается:

— У тебя навязчивая идея: то сама разденешься, то кого-то другого разденешь. Почему ты так пренебрегаешь одеждой?

— А мне нечего скрывать от коллектива,— заявляю я пафосно.— И вообще, ты самого интересного не видел. Мы с Африканом в группе туристов катались на катере пьяные, как два бегемотика. И я голышом ныряла с борта. Так за мной такая очередь выстраивалась...

— Нырнуть хотели?

— Если бы. Посмотреть...

Олег щёлкает языком, и мне отчего-то хочется оправдаться:

— Зато у меня есть замечательное фото в воде! В стиле «ню». Очень красиво, только вряд ли я его когда-нибудь обнаружю.

— А что? Поставь на аватар, собери лайки,— он подмигивает.

— Спасибо. Мой внутренний голос и так уже называет меня нецензурными словами. Ещё он требует избегать твоего общества, ты на меня плохо влияешь.

Олег делает честные глаза (со своим косоглазием он становится похож на бешеного кота) и пытается обнять меня за плечи:

— Мы же только недавно помирились!

Я вынырываю из-под его руки, а он неприятно хихикает.

Примирение наше произошло неожиданно. Год спустя, там же, где всё началось,—возле моря, на одном из южных фестивалей.

В тот вечер мы с Африканом пришли ужинать в кафе на набережной. Несмотря на бесконечное ожидание заказов, дорогущую выпивку и невкусную еду, почему-то это заведение пользовалось популярностью.

За большим столом сидела шумная компания, в том числе и Олег, который тут же позвал нас присоединиться. К Африкану он всегда относился с уважением.

— Ну что, подсядем?—спросил Африкан.—Неудобно отказываться. Станет совсем худо—скажи, сразу же уйдём.

Я кивнула.

Люди приходили и уходили, все шумели и пили. Оказалось, что я вполне могу общаться с Олегом, не желая отдубасить его сковородой по голове. Сковорода как раз стояла передо мной, в ней мне принесли мясное татарское блюдо. Кроме того, на столе громоздились полупустые бутылки, тарелки с остатками еды, окурки в пепельницах лежали горками. Сквозь всё это богатство сидящий напротив Олег томно улыбался, а я предвкушала, как изящно и красиво пошлю его куда подальше, если он решит припомнить былое, и ситуация ещё больше грела душу.

По набережной внизу плыла орущая толпа, море волнами ударялось о берег. Когда наступило время вечерней музыки, от которой лопались ушные перепонки, пребывание в кафе стало абсолютно невыносимым.

— Идёмте купаться?—предложил кто-то.

Тут же послышался грохот отодвигаемых стульев и роняемых рюмок—многие оживлённо собирались.

— Пойдёте?—спросил Олег, вставая и глядя на меня.

— Пойдём,—с вызовом ответила я.

— Пас!—отмахнулся Африкан.—Спина болит, прилечь бы надо,—и, похлопав меня по колену, добавил:—Не потони.

Гостиница, в которой жил Олег, стояла на самом берегу, далеко от центральной набережной. С балкона его номера можно было напрямую спуститься к морю. Поэтому вся толпа направилась в гости к Олегу.

— Ишь ты!—восхитилась я.—Как у тебя здорово!—В прошлом году я в другом месте жил, мне там не понравилось—до моря далеко. Это там, в глубине посёлка.

Я посмотрела на него с удивлением.

— А, ну да,—опомнился он,—ты же в курсе...

Купаться решили по очереди: сначала девочки, после—мальчики. Но пока мы дошли до цели, многие успели передумать, поэтому основная часть прибывших осталась на балконе—пить и наблюдать за нашим купанием. Практически никого из Олеговых гостей я не знала, подразумевалось, что все знакомы. Одно было известно наверняка: все они имеют отношение к литературе и потому пьют как слесари.

Вместе со мной к морю направилась девушка в длинном цветастом платье. На ней не было белья, поэтому, стянув платье через голову и кинув его на лежак, она сразу шагнула к воде. Это было изящно и наверняка вызвало массу эмоций у людей, следящих за нами с балкона. Я попыталась так же красиво выскользнуть из джинсов, но застряла в штанине и долго смешно прыгала, пытаюсь её стряхнуть.

Вода оказалась холодной, и, быстро окунувшись, мы поспешили обратно—греть души приятной компанией и алкоголем.

На балконе пьянка шла своим чередом. Коньяк был таким же бесконечным, как море, но уставшие литераторы постепенно расходились—компаниями и поодиночке, так что к двум часам нас осталось трое. Девушка в цветастом платье замёрзла, и Олег заботливо укутал её одеялом. Мы сидели на балконе, пили коньяк и болтали. Я смотрела на свою бывшую великую любовь и грустила: было предельно ясно, что прошлое не повторится, что это прошлое—только моё, а он про него давно забыл. Что я даже лишена возможности послать его далеко и надолго, поскольку, забыв старое, нового он не предлагал. Надо было уходить, но что-то не давало мне встать и распрощаться. Ещё я надеялась, что девушка уйдёт первой.

В половине четвёртого утра решили, что пора спать. Я никак не могла уяснить, что связывает эту девушку с Олегом. Несмотря на то, что она жила в двух шагах, она сообщила, что заночует у него на диване. Олег согласился, и я, уже почти без досады, подумала, что теперь-то точно придётся уходить: третий—лишний.

— Нет,—запротестовал Олег.—Там темно и шастают маньяки. Провожать тебя поздно. Оставайся, спи на диване, места вам обоим хватит. Африкан ведь знает, что ты у меня, беспокоиться не будет.

«Вот тут-то он и забеспокоится»,— подумала я.

После предложения ночевать на диване до-мой захотелось ещё сильнее. Олег же упёрся и не отпускал. Идти действительно было далеко, под утро алкоголь не пьянил, а попросту выключал сознание, поэтому вероятность того, что я усну на пляже, была достаточно велика. Девушка, завёрну-тая в одеяло, как в кокон, уже лежала на диване и тоже зачем-то уговаривала меня остаться. В конце концов я сдалась, втайне лелея мысль переползти под утро в кровать к Олегу.

Спать я легла не раздеваясь, лишь сняв свитер и ослабив ремень на джинсах. Девушка подползла ближе, накрыла меня одеялом и обняла.

Несмотря на убойную дозу коньяка, ни у кого не получалось уснуть. В соседней комнате воро-чался, вздыхал и, судя по отсутствию храпа, не спал Олег. Я лежала на спине и думала о том, как это глупо—помнить звук его храпа, в то время как сам он еле припоминает прошлогодние события. Девушка гладила меня по животу, постепенно поднимая руку выше, пока не добралась до груди. Там рука замерла, как будто ожидая реакции. Мне уже было безразлично, кто лежит рядом, и потому я повернулась к девушке и поцеловала её. Судя по всему, что последовало далее, именно этого она и ждала. Я не знала, что в таких ситуациях делают с девушками, но, видимо, что-то делала, поскольку веселье набирало обороты—вскоре наша одежда была недвусмысленно приспущена, растёгнута и задрана.

Наверное, Олег пришёл на звук; я была увлече-на и не расслышала, что он сказал; на мгновение стало неловко—почудился призыв к порядку и благочестию. Мы не останавливались. С минуту он стоял и молча смотрел, потом, вопреки ожи-даниям, скинул с нас одеяло, стянул с девушки платье, с меня майку и джинсы и улёгся рядом.

От происшедшего захватывало дух и совер-шенно не было стыдно. Олег пытался меня це-ловать, я отбрыкивалась, притягивала к себе де-вушку и вообще вела себя нелогично. Мне было неприятно его присутствие.

Когда всё утихомирилось, я предприняла оче-редную попытку уйти домой. Девушка обняла меня и попросила:

— Не уходи.

А Олег добавил:

— Утром ещё веселее будет.

— Куда уж веселее,—ответила я, накрылась оде-ялом и мгновенно уснула.

Меня разбудила непонятная возня рядом. Открыв глаза, я повернулась в сторону шума, вспомнила вчерашнее, завопила:

— Ой, мамочки!—и попыталась с головой спря-таться под одеяло.

Мои соседи заржали.

— Вылезай и присоединяйся!—позвал меня Олег.

Памятуя, что вчера возле кровати лежал коньяк, я высунулась из-под одеяла, дотянулась до бутыл-ки, открутила крышку и сделала щедрый глоток. Алкоголь, как вода, потёк по пересохшей глотке, горячим комом упал в желудок, и через минуту мне уже казалось, что ничего особо страшного не произошло. Вторая порция коньяка залихватски прокатилась по пищеводу и внушила такое жела-ние жить и бодрствовать, что едва не стало плохо. — Меня Африкан потерял,—прохрипела я.—Надо позвонить.

Встала, завернулась в простыню и, вытащив телефон из кармана скомканных джинсов, про-шлёпала на балкон. Африкан, как всегда, понял меня с полуслова и за легкомысленность не ругал. Я же не понимала, надо ли меня ругать или хва-лить и что теперь делать: каяться или напиваться? Напиться было проще: на балконе стояла початая бутылка вина—остаток вчерашнего пиршества. И я принялась за дело.

Когда я вернулась, Олег натягивал трусы, а девушка вытирала лицо салфеткой. Хотя кого я обманываю? Вернулась я раньше, но, оценив обстановку, решила не вмешиваться, чтобы меня, не дай бог, не привлекли в качестве подсобной силы. Я стояла возле балконной двери, слегка по-качиваясь в такт диванному скрипу. Начинённая коньяком и вином, я обрела здоровый цинизм и могла трезво глядеть на вещи и события. Всё произошедшее вчера казалось чьей-то издёвкой, а происходящее теперь выглядело забавно и грустно. Единственное, что не могло не радовать,—внезап-но охватившая меня неприязнь к Олегу.

— Ты столько интересного пропустила!—сообщи-ла девушка, когда я подошла и, будучи не в силах держаться на ногах, упала на диван.

«Слава Богу!»—подумала я, а вслух сказала:

— Какая жалость!

— По-моему, неплохо!—заявил Олег, укладываясь между нами.

— Неплохо,—подтвердила я, поворачиваясь к нему.—Что планируем на следующий год? Зоо-филию?

Олег неуверенно засмеялся, девушка взглянула на меня удивлённо. С величайшим трудом удер-живая равновесие, я встала и начала одеваться.

Я уже достаточно расхрабрилась вискарём, чтобы спросить Олега:

— Как её звали-то?

— Кого?

— Ну, девушку ту!—до меня не сразу доходит, что он не понимает, о ком я говорю.—Ну, с которой мы в твоём номере ночевали.

— А-а-а!—ухмыляется он.—Понятия не имею.

— Чудно... А куда девался твой сосед? Чей это был диван?

— Не знаю. У женщины, наверное, ночевал.

— Та-а-ак... А если бы...

Я не успеваю закончить фразу.

— Он бы с радостью присоединился!—хохочет Олег.

Меня бесит его довольная физиономия.

— Ты-то чего приперся? Кто тебя звал?

— Ну как... Я услышал, что у вас там весело, пришёл, спросил: «Девчонки, а можно посмотреть?» Вы не отреагировали, я и подумал, что вряд ли помешало. Лежал себе тихонечко в сторонке, наблюдаю.

— Вот и неправда,—восклижаю я.— Прекрасно помню, как ты скидывал с нас одеяло!

— Так под одеялом же ничего не видно,—доверительно сообщает он.

— Ты бы ещё покорн принёс,—бурчу я.

— А чем ты недовольна? Было весело. Мы с тобой помирились. Скажем спасибо неизвестному герою.

Олег невозмутим, как удав, и мне хочется его стукнуть. Вдруг он начинает беспокойно оглядываться.

— Тут случайно нет кабинок? В туалет дико хочется.

— А у тебя-то в чём проблема?—фыркаю я.— Иди за дерево, вон их сколько—на любой вкус.

— Думаешь?—сомневается он.— Некультурно как-то.

— Уверена! Культура не оскудеет.

Минуту он борется с желанием, потом, не глядя по сторонам, отправляется в тень.

Я гляжу ему вслед и сокрушённо качаю головой:

— Ай-яй-яй! Интеллигентный человек. Пушкина в оригинале читает. А ссыт за деревьями...

Мне неуютно в одиночестве, и я медленно иду вперёд. Мы совсем немного не дошли до скульптурной группы «Шолохов и тонущие лошадки». Фонтан уже отключили, и тёмные конские головы выглядят куда более устрашающе, чем летом, когда вокруг них доброжелательно журчит вода. Людей на бульваре мало, навстречу мне движется парочка. Они молоды, красивы и так влюблены друг в друга, что хочется дать им пинка. Следом за ними идёт мужчина в тубетейке. Он приближается, недоумевающе смотрит на меня, и внезапно я узнаю в нём Черныха. Того самого Черныха, с которым я целовалась возле бронзового Гоголя прошлой зимой.

На секунду мы застываем, потом бросаемся обниматься. Он приехал в командировку на несколько дней, а сейчас встречается с друзьями. Черных красив, обаятелен и, что приятнее всего, не женат. Правда, алкаш, но—талантливый. Он рассматривает меня с откровенной радостью и долго держит руки на моей талии, и приходится чуть ли не силой вырваться из его объятий.

— Гуляешь? Почему одна?

«Чёрт!»—вспоминаю я про Олега. Сейчас он придёт, и новой волны сплетен не миновать, а мне этого совершенно не хочется. Сбежать бы... — Пойдём со мной?—предлагает Черных, бросает взгляд мне за спину и говорит:—О!

Я обречённо поворачиваюсь и развожу руками:—О!

Олег улыбается и протягивает Черныху руку. Я стараюсь подавить истеричный смех. Это неприятно—находить связи между своими связями. Вспоминаю рассказ подружки о том, как в подобной ситуации она убежала на шпильках, и завидую её непосредственности. Черных внимательно оглядывает нас и усмехается:

— Помешал?

Мы с Олегом наперебой возражаем: нет, не помешал, наткнулись друг на друга в начале бульвара, просто была с собой выпивка, и мы случайно наклюкались. Вдобавок я делаю такой благообразный вид, что поверить мне может только круглый дурак.

Умный человек Черных предпочитает не углубляться в ситуацию.

— Ну, за встречу?—спрашивает он и ловко выуживает фляжку из внутреннего кармана куртки.

Было бы странно ожидать от него чего-то другого. В день, когда мы познакомились, до дома его несли. Вообще, невероятно сложно найти трезвенников среди поэтов. Разве что если деньги закончатся. И странно встречаться с кем-то из них обоюдно трезвыми и без малейшей перспективы наклюкаться. Прошлой зимой мы столкнулись с Черныхом в Музее изящных искусств—это была одна из самых неловких минут в моей жизни. Я любовалась мускулатурой «Давида» Микеланджело и раздумывала, зачем из его необъятного тела там и сям торчат железные штырьки. Отошла подальше, чтобы лучше разглядеть. За спиной гиганта располагалась лестница на второй этаж, на ней стояли люди, и над правым плечом Давида торчала тубетейка. Надежды на заплутавшего таджика рассеялись, стоило мне подойти к подножию лестницы: навстречу спускался Черных. Даже во сне я не могу представить, что мои собратья по перу иногда посещают музеи; сейчас же я видела наяву испуганный взгляд и робкую просящую улыбку. Как будто застала его за вышиванием крестиком. Я тоже растерялась, и когда Черных спросил, откуда я здесь взялась, ответила, что зашла погреться. — Да,—сказал он.—А мне надо время скоротать до вечера. У меня поезд.

Я понимающе закивала, и мы пошли по музею вместе. Чувство неловкости исчезло, мы рассматривали скульптуры и даже делились мнениями. — Смотри, какая шумная!—он указал на копию Ники Самофракийской.

Я посмотрела на него с любопытством:

— Никогда бы не подумала, что ты такой ценитель прекрасного.

Он смутился, улыбнулся и ответил:
— Почему? Тебя же я ценю!

Потом мы наткнулись на зал с черепками, потом — на мумий.

— А вот эти ворота, по преданию, ведут в рай. Пойдём в рай?

Ворота украшали проход в другой зал. Черных держал меня за обе руки, глядел мне в лицо и, пятясь, тянул за собой. Я шла и следила, чтоб он никого не сбил. Про ворота он бесстыже наврал — никакого рая за ними не было.

Когда мы вышли из музея, уже стемнело. Нам обоим надо было попасть на серую ветку метро, но ноги понесли в противоположную сторону — к бульвару. Было странное ощущение вдохновения и радости, мы мололи чужь и громко хохотали. Возле памятника Шолохову он попытался меня поцеловать, но я вывернулась. Возле Гоголя выворачиваться уже не стала.

Потом мы целовались на улице через каждые пять метров, в метро, на платформе вокзала. А потом он сел в поезд и уехал.

Мои кавалеры меж тем выпивают и принимают обсуждать меня.

— Ты не понимаешь, — заявляет Олег Черныху — Она — это Есенин наших дней. Всю тусовку оттрахает!

Это высказывание льстит мне как поэту и оскорбляет как женщину — непонятно, как реагировать. Я выпучиваю глаза, возмущённо поворачиваюсь к Олегу, и тогда он добавляет:

— В литературном смысле, конечно!

Вискарь уже шибанул ему по мозгам, глаза покраснели, правый косит больше обычного — кажется, что он вот-вот повернётся. Я перевожу взгляд на Черныха — тот даже не думает возражать против скабрёзного заявления.

— Раз уж мы тут встретились, то предлагаю напиться до скотского состояния. Ты ведь любишь животных? — подмигивает он мне.

— Нет-нет! — восклицает Олег. — Она только меня любит.

Беседа теряет логику, но это никого не смущает. У Олега, видимо, накипело на душе. Он делает глубокомысленный вид и сообщает:

— Вообще, если бы кто-нибудь попросил меня охарактеризовать тебя одной фразой, я бы сформулировал так: «б... в высшем смысле этого слова»!

— Черных, — говорю я. — Ты куда-то направлялся? Можно, я с тобой пойду?

Черных соглашается, и тогда Олег подходит ко мне вплотную, крепко сжимает и целует в засос. Я отбрыкиваюсь, но не решаюсь дать ему оплеуху. Территория помечена.

— Ого! — изумляется Черных. — Ну, мне, пожалуй, пора.

Засовывает фляжку в карман и откланивается. Мой жалобный взгляд он игнорирует.

Мы продолжаем путь. Я спрашиваю:

— Зачем тебе понадобилось оскорблять меня при Черныхе?

— Ты обиделась? — удивляется Олег. — На невинную метафору?!

— На жестокую правду, — вздыхаю я. — Ты ведь сказал что думаешь.

Пока он подбирает слова, я начинаю говорить: — У меня был знакомый — как напьётся, так звонит кому ни попадя и предлагает жениться. И всё бы ничего, но наутро забывает. Одного не учитывает: что как-то приходится жить после этого. И ему, и тем, кому он звонит. А потом они ждут его, ждут. А он молчит. И так это жестоко, аж дух захватывает. — Бедная глупая девочка, — говорит он и целует меня.

Мы стоим посреди бульвара, Олег нетрезво покачивается, а у меня кружится голова, и кажется, что сейчас мы шмякнемся прямо на мокрый песок. Потом мы долго стоим в обнимку. Он отстраняется первым, мы идём дальше, держась за руки. Уже не хочется обсуждать ни прошлого, ни будущего, всё ясно: жить без этого балбеса я не смогу. И он без меня не сможет.

А потом звонит телефон.

— Постой, — говорит он и отходит в сторону.

Это значит — жена. Я послушно стою на месте. Я несколько раз видела его жену, она очень красивая. Мне с самого начала было непонятно, как можно изменять такой красивой женщине. Разговор о ней зашёл у нас только однажды — при первом московском свидании. Я прилетела к условленному месту за полчаса до срока, а Олег опоздал на час. Накрапывал дождь, у меня промокли ноги, но это ничего не значило — я была готова ночевать на улице, лишь бы повидаться с ним. Потом мы гуляли и пили коньяк. На пути попался фруктовый ларёк, и Олег купил мне винограда. Я на ходу размахивала кульком и была абсолютно счастлива. В небольшом скверике мы выбрали самый затемнённый угол — над лавкой нависало дерево с ещё не облетевшими листьями; мы надёжно спрятались от дождя и света фонарей. Не было воды, чтобы вымыть виноград, и я обтирала каждую ягоду платком.

— С фруктами у меня однажды смешная история вышла. Я в девяносто первом был в отпуске. Как раз в августе, когда тут Ельцин бедокурил. Поехали с друзьями на дачу бухать, неделю там просидели, сил уже нет пить. Я им говорю: «Мужики, меня жена поколотит, давайте возвращаться!» Тогда же мобильников не было. Вернулись — и запили уже в Москве. И водка, как обычно, закончилась незаметно. А тогда по ночам только таксисты водку продавали. И мы — ночью! — пошли искать

таксиста. Вышли на улицу—пусто. Прошли квартал—пусто! Представляешь, чтобы в Москве людей не было?! Дошли до перекрёстка, а там овощная палатка: фрукты-овощи лежат без присмотра, арбузы-дыни. И ни одного человека вокруг! Помнишь, у Брэдбери рассказ был похожий?

Я радостно кивнула: дескать, конечно, помню. — И вот набрали мы всего: арбузов, дынь, винограда всякого, сколько смогли унести,— и домой. Раза три, наверное, туда-сюда бегали, всю палатку разворовали. Потом уже таксиста нашли. Он нам и сообщил, что в Москве, оказывается, комендантский час ввели, пока мы пьянствовали! Правда, водку всё-таки продал. Но представляешь, что могло бы случиться, застукай нас патруль?

Я придвинулась поближе, обхватила руками и уткнулась ему в плечо. Я не желала представлять, что могло бы произойти.

Он сидел рядом—живой и настоящий, и ничего на свете мне не было нужно, кроме этой скамейки. — А меня почему-то перестали узнавать однокурсники. Вот я пришла в институт в сентябре, а они идут мимо, глядят мне в лицо и не останавливаются, если на них не прикрикнуть. Забавно.

Я помолчала, а потом продолжила:

— А давай я тебе рожу кого-нибудь?

Мой щенячий обожающий взгляд наткнулся на его усмешку.

— А давай. Как думаешь, вы с моей женой уживётесь?

Ещё спокойно, не осознав смысла его слов, я спросила:

— Что это за гарем получится? — и отодвинулась. — Ну ты же первая начала нести чушь,— миролюбиво ответил он, обнимая меня за плечи. — Не могу же я из-за каждого романа бросать семью!

Еле сдерживая гнев, я спросила:

— Ну а на фига тогда это всё? Тебе выпить не с кем?

Если бы со мной заговорили таким голосом, я бы от страха залезла под лавку. Олег же ответил, что он меня любит. Я презрительно хмыкнула.

Он посмотрел устало и вздохнул:

— Глупая! По-твоему, что же это, если не любовь?

Я согнулась, упёрла подбородок в ладони и горестно прошептала:

— Хрень какая-то...

Олег отхлебнул из бутылки, помолчал, потом нагнулся ко мне и поцеловал. От него сильно пахло коньяком.

Олег заканчивает телефонный разговор и возвращается ко мне.

— По работе,— сообщает он.

— Конечно,— отвечаю я и тянусь его поцеловать.

Он быстро отворачивается и делает вид, что не заметил моего движения.

Мы почти дошли до «Кропоткинской».

— Ну что,— спрашивает Олег,— пора в метро?

На часах девять с небольшим, и главное мы так и не обсудили.

— Погоди, ведь ещё рано. Ты говорил, что свободен до десяти!

— Чудо, я голодный, замёрзший, и вообще... — он хмурится, на лице его крупными буквами написано желание отделаться от меня побыстрее.

— Хочешь ириску? — я судорожно копаюсь в сумке. — Ведь ещё только девять! И в таком случае зачем ты не отпустил меня с Черныхом?

Он за руку тянет меня в метро, а я, чтобы не разреветься от обиды, старательно ною о том, какой он подлый обманщик. Я укоряю его возле турникетов и продолжаю стыдить на эскалаторе. Видимо, не найдя иного способа избавиться от упрёков, Олег тянется меня поцеловать, но я отстраняюсь и продолжаю ныть. До последнего не верится, что он может уехать вот так—не разложив наши отношения по полочкам, бросив меня в полной неопределённости.

Мы выходим на платформу. Ему надо ехать в одну сторону, мне в другую.

— Подожди,— прошу я. — Ну постой со мной хотя бы пять минут.

Бог его знает, на что эти пять минут, но мне необходимо, чтобы Олег задержался. Он отчаянно сопротивляется. Подходит поезд, Олег чмокает меня в щёку и пытается улизнуть, но я вцепилась в его рукав и не собираюсь разжимать руки.

— Милая,— утомлённым голосом говорит он. — Ну давай уже по домам, а?

— Мы так и не поговорили!

— После поговорим.

Дыхание перехватывает, как будто ударили под дых:

— И что? И это всё!

Где-нибудь в тёмной чаще он бы уже свернул мне шею, но мы в людном месте. Он глядит на меня с неприязнью и отвечает:

— Не знаю.

Я отпускаю его рукав:

— Вали,— и ухожу.

В обе стороны долго нет поездов, но Олег даже не пытается меня догнать. Наконец, мой поезд приходит, я сажусь на пустое место, включаю плеер и еду домой...

...В Крыму мы с Африканом очутились ранним утром. Наши чемоданы звучно катились по неровному асфальту, и казалось, что мы—единственные люди в мире. Приморский городок походил на все южные поселения—с типичными частными домиками и несуразными гостиничными комплексами. Оглушительно пахло морем. В этот час машины не ездили, и улицы курорта были темны, тихи и гостеприимны. Где-то в их хитросплетениях затаился наш пансионат. Проплутав с полчаса и не найдя искомого, мы прямо с чемоданами

направились к морю. Расстелили плед на холодной гальке и откупорили бутылку коньяка. Словом, через некоторое время наше положение стало казаться нам не таким уж бедственным.

Вскоре рассвело. На пляж стали подтягиваться люди. Рассевшись возле моря, они глядели вдаль и чего-то ждали.

— Мы-то ладно, у нас дело есть, — кивнула я на коньяк. — А они чего ни свет ни заря?..

— Туда смотри, — Африкан махнул рукой в сторону горы.

Из-за неё неторопливо выползало солнце. Кое-как, лениясь, оно вытащило половину своего тела, а после сделало рывок и очутилось на небе целиком. Сразу же стало ослепительно и жарко.

— А припекает, — задумчиво произнёс Африкан. — Пойдём-ка искать убежище.

На этот раз при помощи аборигенов мы нашли пансионат достаточно быстро. Заселились, переоделись, разложили вещи, немного выпили и снова отправились на набережную — в поисках завтрака.

Впереди шумело море. Навстречу шёл Черных, и, кажется, трезвый. Заметив нас издали, он сорвал с головы неизменную тубетейку и помахал в воздухе. Я приветственно вскинула руку, в этот момент налетел ветер, и подол моего платья, взлетев до головы, тоже помахал Черныху.

— Хорошее начало! — отметил Африкан.

Вероятно, впечатлённый этим видением, вечером того же дня Черных объяснял мне в любви и поэтически приукрашивал мою красоту. Мы сидели на лавке возле музея, где проводилось какое-то литературное мероприятие, много и громко выпивали, курили и травили байки друг про друга. В зале к концу вечера оставались самые стойкие поборники современной литературы, а на улице было темно и томно. Ветер доносил до нас с набережной запах соли и шашлыков, шум кафешек и гул моря. Я попросила у Черныха разрешения примерить тубетейку и долго рассматривала себя в карманное зеркало. Головной убор был мал и совершенно мне не шёл.

— Сколько тебя знаю, ты была симпатичной девочкой, но теперь!.. Расцвела! Просто потрясающе красивая женщина.

Я мило краснела, улыбалась и пила коньяк, с циничным нетерпением ожидая приглашения в кусты (больше всего интересовала формулировка): хотелось вежливо отшить и затеять разговор о чём-нибудь интересном. Вопреки законам логики, приглашения не последовало, Черных наговорил мне кучу комплиментов и удалился. Позже выяснилось, что неподалёку, на соседней лавке, находилась временная спутница моего почтателя.

Приглашение поступило в последний день, когда спутница уехала, а коньяк перехлестнул ватерлинию. Проводилось закрытие фестиваля,

на набережной была организована небольшая сцена. Вокруг неё плотной массой колыхался народ. Пока ведущие награждали отличившихся дипломами, а те читали стихи, в толпе то и дело мелькали знакомые лица — трезвые и не очень. Но без Африкана мне быстро наскучили и стихи, и полупьяные беседы с их авторами. Мой соратник и собутыльник жаловался на большую спину, поэтому в тот вечер остался в номере пролёживать кровать.

— Много не пей! — напутствовал он меня.

Я и не пила. От этого мне было грустно, неудобно и хотелось кокетничать. Я медленно прогуливалась вокруг сцены, по московской привычке ловко лавируя в толпе. Сделав очередной круг, наткнулась на Черныха. Какие-то люди держали его под руки с обеих сторон. Черных обрадованно шагнул ко мне и едва не упал. Я подхватила безвольное тело. Люди, державшие его до меня, растворились в толпе.

Сложив мне на плечи руки, шатаясь, как в автобусе, и дыша недельным запоем, он медленно говорил:

— Ну ты ведь понимаешь-ш-шь... Если не сейчас-с... То ведь ни-ког-да! — и тянулся к моему лицу распахнутым ртом.

Это пугало и смешило одновременно.

— Никогда, Черных! — вопила я, пятясь от него и пытаюсь отцепить его руки так, чтобы он при этом не грохнулся.

На плохо освещённой набережной собралось много людей, и упавшего попросту бы затоптали.

Подошёл знакомый парень, и, перевалив на него судьбу нетрезвого поэта, я незаметно отступила в толпу. Избежать других нетрезвых поэтов на этой маленькой площадке было трудно, поэтому встрече с Олегом я обрадовалась. Он хотя бы выглядел трезвым. Мы познакомились ещё в Москве, а за время фестиваля успели выпить в общей компании. В тот вечер он сидел напротив, не сводя с меня тёмного сильно косящего взгляда. Это вызывало страх и непонятную радость. Олег был некрасив, но обаятелен. На фестиваль он попал, как и я, случайно — поехал за компанию с другом. В Москве остались жена и сын.

— Как твои дела?

В ответ я вывалила все свои жалобы на всех поэтов мира. Он улыбнулся ласково, обнял меня за плечи и без тени сомнения заявил:

— Влюбиться тебе надо.

— Надо.

Он предложил сходить с ним за коньяком, и я согласилась. В ближнем магазине уже разобрали весь алкоголь, и мы отправились в дальний. На обратном пути решили посидеть у моря. Но участки набережной были давным-давно раскуплены местными отелями и кафешками, огорожены заборами и обзавелись охраной. Отчаявшись найти

свободную зону, мы решили попросить охранников пустить нас на чужую территорию. Те запросили баснословную сумму и, понизив голос, сообщили, что можно будет взять лежак, а там уж — как нам заблагорассудится: хоть лёжа, хоть сидя, хоть на корточках. Я не поняла, а Олег, смеясь, ответил: — Спасибо, нам есть где. Нам бы к морю...

Сторговались в полцены.

Мы сидели на лежаке возле бушующего моря и пили коньяк. Был ветер, волны с силой бросались на берег. Темнота над морем была такой плотной, что хотелось её пощупать, а далёкий горный массив казался детской аппликацией, наклеенной на небо. За спиной я услышала щёлканье зажигалки, оглянулась и только по огоньку сигареты заметила засевшего под тентом стража порядка.

— Чего это с ним? — шёпотом спросила я у Олега.

Он засмеялся:

— Разврата ждёт! — и тут же, почти не меняя интонации: — Вы с Африканом давно вместе?

Мне всегда казалось, что фраза «мы просто друзья» вызывает у собеседника недоумение и подозрения в сектантстве. Поэтому я ответила: — Давно... Но мы просто друзья!

Олег обнял меня за плечи, и мы продолжили смотреть на море.

На обратном пути я зашла в кабинку для переодевания — выпито было много, и мне очень хотелось использовать кабинку не по назначению. Внутри, на гальке, лежало что-то чёрное, величиной со шляпу, и пытело. Я вылетела оттуда пулей. — Там что-то шевелится!

Олег хмыкнул, бросил сигарету и пошёл смотреть. Было неловко за свой страх, и я пошла за ним. Он на минуту скрылся в кабинке и вышел из неё, неся в ладонях ежа. Настоящего живого ежа. С иголками дыбом. Я философски подумала: «Хорошо, присесть не успела...»

— Хочешь подержать? Да не так, уколешься. Под живот бери.

Ёж пытел всё громче, мы ему не нравились, и, пока я решалась взять его в руки, он цапнул Олега за палец. Олег ойкнул и быстро опустил животное на холодную гальку. Ёж постоял, опомнился и медленно пополз прочь от нас.

— Больно?

— Больно.

— Давай поцелую, и всё пройдет.

— Ну поцелуй, — засмеялся он и погладил меня по щеке.

Мы долго целовались у моря. Я спиной чувствовала нетерпеливые взгляды охранников. В туалет хотелось всё сильнее. Пора было уходить.

На набережную вышли в обнимку. Литературное веселье к тому времени закончилось, толпа расплылась по отелям и кафешкам, из которых оглушающе била музыка. Вылетев из чайханы, песня врезалась в другую, вылетевшую из чебуречной,

и вдвоём они накатывали на третью, плеснувшую из ночного бара. Мы прошли сквозь эту какофонию и повернули на тихую улочку — прочь от моря.

Два оставшихся дня мы провели в его номере.

Утром позвонил Африкан. Его сарказм послышался даже в привычной мелодии звонка. А когда я взяла трубку, на меня вылились ушат иронии и ведро издёвки.

— Ты мне сразу скажи: кто тебя нынче утром кормит? Если я, то дуй на набережную.

— Э-э-э... — неловко захихикала я.

— Понятно. В общем, надумаешь вылезти из постели — позвонишь. С удовольствием послушаю про твои приключения.

Я нажала «отбой» и залезла обратно — под мышку к Олегу.

— Дай сигарету.

Он протянул пачку. Потом заглянул в неё и подытожил:

— Было в пачке три сигареты, а стало две...

— Итого — пять, — посчитала я.

Олег фыркнул, вытащил руку из-под моей головы и спросил:

— Хочешь есть?

Я помотала головой.

— А я хочу.

Снял с живота пепельницу, как мячик, спрыгнул с кровати и голышом пошёл к холодильнику. В его фигуре было нечем любоваться, но я смотрела блаженными глазами. Потом зажмурилась и что было сил обняла подушку, на которой он лежал. — Ух ты! Гляди, что я нашёл!

Я открыла глаза. Лицо его выражало детское счастье. Одной рукой он придерживал дверцу холодильника, другой, ликующе воздетой, сжимал палку сырокопчёной колбасы. Впечатлившись размерами колбасы, я невольно опустила глаза ниже и захохотала как бешеная.

— Будешь? — обрадовался он.

— Нет! — я не могла остановить смех. — Я уж как-нибудь так...

Двусмысленности ситуации Олег не оценил.

К вечеру он задал неожиданный вопрос:

— А что мы с тобой со всем этим будем делать в Москве?

Я подумала, облизнула потрёпанные о его щетину губы и ответила:

— Я-то что? Ты женатый человек. Как скажешь, так и сделаем.

Он повернул ко мне удивлённое лицо и долго меня рассматривал.

— Но мне-то трудно будет без тебя.

И вот тогда я влюбилась окончательно.

Видавший виды Африкан оценил масштаб трагедии, едва узрев мои изумлённые глаза и жалкую улыбку на опухших губах.

— У-у-у... Пропала наша девонька...

Я кивнула и начала собирать вещи. Африкан долго испытующе смотрел на меня и, наконец, не выдержал молчания:

— Неужто так хорош? По виду-то не скажешь.

— Знаешь... — ответила я. — Кажется, не в этом дело.

— Ну-ну... Косенький-то косенький, а какую деваху приманил!.. Виноград к себе положи. Африкан вчера на рынок сходил, фруктов купил, лишь бы солнышко наше улыбалось, — он говорил со мной как с малым дитём, чуть ли не по складам. — А солнышко знай себе по мужикам шляется, домой носу не кажет. Слава Богу, хоть отъезд не проспала.

Я засмеялась и от этого заплакала.

Ох, как же мне хотелось ехать с ним в одном поезде! Мы бы молчали в купе и целовались в тамбуре, мы бы допивали вино и смотрели друг другу в глаза.

— Может, попытаемся поменять билет? — угадав мои мысли, предложил Африкан. — Он когда едет? — Не знаю...

Мы еле нашли тень возле вагона и вжалась в неё, стараясь не подставить яростному солнцу ногу или руку. Я была оглушена внезапным разделением и расставанием. Внутри звенело и сверкало, внутри, как маятник или стихи, качалось что-то, и тело моё, не замечая того, качалось в такт. Одного хотелось — как можно дольше прожить в этом блаженном состоянии несчастья.

— Хотя нет, — задумался Африкан. — Вдруг его жена встречать будет? Ладно. Доедем, а там решим, что делать, — он поглядел на меня с жалостью. — Курортные романы, дорогая моя, надо оставлять на курортах...

— Он звонит... — почувствовав вибрацию, я мгновенно вытащила телефон из кармана.

Это действительно был Олег. Он пожелал нам доброго пути, сказал, что мы увидимся в Москве, что он уже по мне скучает, целует и прочие влюблённые глупости. Слова не выговаривались, я уткнула и улыбалась. Положила трубку и села прямо на асфальт перрона. Вдоль поезда в обе стороны катились чемоданы, их хозяева оглядывались на меня с недоумением.

Нам достались места в разных вагонах. Как настоящий джентльмен, Африкан взял себе плацкарту, уступив мне купе. Я залезла на верхнюю полку и уставилась в окно: к поезду из последних сил мчался крупногабаритный бордовый человек с похожим на него чемоданом. Вдруг заиграло «Прощание славянки», и оказалось, что поезд уже едет. Судьба опоздавшего пассажира осталась неизвестной.

Я лежала на верхней полке. Впервые в жизни не хотелось ни читать, ни курить, ни спать, ни пить. Не хотелось больше ничего. Бельё было белым и сухим, соседи — молчаливыми и трезвыми. Никто не задевал пяток, проходя мимо, как в плацкарте, и я вытянулась во всю длину. Я дремала, плакала и смотрела в окно. Не осталось запахов, звуков, времени — только перебор колёс и пролетающее за окном море. Я смотрела на него и думала, что морю, такому огромному, такому вечному, тоже одиноко. И люди, приехавшие к нему издалека, всё равно уедут, увезя загар и местное вино. Улетят чайки, уплывут рыбы. Жизнь замрёт, как будто погаснет. А на прибрежной гальке среди окурков, фантиков и разноцветного стекла будут сидеть похмельные на шляпы ежи и пыхтеть, вспоминая о громкоголосых некрасивых существах, возносивших их высоко над землёй...

...В метро я еду в наушниках и с закрытыми глазами, поэтому едва не проезжаю мимо своей станции. В последний момент успеваю выскочить из вагона. На пути к выходу слышу позади себя заливиный собачий лай. Оглядываюсь и вижу летящую оскаленную морду дворняги. Она спешит к эскалаторам, и немногочисленные люди охотно уступают ей дорогу. Я тоже отскакиваю в сторону, собака прыгает на ступеньку среднего эскалатора и широкими прыжками несётся на волю. Эскалатор едет вниз. Запыхавшаяся собака понимает это не сразу. Она разворачивается, садится на ступеньку и воеет. Так, воя, доезжает до низа, сходит на ровный пол и требовательно смотрит на меня. Морда её выражает желание цапнуть, и я, сделав безразличное лицо, нарочито медленно направляюсь к правому эскалатору — он едет вверх. Через несколько секунд мимо меня пробегает дворняга. Она радостно лает.

Галина Золотаина

Непогода

Портрет Ахматовой, 1914 год

Две водоросли — руки от ключиц
Да горбоносых предков профиль властный,
Взгляд затуманен... Аннушка, очнись!
Взгляни: ещё на свете всё прекрасно!

Ещё не время чёрное носить,
Ещё над головой не кружит ворон,
А очи в углублениях глазниц
Ещё живым тебе мерцают взором.

..Шаль медленно сползёт по позвонкам
И королевской мантией провиснет.
Жизнь столько муки выплеснет в стакан,
Что осушить до дна — не хватит жизни...

..Без украшений, в одеянье чёрном,
С душою, полной скорби и молитв...
Ещё над головой не кружит ворон,
Но ты-то знаешь: он уже летит.

Песенка Дюймовочки

Плаваю в тарелочке мироздания,
Маленькая девочка — в океане.
В лепестке качаюсь, как в челноке,
А с болота слышится: бре-ке-ке...
Маленькая-маленькая — большая...
Чем могу, тем душу и выражаю,
Боженьке вот выучилась молиться,
Верю лишь Ему да небесным птицам.
Допою — сошьют мне широкую юбку,
Подберут ореховую скорлупку,
Ласточки взлетят со мной налегке,
В скорлупе качая, как в гамаке...

Непогода

А снаружи метёт и метёт,
Словно кто-то украл вертолёт
И упрятал в наш маленький двор,
Заглушить не умея мотор.
Схоронился тихонько в подъезд,
Ждёт развязки и булочку ест,
Опершись на ключицы перил,
Сам не ведая, что натворил!..

Осень

Пришли дожди. Писать хотелось прозу.
Скреблись мыслишки, становились в позу.
Грипп нарастал, по-старому — испанка,
И лист белел, как чистая портянка.

Тележками капусту продавали,
Жирели мышки в сумрачном подвале.
Копились тайны...
Нежности пшеничку
Давно скормила ненасытным птичкам.

Пугали сны, но более — бессонье...
Под ветром тряпка билась на балконе,
Да трепыхалась робкая душа
На древке моего карандаша.



Провинция — вот повод для письма...
В. Терёхин

Провинция. Окраина. Конец.
За огородом сотые поминки
Неугомонный празднует мертвец,
А в огороде трудится жилец
Под хрюканье всегда голодной свинки.

В провинции всё рядом — жизнь и смерть.
Тут не сжигают, а хоронят целно.
Здесь бродят волки и ревет медведь,
Подростки подворовывают медь
И пьют поэты — вместе и отдельно.



Ветер воеет и тянет за душу,
В сенках сбрасывает крючок.

По стихам мой родимый братушка
Спился — личико с кулачок.

Он Рубцова зовёт «Николечкой»,
Матерится для куражу.

Я его не виню нисколечко —
Я ботинки ему сушу...

Михаил Тяжев

Море шумит

Ещё неделю назад я приземлялся в Одесский аэропорт. Мы шли в плотном молоке, все припали к иллюминаторам, никто не кричал, все ждали, когда же покажется земля. И тут понеслись разорванной ватой мимо облака, показался просвет, и по крыльям забарабанил снег. Самолёт сжался, закрылки опустились так низко, что казалось: ещё немного — и они отвалятся. Самолёт трясло и качало, все так же жались к иллюминаторам, никто не кричал, не пел песен и не молился. Я подумал: вот так, в безмолвии, погибают люди. И искал в себе страх — его не было. Не было ничего, даже веры в то, что не разобьюсь. Я просто смотрел, как далеко синяя полоска с тусклым солнцем бьёт мне в глаза.

И тут самолёт ударился о взлётную дорожку и побежал. Через мгновение в салоне захлопали.

После прохождения пограничного контроля включил телефон — и сразу эсэмэска: «За такси платите не больше сорока гривен. Жду вас на Французском бульваре. В самом начале».

Таксист довёз меня до города, я заплатил ему сорок гривен.

— Вы из Москвы? — спрашивает он меня, и в голосе ирония и протяжность гласных.

— Из неё самой.

— И чего вы тут забыли?

— На конференцию прибыл по русской литературе, тема: «Феномен Исаака Бабеля».

— Исаак? — оживился он. — Памятник ему недавно поставили.

— Так, кажется, три года уж прошло?

— Дак и говорю — недавно. С вас шестьдесят гривен.

— Мне сказали — сорок.

— Дак кто вам сказал? Я вам говорю — шестьдесят.

— Слушайте, дорогой, когда я садился, было сорок гривен.

— Дак я и говорю — сорок. Шестьдесят я просто так сказал.

Мы попрощались. Он высадил меня у театра имени Водяного.

Я ждал встречающую. До этого мы два месяца переписывались с нею. Она доцент, к. ф. н. Я знал, как её зовут; правда, она присила при переписке, чтобы я называл её зю.

Как-то так случилось, что наша служебная переписка, касавшаяся Бабеля, вопросов литературы двадцатых — тридцатых годов, вдруг приобрела оттенок интимности. Доцент рассказала, что недавно вышла замуж и детей пока нет. На фотографии, которую она выставила, ей было лет двадцать пять, на сайте же университета — совсем никакой информации про возраст. Только фото, где ей от силы лет двадцать.

Она окликнула меня. Я удивился: я знал её по фото, но она была другая. Та же, но другая. На ней были шёлковый шарф, солнцезащитные очки и короткая стрижка под шарфом.

Кого-то она мне напоминала. Вроде актрисы. Американскую. Нет, французскую. Да, точно, французскую. Бежевое пальто стройнило её. На ногах — ботильоны.

— Вы, наверное, есть хотите? Тут кафе, совсем рядом, можем посидеть, а потом в гостиницу. Вечером, если хотите, я покажу вам город.

Я шёл за ней; она была очаровательна, я не думал, что она может быть такой.

Валил снег. И сильно ухало откуда-то спереди.

— Что это там шумит? — спросил я её.

— Это наше море. Оно сейчас заковано в лёд, но сопротивляется.

— Море замёрзло?

— Да, ледоколы не могут вывести суда. Я свожу вас вечером на Лонжерон.

Она перебирала ножками, которые утопали в снегу неубранных тротуаров.

— Я представлял вас другой, — сказал я.

— Какой другой?

— Проще.

— А я вас нет. Вы такой, какой есть.

Мне хотелось ещё сказать ей что-то приятное, но я подумал: зачем? Она замужем и сегодня будет проводить для меня экскурсию только потому, что так нужно. А завтра конференция. И потом, через два дня я улетаю обратно.

Мы спустились в кафе и долго шли по подвалу, стены которого были из естественного кирпича. Миновали несколько сводов и оказались в тёплой комнате. В углу был камин. В нём горели дрова.

Я помог ей снять пальто. Мы сели напротив кухни. Там сновали повара, и мне не видно было, что они готовят, загоразживала большая салатница

с зеленью, но плечи их мелко дёргались, и можно было только догадаться, что они что-то шинкуют ножами. Пахло рыбой.

Нам принесли меню. Я заказал себе рыбу и чай. Она—пиво.

— Как у вас дела?—спросил я.

— Ботики купила новые, вот посмотрите,— сказала она и показала ногу, вытащив её из-под стола.— Как вам?

— По-моему, ничего.

— Почему вы врётё?

— Я не вру,— удивился я,— мне нравятся ваши ботики.

Она усмехнулась.

— Вы не очень-то,— заметил я ей,— по переписке совсем другое.

— Я не люблю живых людей,— сказала она.— Что может быть хуже разговора тет-а-тет? Разговор— это пена моря, слизывающая с камней прошлую пену. Другое дело, когда ты фантазируешь. Впрочем, зачем вам? Я и так столько наговорила. Пиво вкусное. Почему вы не заказали?

— Не знаю. Я только приехал— и сразу пиво?

— Вы боитесь?

— Ничего я не боюсь.

— Тогда возьмите пиво.

Я позвал официанта, сказал, чтобы он принёс пиво.

— Вы, наверное, подумали, я встречу вас и буду ходить очарованной?

— Я ничего не думал,— прервал я её.

Официант поставил пиво. Я глотнул его.

— Если вы не хотите сопровождать меня, я вас не держу, понимаю, у вас могут быть дела, а тут— обязанности. Вы только скажите мне, как до гостиницы добраться, а культурную программу я уж как-нибудь сам.

Я не понимал её: мне правда чего-то показалось, к тому же новые ботики, пальтишко, очки— как на свидание готовилась.

— Нет, я уж выполню свою миссию до конца,— сказала она и закурила сигарету.

Я доел свою рыбу, выпил пиво. Расплатился. Мы вышли. Море снова ухало.

— Пойдёмте посмотрим на него,— потянула она меня, и характер её изменился.

Только сейчас она сидела, грубила мне— и вдруг передо мной другая женщина. Нет, всё та же, но другая.

Мы спустились в парке со стороны дельфинария. Огромные ледяные надолбы, как менгиры, встретили нас. Кругом был лёд. Жёлтое море, больше похожее на пену с браги, колыхалось у пирса. Чайки ныряли и клевали его поверхность.

Чуть в стороне вода, чёрная, как сажа, накатывалась на камни, облизывала их и, перекручиваясь, уходила прочь.

Пароходы стояли вдали на рейде.

Потом— на такси в гостиницу.

— Красивая вам досталась комната,— сказала она.

Я открыл окно, чтобы проветрить.

— Почему вы мне тогда назвались зю? Вы обещали открыться при встрече.

— Это долгая история. Я любила одного парня, это было ещё до моего замужества. Мы часто ходили с ним в одно и то же кафе, любили пить пиво. Однажды мы засиделись допоздна. Он выпил много, его качало. Но он взял ещё бутылку шардоне. Мы сели сверху на землю. Внизу кричали чайки. Море ровное, с небольшой рябью, было видно далеко. На небе начинались звёзды. Шардоне было какое-то крепкое, я ничего не помнила, а когда проснулась— оказалась дома, с синяком на лице. Парня не было рядом. Я почему-то решила что это он мне его поставил. А тут ещё он звонит, я смотрю на трубку— его имя, и телефон вибрирует, а я не беру. Трубка звонит, а я не беру. И так вредно стало; думаю, пусть звонит, не возьму, и всё. Куда он денется? Нравилося мне травить его. Я любила его, и когда он испытывал горечь, любила сильнее. Он пришёл, я увидела его из окна— матери: меня нет! На работу тоже не пошла: куда я с синяком? А он всё звонил. Кричал, цветы у порога оставлял. И ждал, ждал. А потом— откуда-то он узнал, что у меня синяк. Кто-то сказал ему, наверное. Мужчины— как дети, верят всему. Он решил, что это он меня избил. Он же не помнил ничего. И подумал, что у нас всё. В ту ночь я не спала, не знаю отчего. Вышла на балкон. Перед нашим домом бесстыдница росла, знаете, дерево у нас такое есть, без коры. И тут звонок. Звонит его мать. Утонул. Оставил на берегу одежду и уплыл. Тело так и не нашли. С одеждой была записка, где он извинялся. И в конце его инициалы: З. Ю. Так его звали. Вот и вся история. Вы похожи на него.

Мне показалось, она захочет остаться. Я не мог ей предложить— после такой истории.

— Хотите, я останусь?— сказала она.

— Знаете, я вспомнил, на кого вы похожи. На Джин Сибера. «На последнем дыхании».

— Я не смотрела его. Давайте всё повторим, возьмём шардоне. Я так хочу всё повторить.

Она начинает обматывать голову платком.

— Мы возьмём только шардоне, и ничего больше,— говорит.

Я раскрываю окно полнее. Море шумит. Я слышу его рёв.

И мне кажется, это ревь утонувший зю.

Лана Райберг

Яблоневый сад

Ревность

— Алла хорошая женщина, — задумчиво, тщательно подбирая выражения, цедит мама. — Чистенькая, аккуратная, хозяйственная.

Слова медленно продираются сквозь частокол крепко сжатых зубов, выдавливаются, как засохшая паста из тощего, скрученного в рог тюбика, и прилипают к нижней губе наподобие табачных крошек. Да, против хозяйственности не попрёшь: какую ещё жену мечтала бы иметь любая мать для своего сына?

Тон между тем не оставляет сомнений в том, что новую невестку мама не жалует. Старую, кстати, тоже недолюбливала, но пока та была жива. Лена была слишком энергичной, слишком красивой и слишком властной. Всего у неё было в избытке — и жизненной силы, и умения выгнать мужа из пьянства, и пристроить его к бизнесу, и держать в стойле красавицу-дочь с амбициями. Одного только не хватило Ленке — здоровья. Природа почему-то, по одной ей известной причине, выбрала ветвь Литвицких, подсунила подпорченный раком ген, и от этой сумрачной, зловещей болезни, хватающей клешнями исподтишка, намертво, уходили в землю весёлые блондинки.

Впрочем, мать Ленки, которую родственники мужа знавали лишь по отголоскам сплетен, намёков и туманных фраз, рак прихватил своими клешнями уже спившуюся, ни на что не годную. Дочерей не воспитывала. Куда там! Три малышки — сущие ангелочки, в белых кудряшках, голубые глазки — сызмалу были самостоятельными. Сами ходили в школу, сами копались в огороде, прорастивая из капризного чернозёма зелёные витаминные штуки. Они же вылавливали мать из-за сараев и гаражей, тащили домой под руки: мама, мамочка! — умывали, кормили супом, клали спать.

Ленка, старшая, держала на столе размытую фотокарточку молодой матери. Нестерпимое сияние шло от куска ламинированного картона, неземная аура свечения ослепительной чистоты и красоты. Как такое дивное существо могло спиться? Не иначе, её ангел заблудился, бедный, и не смог выжить среди грубоватых и недалёких горожан.

Средняя в шестнадцать лет подалась в Москву и сгинула там. Может, жива, просто захотела

порвать разом — и с захолустным украинским городком, и с заботами о непутёвой матери. Или решила исхитрить судьбу: раз уехала далеко, то и наследственное проклятие не достанет. Живёт себе замужем где-нибудь в Чертаново, растит детей. А может, давно сгнила в загадочной, равно дающей и разлагающей жизни, земле. Сманил какой подлец из поезда да поглумился над дурочкой провинциалкой. И косточек не сыскать.

Искали беглянку, поставили во всесоюзный розыск, фотографии клеили на столбах, вызывали сестёр в морг опознавать найденных «подснежниц» и уполненниц. Без толку! Сгинула, растворилась, словно утренняя звёздочка на изменчивом небосклоне.

Младшая, Роза, сливочная куколка, тайно была влюблена в мужа сестры. Юра — тот ещё парень! Высокий, широкоплечий, огромные серые глаза, упрямый подбородок. С тех пор, как Ленка победила мужнину хворь — тягу к алкоголю, Юра из скандалиста-неврастеника вдруг разом переродился в надёжного рассудительного мужчину. Возможно, изначально он и был таковым, и эту земную основательность и рассмотрела практичная блондинка и потому так упрямо билась с зелёным змием. Благо, с детства имелся опыт. Юрий, поставленный перед фактом, выбрал жену, которая в награду, поверив, забеременела.

Роза приезжала к ним в областной центр с дочкой — лопухой тощей шестилетней маргышкой. Нужно было, пока не поздно, подрезать уши: кто ж потом такую замуж возьмёт? Уши и впрямь были знатные — словно в небесной лаборатории пошутили и к черепу младенца присобачили слоновьи, просвечивающие на солнце опухали.

В этот момент их всех и застала Кэт, прикатившая из своей Америки повидаться с мамой после девятилетнего отсутствия. От мамы Кэт наслушалась, что Ленка хороша — прибрала парня к рукам, матери достаются жалкие крохи. Квартира, в которой проживают молодые, записана на мать — ей выдали на заводе как ветерану труда. Марина Ивановна не выписывала сына из двухкомнатной, напоминающей собачью конуру хрущёвки, и по документам сын с семьёй якобы проживал в этой. А в новой, хотя и двухкомнатной, но не в пример просторнее, новой планировки, в

новом микрорайоне, с огромной лоджией и кухней, якобы проживала сама Марина Ивановна. Кэте показалось, что мать использует квартиру как рычаг давления на невестку. Мол, пока будешь с моим сыном—будешь жить как королева, в городе и в приличной квартире. А разведётесь—катись в свою деревню. Марине Ивановне всё казалось, что корыстная невестка живёт с Юрой из-за квартиры. А сама только и мечтает, как развестись и оттяпать жилплощадь.

Бедная женщина! То, что казалось склочностью, дурным характером либо житейской практичностью, обернулось болезнью. Эти манипуляции с прописками были тихими звоночками паранойи. Как бы то ни было, первая невестка в тридцать восемь лет сошла в землю. Два года её томительного и мучительного ухода—без желудка, а всё тянула и тянула, словно хотела убедиться: всё в порядке, Юра крепко стоит на ногах, дочь вымуштрована—никаких танцулек, только учёба,—подкосили свекровь. Кэт подозревала, хотя вслух никогда бы не упрекнула хлопотливую мать в жестокосердии, что та больше страдала по сыну, чем по уходящей невестке. Сын сдюжил—и на руках носил выдохшее тельце Ленки, и сидел с ней в больнице, держа за руку на процедурах химиотерапии, и проснулся однажды утром, обнимая уже остывшее тело жены.

В тот приезд Кэт о болезни Лены ещё никто не знал, рак не диагностировался, но он уже пометил жертву гнойными болячками. Гладенькое, как яичко, с прозрачной нежной кожицей личико вдруг покрылось вулканчиками гнойных прыщей. От красоты остались чёткий овал лица, курносый носик и огромные ярко-синие глаза в чёрных стрелках ресниц. Лицо представляло собой рыхлую землистую массу с бордово-синюшными островками. Кэт старалась не выдавать взглядом оторопь, не обидеть невестку жалостью либо брезгливостью и смотрела той прямо в зрачки, откуда сверкало умом и силой.

Через два года они будут разговаривать по телефону. Кэт долго набиралась духу—и позвонила, и разговаривала с умирающей, которая звучала, как обычно, бодро: ни следа плаксивости, ни намёка на плохое самочувствие, речь пересыпана шутками. Только посотевала, что приходится повязывать голову платком, но ничего, скоро волосы отрастут.

Лене уже всюю кололи морфий. Через месяц её не станет.

—Ленка страшная!—кричал в трубку мамин второй муж, дядя Петя.—Лысая, ресниц нет! У неё рак!—дядя Петя был единственным, кто обходился без эвфемизмов.

Вскоре за невесткой и дядя Петя покинет этот мир. Затопит соседей спьяну—не закрыл кран, уснул. Залило аж до первого этажа. Пока открылись—милиция, то да сё,—обещал оплатить ремонт. Боялся жены, ждал её с дачи. Выпил и не

проснулся. Вот так ушёл от объяснений и ответственности—в сладкий смертельный инсультный сон, сидя за кухонным столом.

После смерти жены брат ушёл в глухое молчание, только желваки ходили на скулах. Ни слова об усопшей! Он не принимал жалости, сочувствия, расспросов. И вот—новая жена! Марина Ивановна воспыкала любовью к умершей: и умница, и красавица, и хозяйка.

В тот прошлый Катин приезд дочь с матерью смогли ужиться в семейном гнезде ровно два дня. Власть Марины Ивановны, помноженная на собственные неутолённые амбиции, сдерживаемые за годы разлуки, без преграды выливались на непутёвую дочь. На людях Марина Ивановна превозносила дочь до небес, в натуре же тыкала недостатками, сравнивала с отцом: мол, такая же сволочь. Отец уже гнил в земле лет как двадцать, и за десять до этого они с Мариной Ивановной были разведены.

Марина Ивановна ментально так никогда с ним и не рассталась. Вся её жизнь была как корабль, привязанный намертво к пристани под названием «муж-негодяй». Пытается, но никак не уйдёт корабль в свободное плаванье по синим водам, держится на короткой верёвочке. Только рванётся вперёд—то в переезд в другой город, то в новое замужество, то в рождение внуков, то в хлопоты на даче,—но нет, держит, держит верёвочка. Марина Ивановна жила как на сцене, играя драму, и вовлекала в драму всех окружающих. Хитрый Юрка—вот же парадокс—остался в том же городе и заботился о стареющей и сходящей с ума матери, но оставался душой для неё неуловим. Заботился, сюсюкал даже, привозил фрукты, тапочки, спортивный костюмчик, вывозил на дачу вместе с кошками и ящиками с рассадой, но душой был закрыт. Отшучивался, успокаивал мать, оставлял сумку с продуктами и отбывал в свою семью. Жить, а не страдать.

Катя же, даром что удрала за океан, мучилась от отсутствия своего в маминой жизни, отделилась письмами, звонками и посылками, мучалась виной: вот мама стареет, болеет, а я живу в другой стране. Сама не вернусь, и мама «Родину предавать» не хочет. А как встретятся, так через три дня разбегаются—в слезах и обидах.

Мама крепко держит Катю на коротком поводке вины. За то, что уехала и внука увезла. И с Вовкой зачем развелась? Не хозяйственная. Руку как-то засунула в дырку в шторе—нет чтобы отодвинуть. А письмо написала в третьем классе в «Пионерскую зорьку», что мама не даёт завести собачку. Предательница. Ославила на всю страну. Как ты могла?

И всё в том же духе, пока обе не расплачутся. Катя пыталась «мириться», лезла с объятиями: ну прости уже, прости, ну сколько можно?

Легче было бы плюнуть да и жить спокойно своей жизнью, но не получалось—поводок любви крепко держал обеих в одной упряжке.

От обид потрескивал спёртый воздух—форточка закрыта, чтобы «доченька не простудилась». Кэт налила дрожащими руками корвалолу себе и матери и убежала по щербатым низким ступеням; на втором этаже всё ещё видно бурое, затёртое подошвами пятно. Когда-то Марина Ивановна пролила там банку с краской для пола. Стены выкрашены зелёной масляной краской. Вкривь и вкось надписи: «Сашка—дурак», «Петя плюс Маша равняется любви». На автобусе уехала в центр и до вечера блуждала по городу. Сгоряча заскочила в какое-то турагентство и хотела поменять билет на самолёт. Улететь, завтра же. Билетов не было ни на один рейс, и Кэт осталась отбывать дочернюю повинность.

Только что поехала жить к брату и навещала отчий дом под его весёлой опекой.

— Девочки, не ссорьтесь!—приказывал он и успокаивал Марину Ивановну на кухне:— Ну прости её, ну прости!

Кэт казалось, что маме лучше—без неё. Мама привыкла жить в одиночестве, даром что дядя Петя, которого она так папой и не назвала, пропал в гараже. И она разыгрывала драмы: одну—под названием «бывший муж, который испортил всю жизнь», и вторую—«дочка, которая далеко живёт».

Дочку Марина Ивановна себе выдумала, а реальную признавать не хотела. В воображении Марины Ивановны дочка была красива, умна, успешна, талантлива и хорошо одевалась. Стоило дочери появиться на пороге, как всё в ней раздражало—и неуклюжесть, и замкнутость, и одежда, и манера говорить.

У брата оказалось тепло и весело. Неделю пришлось пожить всем кагалом: семья Юры из трёх человек, Катя да Роза с лопухой. Девочки, шести и семи лет, носились по комнатам, играли в куклы. Кэт постелили на раскладушке, рядом на кровати спали Роза с дочкой. В большой комнате на раскладном диване помещались Юра, Лена и их дочь Наташка.

Без видимых усилий или страданий долгие часы Роза проводила на кухне. Готовила, мыла посуду и опять готовила. К завтраку на столе высились целая горка румяных оладушек, томился под вышитой бабой заварочный чайник. Вечерами накрывался роскошный стол: оливье, отбивные, котлеты-колбаски.

Юра о работе не рассказывал, но возвращался с чёрным лицом: свой цех, налоги, братки, поставщики-заказы. Лена тоже валилась с ног: главный бухгалтер фирмы, накладные, налоги. Постоянный стресс. Решили, что болячки на лице—от него, от стресса.

Катя раз вышла из ванной комнаты—после поездки на дачу по очереди ходили принимать душ,—заглянула в кухню и отпрянула. Ничего особенного там не происходило. За столом сидела распаренная Ленка с полотеночной башней на голове и вглядывалась в круглое ручное зеркальце. Не смотрелась, а именно вглядывалась. И её не интересовали болячки, она пыталась заглянуть за телесную оболочку, словно чувствовала уже что-то, словно неотвратимое будущее подавало ей слабые сигналы. Это была интимная минута общения с потусторонними, или высшими, силами. Это была попытка понять: кто я и что со мной происходит? Кэт стало неловко. Она не смогла нарушить интимность момента и тихо, на цыпочках, повернула в спальню, так и не попив. Эпизод с зеркалом многие годы не шёл у неё из памяти: о чём думала бедная Лена? На следующий день она была, как обычно, деятельна и весела.

Взрослые девочки даже сходили в ресторан. Мама и Юра наотрез отказались. Угощала Кэт. В полумраке да под вспышками светомузыки лицо Лены сгладилось, болячек не было видно. Сёстры пользовались большим успехом у мужского населения и их нарасхват приглашали танцевать. Домой возвращались на такси, весёлые и хмельные.

После скандала Катя и Марина Ивановна держались неловко друг с другом, лёд между ними не растапливался. Марина Ивановна была погружена в свои обиды, Катю напугала мамина злоба по отношению к ней. Так они и простились—неловко, напряжённо, и Марина Ивановна сразу же обернулась к дочке спиной.

Года два Кэт заставляла себя звонить матери, перед звонком дышала по системе йогов, набираясь сил. Затем как-то рассосалось, мать стала звучать как прежде—любящей, заботливой, всепрощающей. Рассказала, что что-то не склеилось у сестёр, что-то они не поделили, и Розе было велено возвращаться в родовое гнездо—от матери остались дом и сад. Роза приезжала на похороны сестры и долго жила в квартире у Юры. Видимо, на что-то надеялась, но так и вернулась к себе домой ни с чем и вскоре вышла замуж за местного вдовца с дочкой.

Вслед за Леночкиными похоронами—фирма всё оплатила, заказала роскошный гроб, море цветов—с небольшим отрывом последовали дяди-Петины. Мама полюбила второго мужа: и в гробу был такой красавец, и дома всё ремонтировал, и как же без него,—хотя при жизни его кричала, что глаза бы его не видели, наглую морду. Ему бы только выпить да пожрать.

Смерть всех помирила, все стали хорошими—в памяти, в воспоминаниях. Чего злиться на мёртвых, что им припоминать? Одного мертвеца только Марина Ивановна простить не может: даже дочку, подлец, заделал похожую на себя.

Аллочка в представлении Кати выглядит эдаким монстром: корыстная, хочет хорошей жизни, требует от Юрочки многого, а он задыхается. Бизнес не идёт, молодую жену—на пятнадцать лет младше—нужно развлекать-одевать. Материнское сердце болит за сына. Но—хозяйственная, этого не отнять, и аккуратная.

Кэт собирается в очередную поездку на Родину, собирает подарки—одежду, покрасивше да побольше. Мужчинам—джинсы и майки, женщинам—платья, блузки. Мама её простила, мама её любит, ругаться они не будут. А если мама разворчит, разнервничается, то Катя не будет обижаться. Она будет с мамой—как с ребёнком. Она будет—сама любовь. Даже если мама покричит на неё—за порванную штору, за клязу в газету—это её право. Смирить гордыню, потерпеть, повиниться. Брат настраивает позитивно, вот молодец! Позвонил сам, впервые за эти годы, да по скайпу, который только что установил. Улыбался в камеру—лысый, постаревший. На заднем плане маячила Алла, стеснялась, тискала серую кошку. Да, нужно повидаться. Съездить на кладбище, навестить Леночку и дядю Петю.

И не удрать Кэт от них, не спрятаться—даже за океаном. Держат их—родство и память, да любовь. Странная, неуклюжая, болезненная, колющая сердце ревностью ли, обидами... Любовь...

Яблоне́вый сад

На кладбище они так и не зашли, хотя каждый день проезжали мимо. Кэт тянула шею, взгляды валась за ограду: вон там могила Леночки. Юра, брат, сам заговорил о том, о чём Кэт боялась его спрашивать. Жизнь есть жизнь, всё-таки семь лет прошло, и три года как брат женат на Алле. Фотография Леночки стоит у них на столе—светящаяся красотой и улыбкой девушка. Невозможно поверить, что такую красоту созрала земля.

Лучше представить, что Леночка жива. Просто уехала куда-то, и увидеть её можно только на фотках. Может, потому Юра и не повёз Кэт на кладбище. Или просто устал от сестринских слёз. Подумать только! Прилетела из своей Америки и только и делает, что плачет. Плачет, глядя на фотографии, плачет на даче, перебирая свои старые рисунки, плачет в маминной квартире, плачет после свидания с мамой.

Да, так оно и было. Кэт не справлялась с эмоциями. Они шли плотной толпой, словно войско Чингисхана, и непрерывно обстреливали её колкими стрелами. Под лесом этих юрких стрел она корчилась, плавила. Сердце разрывалось от боли, памяти, любви и грусти. Заглушать эту боль приходилось вином.

Вино пилось легко, словно вода. Оно ласково согрело гортань, сушило слёзы и смягчало боль.

Утренняя качка и тошнота делали Кэт менее чувствительной к восприятию.

Убрата было хорошо! Всё как при Леночке. Алла уверенно подхватила выпавшее знамя семейной идиллии. В доме чисто, вещи на местах, вкусная еда. Даже кот—рыжий перс, такой же, как первый, умерший от рака кости. Наташка объездила весь город и нашла безутешному папе рыжего персидского котёночка. Тот взял крошку на ладони и улыбнулся—впервые после серии похорон: Лена, кот, дядя Петя. Жизнь продолжается!

Кате он признался, что верит в судьбу. Алла, встретенная в случайной компании, произнесла словечко, которое любила Леночка. Слово это никогда не произносилось всуе, на людях. Оно было интимным кодом их близости, хотя не обозначало ничего сексуального. Просто слово, смешное, нелепое и милое. Алла произнесла такое же, придуманное ею. И это решило её судьбу—Юра начал за ней ухаживать. Алла в тот момент ушла от мужа вместе с пятилетней дочерью, выяснив, что благоверный изменял ей все эти годы с её лучшей подругой. Она поселилась у матери, в частном секторе, раскинувшемся далеко за вокзалом, где воду нужно было носить из колодца, а «до ветру» ходить в дощатый скворечник, торчащий, словно пугало, в огороде.

Выяснилось, что и над Аллой витает тень роковой болезни: её отец умер от рака горла. Сама она хрипела порванными связками—хронический фарингит. Курить нельзя, но Алла пренебрегает мерами предосторожности—она курит тонкие душистые папиросы из салатовой пачки.

Кэт словно пребывала в Зазеркалье. Острый приступ страха она испытала лишь раз, когда вышла из варшавского поезда на белорусскую землю. Из-за реконструкции вокзала поезд остановился далеко от города, и пассажиры выпрыгивали из вагонов прямо в высокую траву. Трава доставала до пояса, в ней белели, синели и желтели головки цветов. Это было красиво: цветы, трава, закатное солнце, духмяный медовый запах. Поле как-то не сочеталось с цивилизацией. Она же не в деревню приехала, а в другую страну. Путешественнице нужны были—стаканчик кофе, банковский автомат, общественный телефон и такси.

Кэт вспомнила фильм, как агента под прикрытием срочно послали в маленькую восточную страну. Вот только что он был в Нью-Йорке, пил коктейль в ночном баре, одетый в костюм,—а вот он же, сгибаясь от ветра, поднятого вертолётными лопастями, бежит в высокой траве, чтобы спрятаться за выступом скалы.

Так пассажиры и стояли в поле, недоумённо озираясь, пока к ним не подрулил жёлтый запылённый автобус и не привёз на привокзальную площадь, минуя горы вырытой земли, шпал и строительного мусора.

Ещё пару часов назад Кате проводник, пожилой поляк, державшийся с приветливым достоинством, принесил в купе чай в тяжёлом золотистом подстаканнике, хрустящий круассан, крохотный кусочек мыла и полотенце в упаковке — сервис входил в стоимость билета. Кэт умилял польский язык, все эти «паненки», «постелька» да «лимонник». Она и чувствовала себя паненкой, и вкусно пила чай, и записывала дорожные впечатления в ноутбук, узнавая в польских проносящихся за окном пейзажах родные, белорусские: плоские равнины, над которыми низко лежит кучерявое небо, окаймлены зубчатыми лесами.

Кэт казалась себе успешной путешественницей: как комфортно она провела время в кофейнях гамбургского аэропорта, как легко разобралась с банкоматом в аэропорту имени Фредерика Шопена, как без суеты добралась до вокзала «Варшава-Центральна». Сейчас же, в родном городе, она боялась одного — как бы в ней не признали иностранку эти хмурые потёртые мужики с волчьими глазами. У неё нет ни одного белорусского рубля! Только евро, золотые и доллары.

Сгибаясь под тяжестью чемодана и сумки, Кэт потрусила в здание вокзала. Банкомат она обнаружила в самом углу пустого гулкого помещения и замешкалась: сколько ей снимать? Суммы высветились какие-то немыслимые: четыреста тысяч, пятьсот, миллион. Как это она не удосужилась поинтересоваться курсом белорусского рубля? На свой риск сняла двести тысяч.

Площадь меж тем опустела, начало смеркаться. Нигде она не увидела ни киосков, где, как ожидала, купит телефонную карту, ни самих автоматов. Поголовная индивидуальная телефонизация, и брата она не может попросить, чтобы он приехал за ней на вокзал. Кэт с трудом обнаружила за углом, между зашитой в леса стеной и кучей мусора, три частных такси. Хриплым голосом, имитируя белорусский акцент, бросила в тишину:

— Мне на Партизанскую!

Трясаясь на выбоинах, машина понеслась через весь город на юго-запад. Кэт поразило, что в полдень того вечера город был пуст. Кукольные чистенькие улочки мелькали в окне. Вот городской парк — в десятом классе Катя ходила туда на танцы; вот старое здание Дома пионеров — там она занималась в изостудии. Вот пронеслись площадь Ленина и слабо освещённый драматический театр. Город был полон её прошлой жизнью и в то же время пуст. Воспоминания жили в сердце, душе и памяти Кэт. Теперь же она пыталась соединить фантомы памяти с этими пустыми улицами, но город воспринимался как декорация. Возможно, пустота его привносила что-то ирреальное в Катину восприятие. То ли это очередной сон, то ли астральное путешествие, то ли правда.

Лихой и угрюмый водитель доставил молчаливую пассажирку на Партизанскую за считанные минуты, пролетев через второй мост, словно по небу, — внизу жалко серел лачугами частный сектор, со скворечниками дощатых сортиров в огородах, с яркими мазками цветов — словно художники вывесили сушиться палитры. Хмуρο буркнул: — Сто тысяч! — и незамедлительно получил хрустящую купюру, отливающую серебром.

Блочная пятиэтажка ощерилась, словно крепость, домофонами, наглухо закрытыми дверями подъездов, испещрёнными корявыми агрессивными надписями, козырьками, выступами низких балконов. С границ растрескавшегося асфальта наступала на короткую подъездную дорожку распоясавшаяся флора — высокая трава, в которой буйно цвели полевые злаки, — никаких тебе цивильно ограниченных косо воткнутыми в грунт кирпичами клумб, никаких садовых посадок.

Отхрипев положенные кодовые слова, домофон впустил Кэт в тёмный подъезд. Она протащила свой железобетонный чемодан и раздувшуюся от подарков сумку по низким ступеням на второй этаж, мимо запёртых на амбарные замки деревянных ящичков, мимо фикуса, мимо банки с окурками, к смутно выступающим из темноты коврикам.

Через минуту уже визжали и обнимались в просторной квартире. Из кухни в коридор сочились соблазнительные запахи — картошки с мясом, пирога, радушного застолья.

Словно никуда и не уезжала. Только вместо Леночки — Алла. Кэт ожидала, что новая жена брата повторит типаж той, умершей, но нет — Алла была крепко сбитой брюнеткой. Зелёные глаза, короткая стрижка, сигарета в нервных пальцах, порывистые движения. Позже она призналась Кэт, что очень боялась встретиться с «американской» сестрой мужа. Расслабилась Алла и признала родственницу «своей» после того, как хмельная Катя, присосавшаяся к тёмной пластиковой бутылке, произнесла:

— Квас очень хорошо с бодуна.

Лёжа на раскладном диване, ощущая рёбрами доски под тонким матрасом, Кэт пыталась представить себе встречу с мамой. Кэт не видела её восемь лет. Как произойдёт их встреча? Впервые она встретит маму не в привычной обстановке, не в тесной уютной квартирке, наполненной картинами и книгами. Встречая у двери, мама всегда бурно радовалась объявившейся дочери, суетилась, нервно теребя рукой ворот халатика, тащила на кухню, сокрушалась, что пирог подгорел.

Кэт порывалась поехать с утра сама, спрашивала адрес. Она готовилась к жертвам на время своего короткого визита, готовилась пожить маминой невесёлой больничной жизнью, разделить с ней бытие, освободить брата от ежедневных посещений. Кэт мучило чувство вины. За то, что

живёт далеко, за то, что маме не дожидаться от неё помощи. Ну разве только посылки, денежные переводы да голос в телефонной трубке.

Алла была категорична:

— Ты эту больницу не найдёшь. До неё только на машине можно добраться. Вот вернётся Юрка с работы, положу картошечки с мясом ей, и поедете вместе. Днём там всё равно делать нечего, она на процедурах, а потом спит.

Пришлось ждать до вечера. Уставший Юрка даже есть не стал:

— Пора.

Звонкий вечер цокотал цикадами. Золото пылало среди фиолетовых гуч, цеплялось за облака, сыпало рыжие мониста на темнеющую внизу траву. Кэт всё время казалось, что она находится во сне. Сон был тягучий, светлый и длинный, наполненный выпуклыми достоверными деталями: бочка с квасом на тротуаре, бабушки, сидящие на ящиках, перед которыми прямо на земле стояли банки, наполненные черникой или смородиной, гастрономы с длинными прилавками, киоски «Союзпечати».

Начался частный сектор, буйство зелени и крыш. Проскочили кладбище, церквушку в усадьбе. Звон цикад перерос в звон тишины, которая тянулась как резина, растягивая время. Кэт казалось, что машина каким-то образом катит по полотнам Левитана — такой же кругом был простор, природа, купы деревьев, купола церквей, буйство цветов и полное безлюдье. И где же здесь её мама?

Наконец машина взрыхлила пыль на скучной и пустой улочке и остановилась у ворот. Табличка на заборе скупо извещала, что это — психоневрологический диспансер «Тоска».

За воротами обнаружился ухоженный дворик: клумбы, цветы, беседка. Длинные одноэтажные корпуса, выкрашенные в лимонный цвет. На лавочках сидят молчаливые фигуры. Ощущение сна продолжается. В вязкой тишине Кэт следовала за братом. Они поднялись по трём ступеням и попали в длинный коридор.

Потёртый линолеум не скрипел под ногами, из-за закрытых дверей не доносилось ни звука. Посетители прошли мимо сестринского поста, за которым равнодушная женщина в халате читала газету, мимо зоны отдыха — одинокая больная смотрела в рябь чёрно-белого беззвучного телевизора. Брат с разбегу толкнул очередную дверь, шагнул внутрь, и Кэт влетела следом. Квадратная комната, две койки по бокам, аккуратно застеленные одеялами в пододеяльниках. Пустые стены. Возле кровати стоит старушка — седые волосы, коричневое, испещрённое морщинами лицо. Незнакомка шамкнула глуховатым голосом:

— Доченька...

По пути назад, как во сне, промчалась она в машине с братом по Заводской улице, мимо родной

пятиэтажки с пустым окном на четвёртом этаже, второй ряд справа. Напротив, через дорогу, темнели заколоченными окнами «ковровка» и недействующая «чулочка» — ковровый и чулочный комбинаты, бывшая гордость города.

В тот момент она поняла, что вот это мгновение — неосвещённая дорога, словно утопленное в землю здание — разросшиеся деревья задевали макушками днища балконов вторых этажей, мутные провалы окон с лунными отблесками, справа — разорённая «ковровка», впереди за гастрономом — школа, — навсегда попадёт в её астральные ночные путешествия.

Всю ночь Кэт выла, сидя на своём ребристом матрасе. Она хлипала, подвывала, сморкалась, захлёбывалась слезами. Чего стоило ей не зарыдать там, в квадратной безликой палате! Мама, поздоровавшись, утратила к дочери интерес. Она осторожно поела тёплой картошки, косточки завернула в салфетку (покормите собачку), достала из блокнота листок, испещрённый аккуратным почерком.

— В шкафу на третьей полке лежат носки, принеси мне, а на второй полке возьми кофту, отдай Катке.

Юра покорно принял листок:

— Сделаем.

Катя заклокотала горлом, только повернувшись к маме спиной, по пути к машине. Затем изобразила радостный оскал во весь рот — мама стояла за открытыми воротами и махала им рукой. Юра к слезам привык. Он тихо говорил:

— Нормальная она была, но вдруг погрязла в страхах. И следят за ней, и квартиру отберут, и нашу отберут. Никаких доводов не понимает — трясётся, боится. Посерела лицом, спать перестала. Боялся её одну оставлять.

— Что с ней?

— Доктор утверждает, что это застарелая долголетняя депрессия выстрелила таким образом.

Назавтра было легче — Кэт хотя бы представляла, что она увидит. Её готовность к жертве не понадобилась — роли давно уже были распределены. Она поняла, что долгое присутствие в больнице маму лишь утомит, да и доктор не позволит волновать больных. Доктор был чуть ли не другом семьи — его брат был лечащим врачом Леночки. Когда Марина Ивановна стала заговариваться, занавесила окна шторами и сожгла в умывальнике свой паспорт, Юра помчался советоваться. Эскулап «сосватал» Марину Ивановну под присмотр брата-психиатра — попасть в клинику санаторного типа было нелегко.

С облегчением Кэт поняла, что мама присмотрена и что её присутствие маму не излечит. Все годы маминых переживаний и страхов сейчас сконцентрировались и дошли до абсурда. Теперь Кэт всё бывшее мамино диктаторство, и излишнюю властность, и навязчивую заботу переоценила

как ранние звоночки будущей болезни. Все обиды разом схлынули с её души, и осталась лишь болезненная жаркая жалость.

Марина Ивановна, с одной стороны, не принимала заботы о себе, с другой — изводила сына капризами. Еды нужно было ей привезти столько, сколько она могла съесть за один раз, иначе она начинала кормить всех вокруг. Она жаловалась, что волосы от мыла не расчёсываются, но шампунь приняла после долгих уговоров. Кэт заверила маму, что у неё есть такой шампунь, и у Аллы тоже. Крем для лица взяла, но на следующий день всунула Кате в сумку — старой бабе мазаться ни к чему. Кэт всё-таки убедила маму оставить крем, чтобы кожа не чесалась, ведь вода с хлоркой. Этот довод маму убедил, но духи она решительно отвергла.

На банный халат, махровый, с капюшоном, чёрный в белый горох, взглянула равнодушно. Несколько раз виноватая дочь высылала маме заказанные халаты, мягкие, с накладными карманами и исключительно голубые в белый горошек — любимая расцветка, напоминающая маме её молодость и любимое платье. Кэт стоило большого труда находить их. Приходилось ездить через весь город на Брайтон-Бич и прочёсывать все магазины и лавки. Мама радовалась, а затем передаривала подарок и после жаловалась, что скучает по халатику. Кэт снова покупала, высылала, и Марина Ивановна вновь отдавала любимую вещь соседке, приятельнице или родственнице.

В этот раз найти голубой не вышло, пришлось купить чёрный, и не на Брайтоне, а в дорогом манхэттенском магазине, в котором себе ничего не позволяла покупать. Тёплые носочки Марина Ивановна тоже отдала ночной медсестре и теперь жаловалась, что мёрзнут ноги. Юра покорно записывал в блокнот, что привезти.

Кэт не выдержала, осторожно высказалась брату: не избаловал ли он маму? Зачем она всё отдаёт? Юра сказал, что ему спокойнее опять ей купить и привезти вещь, чем выслушивать её жалобы, что нечего надеть. Кэт чувствовала себя клоуном, массовиком-затейником. Она разговаривала с мамой ласково и громко, как со своими подопечными американскими старушками в пору её хомматенства. Та хитро на неё поглядывала, и Кэт казалась, что мама позволяет дочке побыть в роли начальницы. Страхи Марины Ивановны никуда не уходили, они прорывались в беседу со всех сторон — нелогичные, абсурдные.

— Уезжай, Катенька, а то тебя арестуют.

Или:

— Вот беда! Я тут уже месяц, и квартиру мою заберут.

Юра злился:

— За что заберут? Я заплатил за свет и за газ. Вот выбрось свои глупости из головы, и тебя выпишут. Это же от тебя зависит.

— Нет, не выпишут. У меня анализы плохие.

Анализы у неё были как у космонавта. Кэт холодела от чувства вины. Ей казалось, что у маминых страхов ноги начали расти со времени её эмиграции — все эти ОВИРЫ, приватизация квартиры, насильственная выписка, собирание бумажек, хлопоты и нервозность даром не прошли. Она, она виновата в том, что мама заболела!

При встречах она сюсюкалась с мамой как с маленькой: скушай творожок, надень носочки! Ночами Кэт рыдала, вспоминала маму молодой, энергичной, полной сил и задора. Как она пела и танцевала, как заботилась обо всех, как было уютно и весело в её крохотной хрущёвке — везде книги и картины. Ну и хрусталь, и ковры — дань времени и собственному тщеславию. При покупке очередного ковра Катя закатывала глаза, а Марина Ивановна сердилась:

— Тебе ничего не нужно! Так бы и скакала по жизни голожопой, что твой батька!

Теперь Кате было стыдно за то, что она обижалась на маму. Обиды схлынули, как остатки апрельского снега после всепобеждающего очистительного ливня. Как когда-то в детстве, она с новой силой почувствовала неразрывную связь с мамой, для описания которой нет слов.

Днём они с Аллой гуляли по городу; возвратившись домой, готовили еду, ждали Юру с работы. Вечерами, вернувшись из больницы, долго и неторопливо ужинали. Затем выходили на улицу — пить пиво под тентами летнего кафе. Для Кэт была странность в том, что стулья стояли прямо в высокой траве, кругом было поле, окаймлённое пятиэтажками. Под навесом собирались и молодёжь, и пожилые мужики с испытанными лицами. Пиво оказалось очень вкусным — с лёгким хмельком, ароматное и душистое. Кэт контролировала себя, чтобы не брякнуть ничего по-английски. Никаких «о'кей» или «well». Дома до глубокой ночи они сидели на кухне, смотрели телевизор, пили вино, беседовали. Алла и Юра выходили на лоджию покурить. Кэт не выдерживала, шла спать и долго смотрела на выбивающуюся из-под двери тонкую золотую полосу. Утром в квартире уже никого не было. Алла возвращалась с работы в полдень. Сколько она спала? Три часа?

Кэт не могла понять, что есть сон, а что — настоящая её жизнь. Ей было хорошо здесь — и больно. Но больно — из-за памяти, из-за того, что все эти люди, и леса, и поля, и купола церквей, и просторы, и трава во дворе были дороги её сердцу, но уже царапали глаз как нечто экзотичное, чуждое. Выжила бы она здесь или нет? Чем бы зарабатывала? Ведь в девяностые они с сыном голодали, и неизвестно, как бы она справилась с тем временем. Она — сбежала, чтобы спастись. Сейчас в республике сыто и спокойно. Или ей так кажется? У женщин лица милые, но какие-то смирившиеся, покорные,

готовые терпеть и терпеть. У мужчин — волчьи, нервные. Брат ничего о бизнесе не рассказывает, но возвращается вечером с чёрным лицом. Алла торгует на вещевом рынке. Доллар с проданной единицы. Один раз сорвалась, «похвасталась», что заработала за день три доллара. Хорошо Кате, с её-то пятьюстами, выделенными на семейном совете для посещения родных пенатов! А как она жила? Страшно вспомнить: три рубля на неделю. Вечный призрак недоедания, перелицованная одежда, одна пара обуви.

В Америке тоже путь не был сахарной пудрой посыпан. За двадцать лет утряслось, устаканилось — и с жильём, и с работой. Тут мило, и там уже всё своё — и муж, и кот, и занятие по душе, и стабильно полный холодильник. Тут и там путались у Кэт в сознании. Вот бы маму — рядом! Навестить, помочь. Не налетаешься по маршруту Нью-Йорк — Минск. И мама в Америку категорически отказалась ехать.

Поехали на дачу — и Кэт в который раз всплакнула. Больно было оттого, что весь мамин мир, выстроенный её неустанными заботами, разваливается, зарастает травой и сорняками. Плодоносят яблоны, и даже молчавшее много лет грушевое дерево разродилось светоносными плодами, изгородь алеет от небывалого урожая красной смородины, в тине листьев тихо зеленеют нежные огурцы, наливаются солнечным светом помидоры...

Домик, словно из книжки со сказками, едва выглядывает из зелени. Домик обжит, он словно лопаётся от обилия вещей: самовар, печка, термос, вазы, терраса, занавески, расписные разделочные доски на стенах, комнатки, в которых кровати покрыты яркими покрывалами, на каждом стуле и табуретке — коврик или вышитая салфетка. И всё покрывается пылью и налётом одиночества. Одинокая муха запуталась в тюле и жужжит, жужжит, проклятая!

На втором этаже, у окна с видом на лес, стоят мамини картины в золочёных рамках. Кэт стала их фотографировать, переставлять и наткнулась на большую картонную папку. Развязала мохнатые матерчатые тесёмки — и вся её прошлая жизнь ударила под дых.

В папке обнаружили её акварели из «задорского» периода. Мама, оказывается, забрала их из оставленной Кэт квартиры, уже давно проданной, и сохранила. Кэт и забыла про них. И вот все её потуги, надежды, азарт, вдохновение, эксперименты, одинокие вечера, амбиции и мечтания — перед ней, на полу, в разбухших, отсыревших и местами порванных листах. Слизывая слёзы, стоя на коленях, Кэт фотографировала работы. По лестнице поднялась Алла и обронила:

— Почему бы тебе не забрать их с собой? Они — твои.

В самом деле, почему? Кэт как-то не пришло это в голову. Она давно уже оплакала потери,

и даже эта старая папка принадлежала теперь миру прошлому, ею же преданному, разрушенному. Тем не менее, она выбрала несколько листов, чувствуя себя так, как если бы в машине времени перенеслась в прошлое и взяла что-то из прошлого в будущее, ему не принадлежащее.

До вечера она собирала смородину, изнемая под прямым солнцем, но не желая показать слабости, — хотела сделать как можно больше. Юра поливал огород из шланга, Алла возилась в теплице. В шесть часов поужинали макаронами с колбасой и поехали в город.

Назавтра Марина Ивановна многозначительно жаловалась, что невестка подмяла под себя сына и она не чувствует себя на даче хозяйкой.

— Мама! Как ты можешь такое говорить?! — взорвалась Кэт. — Алла всё содержит в порядке, пока ты болеешь. Они с Юрой не дадут пропасть урожаю. Ты бы им спасибо сказала, а не капризничала.

Мама внимательно посмотрела на дочь своими крыжовниковыми глазами, но промолчала.

Сегодня они прощались, назавтра Кэт уезжала поездом в Варшаву. Марина Ивановна ничего не говорила, только смотрела на дочь огромными глазами, в которых плескались любовь, нежность. Она словно пыталась вобрать в себя все дочкины черты, запомнить до малейшей чёрточки. И ещё — мама как будто прощалась. Кэт не позволяла себе плакать. Она обнимала маму, которая уже совсем не казалась ей старушкой и совсем не походила на душевнобольную, и шептала:

— Мы ещё увидимся, мамочка, увидимся, обещаю тебе!

На пороге возникла медсестра:
— Марина Ивановна! Пора на ужин! Вас все ждут! Пошлите уже!

Кэт буквально отрывала от себя мамини руки. Наконец Марина Ивановна побрела в столовую, в соседний корпус. Кэт умудрилась пронести до ворот бесслёзное лицо, чтобы ещё раз обернуться и ещё раз помахать. Судорожная фальшивая улыбка раздирала скулы.

Утром брат повёз сестру на железнодорожный вокзал. Сон продолжался. Вот мост через пути: будучи школьницей, Катя часто стояла на этом мосту, смотрела вдаль и мечтала уехать. Почему? Зачем? Откуда у неё эта тяга к перемене мест? И сейчас то давнишнее забытое состояние вспомнилось, и трудно было поверить, что да, уедет. И больно было расставаться с тёплыми, заботливыми Юрой и Аллой. Через сколько лет они увидятся? Кэт за короткое время привыкла здесь, словно и не было никакого Нью-Йорка в её жизни. Так откуда в ней сидит страх — не уехать?

Быстренько попрощались — никто из них не любил провожаний, и Кэт осталась одна под гулким куполообразным сводом вокзала. Она, не

отрываясь, смотрела на дверь в таможенный зал, словно это была дверь в другое измерение. Там, за условной границей, была её настоящая жизнь, в которой она не чувствовала, что спит. Там были свобода и душевное спокойствие. В те несколько минут, пока хмурая пограничница пристально, с фонариком разглядывала её паспорт, у Кэт взмокла спина. Зубы выбивали мелкую дрожь. Наконец офицер нажала кнопку, и стальные поручни бесшумно разъехались в стороны, выпуская Кэт из прошлого. Внутренне суетясь, но пытаясь соблюсти достоинство, Кэт протащила свой красный на колёсиках чемодан мимо молоденьких ребят, одетых в военную форму. Каждый из них держал руку на автомате, и у ног каждого сидела овчарка.

Разбитый асфальт, трава из щелей, высокая подножка поезда, на которую нужно умудриться вскарабкаться и втащить чемодан. Узкий коридор, по которому тот же чемодан можно протащить только боком, и фанерное купе. Кэт смотрела в окно на проплывающий мимо вокзал, на заросшие

шпалы, на бежевые, аккуратно расставленные домики. Если бы она писала картину с натуры, то использовала бы только серые и охристые тона. Ни одного яркого пятна.

Тянущая, тяготная боль от расставания всё тянулась и тянулась, но она растягивалась, словно длинная резинка, и с увеличением расстояния боль уменьшалась, съёживалась и забралась, словно преследуемый радивой хозяйкой мышонок, в самый тайный закуток её сердца, чтобы оттуда грызть, и точить, и царапать коготками.

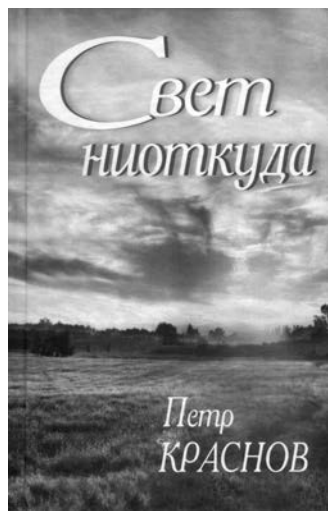
В Варшаву путешественница прибыла спокойной и сосредоточенной. Только здесь она поняла, насколько проголодалась и устала. Поплутав по подземному переходу, не соблазняясь закулочными и бутиками, она нашла заветный символ «информация для туристов». Вскоре Кэт приняла душ в комфортном номере, переделась и спустилась в ресторан на ужин. Она с аппетитом поела, выпила бокал красного вина. Подумала — и заказала ещё один бокал. В ту ночь она не плакала, ей снился Нью-Йорк.

ДиН РЕВЮ

Пётр Краснов

Свет ниоткуда

Повести. — Москва: «Голос-пресс», 2014. — 496 с.



В новую книгу выдающегося русского писателя Петра Краснова вошли его знаменитые повести и рассказы, которые после публикации поставили его автора в ряд с Валентином Распутиным, Виктором Астафьевым, Василием Беловым... Широкая известность пришла к Петру Краснову после публикации повести «Высокие жаворонки». Критик Валентин Курбатов писал: «Отсюда потом он выйдет весь. И стиль его, и его мысль, с их громадной толстовской и прустовской (если бы Пруст вместо призрачно-тонкого парижского света оказался в тесноте распадающейся русской деревни) подробностью, с изнуряющей пристальностью психологического рисунка. Пётр легко нарушает здесь все законы устоявшихся жанров, чтобы только побольше уберечь из уходящего мира... Может, после Платонова Краснов уже один так слышит нутро жизни, чрево её, кровную связь».

Владимир Чикильдик

ЛЭП-500

Арамис из 6-го «Б»

Витёк долго уваривал мать отпустить его к дяде Ване в соседнюю деревню—дело-то было серьёзное: через несколько дней состоится новогодняя ёлка в школе, а для костюма мушкетёра не хватало очень важной детали—бархатной голубой накидки. Эту накидку можно было бы запросто сделать из плюшевой шторы, которая висела над дверью горницы в доме его дяди Вани. А без неё ведь никто в школе не поверит, что одетый в девчачьи треники (сестры Нади), сапоги с приклеенными большими картонными бляхами и отворотами и кофту (тоже сестрину) с вырезанным из бумаги красивым резным воротником Витёк—и есть тот самый Арамис. Арамис—один из четвёрки отважных друзей-мушкетёров, двухсерийный фильм про которых шёл недавно в клубе райцентра.

Этот фильм перевернул всю внешкольную жизнь пацанов села. На огородах, где уже, привычно к середине октября, было чисто от убраных картошки и капусты, закипели нешуточные страсти. Разделившись на команды, мальчишки бился на самодельных шпагах. Витёк тоже посмотрел этот фильм, и ему очень захотелось собрать такую же команду верных друзей, как эта четвёрка из итальянско-французского кино.

Однако для этого надо было научиться биться на шпагах. Этой науке мальчишки учились сами. Мастерили шпаги из любого подручного материала и—айда на огороды...

Бои шли команда на команду с выбыванием «убитых». Постепенно Витёк стал всё чаще оставаться в своей команде в одиночку, и тогда приходилось биться с двумя-тремя противниками. Как-то сами по себе пришли ловкость, умение оценить обстановку и вовремя сделать стремительный выпад и нанести точный удар сопернику.

Витёк применял с успехом уже несколько боёв подряд два коронных удара в защите. Первый—это когда выпад противника с ударом в грудь резко отбивался вниз, и тогда открытый полностью враг оказывался в полной власти отважного мушкетёра Арамиса. Второй—примерно такой же приём, только с отбиванием удара вверх.

Правда, не раз такие бои заканчивались немалыми потерями. Однажды в сражении с командой соседней Революционной улицы Витёк, оставшись

в одиночку против двоих врагов, пропустил коварный выпад Юрки Болгова. Удар деревянной шпаги пришёлся аккурат в правый глаз отважного мушкетёра. Пришлось идти сдаваться матери, которая после строгой выволочки немедленно повела его в районную амбулаторию к главному врачу.

Испуганный больничной обстановкой и серьёзностью врача, Витёк отважился спросить:

— Тётенька, а я косым не стану?

— Ещё разок получишь в глаз—обязательно станешь,—переглянулась с матерью врач.

Успокоенный таким ответом и очередным тычком по голове от матери, он подумал, что лучше не пропускать такие удары. В школу в тот день Витёк пришёл с повязкой на правом глазу, испытывая некоторую гордость за свой вид. Он ощущал себя настоящим бойцом, раненным на поле боя. Пацаны приставали с вопросами, девчонки с интересом смотрели на героя. Даже Нинка Будина как бы между прочим спросила:

— А больно было, когда тебе Юрка в глаз заехал?

Всё это ещё больше воодушевляло боевой дух Витёка. Конечно же, как только сняли повязку, он вновь был в боевых рядах мушкетёров. В другой раз он получил удар шпагой от другого Юрки—Пирязева, прямо в нос. На этот раз всё обошлось без врача, но красного снега на огороде было много...

Приближался Новый год, а с ним и умножались хлопоты по подготовке к ёлке. Подобралась и команда, готовая предстать там мушкетёрами французского короля. Д'Артаньяном станет, конечно же, Вовка Ковардаков, учившийся на класс выше. Впрочем, на шпагах дрался он не очень, но его отец работал директором школы, и Вовка не упускал случая, чтобы использовать это обстоятельство в своих целях.

Портосом без сомнений был назначен Серёга Скворцов—самый большой по габаритам пацан, живший с Витёком на одной улице. Он ещё задолго до новогодних событий стал называть себя Портосом, так что этот вопрос тоже отпал.

Атосом, графом де Ла Фер, после споров был назван Женька Малютин, одноклассник Витёка. Здесь чашу весов в пользу друга склонило то, что Женька не только хорошо сражался на шпагах, но

и единственный из всех «мушкетёров» играл на гитаре. Во всяком случае, несколько аккордов он брал довольно уверенно. Авторитет был и в этом случае не в пользу Витька.

Когда Витёк заявил, что он хочет быть Арамисом, мальчишки недовольно засопели. С одной стороны, Витёк бился лучше всех, это было очевидно. Ведь перед боями, когда делились на команды, ребята всегда охотнее шли в ту команду, где был Витёк. Да и драться в одиночку с ним было бесполезно—Витёк всегда одолевал соперника. С другой стороны, Витёк с его небольшим ростом не очень-то смотрелся в компании более крупных мушкетёров. Хотя сам Арамис с его аббатскими замашками ему не совсем нравился, но выбора не было!

Однако на этот раз справедливость не отвернулась от Витька, и он, к неудовольствию других претендентов, был назван Арамисом...

Костюм к скорой ёлке был практически готов. Надо только съездить к дяде Ване в Большую Рощу, деревню в одиннадцати километрах от райцентра Бобрихи, взять голубую плюшевую штору, пришить белый бумажный крест—и всё, можно бежать на ёлку. Увы, машины в деревню не ходили, так как дорога через ленточный бор была закрыта из-за снегопадов. И вот, когда откладывать с поездкой уже было нельзя, Витёк отважился вновь подойти к матери:

—Мам, а может быть, я на лыжах к дяде Ване сбегая?

—Как это на лыжах?—мать опешила.—Зима, мороз, да мало ли что случится? А я потом казнить!—Ну я ведь дорогу знаю, сто раз туда с вами ездил!

И на самом деле, дорога до Большой Рощи была хорошо знакома Витьку. Он не раз с родителями ездил на лошади к родственникам. В Большой Роще, у дяди Вани, матеиного брата, жила Витькина бабушка Нюра. А соседский дед Максим почему-то звал её Анной Васильевной. Там всегда его ждал двоюродный брат Колька, проказливый пацан, всегда готовый на всякие шкоды.

—Мам, ну чего ты боишься? Мы ведь даже по грязи весной туда с Надькой ходили!

—Да, ходили,—не сдавалась мать.—Но Надежда всё-таки старше тебя на пять лет!

Сестра попыталась поддержать брата, однако мать в этот день не дрогнула. До ёлки оставалось два дня, но желанной накидки не было. И Витёк вечером в очередной раз пристал к матери:

—Мам, можно, я завтра утром на лыжах туда сбегая, переночую у бабушки Нюры, а послезавтра утром обратно? И как раз на ёлку в два часа. Я успею. Мы с папкой даже на Верблюжьё горку на лыжах ходили, и я почти не устал.

Несколько лет назад они с отцом действительно ходили на лыжах до Верблюжьей горки, а это семь километров в один конец. Правда, на обратный

путь у Витька сил уже не осталось, и отцу пришлось взять его на буксир. Сняв шарф, отец привязал его к хлястику своей зимней телогрейки, другой конец привязал к поясному ремню сына. Вот таким манером они и заканчивали тот лыжный пробег. Конечно, про буксировку они с отцом промолчали, и сейчас Витёк, приободрившись поддержкой сестры, продолжал ныть:

—Мам, ну отпусти, я ведь уже большой.

Последнее слово всегда говорила мать, и на этот раз она всё-таки сдалась.

—Ладно, если завтра погода будет хорошая, отпущу тебя.

Окрылённый обещанием матери, Витёк рано улёгся спать.

Утро разбудило его весёлым солнечным зайчиком. Погода была как по заказу: солнце светило ярко, иней на проводах искрился всеми цветами радуги. Предчувствие чего-то радостного и хорошего наполнило всю израненную неизвестностью душу нашего мушкетёра.

Старательно позавтракав, Витёк сам взялся мыть посуду. Надя отпихнула его от стола: мол, ладно, без тебя справлюсь!

Было уже совсем светло. Отец давно ушёл на работу, мать ещё только собиралась. Надя, радостная от того факта, что начались большие зимние каникулы, собиралась в школу на репетицию. Они с девчонками готовили к новогоднему вечеру старшеклассников индийский танец.

Пока Витёк собирался, мать на работу почему-то не уходила, словно ждала кого-то.

—Вить, ты держись слева от дороги, а то, не дай бог, машина сзади наскочит. Шофёру-то не всегда выдать, кто на дороге! Да и вообще, мало ли...

—Мам, какая машина? Уже неделя как дорога в Рощу закрыта! Да не беспокойся ты, завтра к обеду буду дома. Поем, крест пришью—и в школу на ёлку к двум часам.

Во дворе около калитки Витёк приладил креплениями из сыромятной кожи лыжи на свои валенки и направился было напрямик к лесу через соседский огород. Мать окликнула его:

—Витя, пойдём вместе, я до перекрёстка тебя провожу.

—Что я, маленький, что ли? Провожать она меня будет!—забухтел недовольный Витёк.

Однако, зная суровый нрав матери, он говорил это больше себе, чем ей, а то услышит и не отпустит—тогда всё, прощай, Арамис!

Вместе они дошли до перекрёстка. Дальше Витьку надо было поворачивать направо, к лесу, а матери—налево, на работу.

—Ну ладно, мам, я побежал. Я быстро.

Привычно заскользили лыжи в проложенной сбоку от колеи лыжне. Дойдя до моста, Витёк почему-то оглянулся—у перекрёстка он увидел маленькую фигуру, смотрящую ему вслед.

«Ну чего она мёрзнет-то?» — подумал Витёк и ещё энергичнее стал отталкиваться палками. Лыжи катили легко и свободно. Вот и последняя улица села, а вот и край бора. Сейчас появится лесхоз, а дальше только лес и узкая дорога, забитая снегом.

Опасения насчёт дороги были напрасными — машины не ходили несколько дней, это было ясно, а вот лыжня была накатана. Видимо, старшеклассники из Большой Роши и из других деревень, учившиеся в средней школе райцентра, накатали за неделю отличную лыжню. И теперь Витёк шёл по этой лыжне, радуясь своей удаче: отпустили!..

Он представлял, как они с ребятами зайдут в актовЫй зал школы, как все будут завидовать им, отважной четвёрке мушкетёров, как они будут биться на шпагах! Конечно, на этот раз он не будет играть в поддавки с Вовкой Ковардаковым. Ну и что, что Вовка — д'Артаньян и что у него отец — директор школы? Всё равно Витёк бьётся лучше его! Пусть и Нинка Будина наконец-то увидит его в почти настоящем бою! Осталось вот только накидку привезти, пришить белый крест, вырезанный из ватмана, и...

Довольно бодро Витёк дошёл до первых мостов. Эти места были знакомы Витьку потому, что на этих лугах были уголья, где отцу было отведено место для покоса. Каждое лето отец с матерью, иногда и с Надей, работали здесь на лугах. Последние три лета отец брал с собой и Витьку. Увидев знакомые места, Витёк приободрился: всё шло по его плану. Правда, рубашка под телогрейкой уже была мокрая от пота.

Пройдя мосты через несколько болотистых речек, Витёк бодро пробежал околицу деревни Ключихи. Она стояла как раз на середине пути. Дальше дорога шла вдоль опушки ленточного бора. Поднялся лёгкий ветерок, погнав по дороге тонкую снежную позёмку. Справа открылась заснеженная гладь небольшого озера. Это был Мартынов пруд.

Отец рассказывал, что недавно, года два назад, здесь во время какого-то праздника утонул друг отца. Нырнул и не вынырнул больше. Каждый раз, когда приходилось проезжать мимо этого озера, ему почему-то вспоминалась история с утопленником. Вот и на этот раз...

«Лучше не буду смотреть на озеро», — на всякий случай решил Витёк и стал смотреть на сосны, пробегающие мимо. Незаметно подкрадывалась усталость, но Витёк упрямо и настойчиво толкался палками, представляя себя завтра в компании верных друзей-мушкетёров.

— А пусть знают, что я лучше Вовки Ковардакова бьюсь на шпагах. Меня надо было д'Артаньяном выбирать, — шептал Витёк, поднимаясь на очередную горку.

Внезапно с высоты открылся вид на деревню. Снег сверкал и искрился на берёзах, на пруду

видны были фигурки мальчишек, гонявших шайбу. По улице, опоясывавшей пруд, рысцой трусила лошадь, запряжённая в нарядную кошёвку, за ней деловито бежала собака. Это была Большая Роша.

Витёк глазами нашёл дом дяди Вани. Из трубы столбом шёл дымок.

«Бабушка Ньюра дома», — решил Витёк. Усталость и тревога незаметно ушли, сменив место радостному ожиданию.

Через полчаса Витёк уже сидел за столом вместе с Колькой, рассказывая бабушке про свою заботу. Та не скупилась на пельмени и на сдержанные упрёки в адрес своей дочери Марии, отпустившей внука в такую далёкую дорогу.

— И как это только Марeya додумалась? — сетовала она, ставя чугунок с пельменями на стол. — Я бы сроду не отпустила дитя за такой напраслиной.

Дядя Ваня, пришедший вечером с работы на ферме, тоже не одобрил затею, но дело было решённое. Занавеска была снята; прикинули, что завтра будет лучше её обернуть вокруг груди Витька, заколоть булавкой и поверх надеть телогрейку. Теперь надо было думать об обратной дороге. Витёк попросил разбудить его пораньше, с тем чтобы было время до ёлки отдохнуть и пришить мушкетёрский крест на накидку.

Утро пришло вместе с бабушкиными наставлениями и пирожками с картошкой и опятами.

— Ты, сынок, иди домой зимником, лесом, так километра на три дорога короче. Глядишь, к обеду уже дома будешь.

Колька не преминул подбодрить брата: — Витёк, ты палку возьми потолще: вдруг волки нападут?

Бабушка Ньюра шлёпнула внука по затылку: — Какие волки? Не слушай его, Витенька, нет тут никаких волков. Иди себе по дороге и никуда не сворачивай! И выйдешь как раз к лесхозу. А Ключиха в стороне останется, как раз по-над речкой домой и попадёшь. И не бойся ничего.

Снарядив внука, бабушка Ньюра вывела его за огорода, прямо к кромке бора.

— Ну, вот она, зимняя дорога, прямо в райцентр и ведёт. Иди, сынок, помоги тебе Господь! — прошептала она, когда Витёк уже входил под могучие ветви крайних сосен.

Эта дорога сразу не понравилась Витьку. Она была очень узкой, высокие сосны смыкались ветвями над головой, не образуя даже малого просвета. Тревожное чувство ожидания чего-то плохого не покидало Витьку с первых шагов. Он вспомнил, как однажды зимой они с родителями ехали этой дорогой к бабушке в Большую Рошу и заплутали. Он понял это из разговора родителей и встревожился настолько, что попросился идти пешком, «лишь бы лошадка не устала нас везти». Тогда ориентиром для отца был ручей, который и подсказал направление дальнейшей дороги.

Глядя на высокие сосны над головой, Витёк почему-то вспомнил и недавний случай в райцентре. Живший на краю леса Юра (и взрослые, и дети звали этого мужика только по имени), утром отбрасывая в усадьбе снег, решил проверить в огороде капканы на зайцев, поставленные им накануне. Он только приоткрыл калитку в огород, как вдруг из-за сарая на него кинулась рысь. Юра ударом штыковой лопаты раскроил череп зверю, и рысь рухнула под ноги оторопевшему охотнику на зайцев.

В деревне долго обсуждали этот случай. В районной газете даже заметка была с фоткой Юры, на которой удачливый герой держал в одной руке добычу, а другой рукой опирался на своё орудие охоты — штыковую лопату.

«И зачем я про этого Юру вспомнил? — подумал Витёк. — Сейчас сидит где-нибудь рысь на сосне и меня поджидает». Однако никакой рыси не наблюдалось. А вот ручей, не замёрзший даже в декабрьские морозы, встал на пути Витька.

«Тот ручей, когда с папкой заблудились», — обрадовался Витёк. Значит, шёл он правильно!

Коля шла напрямки через ручей, однако Витёк побоялся замочить лыжи — с прилипшим снегом идти потом на них будет невозможно. Пришлось в стороне от дороги искать узкое место, чтобы перескочить водную преграду. С помощью двух упавших сосенок Витёк удачно форсировал ручей и заторопился дальше.

Через четверть часа позади послышалось урчание мотора. Витёк отошёл на обочину, с надеждой глядя на дорогу. Из-за сосен появился грузовик со стогом сена в кузове, в кабине сидели трое мужиков.

Витёк замахал руками:

— Дяденька, возьмите меня!

Тяжело урча, грузовик скрылся за поворотом. Слезы обиды от несбывшейся надежды потекли сами по себе. «Что вам, жалко, что ли?» — мысленно упрекал он мужиков, которые сидели в кабине грузовика. Зайдя за поворот, он чуть не закричал от счастья: посредине дороги стоял грузовик, а рядом курили трое.

— Ты, пацан, уж не сердчай, в кабине места нет, Давай лезь наверх, там в сено закопайся, не так ветрено будет, — сказал один из них, подставляя черенок вил для того, чтобы Витёк смог забраться на стог. — Куда тебе? Мы только до лесхоза...

— И мне тоже! — радостно закричал с верхотуры Витёк.

Вскоре лес стал редеть, дорога пошла вдоль реки, затем вновь скрылась в лесу, чтобы окончательно вывести машину на окраину Бобрихи к заветному лесхозу.

Витёк, держась за верёвки, стягивающие сено, сполз вниз.

— Спасибо, дяденьки, — прокричал он вслед удаляющейся машине и заспешил домой.

Дома была только Надька. Она радостно открыла дверь в сенцы, когда Витёк загремел, задев лыжами тазик, висающий на стене.

— Ну наконец-то, — заверещала Надька, — а то мамка с папкой совсем испереживались! Мамка, наверное, всю ночь не спала. Да и папка — курил весь вечер. Давай я помогу тебе. Чего пришивать?

Накормив брата, она быстро управилась с пришиванием креста на занавеску и стала одеваться: — К маме на работу сбегая, она велела сразу ей сказать, как только ты вернёшься, а потом к подружке зайду, нам танец репетировать надо.

Витёк примерил накидку:

— Ну прямо как настоящая. Вот здорово я приду-мал! Сегодня девчонки увидят, чего стоит Арамис!

До ёлки оставалось около часа. Витёк сложил стопкой наряд Арамиса и завернул в материну шаль. Положив мягкий свёрток себе под голову, он устроился на сундуке около тёплой печки. Лёжа на сундуке, он стал представлять, как они с ребятами сегодня будут биться на шпагах и все будут завидовать им. Ведь они — непобедимые мушкетёры короля.

Усталость последних двух дней навалилась необоримо. Глаза слипались сами по себе...

Его разбудил голос матери:

— Витя, а почему ты на ёлку не пошёл? Время-то уже — вечер.

Витёк вскочил с сундука: стрелка на часах подходила к пяти.

«Всё пропало!» — подумал в отчаянии Витёк, выскакивая на улицу.

Со стороны школы шли гурьбой мальчишки, возбуждённо рассказывая что-то друг другу.

— Арамис, ты почему на ёлку не пошёл? — закричал Витьку Серёга Скворцов, который был выбран Портосом. — Смотри, какой мне подарок за костюм дали!

Серёга достал из кармана коробочку, из неё он вынул авторучку. В серединке за тонкой пластмассой виднелась кремлёвская башенка с красной звёздочкой.

— Нам всем троим такие дали! Зря ты не пришёл.

Серёга скрылся у себя во дворе. Витёк потерянно стоял у калитки. Слезы обиды и разочарования катились по щекам отважного мушкетёра, но он не замечал этого. Праздник кончился, не начавшись...

«И зачем только я к дяде Ване ходил? Всё напрасно, всё закончилось без меня! Так и не увидела Нинка Будина, как я бьюсь на шпагах!» — думал Витёк. Жизнь Арамиса заканчивалась бесславно.

Вечером, сидя в своём углу, он с завистью следил за хлопотами сестры, которая собиралась на новогодний вечер старшекласников. Она же сочувственно поглядывала на своего невезучего братишку, завязывая в узел новогодний наряд. Надя ждала, когда за ней по дороге в школу зайдёт одноклассник Вовка Гусев, или Гусёк, как звали его

все ребята. Витёк знал, что тот готовит на свой новогодний вечер костюм Фанфана-тюльпана.

— Ну что, Арамис, всех гвардейцев кардинала уколошил? — на пороге стоял Гусёк.

Сестра, видимо, не успела предупредить его о неудаче брата и теперь попыталась это объяснить другу. Посмотрев на понурого Витька, Гусёк вдруг радостно хлопнул его по макушке:

— Вот что, Арамис, собирай-ка свою амуницию, пошли с нами, сегодня будем вместе воевать! У меня напарника нет, а ты — мушкетёр, как раз и будет мне подмога. А может быть, побьёмся с тобой на шпагах.

Витёк недоверчиво посмотрел на старшего товарища:

— Кто же меня на вечер к старшим пустит? Я же маленький для вас.

— Не бойсь, Витёк, — раздухарился Вовка, — со мной обязательно пустят!

Не веря своему счастью, Витёк в несколько минут оделся, подхватил свой узел и шпагу и начал торопить сестру.

— Её сроду не дождёшься, — благодарно раскрыл глаза Гуську на преступное поведение сестры Витёк.

Гусёк почему-то не обратил на это внимания и покорно ждал Надю.

Ближе к школе энтузиазм Витька заметно прибавился. У входа стояли старшеклассники с повязками дежурных на рукавах. Однако Гусёк, предвзято всякие расспросы, смело подошёл к ним и начал что-то рассказывать. Потом он побежал по коридору и вернулся с завучем, Марией Семёновной, старшая, видимо, была сегодня главной на ёлке старшеклассников. Выслушав краткую версию одиссеи Витька от сестры и Вовки, она махнула рукой:

— Ладно, не оставлять же парня без праздника, пусть проходит. Ты уж, Володя, — обратилась она к Гуську, — посмотри за ним, чтобы не обидел кто.

...Поздно вечером, укладываясь спать, Витёк перебирал в памяти этот неудачный и столь же счастливый день. Вот он в костюме мушкетёра заходит с Гуськом в школьный зал, вот вокруг ёлки мчится паровозик с вагончиками игрушечной железной дороги, которой с пульта руководит Серёга Никифоров. Вот на сцене начинается концерт, и очень красивая и поэтому незнакомая сестра Надя с подружками танцуют индийский танец! Вот Гусёк, то есть Фанфан-тюльпан, сваливается откуда-то сверху на сцену и вызывает его, Арамиса, на поединок. Жаль, конечно, что он не смог одолеть Гуська, но на следующий год он обязательно победит! Витёк благодарно вспоминал, как болели за него ребята в зале и как хлопали, когда Мария Семёновна вручала ему подарок...

Утром мать, подобрав упавшую рядом с кроватью сына книгу, прочла название: «Александр

Дюма. „Три мушкетёра“». На развороте красовалась надпись с печатью школы: «Виктору Милюхину — ученику 6-го «Б» класса — отважному мушкетёру Арамису. В новогодний вечер от дирекции школы».

ЛЭП-500

Я держу в руках старую чёрно-белую фотографию. Наткнулся на неё случайно, когда перебирал свой архив в поисках снимков выпускного класса. На сцене — пятеро юнцов: белые рубашки, галстуки, серьёзные лица, одинаково старательно открыты рты, из которых, судя по выражению лиц, вырываются неземной красоты звуки. В глубине сцены, за фортепиано, ещё одно действующее лицо — молодой человек в костюме-тройке...

Беата Николаевна, наша классная, влетела в кабинет физики практически со звонком на перемену. Вся её далеко не хрупкая фигура и тревожно-озабоченное лицо выражали решимость и волю к победе.

— Ребята, сегодня после занятий состоится классный час. Нам предоставлена возможность проявить себя. Никакие просьбы отпустить пораньше не принимаю. Нина, — обратилась Бяша (так мы звали за богатую формами Беату Николаевну) к старосте Нине Суловой, — подашь мне список отсутствующих.

Так же стремительно Бяша покинула кабинет физики, где 9-й «Б» готовился к лабораторной работе. Конечно, оставаться после шестого урока ещё и на классный час было не очень-то интересно, но выбора у нас не было. Девчонки с ребятами стали гадать, что случилось, зачем мы понадобились Бяше. Разгадка оказалась простой.

— Нашему девятому «Б» оказана честь — подготовить очередной школьный вечер. Конечно же, с художественной частью. Я рассчитываю, — тут Бяша обвела всех восторженно-торжествующим взором, — что все ребята внесут достойную лепту в подготовку вечера.

Класс оживился, сразу посыпались версии внесения этой самой лепты.

— Первая часть вечера будет посвящена шедеврам мировой живописи Дрезденской картинной галереи, — продолжала Бяша. — С этим поможет учитель по рисованию Александр Васильевич. А вот художественная часть лежит полностью на вас. Подумайте, что может каждый из вас подготовить. А Виктор, — Бяша махнула пухлой рукой в мою сторону, — будет отвечать за подготовку программы всего концерта.

Ну вот, я так и знал, что мне прилетит что-нибудь эдакое в виде персональной нагрузки. С тех пор как я стал заниматься в театральном кружке при районном Доме культуры, при подготовке любого мероприятия в школе притягивали меня.

Бяша ещё долго напоминала нам об ответственности перед «всем коллективом школы», об «идеи направленной», которой должен быть пронизан концерт, но мы её уже не слушали. Недавняя выпускница педа, Беата Николаевна хоть и хмурилась при нас строго брови и суровела лицом, мы её не боялись. Она больше напоминала заботливую пионервожатую, чем суровую учительницу физики.

Программа версталась прямо на ближайших переменах. Естественно, по неписаной традиции, концерт надо было начинать с хоровой патриотической песни.

— Давайте про Щорса, что идёт под знаменем, весь израненный, — предложил Юрка Пирязев, — а я Щорсом буду.

Тут Юрка начал показывать, как он будет идти «под знаменем и весь из себя израненный». Все, конечно, ржали, как кони из отряда того же отважного красного комдива Щорса.

Остановились на песенке про кузнечика, который сидел в саду и «совсем как огуречик, зелёный он был». Бяша, естественно, возмущалась вначале, что эта песня не для хора, что в ней нет той же идеи, что «нас не поймёт руководство школы», что, в конце концов, это детсадовская песня! Но мы победили, забойное, а главное — нестандартное начало концерта было заложено.

Таланты открывались неожиданно. Недавно приехавший из Казахстана Вова Синцов, маленького роста, круглолицый и слегка картавый пацан, оказался настоящим факиром. На репетициях он жонглировал резиновыми мячиками, показывал карточные фокусы, держал на голове учительский стул, в финале скручивал из газеты большой кулёк, как в магазине, поджигал его, и горящий факел, вращаясь у Вовки на носу, медленно догорал...

Галя Черепанова замахнулась на сольную песню из репертуара Эдиты Пьехи, что недавно прозвучала на новогоднем «Голубом огоньке».

— Я люблю бродить одна по аллеям, полным звёздного огня, — пела Галка на репетициях, мечтательно закатывая глаза.

— Ага, любишь ты бродить одна, — смеялись мы с ребятами, давно зная, что симпатичная стройная Галка ещё с седьмого класса дружит с одним парнем из параллельного класса, и уж кто-кто, а она-то точно никогда не бродит одна «по аллеям, полным звёздного огня».

Валя Чернышёва тоже решила на сольник, потом возникло желание у нескольких девчонок организовать вокальную группу.

Программа концерта вызревала медленно, но неуклонно.

— Виктор, — нарочито хмурия брови, строго официально обратилась ко мне на очередной репетиции Беата Николаевна, держа в руке написанную мной прикидку номеров, — а почему у нас мальчики не поют?

— Как не поют? А в хоре?! — попытался отбрыкаться я, почуяв, куда клонит коварная Бяша.

— Нет-нет, это всё не то! В концерте должны звучать и мужские голоса! Что же вы, на девочек хотите всю программу взвалить? — Бяша решительным шагом вышла из зала.

На военном совете ребят после долгих споров вызрел номер и для «мужской вокальной группы». Прозвучать в исполнении «мужских голосов» должна песня «ЛЭП-500». Эта и другие песни Александры Пахмутовой в те годы были настоящими хитами. Романтика освоения недр и богатств сибирской земли срывала с насженных мест тысячи людей, целыми отрядами молодёжь уезжала в неизведанные дали строить новые города.

Не могли же мы стоять на обочине этой широкой дороги! Хотя бы песней мы решили поддержать порыв молодёжи. Пятеро из двенадцати ребят класса согласились на заклятие. Вместе со мной решился сверкать талантом Саша Бухтуев — мой друг с первого класса. Высокий, статный, красивый, с ярко рыжими волосами, спортивной фигурой, он нравился всем девчонкам старших классов и окрестностей. Однако, кроме спорта, никаких других увлечений у Сани не появилось до самого выпуска. Он первым из нашей компании соорудил у себя во дворе дома турник и довольно скоро показывал на нём такие силовые вещички, что мы диву давались, когда только Сашка это успел отработать!

Следующим дрогнул сосед по парте Ваня Кибенко, Кирибеич, так звали мы его в честь лермонтовского супротивника купца Калашникова. Сын секретаря райкома партии, Ваня, несмотря на это обстоятельство, был вполне нормальным парнем. Не кичился, не задавался положением своего отца, в их семье это не поощрялось. У нас с Кирибеичем за несколько лет соседства по территории сложилось разделение труда на уроках. Он хорошо успевал по математике и физике, у меня же не было проблем с русским и литературой. Так мы и писали диктанты и контрольные. Во время диктанта я свою ногу ставил на ногу Ивана и давил на неё согласно разработанному нами коду. На контрольных работах по математике и физике Кирибеич быстренько выполнял сначала мой вариант, а затем уже свой. Наша система работала надёжно и без срывов. Мы оба были твёрдыми «хорошистами».

На подвиг на ниве вокала Кирибеич пошёл ради высокой цели: давно и безнадежно влюблённый в одноклассницу Нинку Рубину, он хотел, чтобы она обратила наконец-то на него своё благосклонное внимание.

Потом, уже втроём, мы уговорили Юрку Пирязева, смешливого озорного пацана, без которого наша компания вряд ли оформилась и существовала бы в том виде и составе, в которой долгие годы

мы были... были просто счастливы. Счастливы тем, что мы есть, что мы вместе, что мы молоды...

Белобрысый, конопатый, лёгкий в общении и острый на язык, Юрка обладал редким даром притягивать к себе людей. Вокруг него всегда кружился наш школьный люд, а весёлые истории и прибаутки так и сыпались из него. В шестом классе у Юрки обнаружился спортивный талант: на уроке физкультуры он дальше всех прыгнул в длину. С той поры спорт стал решающим делом в его жизни. Занимаясь в секции лёгкой атлетики, Юрка добился отличных результатов в спринте и во всех видах прыжков: в высоте, в длине, в тройном. Постепенно он обновил и рекорды школы. Его постоянно включали в сборные команды школы, района, края для участия в соревнованиях самого различного уровня.

Мы, конечно, завидовали Юрке, но от этого наша всеобщая любовь к нему только росла. И согласился он на «вокал» легко и весело — за компанию.

Пятому — нашему общему другу Коле Маркову — ничего не оставалось, как примкнуть к «мужской вокальной группе». У него музыкального слуха было не больше, чем у всех; главное, что его подвигло, — быть вместе со своими. Могучий Марк, в миру — Коля, был медлителен, флегматичен, без лишних эмоций, но его мощные кулаки, по выражению Юрки, всегда были чем-то озабочены. Марк метался по спортивным секциям то за одним своим другом, то за другим: он одинаково хорошо играл в баскетбол и волейбол, мощно бросал гранату, в старших классах перешёл на более солидные снаряды — копье и ядро — и там добился отличных результатов. Марк пошёл на общее дело, как всегда, охотно и не выпендриваясь...

Слова песни давно были выучены, а вот с музыкальным сопровождением оказались проблемы. Мы с ребятами не хотели, как все, петь под баян учителя пения Валентина Матвеевича. И это несмотря на то, что Пенков к тому времени был автором очень известной песни «Алтайская пионерская»; её словами: «То не зорька запылала, то у школьного двора пионерский галстук алый вспыхнул в отблеске костра...» — открывалась ежедневная краевая радиопередача «Пионерская зорька».

Но ребятам казалось, что баян — устарелый инструмент, что нашей песне нужен как минимум аккордеон или рояль. Но аккордеона в ближайшем окружении ни у кого не было, рояля — тем более.

Однако мы знали, что на школьном пианино, что всегда стояло на сцене актового зала, хорошо играет Алик Бриль, парень, учившийся классом старше нас. Он иной раз подыгрывал ребятам на школьных вечерах, однако только своим одноклассникам или более старшим, и подойти к нему

с просьбой быть аккомпаниатором было, конечно, большой наглостью.

Но Алик оказался не таким уж неприступным, и вскоре мы начали репетиции. С песней же с самого начала начались трудности. Она была далеко не простой, как казалось вначале. Наши неокрепшие голоса то не могли взять низкие тона, то срывались петушками на высоких, и Алик, вновь и вновь повторяя трудные места, не раз костерил себя и нас за то, что ввязался в эту авантюру.

Программа концерта потихоньку прорисовывалась, однако Бяша каждый раз просила нас прогонять все номера от начала до конца. На генеральную репетицию пришёл и художник Рязиночка — так мы звали учителя по рисованию Александра Васильевича. Мы его очень любили. Добрый, справедливый, спортивный, уроженец Рязанщины своим говором сильно отличался от нас — «окал», тянул слова, смешно выговаривая на уроках: «лякало», «лянейка», «рязиночка». За что и получил своё прозвище.

Однако особую любовь он заслужил не только потому, что отлично играл в волейбол, но и тем, что однажды, когда на школьном дворе местный авторитет Лявиль стал терроризировать девочек из старших классов, Рязиночка схватил его за шиворот и буквально выкинул за ворота. Этот случай сразу стал достоянием школы, а рейтинг Рязиночки поднялся до заоблачных высот. На репетиции он пообещал, что с его частью проблем не будет: через эпидиаскоп Рязиночка сам будет показывать репродукции картин Дрезденской галереи и рассказывать о художниках и истории их создания. Генеральная репетиция прошла успешно, программа концерта была высочайше утверждена Бяшей.

В субботу накануне школьного торжества мы возвращались после занятий вместе с Сашей Поликаровым, моим старшим товарищем из одиннадцатого класса, дружкой с которым я чрезвычайно гордился. Во-первых, он был старше меня почти на три года, а во-вторых, его отец был председателем колхоза и в годы освоения целины был награждён орденом Ленина. Как-то вечером, сидя у Сани в гостях и рассматривая этот орден, мы решили лично удостовериться, что он изготовлен из золота. Убедившись в том, что отец Сани Василий Семёнович не обращает на нас внимания, мы по очереди стали пробовать металл «на зуб», оставляя на мягком матовом теле ордена блестящие метки. — Точно, из золота, — сделал вывод Саня, с таким видом, будто он каждый день только и занимался, что проверял золотые изделия на пробу.

В этот раз по дороге домой, обсуждая последние школьные новости, я не удержался:

— Саня, представляешь, сегодня на вечеру мы с ребятами будем петь «лэп-500» под Алика Бриля! Он нам согласился подыграть на фоне!

Саня помолчал пару минут, что-то обдумывая. — Спорим, я вас рассмешу, когда вы будете петь? — неожиданно заявил он, хитро прищурившись.

— А зачем? — пришла очередь удивляться мне. — Это неважно. Сказал — рассмешу! Сяду на первый ряд, покажу вам палец, и вы заржёте все, как юные пионеры! И как вы петь-то будете тогда?

Я впал в лёгкий ступор: и действительно, как петь, если нападёт смех?

Собираясь на вечер, меня не оставляла навязчивая мысль: надо что-то противопоставить диверсии Сани...

Глядя в переполненный актёрский зал школы через щёлку в занавесе, я втайне надеялся на то, что Саня свою угрозу брякнул просто так, для солидности, чтобы попугать нас, малявок. Однако на первом ряду, прямо в центре, я разглядел своего друга Саню с фотоаппаратом «Смена» на коленях. Он что-то оживлённо рассказывал своему однокласснику Вовке Протасову, показывая на сцену.

Я понял, что медлить нельзя. В суматохе, царившей за кулисами школьной сцены, я собрал своих друзей и рассказал о грозившей нам опасности. Посоветовавшись, мы решили проигнорировать угрозу Сани и просто не глядеть на него.

Рязиночка ещё заканчивал свою часть программы вечера на авансцене, а в глубине, скрытый занавесом, хор уже дружно топтался на стульях и гимнастических скамейках, словно скаковые лошади на старте, пробуя копытами дорожку ипподрома.

Прозвучали вежливые аплодисменты благодарности Рязиночке, Эмочка Кондратьева объявила первый номер программы, открылся занавес. Стоя в последней ряду хора и прячась за головы боевых товарищей, я оценил обстановку: Саня с Вовкой готовятся к провокации, это было видно по их заговорщицкому виду.

Концерт шёл своим чередом, уже отгуляла Галка по своим «аллеям, полным звёздного огня», а на носу Вовки Синцова догорал газетный кулёк, как догорала сигнальная ракета, посылавшая бойцов в смертельную атаку...

Выходя на сцену, боковым зрением я видел, как оживились наши «враги», готовясь к атаке века. Ещё до выхода я решил, что буду смотреть на окошечки киноаппаратной, которые виднелись на противоположной стене актёрского зала.

Алик, одетый в новый костюм-тройку, красиво тронул пальцами клавиши пианино.

Седина в проводах от инея...
лэп-500 — не простая линия,
И ведём мы её с ребятами
По таёжным дебрям глухим...

Мы благополучно пропели первый куплет; я видел, что из киноаппаратной за нами мирно подглядывал физик Алексей Архипович. Однако

неодолимая сила так и тянула меня посмотреть на первый ряд, где этого так ждали! Наверное, так же боролся с искушением посмотреть на голевского Вия несчастный бурсак Хома Брут, и так же, как и он, я дрогнул, посмотрел! Саня, сделав дурашливую рожу и сведя глаза к носу, показывал мне указательный палец с надетым на него теннисным шариком. На шарике была нарисована такая же дурацкая мордочка, как и у Сани. Вовка целил в нас Сашкиным фотиком. Я расхохотался с такой готовностью, будто только и ждал повода. Зажав лицо, я метнулся к спасительным кулисам.

Много раз потом вспоминая этот эпизод, я так и не мог понять, зачем я это сделал, почему посмотрел на Саню с Вовкой, почему не удержался.

Но это было потом, а тогда... тогда, завернувшись в одну из кулис, я видел, что оставшиеся четвером ребята, мрачно глядя в пол, сдвинулись к центру, заполняя брешь, как в боевой шеренге на месте упавшего бойца.

Алик, как бы не замечая афронта, приключившегося со мной, кивком головы бросил отважных вокалистов на амбразуру второго куплета:

Сквозь таёжные зори мглистые
Тянем к людям мы солнце чистое,
И встают зори над опорами
Под моей озябшей рукой...

Приступ смеха у меня сразу прошёл, и, глядя на происходящее на сцене, я вдруг с ужасом увидел, что в середине второго куплета плечи Юрки подозрительно затряслись, и он через секунду уже был рядом со мной, закрыв, как и я, лицо. Из зала к нам летела Бяша, отчаянно размахивая руками, как бабочка крылышками, когда бьётся о раскалённое вольфрамом стекло электрической лампочки: — Мальчики, что случилось?!!

Заканчивали песню трое: Марк, Саша и Кирибеич. Они уже привычно сомкнули плечи на месте выбывшего бойца и, угрюмо глядя в пол, продолжили:

Нет невест у ребят отчаянных,
Только в песне порой встречаем их.
Проводов голубыми пальцами
Мы, девчата, тянемся к вам...

Я держу в руках старую чёрно-белую фотографию. Слева — Коля Марков, вечный пан Директор. После института физкультуры, где он специализировался как пятиборец, Николай был распределён в родное село и тут же был назначен директором только что созданной детско-юношеской спортивной школы. Уже лет тридцать с лишком директорствует.

Рядом — Юра Пирязев. Уже во время учёбы в институте на факультете физвоспитания он стал чемпионом и рекордсменом края по тройному прыжку, выполнил норматив мастера спорта,

потом стал очень талантливым тренером по лёгкой атлетике. Раньше всех нас женился, уже на втором курсе. Сына назвал Пашкой, не очень тогда модным именем. На нашу критику неизменно отвечал: — Сам роди и называй как хочешь, а у меня сын — Пашка!

Юра умер, не дожив до сорока лет.

В середине — Саша Бухтуев, краса и гордость нашего класса, ну и, конечно, мечта почти всех девочек школы. После выпуска мы с ним больше не увиделись. На третьем курсе военного танкового училища он планировал жениться, я даже получил от него приглашение на свадьбу. Вскоре из письма матери узнал, что Сашка погиб во время учебных стрельб на полигоне. Погиб нелепо, обидно и необязательно.

Крайний справа — Ваня Кибенко. Три раза он поступал в Ленинградский кораблестроительный — один раз до и два раза после армии, но... не судьба. Ванька стал токарем высочайшей квалификации, более тридцати лет отдал своему заводу. Я часто хожу мимо Доски почёта завода, откуда на меня внимательно смотрит серьёзный Кирибеич с орденами и со знаками победителя соцсоревнования на пиджаке. У них с Нинкой уже подрастают внуки.

Автор снимка и всей этой паники Саня Поликаров окончил военное авиационное училище, потом — Военно-воздушную академию имени Жуковского. Долго мотался по многочисленным гарнизонам, был ранен в Афгане, награждён орденом. Потом осел в Ставрополе, где до сих пор преподаёт аэродинамику в авиационном училище; кандидат наук, доцент. Лет десять спустя после этих событий мне довелось быть в Москве на повышении квалификации. Там мы встретились с Саней, он в ту пору учился в «Жуковке». После жарких объятий и братаний мы крепко, но без фанатизма посидели в кафе «Арена» недалеко от Лужников, вспомнили школу, не забыли и этот случай. Я долго пытал друга, что подвигло его на ту давнюю дурость, но адекватного ответа так и не получил...

Завтра юбилейный вечер встречи выпускников школы. У нас — сорокалетие... Мы вновь и вновь будем горланить нашу любимую песню Пахмутовой «лэп-500», ставшую гимном всего выпуска, вспоминать ребят, Бяшу, учителей...

Да, на фотке между Сашей и Кирибеичем стою я, ещё не смотревший на первый ряд, где сидит с фотоаппаратом «Смена» на коленях коварный Саня Поликаров. Я мужественно гляжу в квадратное окошечко киноаппаратной на противоположной стене актового зала и не знаю, что только для меня слова песни станут вещими. После окончания энергетического факультета нашего политеха я работал на монтаже и эксплуатации крупных

подстанций и линий электропередач и ещё в стройотряде познал, уже не из песни, что значат слова:

...А в тайге горизонты синие,
лэп-500 — не простая линия...
Но пускай тот, кто не был в лэпии,
Завидует нам!..

Поощрение

Жаркое июльское солнце привычно начинало свой путь над городом к зениту, неторопливо заглядывая в окна домов, витрины магазинов, ветровые стёкла редких автомобилей. Вот оно зависло над большим асфальтовым пятном, окружённым густыми, по-военному чёткими рядами клёнов и тополей. Это — строевой плац военного авиационного училища.

Именно вчера на этом плацу стояли ровные парадные коробки курсантских рот, звучали поздравления по случаю «присвоения первичного офицерского звания — лейтенант», звенела медь военного оркестра. Под извечный марш расставания «Прощание славянки» молодые соколы, встав на крыло, покидали родимое гнездо...

А сегодня плац был непривычно пуст. Только в районе курилки, укрытой от палящего солнца изумрудной зеленью клёнов, виделась некая активность. Полтора десятка офицеров, обсуждая вчерашнее торжество и непрерывно смоля сигаретами, нетерпеливо посмагивали в сторону штаба училища. Вскоре из дверей управления вышла группа офицеров, двое из которых направились в сторону курилки. Ожидающие курсовые офицеры незаметно подобрались, подтянулись, встречая своё начальство — комбата и замполита, и вот уже прозвучала команда старшего по званию: — Товарищи офицеры!

— Товарищи офицеры! — отвечивал коренастый полковник. Это был командир выпускного батальона курсантов Ясинский Борис Ерофеевич. — Первое: генерал благодарит всех за организацию выпуска! Молодцы, всех отправили без чп, слава Богу! Ну и второе: в качестве поощрения он дал добро порыбачить, с выездом на Чулым, как мы и просили.

Офицеры оживились: наконец-то хоть немного будет времени для отдыха перед новым набором курсантов!

— Правда, вместо трёх суток генерал даёт нам полтора дня и свой штабной газ-66. Выезд для желающих — сегодня, форма одежды — спортивно-полевая или лётно-техническая. В тринадцать ноль-ноль — колёса в воздухе. Послезавтра все стоят на утреннем разводе. Так что, — продолжал комбат, — далеко забираться смысла нет: думаю, за Большой Улуй на Чулым и рванём. Валентин Степанович, — обратился полковник к поджарому краснолицему майору, — ты отвечаешь за рыбалку, распределяя, что кому прихватить.

Майор Подковко, признанный в гарнизоне рыбак и охотник, выбивший под своё увлечение первую распределённую на батальон «Ниву», удовлетворённо кивнул.

— Кто у нас самый молодой? Понятно: комсомол, — полковник Ясинский обернулся к секретарю комитета комсомола старшему лейтенанту Алексашину: — Володя, за начпрод будешь, харч и всё такое — за тобой. Пройди по кругу, из расчёта на каждого не более ноль пять литра.

В час «Ч» неподалёку от казармы курсантского батальона выстроилась живописная шеренга из восьми желающих порыбачить-отдохнуть на природе. Перед каждым лежал рюкзак с нехитрым джентльменским набором для выезда на природу. Около майора Подковко, кроме огромного «абалаковского» рюкзака, лежали свёрнутые сети, бредень, в чехле угадывалось ружьё.

Перед старшим лейтенантом Алексашиным лежал тощий сидор, стояли бережно упакованные картонные коробки с провиантом. Отдельно стоял накрытый штормовкой ящик с перцовкой, с почти точно указанной комбатом нормой на каждого, добытый в угловом магазине на улице Зверева. Этот магазин, расположенный аккуратно против КПП училища, служивый люд называл «В помощь командиру», уж больно кстати он бывал иной раз... Старший лейтенант Алексашин отнёсся к поручению комбата ответственно, перцовки взято было с приличным запасом, иначе...

Подъехал штабной ГАЗ-66 с комбатом в кабине. Через полчаса «желающие» уже тряслись по загородному просёлку. Остались позади железнодорожный мост, дачные домики, небольшие деревеньки. Сквозь иллюминатор кунга прослеживался примерный маршрут следования: вот промелькнули Малоивановка, телебашня, Большая Салырь, вот прошли Новую Еловку. Через полтора часа миновали Большой Улуй, дорога пошла берегом реки, на обоих берегах которой среди зелени заливных лугов синели глаза небольших озёр, оставленных отступающим под напором зноя Чулымом. Несмотря на стоявшую жару, дорога во многих местах напоминала сплошное болото. Форсировав его, «газик» выбрался на пологий берег и через пятнадцать минут остановился у переправы. Через реку можно было перебраться только с помощью паромов. Пользуясь моментом, пассажиры покинули раскалённый кунг и тут же взяли в оборот сопротивляющегося начпрод. Как наиболее авторитетный среди рыбаков, майор Подковко негромко намекнул:

— Володя, хорошо бы с устатку руку затяжелить, пока время позволяет.

Всё понявший комбат незаметно показал один палец косившемуся на него комсомольцу и деликатно пошёл выяснять время прибытия паромов. Повеселевший начпрод бодро нырнул в кунг

и вскоре обернулся с бутылкой перцовки и парой огурцов:

— Вот, одна неупакованная случайно осталась!

Подбодрившийся горячей перцовкой личный состав дружно захопотапал вокруг машины, закрепляя её на прибывшем пароме. Ещё полчаса дороги после переправы, и вот — долгожданная остановка!

После освежающего душу и тело купания, как водится, на скорую руку на плащ-палатках соорудили общий стол. После первой комбат объявил распорядок дня на сегодня и до победы.

Личный состав лагеря воспринял поставленную задачу к немедленному исполнению. Вскоре десятиместная армейская палатка с поднятыми с двух сторон стенками, обложенный дёрном очаг с треногой и котелком, флажки, обозначающие место для купания, и другие неперемные атрибуты военно-полевого быта украшали берег. Фанерный указатель с надписью «Туалет» смело вёл нетерпеливого клиента к сооружённому под тенистыми сводами кустов отхожему месту. А в центре территории лагеря на ошкуренной жерди гордо реял флаг ВВС, означающий на авиационном языке: на аэродроме проводятся полёты.

Распорядок дня, объявленный комбатом, выполнялся неукоснительно, но очень творчески. Сам командир, утомлённый нервотрепкой последних дней, связанных с выпуском молодых лейтенантов, со словами:

— Мужики, меня до ужина не кантовать, — скрылся под пологом палатки.

Лейтенанты Валера Гарибян и Валентин Гончаренко, ободрённые этим обстоятельством, «затяжлив руку» с санкции начпрод Володи, разматывали бредень и уже пробовали дно неглубокой заводи.

Валерий Ильич, невысокий, кряжистый, фигурой и статью — точная, только уменьшенная копия прославленного штангиста Василия Алексева, «бредил» ближе к берегу.

Вторым был худой и высокий Валентин Гончаренко — он волок край сети по глубине. Третьим — ответственным за мотню — шёл по берегу главный комсомолец батальона Володя, он же начпрод. И как положено в его ипостаси — с ведром в руках, в полевой фуражке, в синих армейских трусах, обутый в яловые сапоги.

Майор Подковко, раздав снасти желающим, коих у него было немерено, и подхватив ружьё под мышку, пошёл побродить по окрестностям.

К вечерней чарке подавались уха из рыбной мелочи, запечённая на решётке более крупная рыба — щука, судак, свежие овощи с базарных прилавков. У костра дышалось легко и свободно; шёл лёгкий трёп ни о чём — народ ещё не перешёл ту грань, когда вопросы службы станут в нём главным содержанием. Коля Сидельников достал свою неперемную спутницу — гитару...

Первая часть отдыха завершалась полным выполнением распорядка дня.

Сутренней зорьки прибиток к казённому харчу был невелик, однако на свежую уху набралось.

— Ну, мужики, ни пуха ни пера! Оторвусь сегодня по полной программе,— мечтательно произнёс комбат, поднимая чарку.— Валентин Степаныч, бери меня вторым номером. Что я, зря свою «тулку» брал?— обратился он к главному охотнику и рыбаку Подковко.

— Никак нет, командир, не зря, обязательно постреляем сегодня.

— Итак, мы со Степанычем до обеда побродим тут по подлеску. Договариваемся на берегу: всем быть в пятнадцатиминутной досягаемости. Сбор—по красной ракете. Записываться у старшего лейтенанта Алексашина.

Без снастей оказались старший лейтенант Алексашин и лейтенант Гарибян. Решение командира было безоговорочно:

— Комсомол, остаёшься старшим по лагерю. Обед—по распорядку дня!

Комбат вместе с охотниками скрылся за кустами. Вновь обрётённый начальник лагеря старший лейтенант Алексашин и лейтенант Гарибян искупались, побродили по прибрежной полосе и неожиданно для себя обнаружили рядом с лагерем покосные уголья. Среди кустов паслась стреноженная лошадка, двое мужиков неподалёку косили траву. Вскоре групповой портрет с лошадью был зафиксирован «Сменой-8».

Гарибян, вдруг вспомнив, что рыбаки приглашали его поудить рыбу, поспешил по берегу. Вернувшись в лагерь, Володя принял самое мудрое решение: в отсутствие командира самое время отдохнуть. Недолго думая, он направился к палатке, оглядев вверенный ему гарнизон. Лагерь обезлюдел, водитель «газика», скинув гимнастёрку и шаровары, наводил марафет в кунге.

— На Шипке всё спокойно,— подвёл итог Володя, заваливаясь в палатку.

Однако сон был недолгим. Его разбудили урчание мотора и чей-то голос:

— Эй, есть тут кто живой?

Володя метнулся из палатки на выход, часы показывали одиннадцать тридцать. На дороге, упирався сапогами в землю, как бы сдерживая рвущийся мотоцикл, незнакомый мужчина крутил ручку газа «Урала».

— Чего тебе?

— Ваш командир попросил меня подвезти всех, кто на дороге и в лагере. Прихвати, что есть из инструмента. Там ваш офицер «газик» в болото засадил по самые помидоры.

Из шанцевого инструмента в лагере были только небольшой туристический топорик с металлической ручкой, покрытой резиной, и лопата. Спустя мгновение Володя был уже за спиной

незнакомца на заднем сиденье мотоцикла. Через несколько минут езды открылась большая ровная поляна, заросшая изумрудной зеленью. На краю поляны столпились уже прибывшие к месту сбора офицеры. Чёткий, ровный след колёс уводил колею с дороги в центр поляны, прямо под задний борт командирского «газика», который безнадёжно зарылся в зыбкий болотистый грунт под самое днище машины. Рядом по колено в топкой грязи стоял растерянный лейтенант Гарибян, одетый в майку-тельняшку; боец-водитель выглядывал из кунга.

— Да, мужики, канители вам часов на десять, к ночи управитесь,— сочувственно хохотнул мотоциклист, вырвав на дорогу.

Офицеры, хмуро поглядывая на лейтенанта Гарибяна, выволакивающего ноги из грязи, ожидали реакции командира.

— Лейтенант Гарибян, доложите: как вы оказались в болоте?

Поникший Ильич молчал.

— Как и почему машина без моего ведома вышла из лагеря? Старший лейтенант Алексашин, в котором часу выпустили машину с территории гарнизона? — Я её не выпускал, товарищ полковник, и даже не видел, когда она выехала,— залепетал неожиданно свергнутой с пьедестала начальник лагеря.— Я спал.

Комбат каменел лицом, под щетиной заходили желваки.

— Рядовой Устинов,— тут комбат повернулся к солдату-водителю,— что вас понесло с дороги, в конце концов?

— Я не виноват, это товарищ лейтенант за рулём были. Я порядок в машине наводил, а товарищ лейтенант пришли и сказали, что надо за рыбой ехать. Я не хотел ехать без приказа, но они взяли ключ и сами поехали.

— Так, ещё и самоуправство, кроме всего прочего!— сокрушённо подытожил комбат.— Ильич, в гробину мать, рапорт ты мне потом напишешь о своих художествах, но мне скажи одно: на хрена ты машину угнал из лагеря?

— Покататься хотел,— произнёс свои первые слова за всё это время Гарибян.

Полковник молча оценивал обстановку, ситуация вырисовывалась невесёлая...

— Становись!

Неорганизованная публика, как могло показаться на первый взгляд, стала моментально превращаться в воинское подразделение. Вдоль обочины дороги в две шеренги по ранжиру стояли офицеры, быстро приводящие форму в надлежащий вид. На левом фланге пристроился солдат-водитель.

— Решение принимаю следующее,— Борис Ерофеевич оглядел свой немногочисленный гарнизон.— Майор Подковко идёт в лагерь, готовит его к перебазированию. Остальным гатить дорогу.

Первая смена: Сидельников, Гринько, Батаков — с топором; остальные собирают валежник и тащат его к машине. Разойдись.

Строй немедленно рассыпался, три офицера, означенные командиром, направились через кустарник к подлеску, остальные взяли в кольцо Гарибяна, обречённо глядящего по сторонам. Бедный Валера только успевал уворачиваться от смачных эпитетов и мата, несущихся со всех сторон.

По команде комбата солдатик запустил движок, офицеры, облепив машину со всех сторон, сделали попытку раскачать её и стронуть с места. Однако, прокручиваясь в вязком грунте, колёса только разбрасывали в стороны жидкую грязь, а сам «газик» ещё плотнее садился на раму. Через несколько минут бесполезных попыток стало ясно, что без настила машину не вытащить. Энтузиазм первых минут работы быстро испарился.

Время шло, однако машина, как заколдованная, с места не двигалась. Болотистая земля поглощала гать безвозвратно. Сменились по несколько раз группы лесорубов, передавая друг другу единственный топорик, пот с грязью вперемежку разъедал глаза, люди, залепленные болотной тиной и грязью, уже не узнавали друг друга. Всё это сопровождалось угрозами и тихими проклятиями в адрес Ильича. После очередной порции критики Ильич не выдержал, рухнул на колени и рванул тельняшку: — Парни, пристрелите лучше, мбчи больше нет слушать!

Борис Ерофеевич, глянув на часы, прикинул: время обеда давно прошло, пора объявлять очередной перекур. Перемазанный грязью народ повалился на траву.

— Ну что, мужики, хреновые дела, спасибо Ильичу. Скоро вечереть, а мы на месте толчёмся. Какие соображения будут?

— Борис Ерофеевич, — подал голос бывший начальник лагеря Володя, — может быть, на пуп взять попробуем?

— То есть как — на пуп? — вскинулся лежащий с раскинутыми руками комбат.

— У нас в деревне покосы тоже на лугах. Один раз мы засели здорово, пришлось даже стог из кузова опрокинуть, чтобы облегчить машину. Потом срубили каждому по хорошей черди и поднимали попеременно — то передок, то задок. Без рычага — на пуп — и поднимали, одновременно толкая. Таким манером и выбрались.

Комбат раздумывал недолго.

— Других предложений нет. Будем пуп драть, как и велено комсомолом, — он решительно поднялся и направился к видневшимся вдалеке деревьям, за ним потянулись остальные.

Свежая идея придала новые силы. Вооружившись жердями, заложники трясины вновь пошли в атаку на неподатливую технику: по два человека встали с бортов, четверо — у переднего бампера.

По команде комбата завели под машину жердины, раскачивая машину вперёд-назад и приподнимая её с бортов. Очередной рывок привёл к первому результату: с метр колеи было отыграно!

Развивая успех, прошли ещё метра два, далее опять нужно было гатить колею. Окрестные кусты были практически вырублены, за новыми порциями надо было уходить всё дальше от машины. Солнце уже касалось горизонта, стаи мошкары клубились над полем битвы.

Тем не менее, тактика рывков давала свои результаты, и постепенно, сантиметр за сантиметром, под тяжёлым корпусом «газика» стал появляться просвет. Работающие офицеры уже не обращали внимания на свой внешний вид, молча, так как сил не было даже на разговоры, раз за разом раскачивая «газик», продвигались к дорожной тверди. После очередного подъёма бампера «на пуп» «газик» вдруг дёрнулся и резко рванул по колее, оставив без опоры толкавших его людей. Офицеры от неожиданности попадали в грязь, однако это уже никого не тронуло. Главное, что машина стояла на дороге!

Тёплая летняя ночь опускалась на обскую пойму. Сил не осталось даже на радость — в глазах читались опустошение, апатия и тихая злость. Молча помогая друг другу, офицеры заползли в кунг, устраиваясь кто где и тут же засыпая. Комбат, открыв заднюю дверцу кузова, пересчитал людей: все. Вдоль берега почти на ощупь добрались до лагеря. Из расположения навстречу машине вышел майор Подковко.

— Товарищ полковник... — начал он было свой доклад в свете фар, но комбат остановил его, махнув рукой:

— Ладно, Степаныч, тащи шмотки, ребята не-подъёмные.

— Борис Ерофеевич, я тут рыбки немного подловил. Может быть, возьмёте? — майор Подковко поднёс к командиру садок с рыбой.

— Какая ещё рыба, Степаныч? Живыми бы выбраться. А впрочем, подожди, дай пару-тройку. Я тут задолжал.

Обратный путь в темноте занял не менее двух часов. Прощаясь с офицерами около КПП училища, комбат потянулся в кабину и вынул три небольших щурёнка, завёрнутые в траву.

— Спасибо, Володя, — пожимая руку курсовому комсомольцу, сказал комбат, — держи поощрение, я же обещал.

В третьем часу ночи старший лейтенант Алексашин перешагнул порог квартиры. Жена с сыном не слышали, как он стягивал с себя грязную одежду, мылся холодной водой (летние ремонты сетей!), как, добравшись до постели, провалился в тревожный сон. Наутро Володю растормошила жена: — Вставай, на развод опоздаешь! Послушай, а что тебе снилось? Ты всю ночь так дёргался, так

мычал,—Галина рассмеялась.—Руки-ноги ходунном ходили, пришлось даже придерживать. Что молчишь, рыбак? Где добычка?

Сил не было никаких, Володя с трудом поднялся с постели. Руки и ноги гудели, лицо горело от комариных укусов, тело ломало и корёжило... Галина на кухне, разбирая рюкзак мужа, наткнулась на щурят.— Это и всё? Чего ради было маяться из-за такой-то ерунды? Лучше бы дома отдохнул, в парк сходили бы или в кино. Дураки вы, мужики, дураки...

На утреннем разводе училища к офицерам батальона подошёл генерал.

— Ну что, товарищи, думаю, что хоть и недолго, но отдохнули вы хорошо. Всё-таки побывать на природе в это время—дорогостоят. Ну а молодая смена уже на подходе,—генерал кивнул в сторону КПП, где дежурный прапорщик строил группу абитуриентов.— Так что с новыми силами—за работу!

Батальон безмолвствовал...

ДиН РЕВЮ



Наталья Кожевникова

Посреди реки и света

Сборник стихотворений.—М.: «Голос-пресс», 2014.—160 с.



Слезам обольюсь в ночной тиши,
Но голос твой далёкий не услышу.
Лишь, с вечера заползший в камыши,
Ворвётся ветер, жалуясь, под крышу.

Лишь боль твоя последняя в ответ
На миг толкнётся в сердце острой спицей,
Когда невозмутимый лунный свет
Пройдёт по разохшей половице...



Мама моя, ты теперь земля,
Млечные облака,
Дальнее эхо, роса, поля,
Медленная река,

Солнце, что светит упорно мне
Сквозь неурядиц мглу.
Вот почему я теперь вдвойне
Землю свою люблю.



Вошёл в меня не близким,
Не родным.
Желанным? Да.

...А дождь упрямо плакал
всю ночь,
пока огонь не вытек в дым,
и лунный луч ступил сторожкой на пол,
и половица скрипнула под ним.

«Эти стихи написаны очень зорким человеком. Предметы в них обладают удивительно точными деталями и узнаются каким-то особенным образом. Такая художественная «дактилоскопия» присуща только большим мастерам и дарованиям, изначально наделённым живописно-цепким глазом.

Символ, бытийная примета в её поэзии вырастают из сочленения обыденных черт на редкость естественно и уверенно. Тут скрыта очень важная особенность психологической конституции автора.

Вместе с тем перед нами—православный человек, всё мировосприятие которого окрашено именно этой его духовной принадлежностью».

Вячеслав Лютый

Светлана Корнюхина

Другое дерево

Уроки пения

Поймали птичку голосисту

И ну сжимать её рукой.

Пищит бедняжка вместо свисту,

А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

Гавриил Державин

Ольга Михайловна стояла у раскрытого окна и внимала пению очередного абитуриента. Сегодня — прослушивание новичков. Она сама когда-то давно завела эту непонятную для других преподавателей традицией — прослушивать новичков до комиссии. И не поодиночке, а приглашала в музыкальный класс сразу всех, чтобы вот с этого момента тот, кто «слушался», уже видел в глазах других первую оценку, а тот, кто был «публикой», отмечал для себя все плюсы и минусы, дабы уверенней предстать перед комиссией. Или, наоборот, понять уже сейчас, что голосовых данных для будущей профессии, увы, маловато. Дар небес со шпаргалки не спишешь...

Предоставив таким образом обе стороны друг другу, она сама, словно отстраняясь от спровоцированной ею же ситуации, вставала у раскрытого настежь окна и устремляла свой взгляд в омут загадочно переплетённых стволов и ветвей старого парка.

Трепет серебристых листьев в верхушках тополей, шёпот ветра в густом кустарнике, пересвист пичужек в дебрях некошеной травы, отдалённый шум городской жизни создавали своеобразную полифонию, естественный звуковой фон. И любая фальшь или оттенок равнодушия в голосе абитуриента проявлялись немедленно на живье природного импровиза, как на лакмусовой бумажке.

Откуда пришла эта потребность, она не знала. Просто однажды почувствовала, что так надо, и всё. Одних эта заоконная какофония раздражала, мешала пению: залает вдруг, пробегая мимо, собака, завоет сирена скорой помощи или неожиданно раздастся визг играющей детворы из соседнего двора. И певец сбивается, смущается, «публика» смеётся. Провал. Другим, наоборот, действительно помогала, создавала настроение, а иногда просто мистически совпадала с реальной песней.

Все студенты передавали из уст в уста, как легенду, случай, когда один юноша выбрал для

прослушивания песню о Ермаке. И только он запел: «Ревела буря, гром гремел...» — как за окном, где недавно в серебре листьев играло легкомысленное солнце, вдруг потемнело, поднялся сильный ветер, и началась настоящая гроза с раскатами грома, секущими молниями и безудержным ливнем. А он, прибавив стали и тревоги в голосе, словно приподнявшись над стихией, красиво и уверенно довёл свой музыкальный рассказ до последней ноты. И аккомпаниатор, привычно, без особого усердия выполнявшая свою обычную работу, невольно поддалась этому буйству эмоций природы и человека, играла на пределе и буквально впечатала в инструмент последние аккорды песни. Её вздёрнутый вверх подбородок как бы заявлял всему миру: «Вот она, сила Гармонии!»

Ольга Михайловна пробежала глазами по списку, взглянула на часы, с сожалением отметила про себя: «Быстро сегодня отстрелялись. Молодые нынче не очень рвутся в „служители искусства“». — Горский, — прочла она вслух фамилию последнего абитуриента и подняла голову. — Что будем исполнять?

— Песня «Выхожу один я на дорогу», — без тени смущения, даже с улыбкой, не очень подходящей к настроению заявленного произведения, ответил высокий молодой человек.

Она кивнула аккомпаниатору и повернулась к окну, настраивая свои невидимые струны на восприятие нового исполнителя. «Ладно ли будет? Вон их сколько прошло, да всё средненькие пока».

Аккомпаниатор устало вытерла на клавишах вступительные аккорды.

Ольга Михайловна улыбнулась, но не озорному жесту коллеги, а себе, своей «игре», ещё одной странности, о которой, видит Бог, никто из молодых не догадывался. Ещё до того как услышать голос новичка, она чисто по внешним данным пыталась определить: бас? баритон? тенор? И, как правило, не ошибалась. А женские голосовые данные угадывала всегда навёрняка.

Внешний вид Горского, крепко скроенного плечистого парня, с волевыми чертами лица, тянул на бас. Но песня... Явно не басовая.

Что произошло дальше, Ольга Михайловна поняла не сразу. Помнит, с первой музыкальной

фразы механически отметила: «Баритон. Не угадала...»

А потом где-то внутри стала нарастать тревога, словно схваченная морозом стылая вода в полынье медленно, но верно затягивалась плотной коркой льда.

«Пустыня внемлет Богу...»

Щелчок в подсознании— и белая ледяная пустыня памяти замкнула остатки живой воды.

...На неё, девятилетнюю девочку с широко открытыми от удивления глазами, смотрел другой, коренастый, широкоплечий сорокалетний мужчина в эковской робе. Он сидел на большом шершавом бревне, похожем на него самого. Сидел посреди необузданного пространства из высокого синего неба, серых диких гор и колючей, словно лагерная проволока, тайги и пел— широко, красиво, свободно, бережно держа тонкие детские ладошки в заглубелых широченных ручищах.

В небесах торжественно и чудно...

Нет, не пел, а рассказывал свою жизнь. Был рядом— и где-то далеко, куда рвался его густой красивый голос. Казалось, вот-вот улетит, скроется за горизонтом и не вернётся обратно. Девчонка замирала от страха и восторга и уходила взглядом выше бритой головы, чтобы увидеть, прорвалась ли красота сквозь кучность гор и дремучесть елей.

И чувствовала, как даже самые высокие ноты, врезавшись в горные цепи, тяжёлым камнепадом с гулким эхом безысходности скатывались обратно— к неотёсанному бревну, к бесформенным лагерным ботинкам и стоптанным детским сандалиям.

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? Жалею ли о чём?

— Опера...— прошептала чуть слышно Ольга Михайловна, медленно выплывая из горького тумана памяти.

Очнулась, услышав собственный голос. Увидела, что её мелко вздрагивающие руки лежат на широком подоконнике, как те доверчивые детские ладошки, а взгляд упёрся в собственные туфли, к которым, казалось, вот только сейчас скатилась та самая последняя безысходная нота из прошлого.

Она медленно повернулась к поющему юноше. И в глазах её, как бездну лет назад, отразились одновременно животный страх и удивлённый восторг. Сходство, теперь уже внешнее, было поразительным! И всей кожей она вновь ощутила то давнишнее своё состояние детской боли.

— Опера, миленький, ты не умрёшь?

Он заливался громоподобным смехом, целовал ей руки и театрально раскланивался:

— Ради вас, мадемуазель, исключительно ради вас...

И кружил её, обезумевшую от страха за него и за весь прекрасный мир, в котором зачем-то спрятали квадрат колючей проволоки, где жили серые робы с человеческими глазами, а её папа должен был их охранять.

Груз с памятью девятилетнего ребёнка, затормозивший было перед пропастью лет, вдруг сорвался и помчал по ледящему душу насту воспоминаний, выбрасывая из своих запасников то одну, то другую картину из той, лагерной жизни...

...Вот их одноэтажный домишко в дивизионе из двух улиц, где жили семьи сверхсрочников. «Колючка», тот самый лагерный квадрат, мрачная зона, откуда конвойные выводили заключённых на работу в карьер. Речка Кача, в окрестностях которой было три горы. Каждая под своим номером, как заключённый. И с кличкой.

Первая— Мертвецкая, невысокая, больше холм, нежели гора, и лысая, словно голова зэка,— ближе всех стояла к зоне и сгидилась под кладбище. Хоронили здесь и эков, и гражданских, но даже смерть не уравнивала их перед Богом. Зэкам ставили дощечки с номерами, а гражданским, как и положено, деревянный крест с именем и фамилией, датами жизни и смерти.

Вторая гора, открытая солнцу, с перелесками и полянками, звалась Ягодной. Сюда бегала детвора с туесками и корзинками, собирая таёжные витамины.

Третья гора стояла крутым лбом ко всем другим и прозывалась Щебёнкой. Туда в одной колонне со всеми долгое время ходил «ломать камень» и он, Опера, пока его не расконвоировали и не перевели на хозработы— за хорошее поведение и ввиду скорого освобождения.

Однажды, в канун Первомая, в клубе, где обычно крутили редкое кино и отмечали праздники семьи дивизионных служащих, состоялся очередной концерт самодеятельности. Оля с мамой выступали впервые дуэтом и очень волновались. Но вот объявили их номер, и обе павы-пряхи в русских народных нарядах выплыли лёгкой походкой на сцену и грациозно присели на табуреты. Баянист заиграл вступление, и их руки ожили, изображая движение невидимой нити. Два голоса— грудной и душевный мамин, тонкий

и звонкий дочкин — полились одним журчащим ручейком в зал:

Позолоченная прялица,
Мы прядём, а нитка тянется,
Мы прядём, а нитка тянется,
Нам работа наша нравится...

Когда все заплодировали, Оля перед поклоном довольным взглядом окинула зал и улыбнулась: к сцене по узкому проходу между рядами шёл Опера, прижимая к груди два букетика скромных весенних первоцветов. Он легко и артистично взлетел на сцену и вручил цветы смущённым певуньям. И только повернулся, чтобы спуститься в зал, как вдруг кто-то крикнул порывисто:
— Спой, Опера!

Напряжённая тишина повисла в зале. Обе стороны понимали: не положено. Все эти лютики-цветочки, галантные поцелуйчики — уже из ряда вон... Опера замаялся, не зная, что делать. Все взоры были обращены на первый ряд, где сидел «кум» — начальник зоны — со своей семьёй. Его супруга молча положила свою руку на ладонь мужа, видимо, призывая его к спокойному и разумному решению, но глазами уже одобряла его выбор в пользу нештатной ситуации. «Кум», глядя прямо в глаза Горскому, чуть кивнул. Механически кивнул и Опера, как бы сообщая залу это непростое «да». И люди заплодировали снова — в поддержку начальника и предстоящего выступления Оперы.

Ещё скованный и неловкий минуту назад, Опера словно стяхнул с себя девять лет заключения, встал в свободную, непринуждённую позу артиста, высоко поднял голову и, найдя на противоположной стене невидимую точку, запел без всякого сопровождения, а капелла:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит...

Притихший зал понимал, о чём стонало сердце артиста. Многие знали его историю. Не уголовник, не карманник, не мошенник, не предатель, а «политика», бывший артист оперного театра, один из тех, кто за неосторожное слово в компании хлопотал «десятку» по пятьдесят восьмой статье без права переписки.

Не пел — исповедовался, с болью вспоминая те дни, что перевернули всю его жизнь...

...Столичная квартира Горских под номером 77 в доме 7 на Старом Арбате славилась в артистической среде своим гостеприимством. Кто-то из остряков окрестил её по аналогии с портвейном «Три семёрки», и когда назревал очередной «капустник», говорили на французский манер: сбор у «Трёх семёрок».

На вопрос, кто же у «Трёх семёрок» стал «шестьёркой» в тот злополучный вечер, Горский искал ответа все девять лет отсидки, да так и не нашёл. Понимал: тогда они явно «перебрали». И всё бы ничего, да Боря Вудренко неосторожно перешёл на политику. А бдительность Боря потерял, когда сел на любимого конька — подражание поэтам, захотел, видите ли, всех удивить новинкой — «Стихами о советском паспорте» Маяковского, а вернее, пародией на эти стихи. Нашлись желающие ему подыграть. И когда Боря в полном ударе дошёл до слов «молоткастый, серпастый», а тощий Сенья Овчинников с толстушкой Лялей Семёновой молниеносно изобразили знаменитую скульптуру Мухиной «Рабочий и колхозница» — нашего пародиста осенило. На той же патетической ноте, с показом на натуре, то есть на Ляле, Боря повторил: «Молоткастый, серпастый, грудастый, задастый... — и, встав в позу Сталина, заключил с грузинским акцентом: — усасть са-а-авэтский паспорт». И застыл якобы с трубкой во рту.

Посмеявшись, перешли к новому тосту. Ещё часа два пели беззаботно под гитару и расходились по домам, не предчувствуя беды.

А на дворе уже стоял-лютовал тридцать седьмой год. Наутро Борю взяли первым, остальных прибрали на допросы к вечеру. Ещё не зная, за что арестован, Горский мерил камеру нервными шагами и механически напевал старинную песню «Магушка, что во поле пыльно», которую вчера так задушевно пела Ляля. И вдруг остановился, уловив в безобидной песенной истории сватовства другой смысл: «...на двор гости едут», «дитятко милое, я тебя не выдам».

Напророчили...

Веру, жену Горского, не тронули, она ждала ребёнка. И всего лишь одна весточка о том, что у него родилась дочь Надежда, докатилась к нему в Сибирь через многочисленные пересылки.

Тем и держался все эти годы — Верой, Надеждой и огромной Любовью к ним...

...С того праздника в клубе Олина жизнь потекла совсем по другому руслу.

Огромный пустырь между воротами зоны и дивизионным жильём стал для маленькой Оли всем: детской площадкой, музыкальным училищем, театральной сценой...

Единственная сосна, причудливо раздвоившая корявый золотистый ствол и вольготно раскинувшая свои пушистые лапы, радовалась здесь обилию света и отсутствию необходимости тянуться к нему в конкурентной борьбе. Под сосной лежало большое бревно, бывшее когда-то тоже сосной, но переставшее радоваться жизни лет пять назад и служившее теперь скамейкой и местом для детских игр.

Однажды, улучив свободную минутку и заведя издали светлые кудряшки возле одинокой

сосны, Опера незаметно подошёл, прислушался, как девочка мурлычет ту самую песню, что пел он на сцене, и присел рядом:

— Ну, здравствуй, Лучинушка!

— Опера!

— А хочешь, я научу тебя, как правильно петь эту песню?

— Так я все слова знаю!

— В песне не только слова надо знать, надо ещё и душу её понять!

— А разве у слова есть душа? Оно же неживое...

— Живое, Лучинушка. Очень даже живое. Словом можно порадовать, а можно ранить или даже убить...

— Не надо никого убивать, Опера, миленький, давай радовать...

Сказать, что с того дня уроки пения стали для неё такой же потребностью, как есть и пить,— значит, ничего не сказать и даже обидеть Оперу. Это был удивительный учитель...

— Опера, а какую песню мы сегодня будем разучивать?

— А вот какую...— он поискал глазами и подобрал с земли сухую сосновую ветку, нарисовал две параллельные линии и жирную точку между ними.— Отгадай: что это такое?

Оля сощурила один глаз, второй, потом нахмурила лоб, но разгадать не получалось.

— Сдаюсь.

— Ты стихи Михаила Лермонтова слышала?

— Слышала. Мама читала про «парус одинокий», про «сосну одинокую», но это совсем непохоже,— ткнула она носком сандалеты в непонятный рисунок.

— А это другое: «Выхожу один я на дорогу».

Секунда недоумённого молчания. И два клубка смеха— звонкий, залиvistый детский и низкий, раскатистый мужской— покатались с пустыря на улицу и дальше, к горе...

Беспокойная мама тень метнулась в окне, но другая, папина, обняла её, успокоила:

— Не тревожься, Мария, у него своя такая подрастает. Не видел ни разу. Пусть сердце отгадет у мужика.

А с пустыря уже лился красивый сочный баритон, с тоской и болью рассказывая о том, как «звезда с звездой говорит». Куда девались его озорные глаза с прищуром? Оля невольно сжалась, чувствуя, как открывается ей смысл каждого слова, каждой интонации, каждой нотки, улетающей в небесную даль, выше дивизионных барачков, угрюмой «колючки» и непроходимой тайги.

Я б хотел забыться и заснуть!

Ей стало по-настоящему страшно.

— Опера, родненький, ты не умрёшь?

— Никогда! Ради вас, мадемуазель, исключительно ради вас!

— Ты замечательный артист, Опера! Но почему ты зэк?

— Трудно объяснить, Лучинушка. Вырастешь— поймёшь. Хотя и взрослому разуму одолеть sie тяжело...

...Последний звук мелодии запутался в шорохе листвы, и аудитория затихла в ожидании «приговора». Горский опустил руки, сразу ставшие полными, и поднял на Ольгу Михайловну взгляд, лишним открытой, уверенной убеждённости: правда, хорошо?

— Опера...— тихо повторила Ольга Михайловна.

Горский растерялся, но, увидев бледное лицо педагога, бросился к Ольге Михайловне и помог сесть на стул.

Собиравшая ноты аккомпаниаторша охнула, кинулась наливать воду в стакан, ворча при этом:— Вот до чего доводят эксперименты.

Убедившись, что коллега задышала ровнее, вздохнула облегчённо. Спросила, не надо ли чего, взглянула на часы, выпроводила всех из музыкального класса, сунула под мышку ноты и подалась сама, продолжая на ходу ворчать про «наказуемую инициативу», про то, что «сколько ни старайся, а Соленковы с алябьевскими „Соловьями“ рождаются раз в сто лет, а Шаляпины и того реже...»

— Остаётся, Миша,— хрипло прошептала Ольга Михайловна вслед уходящему последним Горскому.— Присядь, пожалуйста.

Улыбнулась, заметив, как решительно он сел, как сцепил взволнованные пальцы, как знакомо заходили скулы под взглядом серых встревоженных глаз.

— Ты очень похож... на своего деда.

— Вы знали моего деда?— изумился Горский.

— Знала... Ни имени, ни фамилии. Только кличку— Опера. Зато слышала, как он пел.

— Да, бабушка рассказывала. Он был оперным певцом. Погиб на войне с выездной фронтовой бригадой.

— На войне? Постой, это же было в сорок седьмом... Ну конечно...

Но, взглянув на молодого человека, осеклась. Вдруг поняла: нельзя, возможно, это чья-то тайна, а она...

— Вы не ошиблись?

— Я не ошиблась, Миша.

Она ещё раз внимательно посмотрела на юношу, удивляясь странностям человеческой памяти, ни разу в её взрослой жизни не споткнувшейся об эти воспоминания. Но стоило судьбе послать этот голос... Удивительно!

И она решила рассказать ему всё...

.. Как заколдованная, каждый день приходила Оля на пустырь, усаживалась на бревно, поджимала под себя худенькие коленки и в упор смотрела на ворота «колючки», терпеливо ожидая, когда их откроют и выйдет Опера, освободившись от хозработ на одну маленькую минуточку.

«Жаль, вчера урок пропал, Опера не пришёл почему-то. Наверное, работы было много. Что-то он придумает сегодня?»

Ворота со скрипом открываются, выпуская машину, что ходит в определённые дни за продуктами на «железку». Оля вскакивает, вытягивая шею и всматриваясь в мрачный проём ворот, но Оперы нигде не видно. Хмурый охранник уже снова стискивал тяжёлые ворота, когда заметил её. Крикнул издали:

— Не жди, девочка, иди домой! Убили твоего Оперу.

Пока громыхал металл, и лязгала цепь, Оля осмысливала прилетевшие страшные слова: «Нет, нет, это Опера, наверное, придумал новую игру или страшную сказку. Вот он сейчас выйдет и...»

Но шло время, а за воротами всё так же висела тягучая тишина. В немигающих, застывших от ожидания глазах девочки ядовито зелёный цвет металла становился гуще, превращаясь сквозь обморочный туман в жуткие змеиные клубки. В брезгливом испуге она замотала головой, осознав, наконец, что охранник сказал правду. Сорвалась с места и побежала домой, чувствуя, как слёзы, подступившие к горлу тем жутким змеиным клубком, душат её, отнимая последние силы.

Навстречу шёл отец, прихрамывая на больную ногу и на ходу снимая потную фуражку. Оля с разбегу уткнулась ему в колени и забила в рыданиях первого в её маленькой жизни, такого безутешного, большого горя.

— Почему Опера? За что? Он ведь добрый...

Отец не успокаивал, а только гладил по кудряшкам, приговаривая:

— Поплачь, родная, поплачь. Слезой горючей по душе певучей...

Обняв за плечи дочь, почувствовал, как она внезапно задрожала от холода, побледнела и мгновенно ослабла. Он поднял её на руки, прижал к груди и понёс домой, где уже их ждала встревоженная вестью мать...

Полулёжа на высоких подушках в своей кровати, Оля держала в руках чашку с горячим чаем, настоящим на таёжных травах, и сосредоточенно слушала рассказ отца, совершенно не чувствуя обжигающего жара. Застыла, окаменела, как царевна в мрачном логове Кощея...

— Видишь ли, доча. Жизнь в зоне — штука жестокая. В случившемся ещё разбираются, но картина, в принципе, уже ясна. Опера с утра получил задание заменить пару сгнивших досок в одном из бараков с заключёнными уголовниками. Он

принялся за дело, не обращая внимания на то, что в углу взвинченные цифирём урки перекидывались в картишки, играя «на интерес». Видимо, «интересной» фантазии у тех уже не хватало, а на «кукареку» играть надоело. И как только Опера застучал молотком, пахан, смеясь, предложил «поставить» на Оперу. Тот должен спеть по заявке победителя. Подфартило, разумеется, пахану по кличке Шрам, рецидивисту со стажем и известному карточному шулеру, который пожелал, чтобы Опера выдал что-нибудь из блатного репертуара. Опера не хотел ссориться с уголовниками, но и петь блатную песню тоже не желал и вежливо отказался. Урки возмутились: «Для вертухаев соловьём разливаешься, а мы, стало быть, рожей не вышли». Пригрозили «замочить». Опера по простоте душевной не поверил. А когда в руках одного из них сверкнула заточка, понял, что дело нешуточное, и согласился. Но запел не то, что ждали уголовники, а то, что ему подсказала возмущённая совесть. Оперный артист разразился арией Мефистофеля из «Фауста». Пел, как рассказывали потом на допросе ошарашенные урки, неистово, словно «буйный» из больницы, сотрясая могучими кулачищами в сторону пахана: «Сатана там правит бал!» У того от злобы перекошилось лицо. И если бы не охранники, прибежавшие на звуки не предписанного правилами зоны концерта, Оперу не поздоровилось бы наверняка.

Шрам, чей разум помутился от неслыханного оскорбления, отомстил втихаря, подослав ночью подручного, который и накинуд удавку на строптивое горло гордеца-артиста...

Отец вытер платком покрытый испариной лоб и только сейчас, увидев недоумённый взгляд дочери, сообразил, что расписывал весь этот кошмар девятилетнему ребёнку, который не понял и половины слов из ужасного лагерного жаргона. Спыхватившись, начал что-то лепетать, поправлять одеяло, подливать ещё чаю...

А она, чьё сердце превратилось в крохотный твёрдый камушек, спокойно, совсем по-взрослому спросила:

— А где его похоронят?

— Где и всех — на кладбище.

— Но Опера — не все, он другой, он хороший. Папочка, родненький, пусть его похоронят на пустыре, у нашей сосны!

— Нет, доча, нельзя, не положено. Не по правилам.

— По каким правилам? Он добрый, а его убили. Это по правилам? Ну хочешь, я сама пойду к вашему начальнику, хочешь?

Она резко отбросила одеяло, готовая сейчас же бежать и умолять этого грозного дядю. Отец, предвидя новую волну рыданий, пообещал, правда, без всякой надежды в душе, что сам поговорит

с начальником зоны, вздохнул и пошёл к двери, слыша вслед причитания дочери:

— Кто ж его пожалует? Я ж тут у него одна. Папочка, родненький, попроси, пожалуйста...

В бреду и забытии прошло более двух часов. Когда Оля очнулась, в доме было тихо, только методично тикали ходики на стене да солнечный закатный луч настойчиво пробивался в окно, освещая пурпурные цветы комнатной герани. Неведомая сила подняла её, а ноги сами направились к окну, откуда были видны и пустырь, и гадюшного цвета ворота. Она увидела выходящего из ворот зоны отца, довела его немигающим взглядом до дома и повернулась к двери, не дыша и не смея двинуться с места...

— Разрешили, доча. Только ни о чём больше не проси. Похорон не будет.

Наутро, когда солнце поднялось выше кедров, Оля пробудилась от тяжёлого сна, не спеша оделась, со страхом потянулась к окну. Пустырь был безлюден. Холодом сковало руки и ноги, когда глаза, припухшие от вчерашних слёз, различили под сосной тёмный холмик земли и свежеструганную дощечку.

«Иди, там Опера»,— говорил ей внутренний голос, а ноги не шли, будто приросли к полу. Руки машинально обхватили стоявший на подоконнике горшок с геранью.

«Иди! Там Опера!»— приказала сама себе и, прижав к груди герань, вышла на залитый новым, таким солнечным утром двор. Боже мой, каким невообразимо длинным показался ей этот траурный путь, который пробегала раньше за считанные минуты! Как во сне подошла к могиле, приспособила герань к подножию номерной таблички, прошептала:

— Опера, миленький, а говорил, что не умрёшь... Как же я без тебя? Кто ж меня теперь Лучинушкой звать будет?

Она села на бревно, подтянула колени под себя и застыла в ожидании ответа. Подходила мама, уговаривала пойти позавтракать, но, не добившись ни слова, уходила и приносила еду сама. Оля, надкусив бутерброд, разложила остатки на могилке, на помин. Подходил папа. Накинув на плечи тёплую кофту, чуть надтреснутым голосом поведал, что принял решение уйти со службы. Оля кивала, но, казалось, ждала чего-то другого...

Когда заскрежетали, залязгали ворота, зазмеилась, закуролесила пыль под ногами выходящих на работу заключённых, Оля встала, вся напряглась, до боли сжав маленькие кулачки.

Мимо проходила бабка-богомолка. Увидев свежую могилку, истово закрестилась, да так и застыла, не завершив креста. Сколь ни жила, такого сроду не видела: дитё с ангельской головкой и дрожжащими губами стоит у могилы и слёзно голосит:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит...

Свят, свят! Нехристи головы бритые к земле наклонили, словно прощения просят. А дитё пуще убивается:

Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с тобой и я...

...А вскоре, погрузив нехитрый скарб на телегу, отец увозил свою семью подальше от этих мест.

Когда-то, вернувшись с фронта полукалекой, потеряв двоих детей, умерших от болезней, он с отчаянья пошёл на сверхсрочную службу, прельстившись офицерским пайком, чтобы сохранить жизнь третьему ребёнку. Теперь же, боясь за пошатнувшуюся психику дочери, рискуя потерять свои важные человеческие ориентиры в этой жизни, он погонял коня в новую неизвестность...

— Ольга Михайловна. А вы... вы могли бы показать нам с мамой эти места?

— Да, Миша, разумеется. Я и сама должна. Должна...

...Остановка «Блокпост 777». Посёлок Тупик. Почему Тупик? Ах да, когда солдаты ездили за продуктами, вагонетку с «железки» спускали по узкоколейке в тупик.

— Семьсот семьдесят семь?— вслух спросила Надежда Михайловна, глядя на указатель.— Ирония судьбы. «Три семёрки» поменяли адрес, климат, а счастья так и не принесли.

Поискали на станции людей, кто помнил про лагерные места, нашли ветхого деда, который бывал там, знал, как добраться. Выслушав просьбу, всё удивлялся:

— И зачем это людей несёт в эдакую глухомань?

Но, услышав, что ищут могилку, споро снарядил такую же древнюю кобылу и всю дорогу без умолку рассказывал разные истории, найдя в Михаиле, сидящем рядом с ним, благодарного слушателя. А Ольга Михайловна всё поглядывала на мать Миши. Это о ней скучал Опера, когда играл с маленькой Олей, это её он так и не увидел ни разу в жизни, и другая девчонка стала ему на время дочкой...

— Вы знаете, Ольга Михайловна,— словно услышав её мысли, тяжело выдохнула Надежда,— мне мама только взрослой рассказала правду, когда я собралась замуж. Попросила в память об отце не менять фамилию и внука назвать его именем. Одному Богу известно, сколько ей пришлось пережить. Мне и года не исполнилось, когда она решила тайно покинуть московскую квартиру. Боялась каждого стука в дверь. Наслышана была,

как арестовывали жён врагов народа, как забирали детей в приюты, ставя клеймо на всю жизнь. И она решила ехать в Сибирь, подальше от этих страхов, поближе к своему мужу, надеясь на то, что отыщется хоть какой-нибудь след. Но, увы...

Ольга Михайловна обняла Надежду:

— Бог милостив! Вон сын у тебя какой славный. Настоящий Горский! А ты мне теперь как сестра родная...

—...Смели, сгребли всё подчистую, ироды! Господи, прости...— крестился дедок-проводжатый. И, вытирая подслеповатые глазёнки замусоленным рукавом, добавил, показывая на холм:— И могилки не пожалели, нехристи.

Ольга Михайловна и Горские стояли, окаменев. Не было ни колючего квадрата, ни барачных построек, ни эковского кладбища. Вокруг, насколько хватало глаз, лежало глухое безмолвие. Кто-то очень предусмотрительный прошёлся бульдозерным ножом по кричащему прошлому, чтобы даже мёртвые не высывались номерными табличками, этими немymi вопросами, рвущими душу...

А природа, обрадованная возвращению когда-то отнятого у неё пяточка земли, с рвением истовой хозяйки культивировала её вновь. Как насильно бритая голова эка снова упрямо покрывалась жёстким ёжиком волос, так и лагерное пространство заросло, закуржавело за эти годы буйными таёжными травами да мелким кустарником.

И только не посмели снести гражданские могилы—видимо, в надежде, что со временем забвение само найдёт сюда дорогу. Так и случилось. Могильные кресты—где накренились, где упали, а где вовсе сгнили, сравнялись с землёй.

«Сосна... Где она могла быть?»—Ольга Михайловна заметалась в дебрях собственной памяти, глянула в упор на крутолобую Щебёнку. Вспомнила, как пылилась дорога мимо дивизионных строений, резко развернулась к «колючке» и долгим взглядом буквально вычислила место на пустыре, где росла когда-то красавица-сосна. Она кинулась туда и, не добежав, споткнулась о заросший бугорок. Упала, оказавшись лицом к лицу с почерневшим крестом с именной табличкой. Чуть дыша, она медленно провела по ней рукой, убирая жухлые листья: «Михаил Петрович Горский, 1907—1947». И подпись: «Прости нас, Опера». С изумлением, словно не веря своим глазам, прочла ещё раз. Другой крест. Другая надпись. Значит, кто-то... —Опера, родненький, прости...

Михаил взглянул на бледное лицо матери, что так и стояла, замерев от первого потрясения, бережно взял её за локоть и тихо повёл на первую встречу с отцом и дедом.

Суетливый возница полез в телегу, достал топорик, лопату и засеменял вслед, охая и вздыхая, кляня всех иродов царя небесного и рода людского.

Солнце уже закатывалось за гору, когда поправленная, окантованная шершавым камнем, найденным в окрестности всё тем же деловым дедком, могила была вновь увенчана крестом. Обе женщины положили на неё скромные букеты таёжных цветов, и поминовенную тишину заброшенных Богом и людьми мест нарушил тихий неровный голос Ольги Михайловны:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То моё, моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит...

Сильный молодой голос подхватил песню, и она поплыла ввысь не то плачем, не то молитвой, перекатываясь через глухую тайгу и дикие горы, улетающая туда, где витала добрая, неприкаянная душа человека, так любившего жизнь.

Я—другое дерево

*Человек не умирает до тех пор,
пока с этим не согласится.*

Томас Манн

Я смиренно лежал в гробу и ждал, когда начнут говорить речи перед тем, как заселить мною тесную однокомнатную кладбищенскую квартиру. Где-то я читал, или анекдот такой был, не помню. Но сейчас это происходит со мной: тело умерло, его хоронят по всем правилам, а мозг работает. Или это не мозг, а остатки неведомой субстанции? Словом, что-то во мне не соглашается умирать. Хочет послушать о себе, любимом, в последний миг, когда тебя вычёркивают из жизни простым тире и приговаривают к вечности датой смерти.

Ну вот, батюшка отпел, свечки потушили. Чего молчат? Тишина, как на кладбище. Шучу. Может, в последний раз.

Вот, началось...

— Он был... Невосполнимая утрата... Прощай, друг...

Друг? А-а... Это вы, «генералы песчаных карьеров» крымского пошиба. Говорите, не стесняйтесь. Я же понимаю, что себя, беспечно весёлых, бесстрашно авантюрных, вы оставили в далёкой юности. Где, впрочем, остался бы и я, если бы...

Кстати, бьюсь о крышку гроба, как об заклад: мы все сейчас подумали об одном и том же! Вернее, об одной. О той, которая отняла меня у вас и могла бы стоять сейчас у моего изголовья.

Правда, я не представляю её в чёрном. Она всегда ходила в белом, эта кисейная барышня из Коктебеля...

...Мой Коктебель семидесятых—это скромный домик на окраине, где мы с матерью остановились на лето. После тяжёлой операции врачи настоятельно рекомендовали ей отправиться к морю.

А меня, семнадцатилетнего шалопая и безотцовщину, она просто побоялась оставить одного в разнузданном мегаполисе.

Море! Я быстро и без страха научился прыгать с крутых скал Кара-Дага в пенистую бездну и ловко орудовать трезубцем на подводной охоте в его прозрачных глубинах.

В первые же дни местная шпана сделала мне «профилактику мозгов», прилепив кличку «Москвич». И уже через неделю я наловчился «шмонать». Днём — отдыхающих на пляже, разыгрывая кражи («Дяденька, это не вы потеряли кошелек?»), а ночью — сады у зловредных соседей, на чьих заборах с ехидством писали: «Бесплатные фрукты!»

Так что вскоре без особых усилий я приобрёл себе славу навроде гайдаровского Мишки Квакина.

Знала бы мама...

Однажды утром спешил я к дружку Саньке и, заметив тропинку, ныряющую в заброшенный сад, решил сократить путь. И вдруг услышал где-то в стороне звуки рояля. Сквозь хаос одичавших деревьев прорывалась удивительной чистоты волнующая мелодия. Я задержал дыхание и неожиданно для себя свернул с тропы. Шёл как во сне, не обращая внимания на хлесткие ветки. Когда же деревья расступились, понял, что забрёл в чью-то усадьбу.

И пропал...

Вернее, попал прямо в прошлый век. Старинный двухэтажный деревянный дом с широкими окнами утопал в курчавой зелени кустарников. На просторной веранде в плетёных креслах уютно сидели дамы в шляпках и распивали чай. На изумрудном газоне перед мольбертом стоял импозантный художник в длинной хламиде, эдакая глыба с вьющейся шевелюрой, и увлечённо рисовал. Я проследил за его взглядом и обомлел.

В тени деревьев, в гамаке тёмно-серого цвета спала она. Рядом стоял subtilный очкарик-паучок и слегка покачивал её. Боясь обнаружить себя, я сначала прилип к дереву, но, не выдержав, пошёл вперёд и без смущения стал разглядывать миниатюрное создание лет шестнадцати, так не похожее на распальцованных девчонок моего окружения.

Лёгкое белое платье свободно облегалo её хуленькую фигурку до самых пят, а кружевные носочки на маленьких ступнях мило дополняли образ дворянской барышни.

Спящая красавица? Не сказал бы. Лицо довольно простовато. Уши — как два вареника, слегка оттопырены. Длинные прямые волосы схвачены узкой атласной лентой.

Беззащитный бледный мотылёк в коварной паутине гамака.

Красивее видели...

А пропал я в тот момент, когда она открыла глаза. Огромные серые озёра в бархате длинных тёмных ресниц.

— Ты кто?

— Мишка Квакин.

Ни тени улыбки или испуга. Она спустила ноги, сделала знак очкарику, и тот послушно удалился.

— А я Зарина.

— Впервые слышу такое имя.

— А второго и нет. Я родилась на заре, закричала вместе с соседским петухом. Все засмеялись, а мама сказала: «Заря-заряница родила девицу. Значит, на крестины назовём Зариной». Так и назвали. Садись рядом, рассказывай. Как ты попал сюда?

— Заблудился.

— Приезжий?

— Из столицы.

— И я из Москвы.

— А петух жил на балконе роддома?

— Какой петух? А-а... Нет, мама меня здесь рожала, в доме своих родителей. Дед у меня — писатель, бабушка — киновед, мама — учитель музыки. Отца нет...

— Понятно. Творческая богема. Это мама играет?

— Да. А насчёт богемы ты не прав. Просто — это их жизненный выбор, далеко не лёгкий и не всегда сразу успешный. Тебе интересно это?

— Думаю, теперь да...

Как оказалось, здесь часто летом жили поэты и писатели, художники и музыканты. Чаше приезжали за вдохновением, нежели лечиться.

Они разговаривали не всегда понятно. Но уж точно не о том, кто кому в драке на пляже подбил глаз и к кому под забор на этот раз свалился мертвецки пьяный муж соседки тётки Клавы...

Здесь говорили приятно и мило: «Душечка, не сочтите за труд, принесите мою корзинку сшитьём». Вдохновенно и азартно: «Нет, вы только послушайте, какие стихи сочинил наш скромница Сорин! А ведь ещё недавно не мог ямба от хорея отличить». Предупредительно вежливо: «Будьте любезны, Родион, в третьей части... ля бемоль... Нежнее».

Чудики...

Но каждое утро тянуло почему-то именно сюда, в размеренно-спокойный, музыкально-вдохновенный уголок другого Коктебеля.

Нравилось удивляться.

Как-то, поджидая Зарину, увидел на веранде книгу. Рядом никого. Взял томик и пошёл почитать в гамаке. Через некоторое время слышу: все шумно ищут именно её. Поразился: ведь книга, а не жареная утка. И тут слышу, как домработница Груша сообщает, что из кухни пропала утка. Реакция нулевая: ни криков, ни беготни. Громада Самсон, случайно глянув во двор и заметив меня с книгой, извинился, хмуро предположил худшее,

а уже через минуту бережно вёл меня за ухо в притихшую гостиную.

— Это не он,—спокойно сказала Зарина, у плеча которой солдатиком стоял скрипач Родик.— Уэтого ум голодный, а не желудок. Санька с соседней улицы мог.

Я в шоке. Слабая с виду девчонка, не моргнув глазом, твёрдо и сразу отсекла напраслину. И Самсон ей поверил, отпустил моё ухо, аккуратно повернул меня к выходу и мысленно наладил лёгкого пинка. Главное—книга нашлась, а утка—так, мелочь. Ибо духовная пища—это на всю жизнь, а утка—еда одного дня.

Интеллигенция...

Она вышла вслед за мной, одна, без Родика, и мы направились в тенистый сад, дразнящий ароматом созревающей айвы.

— Ты не переживай. Они ещё не знают тебя.

— А ты?

— Я знаю. Ты—другой. Санька утку украл. А ты—книгу. Ты—другое дерево.

— Это как?

— Посмотри: вокруг разные деревья растут. Люди—как деревья: всякий находит своё место под солнцем. Только надо понять себя. Ты ещё не понял, что ты—другое дерево.

— У меня есть шанс?

— Ещё какой! Ты за эти дни даже не вспомнил про своих друзей. Значит, это не твоё. И ещё. Я видела, как вчера у моря ты наблюдал за работой Самсона. Глазами ты писал свой закат. Дай только кисть в руки... А когда я читала тебе стихи Волошина на его могиле, ты взял камень, что принёс из долины, и всё время держал его в ладонях, как талисман. А как ты рассматривал в музее акварели поэта? Ты сиял, словно перламутровая раковина, нарисованная на его миниатюре. И читаешь вдумчиво, задаёшь вопросы. Знаешь, как мой дед говорил? «Литература—это не просто школьный предмет, это воспитание души».

— Я не уверен...

— А я уверена. Ну-ка пошли в дом. Не бойся, все разошлись по своим делам.

И, крепко держа меня за руку, потащила в гостиную. В ящике стола нашла голубую гибкую пластинку из журнала «Кругозор», поставила на штырь проигрывателя.

— Это Микаэл Таривердиев.

Я услышал низкий, немного гнусавый голос, который кого-то настойчиво уверял: «Но я другое дерево, другое дерево...»

Зарина улыбнулась:

— Его сначала крепко критиковали. Песни—не песни. Романсы—не романсы. Так, монологи от первого лица. Но он так чувствовал музыку и сочинял по-своему. Признание пришло позже, и всё же он остался верен себе. Хочешь, подарю?

— Как знаешь...

— А завтра мы прочитаем о тебе в гороскопе друзей. Ты когда родился?..

Я чувствовал себя неудобно оттого, что она тратит время на меня, уличного голодранца. И тут же сказал об этом. И снова удивился. Ей, оказывается, это даже приятно, потому что, как говорила её бабушка, «чем больше людей откроет для себя мир литературы и искусства, тем больше будет в мире Гармонии и Добра».

Уже не сомневаюсь...

Дни летели, ночи становились длиннее, и я стал замечать, что просыпаюсь с одной и той же мыслью—увидеть её. Кисейная барышня не от мира сего притягивала какой-то необъяснимой внутренней силой. Я злился на себя: «Не хватало ещё влюбиться в привидение». А она продолжала держаться, как и дышала, ровно и как с равным. Но я не смел перейти черту...

Что я ей мог дать?

Однажды лунной ночью она пригласила меня на залив и предложила не просто искупаться, а проплыть по лунной дорожке гольшом, наперегонки, загадав перед этим очень серьёзное желание.

Я сначала глупо уставился на неё, а потом смутился, увидев, как медленно, белыми струями, стекает на рыжий песок кисея девичьего платья. Густо покраснел и неожиданно согласился. Ещё подумает, что я трус.

И отчаянно загадал невероятно наглое желание: поступить в Литературный институт и жениться на Зарине. Дал себе слово стать достойным её. Что ли, зря она, словно учёный-ботаник, возилась со мной, превращая сорняк в благородное растение?

От такой наглости у меня случился необычный прилив сил, и я на счёт «три» рванул брассом по лунной дорожке, упрямо повторяя при каждом взлёте головы над водой: «Я—другое дерево... Я—другое дерево...»

Зарина, наоборот, мягко вручила своё хрупкое тело лунно-масляным тёплым водам залива и поплыла легко и свободно, даже не пытаясь догнать меня, ошалевшего от предчувствия открытия некоей трепетной тайны.

Уже через минуту я обогнул взбесившийся на волне красный буйёк, перевернулся на спину и спокойно направился к берегу, осознав вдруг, что она отстала нарочно, чтобы сбылось именно моё желание.

Ночь была волшебная. Мы качались на лёгких волнах, жадно впитывая в себя магию ночного светила и благодарно улыбаясь мигающим звёздным россыпям. И всё случилось сразу: первый робкий поцелуй, первые жаркие признания и восторг первой близости...

Когда Зарина, сияющая от счастья, представила меня родным как своего парня, их лица вытянулись в недоумении. Моя глупая улыбка мгновенно исчезла: «Увы, не вашего круга». Я крепче сжал руку Зарины и повернулся к выходу, услышав за спиной испуганный шёпот:

— Неужели влюбилась?

— Как бы не увлеклась серьёзно.

— Уж лучше Родион. Тот в курсе...

«Родион? Как бы не так!»

Два месяца пролетели незаметно. Пришло время возвращаться в Москву. Быстрее ветра я бежал к Зарине, чтобы вместе попрощаться с нашим морем. Услышав издали игру на скрипке, с досады рубанул воздух: «Ну уж дудки, Родик! Сегодня ты — третий лишний».

И скрипка вдруг замолчала. Я открыл калитку. Родик и все обитатели усадьбы стояли возле гамака, в котором лежала Зарина.

— Что случилось, Родион?

— Она умерла. У неё была лейкемия. Последняя стадия.

— Ты знал?!

— Да. Все знали. Кроме неё. По просьбе матери я ухаживал за нею, как настоящий жених. Но она выбрала тебя. Полюбила...

Потрясённый, я опустился на колени. Замерший в пауческом гамаке белокрылый мотылёк чуть заметной улыбкой говорил мне: «Вот теперь я согласна». Я осторожно взял из её рук записку: «Прости. И я прощаю всех. Я всё знала, но я успела познать счастье любви. Спасибо за этот бесценный дар».

Кто-то сказал: первая любовь — как последняя страница детства.

Всё, что в моей жизни было потом, — было больше и значительнее жареной утки в кислом соусе.

И писателем я тоже стал. Говорят, довольно хорошим.

...Комья земли грубо застучали о крышку гроба.

Зарина! Спасибо тебе! Ты подарила мне другой мир, хотя сама ушла из него. А теперь, мой кисейный ангел, моя Мадонна с нашим так и не родившимся младенцем, я иду к тебе. К вам...

Аминь.

ДиН пародия

Евгений Минин

Отнимите «мышку»!

Дело в мышке

*О, файлы удалённые в корзине
меняющего кожу бытия...*

Юрий Беликов

Я объясню — зачем тянуть резину,
терзать недоумением народ? —
что файла удаление в корзину —
практически компьютерный аборт.

В такие игры с Музой играю!

Талант гублю бездарно на корню!

Все файлы гениальные стираю,
а барахло десятки лет храню.

Когда же из всего верстаю книжку,
то самому не хочется читать!

Друзья-поэты!

Отнимите «мышку»!

Иначе мне великим не бывать!

Мурзин знает

*Бунин пишет, Бунин знает —
Есть ли свет в конце аллеи.*

Дмитрий Мурзин

Кто-то скажет — это юмор,

Только это всё не бредни.

То, что Бунин напридумал,

Нам аукнулось намедни.

Новости телеэкрана

Нас добьют в конце недели.

Будут дни нам окаянны,

Станут тёмными аллеи.

И не плачьте, уповая

На отсрочку или милость:

Мурзин пишет, Мурзин знает

То, что Бунину не снилось.

Юлия Лалуа

Долго длится день

На балконе у нас

Как-то мы с сестрой Галкой попросили родителей купить крокодильчика.

Жил бы он в ванной и был бы чуждым питом¹! Но папа, подумав, заметил: «В семье должен быть только один любимец. И он уже есть. Это я». И правда, как мы забыли? Больше о том разговоре никто не вспоминал.

Нет, мы, конечно, мечтали устроить на застеклённой лоджии рассадник хомяков. Смотреть на стайку пушистых зверьков прямо из комнаты через стекло, сидеть на диване и подбрасывать им в форточку яблочные огрызки и прочие лакомства. Заводят же люди в квартирах огромные аквариумы в полстены! У нас же была бы маленькая хомячья ферма...

А ещё, когда мама вываливала в раковину свежкупленных карпов из магазина «Рыба—мясо», ужасно хотелось сделать хоть одному искусственное дыхание, как учили по телевизору, и поместить его в пятилитровый баллон. Вдруг бы он в воде заговорил человеческим голосом? И вообще, убедил бы папу, что они будут любимцами по очереди?

Но всё это было несерьёзно. Всегда находились более важные дела.

То в шкафу на балконе пищал застрявший между банок и кастрюль стрижек—спасатели, вперёд! То в вентиляционной дыре на кухне показывалась деловитая мышьяная мордочка, и срочно требовались соответствующие меры. То голуби, привлечённые гарантированными крошками на подоконнике, принимались вить гнёзда в самых неподходящих местах, и мама плясала с полотенцем в руках: «Кыш! Я вам покажу птицеферму!»

Словом, специально в доме животных не заводили. Они появлялись сами, и всех это устраивало. К тому же наша живность была особой, не традиционно-комнатной и не полноценно дикой—цивилизованно-городской. Ей надо было не будку, не миску, ошейник, луну и в желудке сосиску, а несколько зёрнышек-крошек да свободу передвижения по балкону.

Как только очередной гость появлялся за окном, мы с Галкой вприпрыжку мчались с докладом к родителям, и всё семейство прилипло носами к стеклу, замирая, чтобы не спугнуть очередную сороку или сойку.

А совсем недавно что-то рыжее и пушистое промчалось по бельевым верёвкам и с грохотом приземлилось на дощатый балконный пол. Белка! Хвост замечает следы, настороженно глядят глазки-бусинки, дрожат кисточки ушей, а лапки тянутся к ореху: хватать—и быстрее подалее к перилам. Крутит находку, деловито хрустит скорлупкой. Справилась! И след простыл...

Теперь, когда скрипит антенна или откуда-то сверху обрушивается шумный ком, мы знаем, чьих это лап дело. И уже не один орешек как бы случайно лежит на виду. А тот самый папа, который когда-то категорически отказывался от крокодила, часами дежурит на наблюдательном посту.

...Похоже, он стал подозревать, что на семейных любимцев мода тоже переменчива.

Как хорошо уметь читать

Джеральд Даррелл однажды написал книгу «Моя семья и другие звери». И хотя я не писатель, но тоже смог бы поразмышлять о чём-то вроде «Моя семья и другие источники информации».

Итак, представьте: в моей семье очень любят читать. Если бы вкусы родственников совпали, очередь за бестселлерами стояла бы от коврика в прихожей до ближайшего дивана, оккупированного самым проворным читателем. Рассуждая с позиции силы и свободного времени, мама и сестра Галка вообще выбыли бы из игры.

Но, к счастью, нам делить нечего. Каждый читает своё. Телефон тем временем работает в режиме «Не звони—всё равно не слышат».

Ох, что мы читаем! Я впиваюсь глазами в учебник физики, грызя яблоки и шоколад. «Сила тока в замкнутой цепи...»—два огрызка на столе. «...Электризация тел...»—исчезает полплитки шоколада. Мимо с ворохом календарных листков проходит Галка, но, даже не успев возмутиться, забывает обо мне. Ей некогда. Она читает... отрывной календарь и попутно гадает на лепестках: «Восьмое июня: восход в четыре часа сорок семь минут, долгота дня семнадцать часов двадцать три минуты—любит. Девятое июня: восход в четыре часа сорок семь минут, долгота дня семнадцать

1. От английского «pet»—баловень, любимец, домашнее животное.

часов двадцать четыре минуты — не любит. Первое сентября — День знаний — любит. Почему это — «любит»? Фу, так не знания, а меня, значит, любит!»

Приходит с работы папа. Сейчас он поест и будет читать свои схемы: винтики, шпунтики, проволочки — настоящий детектив.

Галка сгребает мои огрызки вместе с декабрьскими (уже!) листочками и отправляет в мусорное ведро. Она тянет руку к следующему календарю, на этот раз «Семейному», когда в дверях появляется мама. По блеску глаз и решительному шлёпанью тапочек можно догадаться, что она *что-то* нашла в своём любимом энциклопедическом словаре. Сегодня это пять позиций академического танца. Вообще-то как-то спокойней, когда мама рассматривает географический атлас мира — его она не пытается претворять в жизнь. Но сейчас у нас — балет. Мама энергично распахивает свой талмуд на нужной странице и, глядя на картинку, со скрипом, но всё же изображает требуемое положение ног. Мы с Галкой, свидетели и сообщники, бросаемся наперегонки выворачивать свои конечности. Словом, хватает веселья на вечер. Затем вся компания отправляется к папе.

Утром я еле просыпаюсь — видимо, под впечатлением физики: «Если силу тока — будет электризация тела...» Галка ещё сопит. Добилась-таки вчера, что «любит». Одинокий листок обложки «Семейного» календаря на столе это подтверждает. Папа уже ушёл. Мама... не может встать! У неё острый приступ радикулита. Невероятно — но факт. В то время как вдохновитель и провокатор вчерашнего действия не может пошевелиться, у нас всё отлично — «ни в одной ноге».

Сегодня мы не читаем учебники, календари и схемы. Дружно изучаем «Справочник практикующего врача» и инструкции к мазям. К вечеру положение «примы» с плачевно-горизонтального меняется на наклонно-вертикальное. Новоиспечённая балетная труппа в тревоге и тоске размышляет над пользой литературы. Отныне на энциклопедический словарь налагается вето, и он выдаётся в порядке исключения только гражданам молодого возраста. С этого дня в семейных архивах появляется ода «Матери-балерине», начинающаяся так:

В третьей позиции прямо
Умеет стоять наша мама.
А в первой позиции — криво,
Но, в принципе, тоже красиво...

Родственники же начинают разговор словами: «Вас беспокоит главный балетмейстер Мариинского театра. Не у вас ли...»

Между прочим, в моём доме все так же любят читать...

Утро в доме

Есть у меня репродукция картины «Утро в сосновом бору» Шишкина. Как ни гляну, так сразу наталкиваюсь на мысль: ну почему там ёлки, медведи? Эх, Шишкин, тебя бы утречком к нам домой. Это была бы картина! А то всё ёлки-палки.

...В полумраке комнаты на диване напротив что-то бесформенное методично раскачивается из стороны в сторону. Шесть утра. Тишина. Я широко открываю глаза, но тут же безразлично отворачиваюсь к стене. Вставать ещё через час. Всё в норме. А что там на диване? Да Галка, моя сестра, которую «труба» уже зовёт. Три дня в неделю — два года подряд — она по утрам играет в привидение. Ей страсть как не хочется вставать и топтать на свою утреннюю физкультуру в институт. Поэтому ровно в шесть она, как заводная кукла, открывает глаза, едва соображая, в чём дело, приводит себя в полувертикальное положение, неубедительно доказывая, что проснулась, и покачивается, как умирающий лебедь, с риском в любой момент стать «спящей красавицей». Во время сего перевоплощения в Галке ведётся сложная мыслительная работа по самоубеждению о пользе физкультуры. Минут через двадцать после официального пробуждения Галка всё же объявляет утро открытым. И вот трусца по квартире переходит в галоп, становится бегом с препятствиями и погоней. Зеркало — шкаф — кухня. Комната — зеркало — шкаф. «Как в этом доме можно спать?» — думаю я, поворачиваясь на другой бок. А тем временем вешалки падают на пол, звенят кастрюли, теряется какая-то там книжка, лопаются шнурок на ботинке, лихорадочно мажутся губы — и весь этот вихрь улетает с торжественным грохотом закрывающейся двери. *Ушла!*

Чуть позже я, слоняясь, не спеша наливаю чай в синюю керамическую кружку, пользуясь случаем, выбираю себе тот Галкин свитер-унисекс, которого по доброй воле от неё не допросишься.

Мама уходит на работу.

«Ты не видела мой ключ?» — по привычке интересуюсь я. «У меня его нет, он где-то у тебя».

Наслаждаясь отсутствием толкотни у зеркала, я примеряю свитер с водолазкой, затем без неё — и снова с ней.

Тем временем папа, заметив мою полуготовность к старту, нагружает «железок» в свой дипломат и спешит исчезнуть за дверью. Ну да, он же не любит быть замыкающим и проверять краны и выключатели! «Ладно, пусть чешет, — покладисто разрешаю я, поправляя ворот. — Всё-таки с водолазкой лучше».

Часы показывают самую малость, и я выползаю на балкон посмотреть погоду и построить глазки соседке. Солнце заметно припекает и заставляет меня принять решение освободиться от водолазки. Новые переодевания. Сумка на плечо, последний

взгляд вокруг, привычный жест — и отвратительно-новое тактильное ощущение где-то в кончиках пальцев: *ключ!* Ключ, которого нет!

И снова трусца переходит в галоп, летят книжки и стулья, туфли и сумки в прихожей, цепляется за дверь, вытягивая большую петлю, Галкин свитер, прыгает стрелка часов...

Когда звонит телефон, мне всё уже ясно. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы вычислить, что мама только что обнаружила — таки мой ключ в одном из своих многочисленных карманчиков, карманов и карманищ.

Я падаю на диван и истерически хохочу, вспоминая о сегодняшней контрольной по математике. Прощайте, логарифмы! Будем сторожить квартиру.

Утро в нашем доме! Это вам не сосновый бор...

И очень долго длится день...

Огненная полоса незаметно подкрадывается в прорезь занавесок и замирает на ландышевой стене. Горит, горит, расползаясь вширь и ввысь, щекочет зажмуренные, обалдевшие от сна глаза, иголками солнца оживляет крошечные пылинки, наполняющие всё пространство вокруг.

Утро неспешного выходного дня, первый миг праздника, за которым ещё столько маленьких долгожданных удовольствий.

Галка в гостях у Светки — с ночёвкой. Родители уже сорганизовались и сбежали, наверняка на рынок за картошкой.

Забыв о времени и слове «надо», сладко поворачиваюсь на другой бок и натягиваю одеяло: сегодня можно всё, чего хочется. Четверть, половина, без четверти, снова четверть.

Горизонт коварно затягивается надувным матрасом сизого льна. Чья-то проворная рука украдкой выкручивает яркую лампочку в прожекторе, заменяя её пасмурной. Но настроение уже не испортить погодой. На душе светло и легко. За завтраком ломтики вчерашнего хлеба в компании варенья и сыра выглядят пирожными, а электронные часы, то и дело мигающие минутами, напоминают забавную игрушку, от которой не может быть ни пользы, ни вреда. Время стало другим. Оно не бежит, не торопит, не требует результатов. Оно просто молчит, и в этом королевская роскошь выходного дня.

А за окном происходят удивительные вещи: непонятное пятно над горой расцветает в жёлтый вагончик канатки, точка, приближающаяся к подъезду, становится забавным дымчатым котом, на ветке соседней берёзы раскачивается круглая нахохленная синичка. И я впервые за последние шесть дней никуда не спешу и воспринимаю случайную картину как невероятное открытие, как параллельный мир, скрытый в паутине ежедневных рутинных забот и вариаций слова «должен». И вдруг задумываюсь над суетной жизнью, в которой всё, по большому счёту, — «на завтра», а сегодня лишь черновик, где важное проходит невидимкой перед самым носом и насмешливо ухмыляется из прошлого то, что, оказывается, было настоящим...

А день продолжается, разбиваясь на бесчисленные эпизоды многосерийного фильма, насыщается звуками, чувствами, неожиданными открытиями, длится дольше прошедшей недели, чтобы вспоминаться весь следующий месяц. Обычный выходной день...

Геннадий Донцов

Кнут — слаще пряника!

После предательства своего жениха-красавца Настя, молодая девушка из далёкой Белоруссии, оказалась в Сибири. Целую неделю добиралась она по железной дороге до небольшой станции, от которой ещё двадцать пять вёрст пешком. Дорогу узнавала у местных не сильно-то разговорчивых жителей. Шла по накатанной телегами дороге, которая иногда пропадала совсем в глухих зарослях незнакомых кустов и деревьев. Было жутко и страшно одной. Поддерживали её молодость да упёртость принятого решения. Ещё в поезде Настя себе клятву дала, что замуж выйдет за самого красивого парня, пусть даже юродивого, который, возможно, найдётся в округе или в самой деревне со странным названием Лопатка. Молодость берёт своё! Понемногу боль утраты притупилась. Надо было начинать думать о хлебе насущном, благо тётя встретила её хорошо, выделила угол в своей хате. А что ещё надо? Руки да голова на месте, а работы непочатый край — хоть в своём огороде, хоть в колхозе. Председатель, узнав о новой жилищке, не дал ей времени на отдых, выделил большую делянку свёклы, которую надо было обрабатывать лопатой, а больше руками. Пришлось и кроликов выращивать, за телятами присматривать. Везде успевала Настёна.

Уже глубокой осенью, когда снег первый начал запорашивать окна, к молодой белоруске поступались сваты. Жених был не юродивый, но и не красавец, небольшого росточка, едва заметно прихрамывал, один глаз немного в сторону косил, но в Лопатке он считался зажиточным парнем. Помня свою клятву, Настя и дала согласие. Чего было ждать? Время подходило, а оставаться перезрелой вековухой-одиночкой не особенно и хотелось.

Николай — так звали жениха — мужем оказался хорошим: по натуре покладистый, слова лишнего не скажет, работающий, а главное — непьющий. Курил, правда, много — но разве это беда? Он души не чаял в красавице жене и никогда ей не перечил, выполняя все её поручения. Так понемногу в молодой семье установился матриархат. Командовать Настя научилась быстро. Одна беда: время шло, а дети что-то не заводились. Видимо, так Богу было угодно, а возможно, всё и от любви зависело, не до конца Настя забыла ещё своего оставленного в полесьях Белоруссии Ивана.

Так лет пять прошло, а потом как прорвало. Брюхатела Настя исправно, как положено, а иногда и сверх нормы. Выживали, правда, не все ребятишки, но на то были причины. Тут и война неожиданно грянула с немцами, адская работа на полях от зари до зари, голод, разруха. Благо Николая на фронт не взяли, определили в трудовую армию. В такое время дети были не на первом месте...

Нинка с Юлькой, ёжась от утренней прохлады, стояли у раскрытого погреба и грызли сладкую, подмороженную ещё зимой картошку. Отец запрягал лошадь, готовясь ехать за водой. Из сеней появилась мать.

— Коленька, ты воду непременно из ручья бери. В речке ближе, но она мне не нравится. Дух не тот! — Как скажешь, Филипповна! — с готовностью откликнулся муж, ласково посмотрев на жену. — Поехали, милая!

Лошадь, запряжённая телегой, на которой лежала специальная большая деревянная бочка для воды, медленно тронулась со двора.

— Нинка, Юлька! Хватит животы набивать, таскайте дрова, будем баню топить!

Припрятав недоеденные картофелины, девчонки бросились исполнять наказ матери. Настасья Филипповна прошла дальше на огород и оценивательно его оглядела, затем пощупала землю, помяла её в руке. Весь огород был завален кучами соломы, которую для удобрения вывозили всей семьёй из стайки всю зиму. Какое-никакое хозяйство велось, курочки копались во дворе, похрюкивала парочка подсвинков, оставленных на лето. Взяв вилы, хозяйка попробовала раскидывать кучки соломы, но вскоре бросила это занятие:

— Хай оно пропадёт, тяжело. Плугом растащит, на то он и мужик!

Тем временем мужик уже заезжал во двор с полной бочкой воды, которая плескалась через край. Дождавшись, пока телега закатилась во двор, Настя взяла ковш, зачерпнула воду, попробовала на вкус. Затем она подобрала старую оглоблю, что валялась неподалёку, и, подсунув её под бочку, скатила ту на землю со словами:

— Я тебе сказала — из ручья бери, а ты мне из речки. Зачем вонючую воду привёз?

Нина с Юлей наблюдали всё происходящее в ограде из дверей бани, выходить в такой момент

было опасно: подвернёшься под горячую руку матери — та, конечно, не оглоблей, но хворостиной огреть может.

Молча, ничего не говоря жене, Николай по старым доскам начал закатывать бочку обратно в телегу. Водрузив её на место, он так же молча выехал со двора. Прошло ещё меньше времени, как отец вновь заехал во двор с полной до краёв бочкой, где уже с ковшом в руках его ждала жена. Испив немного воды нового привоза, она удовлетворительно крикнула:

— Ну вот, это другое дело, а то обленился совсем, до ручья доехать не может. Давай распрягай да берись за пахоту, а я печку пока растоплю в бане.

Лошадка в семье была уже в годах, плуг вгрызлся в землю и забивался соломой. Всё это месиво она тащить не хотела, да и не могла. Поэтому Николай то и дело пользовался длинным бичом, разогревая кобылку и себя тоже. Видимо, обида на жену ещё не прошла, а та, как назло, пришла на огород и наблюдала за пахотой. Но стоять молча Настасья Филипповна не могла.

— Коля! Выйди с огорода! Чем так пахать, я лучше сама вспашу. Коля! Я кому сказала? Выйди с ого...

Коля не стал дожидаться окончания слов жены. Развернувшись в её сторону, он раскрутил свой длинный бич и с присвистом стеганул свою любимую. Длинная холщовая юбка почти до земли, которую носила Настя, оказалась на голове. Под юбкой не было ничего. Раскидывая свои длинные ноги, прыжками Филипповна кинулась спасаться в хату. Такого обращения мужа она ещё не испытывала.

Девчонки, наблюдая за этой картиной, упали на спины и давились хохотом вперемешку со слезами. Такого и они никогда не видели, было и смешно, и страшно. К ним подошёл отец и, как бы извиняясь, произнёс:

— А второй раз вода-то была как раз с речки.

Затем он бросил кнут, наказал девочкам следить за огнём в бане, а сам пошёл в дом. Долго его не было. Как он выпросил прощения у жены?

Вечером вся семья, помытая и усталая, дружно налегала на нехитрую крестьянскую еду. Отец с устатку налил себе с четверти три стопки самогонки, что позволял себе редко; девочки уже клевали носами в предвкушении сна. Раскрасневшаяся и почему-то довольная мамка долго хлопотала у стола, пододвигая мужу закуску.

На Рождество у Насти родилась двойня — две девочки. Только прожили они недолго.

— На всё Божья воля, — проговорил отец, замотал девочек в старые дерюги и куда-то унёс.

Нина, с Юлей, прижав носы к замороженному окну, всё высматривали: куда же отец сестрёнок понёс? Сумеречная снежная позёмка заметала следы Николая. Двигался он медленно, в больших валенках, шубе из овчины. В одной руке были лопата и железный лом, к поясу привязана верёвка, за ней скользили деревянные санки. Шёл он по направлению к деревенскому погосту.

Дома Настасья Филипповна зажгла лучину, поставила вместо свечки в лампадку перед иконами и что-то долго шептала. Шёпот переходил в тихий плач. Нина с Юлей, ничего не понимая, затихли и перебрались на большие полаты русской печи. Там, в тепле, они и заснули...

45-й калибр

Международный поэтический конкурс

Второй международный поэтический конкурс «45-й калибр», проведённый интернет-альманахом «45-я параллель», собрал сто двадцать четыре участника из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Германии, США, Израиля, Швеции и, к примеру, из... Австралии, Объединённых Арабских Эмиратов, что, согласитесь, трудно спрогнозировать.

В турнире сезона 2013/2014 победил Михаил Дынкин (Москва). Королём поэтов—по версии альманаха «45-я параллель»—он стал, набрав сумму баллов, недостижимую для других.

Среди призов, заявленных организаторами конкурса, был и приз главного редактора журнала «День и ночь» Марины Саввиных—публикация подборок ряда лауреатов.

Что ж, обещания сбываются: перед вами—стихи победителя и пяти поэтов, отличившихся в «45-м калибре».

*Сергей Сутулов-Катеринич,
главный редактор поэтического
альманаха «45-я параллель»
(45parallel.net)*

Михаил Дынкин

доктор айболид



Мы умерли сто лет тому вперёд.
В гробу перевернулись и воскресли.
Спросили местных: «Кто здесь не живёт?»
«Никто,—сказали,—но слагают песни,
пасут холмы, разводят облака
исчадья тьмы, цыплята тупика».

Поворотись-ка, сынку,—что за чёрт!—
глаз на затылке, плавники уклеики...
В слепящем небе толстый Феб печёт
коржи. И у летающей тарелки
толпятся марсианские мужи,
они и прилетели на коржи.

Почешешь репу—ну и времена:
вчера—каюк, а завтра выпил пива.
Как если бы объелась белена
тобою, а на ясность не скопила.
Программный сбой ли, бабочкин эффект—
проснись и пой, как Афанасий Фет.



сын Адама всё хочет назвать
назовёт и запишет в тетрадь
только к этому он и пригоден
только этим его голова
где шумят золотые слова
и на цыпочках музыка ходит

сын Адама сияющий сад
бормотаньем наполнит и рад
а присмотришься—нет ничего там
разве лишь меж замшелых камней
извивается вкрадчивый змей
и лягушки поют по болотам

что и этого хватит с лихвой
сын Адама качнётся ольхой
прыгнет тигром, замрёт богомол
вознесётся ли вместе с Лилит
над Содомом, сойдёт ли в Аид
с дочерью Евы и чернью Гоморры

Завтрак на траве

1.

На траве цвета смерти, что в принципе неопишум, начинается завтрак из красок, телесных на вкус. Догорает поодаль Господь, упомянутый всуе, — пламенеющий столп превращается в тлеющий куст.

Растеклись светотени по мощным стволам, по лужайкам. Голы женские плечи, пиджачные пары черны. Топят в небе буржуйку два солнца в сияющих шапках. Муравьи окружают трепещущий контур пчелы...

2.

Загрунтованный полдень в густых испарениях плоти. Ничего, что так поздно? — вопрос риторический. Свет омывает корзины со снедью, добытою в поте лиловой личины, в которую прячется смерд.

Криком радужной птицы дымящийся задник просверлен. Тянут хищные пальцы к нагретому горлу хвощи. Из пастозных лощин разбегаются с юга на север кракелюры морщин.



вообрази: проснёшься как убитый в чужой стране, кругом одни айды точней сказать — один сплошной Аид и тишина... ни шороха, ни вздоха как если б на стоянке диплодоков припарковался доктор айболит

и вот лежишь, а может, вот поднялся слегка штормит, когда идёшь по насту и вообще похоже на Сибирь ну ничего, согреешься в движенье тем паче, что палит на поражение восьмиголовый (даром что дебил)

Тифон Горыныч, или просто Тихон не ящер, а какая-то шутиха устроил, понимаешь, фейерверк и вот бежишь, а может, вот с докладом стучишься в дверь, где, весь окутан смрадом кричит Харон:

— приёмный день — четверг!

и тишина... и нет тебя в натуре расстроился и выбыл в первом туре на made in China треснувшем щите

хочет мировая закулиса и мёртвые — кто с косами, кто лысы — стоят на безымянной высоте

Баллада

Взяв литр пива, я сидел за столиком в углу. Играл на скрипке иудей, и тени на полу,

змеясь, раскрыли веера индиговых голов.

И ветер из оконных рам вытряхивал улов —

туман, заката бурый шлейф, старушечье лицо...

Зодиакальный прыгал лев в сатурново кольцо,

а в чёрных дырах бился свет. Но вот, прервав игру воображения, сосед шархнул по столу

покрытым шерстью кулаком, зашёлся смехом злым.

И тени пьяных мужиков на выход поползли.

— Который год сидим и пьём в корчме, которой нет. В оконный смотримся проём, стираем пыль с монет.

А сами умерли давно, мы умерли давно, — кричит сосед, — гори оно огнём геенны!

— Но, —

я спрашиваю, — как же так, и кто докажет сей прискорбный факт?

— Да ты протак! — и бьёт меня со всей —

сказал бы «силой», но, увы, нет силы в мертвецце...

Колеблет волосы травы на восковом лице

сквозняк. И в плавнях облаков, засыпанный листвой, встаёт корабль двойников на якорь ржавый свой.

Никита Брагин

Утолённой боли родники

Лестница

Мёртвый сумрак лестничных пролётов,
глухота обшарпанной стены,
дряхлый запах тлена и болота,
кровь во рту, и губы сведены!
Серые истёртые ступени,
старческие шаткие шаги,—
все твои собратья и враги,
все они—кладбищенские тени!
Всё кричит об умерших, о них,—
штукатурка, старые перила...
Память душит, память бьёт под дых,
что ни шаг, то под ногой могила!
Нож блеснул в рогожинской руке—
выстрел отозвался вдалеке.

Ни души, ни плоти не жалея,
голод опрокидывает нас,
и хоронит в ледяных аллеях,
и вздымает в небо грубный глас!
Страшно! Ледяные мостовые
окропила мёртвая вода,
рваной паутиной провода
падают на ветви неживые,
облаков снятбе молоко
мутно, словно будущее время,
и уже становится легко
жизни ускользающее бремя—
прожито, закрыто, сочено,
и в глазах бездонно и темно.

Площадь помертвела, словно плаха,
замерли тяжёлые мосты,
и зимы больничная рубаша
забелила красные «Кресты»,
выше окон языками иней,
как следы от ледяной свечи,—
проходи скорей да промолчи,
растворись на параллелях линий!
Сетка улиц—поминальный лист,
небо в клетку—паутина горя...
Как он ослепителен, как чист—
город в горностаевом уборе,
от начал времён и навсегда
созданный для Страшного суда...

Крутицкое подворье

Над изразцами муравлёными
осенних облаков сукно,
дождём заплакано окно,
аллея заалела клёнами;
от Новоспасских куполов
течёт вечерний отсвет золота,
и ветер щёки красит холодом,
прозрачен и суров.

По граням кирпича фигурного
следы дождей и голубей,
цвета всё глуше и грубей,
щербинь резче и фактурнее;
кругом крапива да лопух,
кругом казармы и развалины—
здесь чувствуешь эпоху Сталина,
не выветрился дух!

Конечно, зрение художника
очистит ржавые кресты,
листвой укутает кусты,
рассеет лапки подорожников
и, перешагивая грань
кирпично-красного величия,
найдёт нарядные наличники
и за стеклом герань.

Москва—как думочка уютная!
Тебя не зная, любит он—
его палитры тёплый тон
невинно свеж, как воздух утренний,
и ты, придуманная, вдруг—
реальна, зрима, осязаема,
твой тихий мир, в любви рождаемый,—
как старый добрый друг.

Вот так мечтается под теремом
из муравлёных изразцов,
но след истории свинцов
на нашем городе потерянном,
и живописи больше нет,
и памяти добавить нечего...
Есть только тёмный холод вечера
и в сердце тихий свет.



Радуйся—любовь твоя угадана...
Осень осыпается и дышит
облаками пепельного ладана
на деревья, купола и крыши;
радуйся—становятся всё тише
утолённой боли родники,
в наступившем полумраке слыша
всплески набегающей реки.

Отдохни—челны твои причалены
полночью, что одарить готова
всеми незабвенными печальями,
исстари родными с полуслова;
отзовись и вслушивайся снова,
как зовёт шуршаньем камыша
тихого и бледного покрова
осени усталая душа.

Скоро небо над тобою склонится,
звёздными цветами засыпая,
и уйдёт последняя бессонница,
отрешённо по воде ступая;
и надежда, нищенка слепая,
в ясной безутешности мольбы
прикорнёт, неслышно засыпая
на холодной паперти судьбы.

Хлеб

Мы выпекаем хлеб на речке Гытгывеем
чукотской весной, июньским ясным днём,
и оживает печь палящим суховеем,
тем самым, из глубин, негаснувшим огнём.

И с нами—млечный снег под карамельным настом,
и белая, как мел, пшеничная мука,
и дружный треск полен, и уголь чёрно-красный,
и стланиковый дым летит под облака.

Здесь голоден простор и все металлы ржавы,
здесь непосилен труд и сны, как смерть, белы,
здесь множества могил на рубеже державы
неведомы, как пыль на кончике иглы...

Но здесь на грани дня и полночи багровой,
где снежная печаль спускается в Эреб,
превозмогают боль, выковывают слово,
прощают все долги и выпекают хлеб.

Как молоды глаза, а память вся в седирах...
Но, словно белый хлеб из тёмного огня,
и горесть, и любовь рождаются воедино,
души моей излом шлифуя и граня.

Настанет время

Настанет время уходить,
прощаться и прощать,
бесшумно перерезав нить,
без голоса кричать,
вдохнуть клубящийся мороз,
и выйти в тёмный путь,
и строчки набежавших слёз
без жалости смахнуть.

Настанет время зачеркнуть
пустые слова,
почувствовать земную суть,
услышать голоса
её вскрывающихся рек,
проснувшихся дерев
и повторить прошедший век,
огнём его сгорев.

Настанет время наизусть
произнести псалом,
узнав, что ты, Святая Русь,
далече за холмом,
а впереди собачий лай
и муторная тьма,
а там—что хочешь выбирай:
кабак, петля, тюрьма...

И будет время умирать
за всё, что возлюбил,—
и выстрелит в затылок тать,
и упадёшь без сил,
и примут безымянный прах
скрещения дорог
в лесах, полях и на горах,
где тишина и Бог.

Наталья Дамина Башмачок беглянки



И город, как бесхвостая собака,
Бежал за мной повсюду. Я хотела
Стать падчерицей каждой подворотне,
Задабривала косяки и стены
Подушечками пальцев, согревала
Оконное приземистое эхо,
И прежние хозяева, другие,
Мне были, несомненно, очень рады,
Показывали кухню, зал и спальню
И заводили ходики в прихожей,
И зов кукушки приводил в движение
Все двери и замки, и даже кошка,
Очнувшись ото сна, бежала сдатьсь
Мне в руки, словно не было всех этих
Непрощеных, но пережитых судеб.
Когда часы отстукивали полночь,
Я возвращалась в тыквенную темень,
И город был мне кучером на вечер,
Заглядывал в глаза, просил гостинца,
Хотел бы повилыть хвостом, да нечем.

Беглянка

А такое утро пахнет детством,
Астрами, коленками и прочей
Мишурой сентябрьской, молочным
Первым зубом, звуками трамвая,
Каменными дёснами предместий,
Новые предметы будут в школе.

Как горька осенняя прохлада,
Как же этот мир многоуголен.
Или это детство виновато?

Во дворах листва ложится ровно,
Ромбики, квадраты отмечаю,
Отметаю возраст, рост и мусор,
Сдуру принимавшая за опыт.
Где твой башмачок, беглянка? Стоптан.
Стать бы, как тогда, ясней и легче,
Ликовать на осень и ладоши
Подставлять под солнечную пудру.

Пахнет детством наживное утро,
Астры, как тогда,— в росе и пыли,
И плывут под видом корабельным
Ялики небесные да лодки.



Я полагаю, в этот светлый праздник
Мы снова заживём огромным домом,
Таким знакомым щебетаньем улиц.
Я—умница
С воздушными шарами,
С зелёной на отчаянной коленке.
Карета у калитки—будет праздник,
Поддразниваю кучера и свиту.
Мы квиты, милый дом,
Воспомяненья
Теперь и мне повыжигали печень,
И стало нечем
Зализать все ранки
И язвочки на той коре древесной.
Небесный Отче, пусть откроют ставни,
Составы прошумят над горизонтом,
И звонким эхом отзовется память.



Огранкою, чеканною судьбою
Ты среди ночи в дом мой постучи,
Пусть время не жалеет кирпичи,
Но станет нам подбрасывать с лихвою—
Прожилки, пережитки, имена,
И нам с тобой друг друга променять
Окажется однажды не под силу—
На тёмный город, на ковровый быт,
На все вот эти «если» да «кабы».

Ты осторожно приоткрой окно, и
Мы сослепу почувствуем тепло,
Когда по нашу душу натекло
Воды, когда нам выпало промоин—
На наши непростые голоса;
Смотри, теперь включается гроза.
Но я её, как видишь, не боюсь
И остаюсь по сторону твою—
С полями, семенами, полюсами,
С затерянным небесным палисадом.
Пусть будет свет, и кошка, и кровать,
И даже двор—чуть-чуть великоват.
Остаться здесь—на память, на дорожку,
Покуда мы с тобой—и свет, и кошка,
И перестук вагонный вдалеке,
Покуда жизнь мелькает в уголке.

Лера Мурашова

Купола и колокола

*Броше*

В хмурое небо марта не улетай.
Ты же всегда была рядом. Всегда—была.
Я не хотела думать, что близок край:
тело сожгут, и останется лишь зола.

Я прицепила к ошейнику поводок,
я привязала тебя, я тебя—взяла.
Мартовский ветер—гуляка он и ходок—
колоколами раскачивает купола.

Сердце сжимается—слышен знакомый лай.
Но понимаю: это не та, не ты.
Рядом с Эдемом есть и собачий рай,
ты на меня посмотри сейчас с высоты.

Где та калиточка в небе—на небеса,
где ты гуляешь, скачешь, лежишь клубком?
Там, где созвездье Большого белого Пса?
Может, вернёшься—кошкой ли, голубком?

Выйду в московский хаос, в солёный снег,
в левой руке сжимая пустой поводок.
Ты же не знала, что я—простой человек,
ты же считала, что я—всемогущий Бог...

Пара недель—и наступит уже весна.
Птички, трава—и, конечно, тепло, тепло.
Я превратилась в кусочек собачьего сна.
Больше не больно, милая, всё прошло.

Зеркало

Даже когда ты не смотришь в зеркало,
в нём живёт твоё отражение.
Что оно делает, когда
ты не обращаешь на него внимания?
Спит? Готовит обед? Смотрит телевизор?
Гуляет в парке? Читает газету?

Но вот ты подошёл
к прозрачному проёму—
и оно уже здесь.
Смотрит на тебя глазами
сумасшедшего бога.

Такими глазами
смотрят на меня
твои дети.



В воздухе столько весны! Вдохни и замри:
чувствуешь, как потекла, забурлила в венах?
Счастье и детство—они же у нас внутри,
а не в Парижах и Венах.

Возле Кавказских гор я весну вдохну—
и окажусь в хакасских легко и просто,
чтобы смотреть в бездонную голубизну,
чтобы мечтать о том, как я стану взрослой.

Собаке

Ну зачем ты ко мне привязалась?
Ни куска у меня, ни гроша.
Знаю, нужно-то самую малость,
но, ей-ей, ничего не осталось—
вся, до донца, пустая душа.

Яблоко

Над Эдемом солнце встаёт,
золотой, звенящий рассвет,
и Адаму Ева поёт—
первый бард и первый поэт.

Нет ни бед ещё, ни забот,
но печален летящий звук.
Пламенеет яблока бок
алым цветом грядущих мук.

Протянула тонкую кисть
и сказала:—Ну что, идём?
И разъяла на смерть и жизнь
то, что было целым плодом.

Ничего не сказал Адам,
у подруги яблоко взял.
Он не думал и не гадал,
что оно—начало начал.

Он пошёл, не спросив куда,
веря ей сильнее, чем тому,
кто его и землю создал,
кто придумал и свет, и тьму.

И, вздыхая, Господь изрёк:
—Впереди у вас много путей,
ты б его приберёт, сынок,
на один из голодных дней.

Грех уныния

На неуютной поднебесной тверди
день Рождества случается днём смерти.
Не легче остающимся, поверьте,
хоть говорят, что возлюбил Господь,
что призывает Он к своим пределам
упорных духом и скорбящих телом
в пресветлый день. Но мне душой незрелой
греха уныния не побороть.

Уж двадцать с лишним лет прошло с той боли,
везде, где можно, narосли мозоли,
несёт меня, как перекаги-поле,
любое горе больше не беда.
Но раз в году приходит день печали
и размягчает сердце, как в начале,
когда, пронзая нежными лучами,
восходит Вифлеемская звезда.

За облачную лёгкой драпировкой
лампадою она мерцает робкой.
Уходят ввысь невидимую тропкой
страдалицы и мученики в ряд.
А праведников нет давно в помине.
В какой они неведомой пустыне?
Наверно, далеко, раз Бог отныне
молитв не слышит, что они творят.

Пятница

Ю.

Мне тебя послали напоследок,
чтоб смогла понять хоть что-нибудь.
Скоро птицам с облетевших веток
в неизвестный отправляться путь.
Скоро отплывать и нам с тобою.
Компас сломан, на море штормит,
а сирены не поют, но воют,
заглушая вздохи аонид.

Скоро, скоро... Хорошо, что вместе.
Миром правят морось и туман.
Молча медлит, будто ждёт известий,
не даёт команды Капитан.
Мы его с тобою не торопим,
слушаем, как плещется вода.
Мы к причалу шли по разным тропам,
а теперь, обнявшись, ждём, когда
в череде божественных сумятиц
радугую вспыхнет горизонт.

Ты сказал, я лучшая из Пятниц,
мой седобородый Робинзон.



ДиН РЕВЮ

Дмитрий Мурзин

Бенгальская вода

Москва: «Вест-Консалтинг», 2014



Мы шли с тобой, как ходят только дети,
Ладонь зажав запальчиво в ладони,
Не чужа ни засады, ни погони,
Как водится, забыв про всё на свете.

Мы шли с тобой, как ходят только дети,
В какой-нибудь шекспировской Вероне,
Как будто бы нас время не догонит,
Как будто нет ни старости, ни смерти.

Впустую и погоня, и засада,
Мы знали, что не нужно торопиться,
Мы понимали: всё идёт как надо.

Улыбки освещали наши лица,
Мы шли с тобой, как дождь идёт в Макондо.
Мы просто не могли остановиться.



Выйдешь в чём есть из трамвая,
В воздухе пахнет грозой,
Светит звезда роковая
Ласковой бирюзой.

Выдохнет ночь, как живая,
В спину, листвою шурша...
Ходят по кругу трамваи,
Мается в круге душа.

Светит звезда, остывшая...
Будто бы над головой
Смерть, падла, как таковая,
Жизни как таковой.

Павел Шаров

А родина — вот!



Я стыну. А самоожженье души — вот единственный путь к бессмертью. С тобой бы я, Женя, взошёл на костёр, чтоб раздуть из душ наших пламя.

Не помнишь себя в эту ночь — белены объелся. Хрипатую полночь пробили куранты Луны. ... Не пятый этаж — поднебесный.

А мир ещё не сотворён. Дух Божий летает над бездной в начале начала времён. Меня и тебя Он в Эдеме поселит, создав в День Шестой.

Да что ж это я, в самом деле, тебя не одёрнул: «Постой! Жена моя! Плоть моей плоти и кость моей кости — ребра, о саде Эдемском в заботе, от Древа познания Добра и Зла не вкушай!» И мы оба — которую тысячу лет — бредём от рожденья до гроба, уходим, приходим на свет — плоды материнского чрева, и каждый мужчина — Адам, а каждая женщина — Ева.

Когда Богу душу отдам, вернусь из изгнания. И будем с тобою мы вместе опять. Я стыну. Стучу в лунный бубен: ну где мне тебя отыскать?!



Лезет ветер в оконные щели. Я и кот в комнатухе-пещере — одиноко и скверно обоим: я курю, он когтит обои. Тлеет лампа безвольным светом. Ну а больше одним «поэтом» или меньше — плевать, ведь в папках сотни строчек — все в белых тапках!

Так сидишь вот один и куришь. А Фортуна сложила кукиш и ещё ухмыляется, стерва. Ах, к чему я пришёл, Эвтерпа? Ради Бога, откликнись, Муза! Никогда я не жрал от пуза. Мне бы песню сверчком запечным пропиликать о сущем, вечном.

Там, за окнами, ад предместий изнывает от жажды мести. Хилый разум нам вышел боком, потому что он проклят Богом. Город призраков, город монстров, как хрипит он в петле погостов, как утра ядовито-серы от бензина, угля и серы!

Когда солнце прямой наводкой в окна вдарит — охрипшей глоткой что я выкрикну?! Боже правый! я верчусь шестерёнкой ржавой. Ах, Господь! я в душевной коме ни во что ведь не верю, кроме смерти — страшен мне гроба ящик, ибо вымер мой дух, как ящер.



Ты прости меня, моя жизнь, за всё сразу:
у меня были мысли прибавить газу
в нашей старой плите (всего две конфорки),
ну а спичку забыть поднести — и уснуть, а проснуться в морге;
у меня были мысли в облупленной ванной
отворить себе жилы — и слиться с нирваной;
у меня были мысли задрогать ногами,
сунув голову в петлю, — своими руками
я хотел навсегда с тобою покончить,
напоследок забившись в предсмертных корчах.

Только завтра Прощёное воскресенье.
Жизнь, прости и впусти в свои светлые сени
мою душу. Прости ей великую ересь —
она смерти желала, во всём разуверясь.
Да, наверное, будь я умнее и взвесь я
все «за» и «против» — душевное равновесье
я б обрёл. Но я не хотел — и сейчас не хочу, говоря по чести, —
рассчитывать варианты, прикидывать: есть ли
шанс отыграться, душу ставить на карту? Козырной масти
нет и не будет, коль мир во власти
ты же знаешь кого...

Не я тебя выбрал —
ты меня, и значит, я всё-таки выиграл.



На кладбище ехали, помню, мой дядя
сказал мне, в окошко автобуса глядя:
«А родина — вот!» — он кивнул на погост —
и светел, и прост.

Да, родина здесь, где снимаю я шапку.
Но — встречу отца я, и деда, и бабу.
Прошу подаяния — неба ломоть.
Ты слышишь, Господь?

А здесь, на земле, прямо неба напротив,
врос в землю домами тот город, где портим
мы кровь своим близким — они все умрут.
Но ты ещё тут.

Декабрьскою ночью — морозной и долгой —
мне грезится дом с новогодней ёлкой
и свет — тот, который в душе не померк, —
незримо — вверх.

Любовь, ты не снилась, но в яви настигла.
Твой год с величавой повадкой тигра
уходит, в душе отпечатав свой след
путями комет.

Григорий Яковсон

Бегущих дней чечёточная дробь

Сострадание

Ничего не случается просто так,
без причин и лица не каменеют,
даже Лета, вздувшаяся, как шланг,
в тесных набережных,
немея,
ловит то ли плач, то ль стаккато шагов,
то ли белый шум, то ль другую малость,
но всех дождей, свалившихся с облаков,
вряд ли хватит, чтобы вызвать жалость.
Город сереет к вечеру, как шинель
полицая, выталкивающего имярека
в сторону горизонта, похожего на кашне,
прикрывающее и рот, и веко.
Всюду слышатся звуки то ли фрезы,
то ли оды к радости, взятые за основу,
но из камня не выжмете вы не только слезы,
но и даже просто честного слова.

Зона прилёта

В серых коконах сторожá,
только нечего сторожить,
разве что лишь прилёт стрижа
с целью прошлое пережить.

Кожа выдублена в рубцы,
две траншеи к окопу рта,
здесь когда-то свела концы
еле видимая черта.

Им бы матовый зрак скосить,
только редок богатый гость,
и ни с шерсти им, ни с кости,
ни в охалку его, ни в горсть.

Можно душу вложить бы в шмон,
только выела душу ржа.
С визгом крутится патефон
в зоне выдачи багажа.

Я пойду коридором горл,
волоча за собой суму,
альпинист, не выдавший гор,
прямиком угодивший в тьму.

Всё затем перейдёт в рапид,
и откуда-то с потолка,
словно раненый, прохрипит
голос родины у виска.

Пробуждение

Печален зверь наутро после пьянки,
витает дух, как в небе Люцифер,
гетера на подушках для приманки
вострит язык и точит глазомер.
Слова страшны, особенно глаголы,
от междометий стынет в жилах кровь,
в углу рояль босой и полуголый
разыгрывает пьесу про любовь.
Кого винить мне?
Джинна из бутылки,
стакан, вместивший горькую слезу,
луны оскал, светящимся обмылком
скользящий в небе, как в пустом тазу,
случайно подвернувшихся прохожих,
окрестных блат немереную топь —
и чувствовать шагреновою кожей
бегущих дней чечёточную дробь.

Статуя Свободы

Гавань мерно катит волны,
делит вечность на куски,
катера взлетают, словно
колорадские жуки,

незаметные для глаза
скаты ползают по дну,
блики вспыхивают, сразу
уходя на глубину.

В том краю, где мы любили,
где родились, чтобы жить,
нас, возможно, не убили,
но успели позабыть.

Там остались наши тени,
различимые едва,
из диковинных растений —
лишь полынь да трын-трава.

Леди ждёт вестей с норд-оста,
прячась в марево одежд,
и у ног чернеет остров
всех несбывшихся надежд.

Семь лучей, семь змей горгоны
у неё на голове,
да скрижаль в четыре тонны,
да три карты в рукаве.

Геннадий Кацов

Спасение



Ты прости, что в последнее время приходится часто
Поднимать эту грустную тему «друзья и обиды»,
Растекаясь привычным рефреном: «Хоть живы все, к счастью»,—
Небольшим утешением к тем отношеньям разбитым.

Запах пыли, руин. Побродив по своим парфенонам,
Обнаружишь вокруг черепки от забытых предметов,
Даже вспомнишь все цифры из пары былых телефонов,
По которым не стоит звонить. Но сейчас не об этом.

Можно долго смотреть на часы. Зазвучать а капелла.
В первый день февраля наглотаться креплёным «чернилом»,
Ведь судьба—это то, чем с тобой рассчитаться успело
Время суток. А всё остальное, должно быть, приснилось.



Твоё желание—это желание Другого.

Ж. Лакан

Снег не сыпет с неделю. Оплывшие льдом
Тротуары сроднились с дорогой.
Можно выйти из дома, прошлёпать с трудом
По катку, что застыл у порога.

Или, если б курил, постоять у крыльца,
Глядя в окна соседей напротив,
Что глядят, как в ночи светлячком часть лица
Белый дым освещает в полёте.

По обочинам вмёрзшие глыбы стоят,
Валуны с посеревшим плюмажем:
Был бы кем из летящих, то горный сей ряд
Наблюдал бы в февральском пейзаже.

Был бы той же грядой, что сквозь город растёт
Предсказанием Жака Лакана,
Дальше—берегом, раз или два раза в год,
И хоть раз—вдоль него океаном.

И когда-нибудь—быть небосводом, с утра
Омывая лучами тот город,
В чьей квартире—желаний взыскующий раб,
Словно в клетке. И выйдет ли скоро?

Спасение

Лес всё темней, свет от свечи плотнее,
 Всё уже и запутанней тропа,
 Всё больше страхов, порождённых ею,
 О том, что заблудился и пропал.

По сторонам выскакивают чаще
 Уродливые формы из теней—
 Должно быть, те предвестники несчастий,
 Что знал Улисс и находил Эней.

Перетекает вечер в ночь неслышно,
 Как будто загаился кто-то там,
 В холодной тьме, и в спину тихо дышит,
 И чёрной веткой—след его хвоста.

На каждый хруст моих шагов—затишье,
 Взгляд от звезды навязчивей в сто крат,
 И лес, как кот, играя с шалой мышью,
 В игре со мной предскажет результат.

Треклятый холод одолеть поможет
 Любого путника и посильней меня,
 А лес глубок, всё менее похожий
 На тот, который знал при свете дня.

А лес дремуч, в сплошном его молчанье,
 Как в лабиринте, пропадает звук,
 И небо вдаль уходит со свечами,
 В тьму погружая всё, что есть вокруг.

Всё ближе блики, и всё резче тени,
 Свеча в руке дрожит, и меркнет свет,
 Меня объединяя вместе с теми,
 Кто прежде проходил, оставив след.

Стекает воск с ладони, меньше света
 В хранимой мною жизни огонька,
 И нет надежд на то, что, может, где-то
 Добавится ещё одна строка.

Но дальний голос над листом бумаги,
 Что сам себе в ночной тиши бубнит,
 Я вдруг услышу: по любой из магий,
 Он—словно в мифе Ариадны нить.

В его усталом и безличном тоне,
 В спокойной речи и порядке слов
 Вой ветра захлебнётся и утонет,
 Оставит лес последний свой улов.

Хватило б веры и любви на Б-га—
 В той фразе и в той сдержанности чувств:
 «Мой друг, чтобы верней найти дорогу,—
 Услышал я,—задувай теперь свечу».



Иди сюда. Иди сейчас за мной,
 Пройдём вдвоём сквозь этот воздух красный,
 Сквозь этот нежилой и неземной,
 Всецело монотонный, без контрастов,
 Сквозь влажный спуск во тьму глухонемой.

Иди сюда. Иди за мной сейчас,
 И ты увидишь то, что дальше в лицах,
 Что дальше, попадая в нужный час
 И место, где дано тебе явиться,
 Как целое предстанет и как часть.

Все эти тени в царствии теней,
 Их царственные медленные души
 Чем незаметней глазу, тем верней
 Проявятся в пространстве этом душном,
 В сплошном ряду из предстоящих дней.

Здесь все, кто был и будет, кто идёт
 Там впереди—и кто идёт за нами,
 И вряд ли что-то здесь произойдёт,
 Пока не обменялись именами,
 Пока любой тебя не назовёт.

Кто не рождён—до срока встретит тех,
 Кого он встретит позже, после срока,
 Когда всё шире, закрепив успех,
 Распространится адова морока,
 Себя на святость поделив и грех.

Запомни всё, что видишь. Мерный гул,
 Запомни этот гул полуподвала,
 Ведь Ад—не вездесущий Вельзевул,
 А то, что ты возьмёшь туда, в начало,
 Вернее, то, что Ад с тобой вернул.

Иди сюда. Смотри во все глаза,
 Как ширится вокруг тебя по мере
 Потери памяти земной азарт
 Мирских химер, и ты на их примере
 Себя примерно можешь предсказать.

Иди сюда. Мой голос вдалеке—
 Прощальным эхом, он почти не слышен,
 И тьму, что ты уносишь в кулаке,
 С годами возноси как можно выше,
 Кем ты ни стань и будь ты проклят кем.

Наталья Елизарова

Скоро восход



Эта жизнь за окном, эта осень, и кухня, и свет—
 Бутафория быта, в котором обоих нас нет.
 Ни имён, ни историй, ни планов, ни даже теней.
 Обними меня, если ты здесь, защити, обогрей.
 Паутина словес приникает и душит, звеня.
 Этот новый рассвет отнимает тебя у меня.
 Территория света болезненна и широка.
 Я пройду по мосту, если только удержит рука.
 Этот радужный мост—мой лесной, подвесной, расписной.
 Отчего же желание жить умирает весной?
 Но и осенью целы, собираем в копилку тепло.
 Не смотри за окно, там светает и в лужах стекло.



*Я никогда не умру
 Ты никогда не умрёшь*
 И. Ермакова

Я без тебя не умру,
 Ты без меня не умрёшь.

Сорную—режусь—срываю траву,
 Вот ещё эту и эту сорву.
 Ты моих слёз ждёшь?

Это не берег, не берег реки,
 Это нелепый обрубок руки,
 Тянущийся и зовущий.

Мой ледяной полноценный кошмар.
 Бью по лицу себя—точно, комар,
 Кровь безвозмездно сосущий.

Перевяжи мои раны травой,
 Сделай—ну что тебе?—только живой
 Чтобы осталась я ныне.

В этом овраге, на лютой косе
 Я научусь уже скоро «как все»,
 Жалости нет и в помине.

Нет никого, я веду лишь с собой—
 Непримирымый упорный конвой—
 Сумрачные разговоры.

А на ладонях—порезы-следы,
 Мне бы дойти, дотянуть до воды,
 Рядом, закончится скоро.

Стансы

1.

Как просыпаться утром,
 Зная, что в этом дне
 Нет тебя? И минуты
 Стынут в календаре.
 День разгоняет сумрак,
 Вешает груз забот.
 Длятся сплошные сумерки
 Весь високосный год.

2.

Руки помнят на ощупь
 Линии глаз и губ.
 Это за что мне, Отче?
 Что равнодушна—лгу.
 Память—такая свалка:
 Выбросить всё и сжечь!
 Прикосновений жалко,
 Нежности не сберечь.

3.

Был мне дороже света,
 Застил восход светил.
 В струи степного ветра
 Ты меня отпусти.
 Буду лететь кречёткой,
 Кликать себе беду,
 Не отдавать отчёта,
 Где мой сундук и дуб.

4.

Будет уже! Не кличут
 Прошлого—полый труд.
 Холод и безразличие
 В свой очерёд придут.
 Станут, расставят сети,
 Не избежать пустот.
 Холодно. Сыро. Ветер.
 Скоро уже восход.

Умирает птица: падёт с шестка,
Лапки в воздух—и дух долой,
И пойдёшь во тьму светлый дух искать,
Эту правду в себе самой.
Держишь руки лодочкой—не споёт,
Не расправит свои крыла.
Календарный день не идёт в расчёт,
Если птица в нём не жила.
Ввечеру разрою я саван-снег,
На скамеечке примощусь.
«Милуй»,— скажет мне человек.
«Бог простит, да и я прощу».
Он прохожий и, верно, не ранил птах,
В легкокрылых них не стрелял,
Беззащитен сам, словно тот монах,
Что в пустыне один стоял.
Мне придётся доверить пичугу льду,
Возвратиться в своё тепло.
И мешать и ворочать словес руду—
Несмотря, вопреки, назло.

Без памяти твой воздух...

А. Тарковский

Памяти нужно жирное вещество,
Свежее мясо, злаки для молотьбы.
Ветви-раздумья её обвивают ствол,
Гулкой лесной стеной восстают дубы.
В роще её заблудиться—уйти, пропасть.
Воздух беспамятен твой, и тебе равно:
Держишь концы и повелеваешь всласть—
Или глядишь её, как старик кино.
Воздух прохладен, сипл и почти что дик,
Лёгким уже не справиться с немотой.
Мучим, и учим, и верим в один язык.
Кажется мне... Я, кажется, не о том...

ДиН РЕВЮ



Александр Москвин

Притяжение тайны

Стихи.— Оренбург: Издательский дом
«Оренбургская неделя», 2013.— 48 с.

«Эта книга—волшебные врата в увлекательный мир молодого поэта Александра Москвина. Откроешь их—перевернёшь первую страницу книги, потом—вторую, третью, и всё дальше и дальше углубляешься во внутреннюю Монголию автора, на загадочную территорию, где обитают бок о бок последний шаман и Пол Пот, добрый доктор Фрейд и Саддам Хусейн, где ездит в ночном дилижансе герой недописанного детектива, самым фактом своего существования беспокоя всеведущего Эркюля Пуаро...»

Виталий Молчанов

Книга издана Оренбургским региональным отделением Союза российских писателей на средства Правительства Оренбургской области в рамках реализации целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Оренбургской области на 2011–2018 годы».

Лужа

Я трачу жизнь без смысла, без сноровки,
Удачей пьян и гордостью простужен.
Стою, смотрю, как возле остановки
Резвится солнце в грязной, мутной луже.
Но скоро небо облака закроют,
Слеза дождя повиснет на ресницах,
А лужа станет жить одной мечтою—
Что в ней назавтра солнце отразится.
Ей от судьбы достался сложный ребус,
Сплошные безответные вопросы:
Летающий напрямки седьмой троллейбус
В неё опустит грязные колёса.
Во мне скопились мысли и обманы,
Как в пепельнице горькие окурки.
Та лужа стать хотела океаном,
А стала лишь пятном на чьей-то куртке.

Олег Бабинов

Арлекин в военное время

Вы сегодня танцуете, мэм?

Я весь день работал и вот устал
превращать целлофан в джем,
управлять мирами, растить кристалл.
Вы сегодня танцуете, мэм?

Возвращал долги и писал роман,
замещал больного царя,
чистил клетку, полную обезьян
(нет, нет, лишь образно говоря!).

Придаю себе удалой вид,
чтоб ни дать ни взять—Полифем,
но с глубоким голосом, как Лу Рид.
Вы сегодня танцуете, мэм?

Почтальон носит сумку, как кенгуру.
Капитан курит сизый дым.
Не за тем я приехал в твою дыру,
чтобы Вам танцевать с другим.

Не за тем летел, не за тем плутал,
не за тем я полз, не за тем,
чтобы там почтальон или капитан.
Вы сегодня танцуете, мэм?

Вот прекрасная дикая дева стоит
посреди озорных подруг
и, как лист осиновый, тихо дрожит,
вынося миллион мук.

Выходи из угла, из норы выходи,
оближи на губах крем,
чтобы пальцы к пальцам и грудь к груди.
Вы сегодня танцуете, мэм?

И, как самый последний из могикан,
в бездну падает жёлтый лист.
А на нас с эстрады глядит музыкант—
предположим, саксофонист—
остранённо, но нежно, как наш Творец.
Но причём жёлтый лист? Но зачем?
Он летит открывать потайной ларец.
Вы сегодня танцуете, мэм?

Сказки Андерсена. Современным поэтам

Однем словом, принял гостя по-хорошему.

П. Бажов

однем словом, примут гостя по-хорошему
сказки Андерсена держим под рукою
покажи принцесса нам свою горошину
и заправь нам бак на ойле на луколке

искажители мерцатели кислотели
раздражители бродительной собаки—
мы гадаем, до чего мы приблизители
и кого мы окликатели во мраке

свет струится всем, но каждому—по-своему
снег ложится под звенящий санный полоз
по-хорошему принцесса ты напой ему—
потерявши хвост, он ищет голос

Моё личное рождество

с днём рождения мой друг мой отец
мой судья

это ты меня водишь в разведку
в сияющее бытие из небытия
и садишься петь песни на ветку

зимой—снегирём, а весной—соловьём
а когда хоронил я папу
это ты шептал мне что смерть—подъём
как в самолёт по трапу

это ты был снегом ветром солнцем
травой
когда рождались мои Анна и Даниил
и это ты тогда говорил со мной
когда я с тобой не говорил

но сейчас ты младенец и ты сопишь
сладко в своей колыбели
и это единственный миг когда ты не
видишь малыш
как я преклонил колени

Никто

Гомер был слеп, Бетховен глух,
 синематограф нем.
 А как зовётся мой недуг?
 Никтоизватьником.

С утра приходит мой Никто,
 и он со мной весь день.
 На нём ни шляпы, ни пальто,
 и он ни свет, ни тень.

Никто мне в зеркало глядит,
 Никто ночей не спит.
 «Скажите, доктор, где болит?
 И чем грозит, и что сулит
 хронический никтит?»

И доктор чешет в бороде
 томографом своим
 и говорит: «В Караганде
 и даже в Золотой Орде
 ни в мёртвой, ни в живой воде
 никтит неизлечим.

Такой вы, батенька, больной,
 такой вы, божежмой.
 Иди ты, батенька, домой
 и тщетно руки мой».

Уйду и под Карагандой,
 под солнцем и луной,
 полью себя живой водой
 и мёртвою водой,

и там, под солнцем и луной,
 как нижнее бельё,
 на мне останется со мной
 никтожество моё.

У зайцев капитан—Мазай,
 у прочих тварей—Ной,
 а ты себя творить дерзай
 под солнцем и луной,

и, как Венера из воды,
 Иона из кита,
 ты выйдешь из Караганды—
 никтожнее никта.

Когда к тебе приходит волк,
 стреляющий с двух рук,
 глазами—зырк, зубами—щёлк,
 никто тебе не друг.

«Ты сер, а я, приятель, сед.
 И мне никто не враг.
 Ты видишь цель, я вижу свет,
 а звать его—никак».

Гомер был слеп, Бетховен глух,
 Адам был бос и наг.
 Я свет, стреляющий с двух рук.
 А звать меня никак.

«Как будто упекли в тюрьму,
 но что тюрьма мне та—
 никто никтою никому
 в никту из-под никта!»

Арлекин в военное время

Арлекин возвращается в комнату на чердаке.
 Ему одинаково жалко гвельфов и гибеллинов.
 Он засыпает мгновенно, растянувшись на тюфяке,—
 ни рубахи в заплатах, ни панталон не скинув.

И снится ему, что он слуга двух господ:
 слева дал втык Император, а справа—Папа.
 И кровь из носа капает в реку По,
 сладкая и забористая, как граппа.

В сладкой крови тонут слуги и господа,
 конные рыцари, прочие христиане.
 Кровь заливают замки, нивы и города:
 здесь—в Ломбардии, здесь—в Афгане, здесь—на Майдане.

Арлекин просыпается. В полусне ещё ищет любви
 двух или трёх прекрасных венецианок.
 Но Папа и Цезарь хотят утопить в крови
 его самого и любимых. Он сам—подранок.

Арлекин просыпается.
 Шасть к окну—и не узнаёт родного Бергамо.
 На улицах снайперы. Штукатурка с потолка осыпается.
 Богородице, спаси меня, Мамо!

Юрий Татаренко

Грусть винограда

Русская зима

Вдали от творческих открытий
Разлили по стаканам праздность,
И жизнь в отсутствие событий
Уже не кажется напрасной.

Вершины съёжились в вершинки
И с этим свыклись мал-помалу,
А буквы—чёрные снежинки—
Летят на белую бумагу.

Февраль погас. В глазах стемнело.
И плакать хочется безумно.
В окне у Казимира небо
Необоснованно безлунно.

Затянем пояса и песни.
Слова толкуются впрямую.
«Мороз и солнце, день чудесный!..»
Ну, ничего, перерифмуем.

Чемал-2008

Александр Белову

Но как же хочется порой
Чужую даль окинуть взором!
Сильней всего нас тянет в гору
Желанье знать—что за горой...

А вот и надпись: «На Кресты».
Осталась в стороне сторожка,
И друг за дружкой хребты
Стоят разобранной матрёшкой.

И кот билайновский, заметь,
Мышей не ловит в телефоне,
И домик наш—не разглядеть,
И суета—как на ладони...

Не панорама—стук в висок
Заставит рот раскрыть пошире...
Ну что, последний мат-бросок—
И вот уже ты на вершине,

И оголяются тылы,
И ощущаешь с новой силой
Готовность прыгнуть со скалы
В полёта свежую могилу.

На перроне

День прошёл. Мимо статуй и фресок.
Пол-Тавриды листвой забросал.
Ускоряется жизнь на отрезках:
Суеморье—троллейбус—вокзал.

До свидания, мой Симферополь,—
Слёзы сохнут быстрее, чем штаны,—
Нас с тобой не прельщают европы,
Однолюбамы мы рождены...

Мимо фрукты несут аккуратно.
Урожайная осень в Крыму!
Я купил себе грусть винограда:
Повод есть погрузить самому.

Слякоть

Спешат снежинки в гибельный уют
Упасть и раствориться в ноябре.
Студенты тёткам флаеры суют.
В бюджете осени—родная брешь.
И неба прохуdivшийся карман
Напомнит о позоре в кабаке...
Скорей бы вяло ткущая зима!
Скорей бы вахта, жаркий спор в балкэ!

Ялта

Страну не сплотит
Нежность к Сталину, Ельцину, Путину,
Идущих в строю
Тоже трудно народом назвать...
И хочется мне
Расстегнуть твою верхнюю пуговку—
Проглянет сквозь снег
Раскрасневшаяся листва.
И даже в природе не встретить
Единоначалия:
Сгущаются краски
В докладе вечерней зари,
И ненависть волн
Вызывает у камня отчаянье,
Но твёрдой рукой
Он шлифует себя изнутри.



Я всё время в пути,
Траекторию задал сверчок:
От окна до двери
И от Бродского до Элиота.
Купол неба—
Огромный, с отломанной ручкой, сачок...
Если птицы— для гнёзд,
То уж мы-то с тобой— для полёта!

С небом— только на «вы»
Скорый поезд Москва—Кулунда,
Спать уйдёт пассажир
И оставит открытой фрамугу...
Полночь.
Стрелки в часах
Начинают свой путь в никуда
И из всех вариантов
Вновь выберут:
Боком— по кругу.

Отчаяние

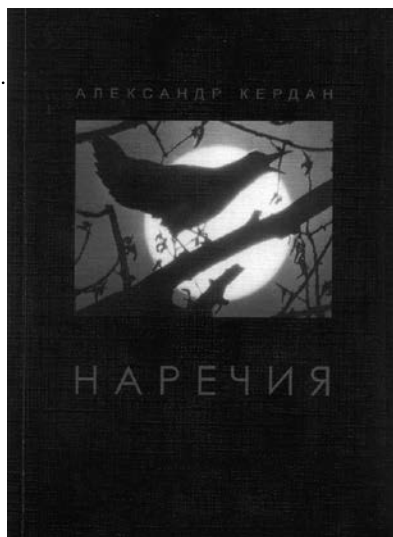
Мы венчались. Мы—венчались!
Мы промчались по любви...
Паутинка, истончаясь,
Шепчет пальцам: «Разорви!»

Я в лесу не потерялся,
Я в лесу теряю стыд.
К статным соснам в рыжих рясах
Жмутся грешники-кусты.

Я был грубым, я был глупым,
Нёс порой такую дичь...
До крови кусаю губы:
Не зови, не плачь, не хнычь!

Где ты, с кем ты, я не знаю:
Мы давно с тобою врозь.
Больно. Тишина лесная
Прокукушена насквозь.

ДиН РЕВЮ



Александр Кердан

Наречия

Стихотворения

Екатеринбург: Изд-во «Аспур», 2014.—104 с.



Я первую старость встречаю с тобой,
Такою беспечной, такой молодой,
Что рядом я чувствую: мало осталось
До дня, где я встречу последнюю старость,
А ты, повзрослевшая, будешь смотреть,
Как старость моя превращается в смерть...



Ещё друзья на зов мой откликаются,
Ещё моя любимая со мной.
И перед ними я могу покаяться
И не терзаться глупою виной.

И снова мне рассветы улыбаются,
И каждый новый миг неповторим,
И неизбежно все мечты сбываются,
Пока не перестану верить им.

Верность русской поэтической традиции и следование собственной, предельно искренней и доверительной интонации— главные достоинства нового сборника лирики Александра Кердана, в который вошли стихи, написанные в 2013–2014 годах.

Николай Вдовин

Прошедшее в настоящем



Возлюбленный мастер, прости, я ни в чём не уверен.
Ну разве что жизнь—это истинное приключение:
вечерняя дымка, листва, силуэты берёз...
Я многое отдал за то, чтобы выйти на берег,—
воспитывал плоть, погружался в глубины учений;
ты будешь смеяться, но мне неизвестен вопрос

с ответом простым, однозначным... Хотя, безусловно,
всё в мире разумно—и кровь, и природа, и то, что
история века под властью картонных вождей
свершается в серых домах, как-то мутно и подло...
Порядок подобных вещей изменить невозможно,
однако бывает разумней, а значит—важней

встать против течения. Потом посочувствуют: жалко,
мол, кто-то забылся и не подоспел к переключке,
войдя в поворот, не сумел удержаться в седле...
Вот только—что лучше: на касе купить зажигалку,
а может, сгодятся обычные серные спички?
Я должен устроить спектакль, чтоб стало светлей,
по пьесе, в которой нет хора и мало ролей.

Возлюбленный мастер, не знаю, какое лекарство
принять от бессмыслицы, если, конечно, не поздно,—
вчерашняя правда раскопок и войн не нова:
среди перекошенных линий стоит государство,
у ближних и дальних народов в извилинах мозга
его корневая система. К тому же слова,

что некогда были тобою даны как награда,
губами политиков, буквами ржавых законов
навек обескровлены, их не спасёт карантин.
Работать над речью и дикцией больше не надо—
голодный паук ночью выел нутро насекомых,
оставив болтаться пустых оболочек хитин.

Отныне лишь действие вскроет и цели, и смыслы.
Да, тщетны попытки руками порвать паутину
(там нити из стали), и вряд ли поможет нож, но
теперь, когда ткани протёрлись и справки прокисли,
ты мне посоветуй: какого в канистру бензина
залить, чтобы мероприятие удачно прошло?
Хотя понимаю: во что-либо верить—смешно.

Возлюбленный мастер, мне жизнь подарила такое,
 что стыдно подолгу страдать, просто здесь в самом деле—
 коль хочешь найти, будь готов что-то и потерять.
 Я видел, как плиты столетья не знали покоя,
 как волны тепла омывают планету в апреле,
 как рвутся сосуды. И я научился дышать

то влагой лесов, то химической пылью заводов.
 И видно уже всё отчётливее и вернее:
 из тайн непочатых осталась одна—это смерть.
 Ведь то, что сейчас отражается в стёклах и водах,
 однажды, увы, непременно одревенеет,
 а мёртвому дереву всё-таки лучше—сгореть.

Так стоит ли ждать тишины у огромного зала?
 Волокна учений сплетаются в сладкую паплю...
 Никто не сумел структурировать воду в вино.
 Готов реквизит. Время определиться с финалом,
 двух корреспондентов позвать на премьеру спектакля,
 где три элемента да соединятся в одно.
 Хотя я с тобою согласен, им всем всё равно...



Всякий раз, прикасаясь к поэзии,
 я должен непременно почувствовать небо,
 погрузиться в его безразмерность,
 в эту непредставимую даль.
 И появляются: дымка тумана,
 дождь, или хлопья январского снега,
 или танец сентябрьских листьев,
 опускающихся на асфальт.

Вслед за этим приходят... Впрочем, это неважно:
 в самом деле, что толку, заботясь
 о благородстве созвучий, давать имена,
 за пустяками искать тайный знак?
 Всё, что мы имеем в действительности,—
 это несколько чистых гипотез;
 можно, конечно, назвать их истинами,
 но это едва ли так...

И только пространство, полное
 неведомого покоя,
 начинённое зонтиками укропа,
 логикой нейлоновых струн, огнём
 новогодней взрывчатки, порою
 открывает нам нечто иное,
 то, о чём невозможно вспомнить,
 можно лишь потеряться в нём.

Оно пропитает тебя до корней—
 так в лечебнице едким раствором
 бесцветных лекарств обрабатывают
 повреждённую ткань,—а потом
 отпустит назад—на тот же асфальт,
 снова: в клетки, в извилины, в поры,
 в любовную геометрию, в стёкла и пластик,
 в трёхмерный нечаянный дом

ты принесёшь с собой то, что можно познать,
шлифануть, придать форму, отметить,
если есть определённые способности —
конвертировать в капитал.
Но секретарь уже ставит подобную
резолюцию на документе,
и капля прозрачного клея превращается
в молочно-мутный кристалл.

Прошедшее в настоящем — самая распространённая
временная форма. Поскольку
нет смысла вступать в пререканья с судьёй,
видишь: это чужая игра,
где законы стоят на страже понятий,
а небо с его чёрной солью
сегодня тебе открывает иное —
и вовсе не то, что вчера.

И опять — всё по-новой. К этому приключению
подготовиться загодя нереально,
что бы там ни говорили ребята не сайтах
с названиями «Третий глаз» или «Путь к себе».
Резервуар памяти заполнен настолько,
что сама его поверхность зеркально
отражает даже нетленные мысли
о просветлении или судьбе.

Так могу ли я сказать тебе нечто такое,
на что непременно следует обратить внимание,
когда ценность любого высказывания сегодня
в том, как быстро его можно забыть?
От нашего диалога останется на рассвете
в лучшем случае — знак препинания,
что, в конце концов, тоже не так уж и мало;
впрочем, может быть... Может быть,

будет лучше, когда не останется
ничего: ни портвейна, ни хлеба.
Ибо все бородатые предсказания — это
граффити на водосточной трубе.
Нам известно, по ком звонит колокол,
посылая вибрации в небо,
которое мне открывает иное —
и вовсе не то, что тебе.



Быстрый гол — штука очень опасная, хоть порой после точного паса он чистый, как оцифрованный звук. Только зрители окрика строгого не поймут, и опять, перепробовав всё, что можно, ты выяснишь вдруг,

что тропы до воскресной обители нет — бессмысленны путеводители, несмотря на цветную печать.

В досках — червь, на железе — окалина, как-то всё бесполоково, неправильно... Поневоле устанешь гадать:

то ли ты потерял накануне путь, то ль в плацкартном вагоне кому-нибудь не тому проиграл в дурака.

То ли ляпнул чего-нибудь лишнего, и запретное слово, как вишенка, прорастает, да так, что пока

не найти мне вторую Америку, не пойти по воде как по берегу к проповеднику или к врачу.

То, что я создавал, тут же рушилось, точно девочка-ведьма подслушала мои мысли и молвила: «Чур!»

Крась томатные губки, красавица, всё по-твоему здесь получается: коль прокатит, так не пронесёт.

Как зерно недозрелого колоса: ни харизмы, ни слуха, ни голоса, две-три строчки — и, в общем-то, всё.

Впрочем, нет: есть ещё неоткрытые двери, синий пакет, стекла битые, волны снега и старый трамвай.

Пощади меня, память, пожалуйста, на судьбу-бедолагу не жалуйся, битых карт в рукаве не скрывай.

...Что есть имя? Фальшивка бумажная.

Нет в нём правды, а всё-таки каждая буква верит, надеется, ждёт.

Да слова где-то рядышком крутятся: перебор, перекрёсток, распутица, ворон, выговор, вор, поворот...

Но зачем под ковром пляски пламени, голоса мертвецов в книгах каменных? Для чего это марево снов?

Лес с его чародействами мудрыми, а за ними в нечаянной утренней синеве Таж-Махал облаков?

А над ним стольный град без фундамента: капители, колонны, орнаменты, — Рим и Питер — лишь тени его.

Но пока под ногами Евразия, есть вопрос: может, это фантазия, за которой — увы — ничего?

ДиН РЕВЮ

Сергей Кузнечихин Бич-рыба

Москва: «Эксмо», 2014



«Кому и ум — бич, а кому и глупость в радость!»

18+

СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН

«Александр Пушкин оставил нам Савельича, а Сергей Кузнечихин — Лукича. Таково обретающее нарицательную силу отчество бывалого русского человека Алексея Петухова — главного героя кузнечихинской книги, от лица которого и ведёт повествование автор. Савельич — верный слуга юного барина Гринёва. А Лукич?.. А Лукич — верный слуга народа. Потому что, во-первых, все его рассказы объединяют Россию географически — от плеча до плеча; во-вторых, даже в лукавстве своём (оттого и — Лукич) докапывается до самого доньшка нашей жизни, и не понять, где больше вымысла — в правде или — правды в вымысле. Лукич — это современный сказитель, наговоривший «Энциклопедию русской провинции» встречному им на пути Данилычу, сиречь Сергею Кузнечихину».

Юрий Беликов

Елена Тимченко

Что меня вдохновляет

Одна группа «вконтакте» регулярно приглашает меня скинуться с Октябрьского моста на тарзанке. Не удаляю: приятно думать, что такой способ воодушевления мне ещё доступен. А то всё бабушки, да собачки, да всякие пустяки...

Бабушка в больнице

У бабушки есть телефончик

У моей соседки по палате есть телефончик, причём первого поколения, то есть старше поповой собаки. Очень меня трогает, как она к нему относится. Телефон у неё хранится в картонной коробочке, коробочка — в дамской сумочке, сумочка — в шуршащем пакете, а пакет — в тумбочке. Вам это ничего не напоминает? Ну как же: Кашееву смерть! На кончике иглы, игла в яйце, яйцо в утке и так далее.

И вот телефон звонит, да грубо так и нервно: «Тревога! Ахтунг, ахтунг!» Послушная его требовательному призыву, бабуля спешно разворачивает военно-полевую связь, вытаскивая его из коробочек, сумочек и пакетов. При этом она страшно волнуется, неизменно спрашивая, на какую кнопку нажать!

Моим смартфоном соседка искренне восхищается, особенно когда я нахожу по её просьбе информацию о лекарствах и всяких медицинских фишках. А меня, в свою очередь, умиляет наивная любознательность старушки, когда она спрашивает, кто же «влил» в Интернет всю эту информацию о лекарствах — наши или американцы.

Месть Фантомаса

Бабушка, про которую я рассказываю, не простая. Проработав пятьдесят лет детским хирургом, она постоянно вспоминает своих маленьких пациентов и с горечью говорит о том, какая это страшная и вместе с тем ответственная и ювелирная работа — детишек оперировать. Дети страдают, плачут, злятся на врачей, не понимая, что те подчас спасают их от смерти.

И вот такая история.

Приходит доктор в ординаторскую и рж... смеётся. Хотите, говорит коллегам, я вам письмо от благодарного пациента прочитаю? Достает из кармана листок, исписанный детским почерком, и читает:

Мне нужен труп,
Я выбрал вас.
До скорой встречи.
Фантомас.

Мать гламура

Пора бы нам описать нашу героиню. Бабушка маленькая, не по годам загнутая в дугу, с палочкой, с трясущейся головой. Реденькие волосёнки, слегка просвечивающие на темени, выкрашены в оптимистически-рыжий цвет.

В больницу она взяла с собой весьма продуманный гардероб: от пеньюара и тонких колготок до изысканного шейного платочка.

Одним хмурым больничным утром я проснулась, ощутив носом какой-то сильный, а главное, неуместный в данном контексте запах. Не разобравшись спросонок в своих ощущениях, я потопала к выходу из палаты. Поравнялась с кроватью бабушки — и остолбенела от удивления.

Она деловито красила ногти!

Ну как тут не воодушевиться и не забыть про болезни? 😊

Бабушка с собачкой

Незнакомая бабушка сидела на лавочке. Рядом с ней на скамье — честь по чести, на равных, — как статуэточка, сидела её небольшая собака-пуделёк. Обе они были чистенькими, справными, по-стариковски спокойными и задумчивыми. И даже смотрели в одну сторону.

Взгляд отдыхал, глядя на эту умиротворённую старость вдвоём.

Собачки

Мячик

Денек хоть и весенний, а скучный, серый. Ветер завывает вихри пыли... Хоть бы травка скорее вылезла или дождик сбрызнул, прибил эту пылицу.

Иду по делам, передо мной парочка: мужчина невзрачной наружности и собачонка, мелкая такая, чернявенькая, неухоженная, но симпатичная, бодро трусит на поводочке, кудлатой нечёсаной шерстью в колтунах весело потряхивает. И веет, знаете ли, от этой псинки каким-то азартом, нетерпением и целеустремлённостью.

«Ах ты, чёрт ленивый,— подумала я о хозяйне.— Хоть бы помыл собачонку да с ушей и лап шерсть состриг. На что может надеяться собака с таким охламоном-хозяином?»

Обгоняю попутчиков, краем глаза замечая, что мужик поводок отстёгивает.

И вдруг перед носом моим пулей вылетает упругий кислотно-зелёный мячик, а за ним— собачонка стрелой. И такой живой радостью меня обдуло, таким энтузиазмом, что мнение о хозяйне враз переменилось, а настроение поднялось. Иногда вера в человечество может подняться на несколько градусов и от такого нехитрого, проходного пустячка, честно.

К тому же между домами, на клочке земли, не утрамбованной машинами, заметила я нежную молодую травку...

Овчарки

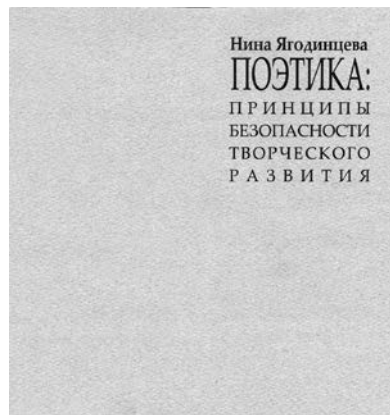
Наблюдала такую картину возле магазина. Пока хозяева делают покупки, их питомцы сидят на крыльце, привязанные к поручню за поводок. Но не все.

Полная благородного достоинства овчарка сидит с собственным поводком в пасти, как бы сама себя привязав и дав хозяину слово: «Не сойти мне с этого места, пока ты не разрешишь, зуб даю».

Умная псина, но уж больно серьёзная, сама себя высекала.

Но и в этом племени достаточно легкомыслия. Видела однажды огромную овчарку, не щенка, а вполне взрослую, матёрую даже, так она тащила в пасти крест-накрест аж две здоровенные палки, не в силах с ними расстаться после прогулки!

ДиН РЕВЮ



Нина Ягодинцева

Поэтика:

принципы безопасности
творческого развития

Лекции по психологии творчества

Челябинская государственная
академия культуры и искусств

Челябинск: Цицеро, 2008.—120 с.

Нина Ягодинцева— кандидат культурологии, поэт, член Союза писателей России, автор десяти поэтических и прозаических книг, лауреат литературных премий им. П. Бажова (2001) и им. К. Нефедьева (2002), фотохудожник, руководитель челябинской литературной мастерской, доцент кафедры РТПП ЧГАКИ.

Лекции «Поэтика: принципы безопасности творческого развития» являются завершением цикла работ, представляющих целостное мышление и литературное творчество в ракурсе «философия— технология— безопасность». Ранее вышли

книги «Поэтика: модели образного мышления» (Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2003), «Поэтика: двенадцать тайн» (Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2005) и «Русская поэтическая культура: сохранение целостности личности» (Челябинск: ЧГАКИ, 2007). В издание включено 9 лекций, посвящённых психологическим и нравственным проблемам творческого развития личности. Адресовано преподавателям и студентам творческих вузов, руководителям литературных объединений, всем тем, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с творчеством.

стр.
89

Алейников Владимир Дмитриевич
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой Рог на Украине. Поэт, писатель, переводчик, художник. В 1963 году окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Учился на отделении истории и теории искусства истфака мгу. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятые годы был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член пен-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

стр.
184

Бабинов Олег
Москва, 1967 г. р.

Родился в Екатеринбурге. Окончил философский факультет мгу. Занимался теорией организаций и управленческим консультированием. В настоящее время занимается бизнес-аналитикой, корпоративными расследованиями и анализом политических рисков. Соавтор и соиздатель альманаха «Стихи. Перекрёстки» (Москва — Санкт-Петербург — Нью-Йорк).

стр.
109

Болычев Игорь Иванович
Москва, 1961 г. р.

Родился в Новосибирске. Поэт, переводчик. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Защитил кандидатскую диссертацию «Творческий путь Игоря Чиннова». Переводил с английского и немецкого произведения П. Б. Шелли, Р. Бёрнса, Р. Киплинга, У. Б. Йейтса, Э. Паунда, Л. Уланда, А. фон Дросте-Хюльсхофф, Г. Бенна, Г. Гейма, Г. Тракля и др. Автор стихотворных сборников «Разговоры с собою» (Москва, 1990), «Вавилонская башня» (Мюнстер, 1991). Работал шеф-редактором телевизионной программы «Поэты России» (телекомпания «Московия»). Преподаёт в Литинституте.

стр.
172

Брагин Никита Юрьевич
Москва, 1956 г. р.

Родился в Москве. Окончил геологический факультет мгу. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Геологического института РАН, эксперт ВАК, автор

многочисленных научных работ. Преподаёт в Российском государственном геологоразведочном университете (Москва). Автор сборников и книг стихов «Стихи» (2004), «Камни, песчинки, потоки» (2005), «Лаура делла Скала» (2006), «Четыре стихии» (2008), «Избранное» (2009), «Пятый угол» (2010). Публиковался также в альманахах и сборниках по итогам различных поэтических конкурсов, в журналах «Российский колокол», «Лит-э-Лит», «Чайка», «Литературный меридиан», «Невский альманах» и др. Член Союза писателей России.

стр.
188

Вдовин Николай Геннадьевич
Качулька, 1971 г. р.

Поэт, драматург. Родился в городе Темиртау (Казахстан). Несколько лет жил в Петербурге, где учился в кораблестроительном институте. С 1994 года живёт на юге Красноярского края, в селе Качулька Каратузского района. Автор одного поэтического сборника. Публиковался в небольших газетах, журнале «Homo legens» (Москва). Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2012 года.

стр.
92

Вершинский Анатолий Николаевич
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии. Более тридцати лет занимается журналистской и издательской деятельностью, награждён дипломом знака отличия «Золотой фонд прессы». Член Союза писателей с 1985 года. Автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский». Дипломант конкурса «Лучшая книга 2008–2010».

стр.
111

Верясова Дарья Евгеньевна
Москва, 1985 г. р.

Родилась в Норильске. Жила и училась в Красноярске. Работала журналистом. Лауреат Илья-Премии 2009 года, лауреат премии «Пушкин в Британии» 2013 года, стипендиат премии имени Николая Рубцова. Участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году, на основании этих событий написана документальная повесть

«Муляка», которая была опубликована в журнале «Волга» и вошла в лонг-лист премии «Повести Белкина» в 2012 году. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Октябрь», альманахе «Пятью пять». Автор книги стихов «Гипогликемия» (2008).

стр. 174
Даминова Наталья
 Москва, 1977 г. р.

Родилась в Алма-Ате. В 1999 году окончила Оренбургский государственный педагогический университет (факультет иностранных языков). Участница пятого Форума молодых писателей России в Липках. Стихи публиковались в журналах «Кольцо „А“», «Окно», «Зарубежные задворки».

стр. 168
Донцов Геннадий Григорьевич
 1957–2014

Родился в городе Боготоле Красноярского края. Первые стихи были опубликованы в городе Ясный Оренбургской области в районной газете в 1988 году. Автор четырёх книг. Руководил ужурским творческим объединением литераторов «Свеча» с 2005 года. С 2011 года был членом творческого клуба «Енисейский литератор». Дипломант альманаха в номинации «Проза» за 2013 год. Публикации в альманахах «Новый Енисейский литератор», «Енисей».

стр. 170
Дынкин Михаил
 Москва, 1966 г. р.

Родился в Ленинграде. По образованию — картограф. Публиковался в журналах «Знамя», «Арион», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия» и др. Автор книги «Не гадай по руке».

стр. 182
Елизарова Наталия Михайловна
 Москва

Родилась в городе Кашире Московской области. Член Союза писателей Москвы. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор сборника «Осколок сна» (2006) и публикаций в периодике. Участник международных фестивалей.

стр. 130
Золотаина Галина Михайловна
 Ленинск-Кузнецкий, 1956 г. р.

Поэт. Участвовала в пяти коллективных сборниках поэзии Кемеровской области. Публикации в журналах «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Сибирские огни» (Новосибирск). Автор нескольких книг. Член Союза писателей России.

стр. 18
Кардаш Сергей Фёдорович
 Ачинск

Журналист, театральный критик. Работал и печатался в краевой и районной периодике, в журнале «День и ночь». Автор множества статей и очерков о культуре, книги «Мгновения и годы», посвящённой Ачинскому драматическому театру.

стр. 180
Кацов Геннадий Наумович
 Нью-Йорк, США, 1956 г. р.

Родился в Евпатории. Окончил Николаевский кораблестроительный институт. Поэт, писатель, журналист. Один из создателей легендарного московского клуба «Поэзия» (1986) и участник литературной группы «Эпсилон-Салон». Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 году. Автор пяти книг, включая экфрастический поэтический проект «Словосфера», в который вошли 180 поэтических текстов, инспирированных шедеврами мирового изобразительного искусства, от Треченто до наших дней. Последний поэтический сборник автора «Меж потолком и полом» вошёл в лонг-лист «Русской премии» по итогам 2013 года. Публикации в «Митингом журнале», журналах «Крещатик», «Слово\Word», «Новый журнал», «Интерпоэзия» и др. Вошёл в шорт-лист по разделу «Поэзия» Волошинского конкурса 2014 года.

стр. 99
Корзова Ольга Владимировна
 Архангельская область, 1965 г. р.

Родилась в Архангельской области. Окончила Архангельский государственный пединститут, 26 лет работала в школе. Публиковалась в журналах «Север», «Двина», «Наш современник», «Знамя», в газете «Литературная Россия». Участник сборника «Молодые голоса Севера». Автор книги стихов «Чёрное и белое» (2004). Член Союза писателей России с 2008 года.

стр. 155
Корнюхина Светлана Михайловна
 Минусинск

Родилась в Севастополе. Получила историко-филологическое образование. Работала педагогом, журналистом, редактором телевидения в разных регионах России: в Крыму (в советское время), на Дальнем Востоке, в Сибири. Пишет рассказы, повести, стихи, миниатюры, сценарии. Лауреат (2004), обладатель Гран-при (2008), абсолютный победитель (2013) краевого конкурса сценарного мастерства (Красноярск); лауреат международного экологического конкурса «Зелёная планета» (Москва, 2004); обладатель губернаторского гранта (Красноярск, 2009); призёр международного конкурса образовательных проектов «Сочи-2014». Автор сборников сценариев «Экология души», «Портрет в интерьере», книги «Открытие мирового значения» (2010), сборника рассказов и повестей «Неправильная Сибирь» (2011).

стр. 107
Костров Владимир Андреевич
 Москва, 1935 г. р.

Родился в деревне Власиха Костромской области. Поэт, переводчик, литературный критик.

Окончил химфак МГУ (1958), Высшие литературные курсы (1969). Был членом КПСС. Работал инженером-химиком на оборонном предприятии в Загорске, в журналах «Техника—молодежи» и «Смена», рабочим секретарём правления Московского отделения СП РСФСР (с 1980), зам. гл. редактора журнала «НМ» (с 1986). С 1979 года ведёт семинар поэзии в Литинституте; доцент. Печатается с 1957 года. Автор книг стихов: «Первый снег», «Кострома—Россия», «Утро в Останкине», «Металл и нежность», «Я вас люблю», «Товарищества светлый час», «Солнце во дворе», «Если любилась...», «Нечаянная радость», «Открылось взору», «Свет насущный», «Роза ветров», «Стратостат», «Песня, женщина и река» и др. Публиковался в газете «Завтра», в журналах «Знамя», «НМ» (1988, № 11; 1991, № 7), «Россия» и коллективных сборниках. Член СП СССР. Избирался членом правлений СП РСФСР и СП СССР, председателем Клуба независимых. Член правления СП России, редколлегии журнала «ЛУ», редсовета журнала «Роман-газета XXI век». Председатель Пушкинского комитета СП России, вице-президент Фонда 200-летия А. С. Пушкина. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1984), медалью «За укрепление боевого содружества» (2000). Лауреат многочисленных государственных и литературных премий.

стр.
3

Курбатов Валентин Яковлевич
Псков, 1939 г. р.

Литературный критик, литературовед, прозаик. Родился в Ульяновской области. Долгое время жил на Урале. Служил на Северном флоте. Окончил ВГИК. Выпустил книги о В. Астафьеве, гоголевском иллюстраторе А. Агине, М. Пришвине, В. Распутине, автор множества статей по русскому искусству, русской и зарубежной литературе. Член Союза писателей России, член жюри литературной премии «Ясная Поляна». Академик Академии российской словесности, лауреат премии Л. Н. Толстого за 1998 год, премий за лучшую работу года журналов «Наш современник», «Литературное обозрение», «Смена», «Урал», «Москва» и др.

стр.
165

Лалуа Юлия
Лимож, Франция

Родилась в Ставрополе. Публицист, прозаик, эссеист. Публикации в журналах «День и ночь», «Дарьял», «LiteraruS» (Хельсинки).

стр.
110

Логунов Александр
Москва, 1975 г. р.

Родился в Москве. Студент шестого курса Литературного института им. А. М. Горького (семинар В. А. Кострова). Работает в издательстве «Никея». Стихи публиковались в альманахе «Тверской бульвар, 25» и в «Литературной газете».

стр.
8

Матвейчев Александр Васильевич
Красноярск, 1933 г. р.

Родился в Татарстане, в деревне Букени Мамадышского района. Окончил суворовское и пехотное училища. лейтенантом командовал пулемётным и стрелковым взводами в Китае и в Прибалтике. После демобилизации из армии учился в Казанском авиационном и Красноярском политехническом институтах (1956–1962). Получил диплом инженера-электромеханика. Работал токарем-револьверщиком, разнорабочим, электриком, инженером-конструктором, главным инженером НПО, директором предприятия. Депутат райсовета трёх созывов. С 1993 года работал журналистом в редакциях газет, переводчиком с английского и испанского языков. Преподавал английский детям и взрослым. Президент Английского клуба при Красноярской научной библиотеке и Почётный председатель «Кадетского собрания Красноярья». Первые рассказы опубликовал в 1959 году. С тех пор стихи и рассказы публиковались в журналах, газетах, альманахах, антологиях и коллективных сборниках. Автор нескольких книг, поэтических сборников и публицистических статей («Вода из Большого ключа» (сборник рассказов), «El Infierno Rojo—Красный Ад» (роман), «Три войны солдата и маршала» (проза), «Благозвучие» (стихи и проза), «КазановА. в Поднебесной» (роман), «Возврат к истокам» (проза), «Признания в любви» (любовная лирика), «АЗА-ЕЗА. Прошлое. Настоящее. Будущее» (публицистика) и др.). Член Союза российских писателей. Первый заместитель председателя правления КРОО «Писатели Сибири».

стр.
11, 70, 88, 104, 164

Минин Евгений Аронович
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Известный поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово \Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии-2009», «Кольцо „А“», «Побережье», «Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета», издаваемые в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» (Россия) и «Флорида» (США), а также в газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия» (Россия) и «Секрет» (Израиль). Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманахам «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных

альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (АРИА) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), лауреат премии «Поэт года-2007» Международного союза литераторов и журналистов (АРИА). Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр. 175
Мурашова Лера
Нальчик/Москва

Родилась в Москве. Окончила Московский институт геодезии. Состоит в Клубе писателей Кавказа и Союзе писателей XXI века. Автор поэтических книг «Стихи» (2010), «Облачный календарь» (2011), «Синяя нота Ю» (2012), «Куриный бог» (2013). Участник коллективных стихотворных сборников «Останется голос. Русская поэзия XXI века» (Санкт-Петербург), «Под знаком Эрота 2», «Под знаком Мнемозины 1», «Под знаком Морфея 3» (Ростов-на-Дону, 2013). Стихи и статьи публиковались в журналах «Мегалог» (Пятигорск), «Сияние» (Ставрополь), «Зинзивер» (Санкт-Петербург), «Ковчег» (Ростов-на-Дону), «Edita» (Гельзенкирхен, Германия), «Дети Ра» (Москва), «Литературная Кабардино-Балкария» (Нальчик), а также в «Литературной газете».

стр. 97
Павловская Анна Славомировна
Минск, Белоруссия, 1977 г. р.

Поэт, прозаик, сценарист, эссеист. В 2002 году стала обладательницей Гран-при Илья-Премии. В этом же году в московском издательстве «Алгоритм» совместно с Павлом Чечёткиным вышла книга стихотворений «Павел и Анна». В дальнейшем — лауреат премий «Сады лица», «Есенина», дипломант Волошинского конкурса. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «День и ночь», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Сибирские огни», «Дети Ра» и др., в антологиях «Приют неизвестных поэтов. Дикороссы» Ю. Беликова, «Русская поэзия XXI век» Г. Красникова и др., а также в альманахе «День поэзии. XXI век». В 2008 году в Минске вышла книга автора «Торна Соррьенто». В настоящее время автор живёт в Подмоскowie.

стр. 133
Райберг Лана
Нью-Йорк, США

Родилась в Минске. Образование получила в Витебске, где в 1982 году окончила художественно-графический факультет пединститута. Работала воспитателем в детском саду, маляром,

чертёжницей, художником-оформителем в строительной организации, дизайнером на телевизионном заводе, преподавателем декоративно-прикладного кружка в Доме культуры железнодорожников, выставляла акварели на городских и республиканских выставках. Сотрудничала с редакцией газеты «Витебский курьер». Эмигрировала из Витебска в США в 1992 году. В Университете искусств Филадельфии преподаёт искусство младшим школьникам. Член Лондонского объединения художников воображения и Бруклинской ассоциации художников. Состоит в Клубе писателей Нью-Йорка, ежегодный автор альманахов эмигрантской прозы «Побережье» и «Арена». Автор книг «Картонная луна», «Олежкины истории», «Кризис жанра», «Записки провинциалки». Постоянно выставляется в электронном журнале «Русский переплёт». Рассказы публиковались в иммигрантских русскоязычных журналах и сборниках-альманахах «Побережье», «Пилигрим», «Арена», «Панорама», журналах «Русская Америка», «Потомак», «Анна», «Вестник», «Русский Ванкувер», «День и ночь», газетах «Новое русское слово», «Русский Базар» и др.

стр. 84
Рыбин Александр
Владивосток, 1983 г. р.

Родился в Тверской области. Рассказы публиковались в альманахе «Илья», журналах «День и ночь», «Волга — XXI век», газетах «Литературная Россия» и «Ванкувер Экспресс» (Канада). Финалист литературного конкурса «Илья-Премия» (номинация «Проза», 2007). В 2008 году рассказы попадали в лонг-листы Бунинской премии, премии им. Астафьева и премии «Неформат». Работает в газете «Арсеньевские вести».

стр. 105
Свирилин Александр
Москва, 1976 г. р.

Родился в городе Узловая Тульской области. Критик, литературовед. Учился в Литературном институте имени А. М. Горького. Работал журналистом в газетах и на телевидении. Автор перевода выпавшего фрагмента и доклада «Абзац-призрак набоковской „Лолиты“», зачитанных на традиционных чтениях в доме-музее Набокова в Санкт-Петербурге. Принял участие в переводе романа Набокова «Пнин» профессора Колумбийского университета Геннадия Барабтарло. Как литературный критик публиковался в «нг — Ex libris», журналах «Литературная учёба», «Московский вестник», «Октябрь».

стр. 31
Тарковский Михаил Александрович
Бахта Красноярского края, 1958 г. р.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «География и биология». Затем работал на Енисейской биостанции в Туруханском

районе Красноярского края. С 1986 года — штатный охотник, а последние годы — охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района. Писал стихи, последние годы перешёл на прозу. Рассказы и повести Михаила Тарковского публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», а также «Согласие», «Ветер», «Литературная учёба». Лауреат премий журнала «Наш современник» и сайта «Русский переплёт». Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 2010 год в номинации «XXI век».

стр.
186

Татаренко Юрий Анатольевич
Новосибирск, 1973 г. р.

Родился в Новосибирске. Учился в Иркутском институте иностранных языков (факультет романо-германской филологии), в Новосибирской государственной консерватории (факультет академического пения). С 1998 года — актёр Томского театра драмы. Поэт, автор трёх книг. В 2006 году вошёл в шорт-лист Всероссийской литературной премии им. В. Астафьева. Стал обладателем спецприза газеты «Труд» на Всероссийском конкурсе «Романсиада» (Томск), лауреатом международного фестиваля (Омск) и дипломантом всероссийского конкурса актёрской песни (Нижний Новгород). Публиковался в журналах «Литературная учёба», «День и ночь», «После 12», «Сибирские Афины», «Сибирские огни», «Южная звезда», общероссийской газете «Трибуна».

стр.
192

Тимченко Елена Владимировна
Красноярск, 1962 г. р.

Родилась в селе Шила Сухобузимского района Красноярского края. Окончила физический факультет Красноярского государственного университета. Работала в агроуниверситете на кафедре физики в должности ассистента и младшего научного сотрудника, преподавала программирование и информационные технологии в техникуме и информатику в гимназии. Автор повести-сказки «Мерзлотка и её друзья», победившей в грантовом конкурсе «Книжное Красноярье» в 2007 году. С 2001 года стала внештатным сотрудником газеты «Городские новости», с 2004 года — главным редактором приложения «Детский район». С 2004 года ведёт в Красноярском литературном лицее творческие мастерские. Состоит в редколлегии журнала «День и ночь». Член Союза российских писателей.

стр.
131

Тяжев Михаил Павлович
Москва, 1974 г. р.

Родился в Горьком. В 1998 году окончил Нижегородское театральное училище, работал актёром в детском театре «Вера». Студент Литературного института им. А. М. Горького (курс С. Н. Еси-на), параллельно снимается в кино. Публикации

в журналах «Новый мир», «Октябрь». Дипломант Бунинской премии (2013) в номинации «Дебют».

стр.
95

Хабаров Александр Игоревич
Домодедово, 1954 г. р.

Родился в Севастополе. Учился в мореходном училище, в Крымском государственном университете, работал матросом-рулевым, штурманом, наладчиком ЭВМ, спасателем, инструктором-спелеологом, корреспондентом крымских газет, редактором студенческой газеты, педагогом-воспитателем в пионерлагерях, истопником угольной котельной, репортёром пресс-центра Московского кинофестиваля. В 1971 году «благословлён» написание стихов мэтром авангарда Андреем Вознесенским. Многочисленные публикации стихов и прозы в альманахах и журналах разных направлений («Москва», «Лепта», «Юность», «Новая Россия», «Странник», «День поэзии», «Истоки», «Нева»). Автор бестселлеров «Тюрьма и зона», «Россия ментовская», романа-бестселлера «Эксперт», романа «Воровской бунт». Лауреат поэтических премий журналов «Москва» (1996), «Юность» (им. Владимира Соколова, 1997). За книгу стихов «Ноша» — Всероссийская литературная премия им. Н. Заболоцкого (2000) и «Золотое перо Московии» (2004). Стихи вошли в антологию «Русская поэзия. Век XX» («Олма-пресс», 1999) и в несколько литературных хрестоматий. Член Союза писателей России.

стр.
142

Чикильдик Владимир Карпович
Барнаул

Родился в селе Ребриха на Алтае. Кадровый военный. Окончил и служил затем в Ачинском ВАТУ (1968–1982), в управлении и частях Барнаульского вваул. В 1987–1992 годах находился в служебной командировке в Западной группе войск, исполнял обязанности заместителя командира авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков по работе с личным составом. Заканчивал службу в Барнауле, в лётной школе им. Героя Советского Союза К. Павлюкова. Имеет историческое и экономическое образование. Лауреат алтайской краевой литературной премии им. Владимира Свинцова (2009). С 2005 года — руководитель общественной организации «Ребрихинское землячество в Барнауле».

стр.
177

Шаров Павел
Саратов, 1972 г. р.

Родился в Саратове. Окончил Литературный институт. Публиковался в журналах «Волга», «Волга—XXI век», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «ЕДИТА» (Германия), «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Урал-Транзит», «Звезда» и других изданиях. Автор четырёх книг стихов. Член Союза писателей России.

стр.
71

Шелленберг Вероника Владимировна
Омск, 1972 г. р.

Поэт, художник. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького. Лауреат ежегодной областной литературной молодежной премии им. Ф. М. Достоевского (1998). Дипломант Всероссийского литературного конкурса им. В. П. Астафьева (2006). Лауреат городского поэтического конкурса профессиональных авторов «Омские мотивы» (2008, 2010). Лауреат премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства им. Л. Н. Мартынова (2011). Публиковалась в журналах и альманахах «Арион», «День и ночь», «Дети Ра», «Сибирские Афины», «Сибирские огни», «Иркутское время», «Складчина», «Стороны света», «Литературный Омск», «Урал», «Лоза», «Сияние лиры», «Москва», «Огни Кузбасса» и др., в антологиях «Сегодня и вчера» (Омск, 2005), «Заря не зря, и я не зря!..» (Омск, 2010), «На солнечной гриве» (Омск, 2011), а также в антологии современной русской поэзии и прозы «Лёд и пламень» (Москва, 2009). Автор стихотворных сборников «Если б не ты...», «Рождение», «На языке огня», «Одно только слово», «Полосатая корова» (стихи для детей), «Сны на склоне вулкана». Член редколлегий альманаха «Складчина», журналов «День и ночь», «Омская муза». Член Союза российских писателей.

стр.
12

Щербаков Александр Илларионович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр.
179

Якобсон Григорий
Нью-Йорк, США

Родился в России, жил и учился в Москве, окончил мгу имени М. В. Ломоносова. Много путешествует по миру, в настоящее время живёт и работает в Нью-Йорке. Публикуется в сетевых и бумажных изданиях. Победитель нескольких поэтических конкурсов в России, Европе и Америке.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ**ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА***по прозе*

Александр Астраханцев

по поэзии

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

СЕКРЕТАРЬ

Юлия Вятчина

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков

Набережные Челны

Сергей Арутюнов

Москва

Юрий Беликов

Пермь

Вера Зубарева

Филадельфия

Анатолий Кирилин

Барнаул

Владимир Костылев

Арсеньев

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Евгений Минин

Иерусалим

Виталий Молчанов

Оренбург

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Миясат Муслимова

Махачкала

Александр Петрушкин

Кыштым

Лев Роднов

Ижевск

Евгений Степанов

Москва

Михаил Тарковский

Бахта

Вероника Шелленберг

Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. М. Клешко

Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края

Е. Г. Паздникова

Министр культуры
Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края

Т. Н. Садырина

Декан филологического
факультета КГПУ им. Виктора
Петровича Астафьева.

Издание осуществляется при поддержке
Агентства печати и массовых коммуникаций
Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании
принимал участие В. П. Астафьев. Пер-
вым главным редактором с 1993 по 2007 гг.
был Р.Х. Солнцев. Свидетельство о реги-
страции средства массовой информации
ПИ №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано
Министерством Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использованы
картины Ростислава Иванова.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не ре-
цензируются и не возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут авторы материалов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов. При перепечатке материалов ссылка
на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт 4070 2810 8006 0000 0186

в Новосибирском филиале

ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

БИК 045 004 762

Корреспондентский счёт

3010 1810 9000 0000 0762

Рукописи принимаются по электронной почте:
dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск,
а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:

ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 13.10.2014

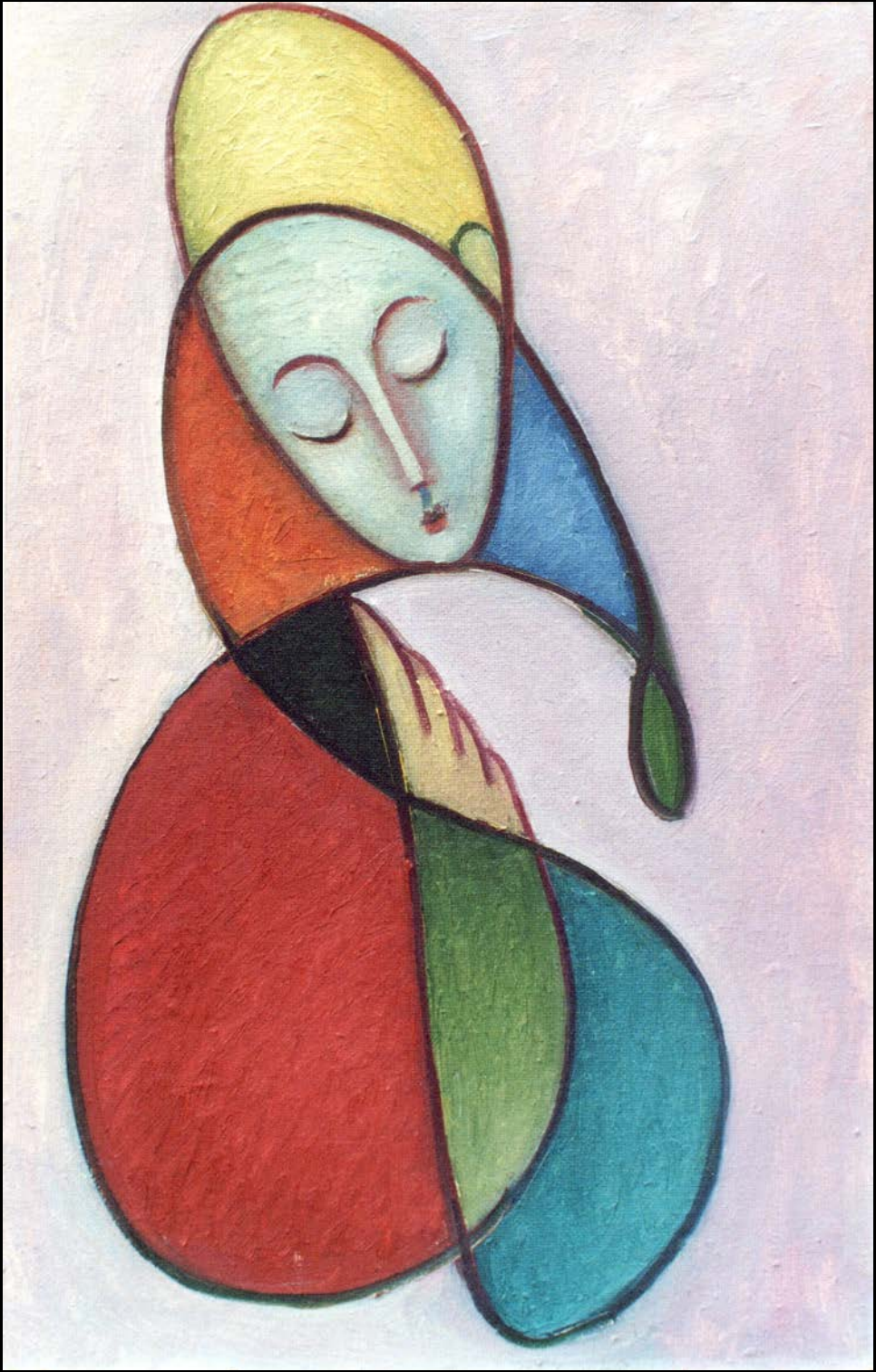
Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н.Н.

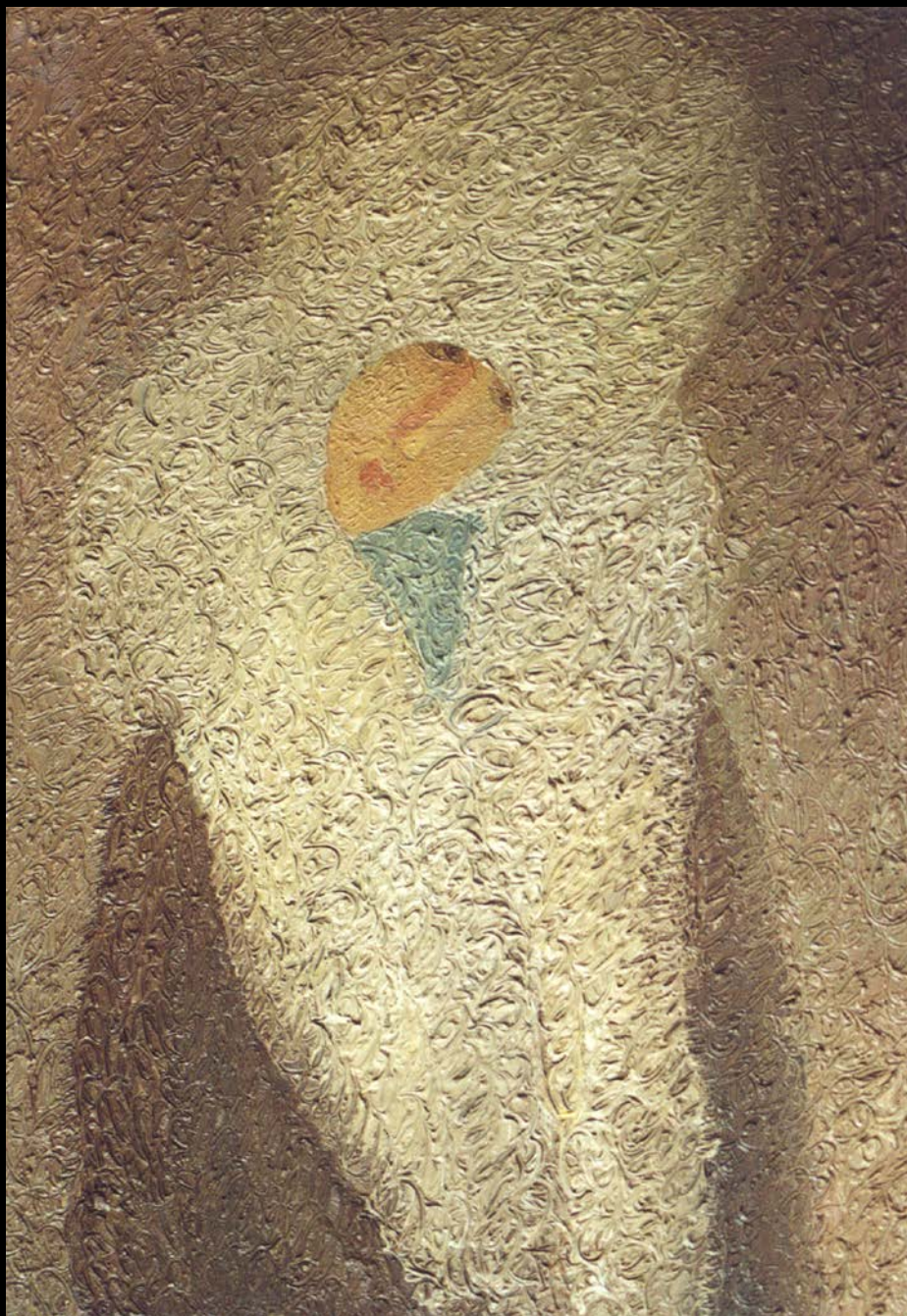
в типографии «Литера-принт»,

г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10

эл. почта: 2007tex@mail.ru, т. 294 15 77



Пространство времени



Ростислав Иванов

Незнакомка

На первой странице обложки:

В голубой сфере